

ISSN 0130-7673

ЖИВОБЫИ  
МИР

4

ЖИВОБЫИ МИР

1983

4

1983



# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 4

Апрель, 1983 г.

---

О Р Г А Н   С О Ю З А   П И С А Т Е Л Е Й   С С С Р

---

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
РОССИЯ — Петр Градов, Сергей Мнацаканян, Владимир Савельев, Виктор Боков	3
А. БЕЛАЙ — Линия, повесть	11
Н. ПЛОТНИКОВ — Маршрут Эдуарда Райнера, повесть	87
АНДРЕЙ ДМИТРИЕВ — Штиль, рассказ	140
ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ — Василий Казанцев, Василий Оглоблин, Марк Кабаков, Владимир Федоров, С. Крыжановский, Татьяна Голуб, Александр Волобуев	156
СЕРГЕЙ МИХАЛКОВ — Новые басни	161
ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ — Мой стих, к 100-летию со дня рождения	163
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
ЮРИЙ ВИГОРЬ — У самого Белого моря	164
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
В. АРХАНГЕЛЬСКИЙ — Свет над Дорой	186
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
ВЛАДИМИР УСПЕНСКИЙ — Третья монгольская	207
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
В. КАМЯНОВ — Сюжет и вокруг, из опыта дебютантов 60—70-х годов	218
СТОЛЕТИЕ ГАШЕКА	234

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»  
Москва

## Содержание (окончание)

	Стр.
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
<b>Борис Рахманин.</b> Солдат Жуков.	
<b>Леонид Новиченко.</b> Лирическая проза Янки Брыля.	
<b>Яков Маркович.</b> Мысль и форма.	
<b>Н. Павлова.</b> Бесценный дар жизни.	
<i>Политика и наука</i>	
<b>Ю. Шарапов.</b> Летопись великой жизни.	
<b>Ю. А. Трифонов.</b> В русле памяти.	
<b>Валентина Елисеева.</b> Разговор с интересным собеседником.	
<b>А. Милейковский.</b> Канадская мозаика.	
<b>КОРОТКО О КНИГАХ:</b>	
И. Винокуров.— Железная трава. Йосиф Прекрасный. Романы. ◆	
Александр Топчян.— Аревшат Авакян. Дыхание гор. Аревшат Авакян. Пять стихотворений. ◆	
Григорий Левин.— Яков Белинский. Избранные произведения в двух томах. Яков Белинский. Движение души. ◆	
М. Вольпе.— Нуги Ва Тхионго. Кровавые лепестки. Роман. ◆	
Ксения Бродер.— Евгений Воробьев. Дмитрий Кочетков. Я не боюсь не быть. Документальная повесть о Герое Советского Союза Поле Армане. ◆	
Т. Комиссарова.— Леонид Лапцуй. На оленьих тропах. Стихи и поэмы. Перевод с ненецкого. ◆	
П. Спивак.— А. Шаров. Повесть о десяти ошибках. Повести и рассказы. ◆	
Георге Барбэ.— Думитру Балан, Анета Добре. Русская советская поэзия. Лирика (Антология). ◆	
А. Грунт.— Е. Н. Городецкий. Историографические и источниковедческие проблемы Великого Октября. ◆	
М. Арапов.— Юл. Медведев. Бросая вызов.	265
<b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>	<b>272</b>



Она взвивалась, словно конь,  
дрожа ноздрями,—

и огонь  
дотла спаленных облаков  
ее казался гривой,  
под смутным отсветом луны  
она взвивалась на дыбы  
превыше жизни, и любви,  
и участи ранимой...

Метель вилась, как белый хвост,  
на тысячи великих верст  
и с маху заметала  
огни поселка, вертолет,  
траншеи под нефтепровод —  
мир человеческих забот,  
деревьев и металла...

Лежат вдоль леса на ветру  
в рост человека сотни труб,  
и поутру прекрасно груб  
вкус хвои, снега, хлеба,  
и можно глянуть в срез трубы  
как в форточку леса, и судьбы,  
и утреннего неба.

Он строится, нефтепровод,  
тем временем сквозняк поет —  
врывается с метелью

в разбросанные трубы те,  
в проржавленные трубы те —  
и сталь свистает в темноте  
сибирскою свирелью.

А ранняя заря встает —  
и словно бы копытом бьет  
над фронтом сварочных работ,  
и под ее копытом,  
как будто восславляя риск,  
летят миллионы жарких искр  
над снегом и над бытом.

По коже ли идет озноб,  
иль просто обжигает лоб  
растрепанная вьюга,  
но музыка звучит, темна,  
витает, ржавчиной полна,  
от сумрака пьяным-пьяна,  
скользит на грани звука.

Они еще лежат в лесах  
гурьбой, вповалку, кое-как —  
несваренные трубы,  
в них снова ломится сквозняк,  
присвистывая так в снегах,  
как будто бы во весь размах  
свистает Время, второпях  
в кровь обдирая губы.

## ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВ

\* \*  
\* \*

Лежит под курганом, заросшим бурьяном,  
Матрос Железняк — партизан...

*Из песни о А. Г. Железнякаве.*

Все правильно: в борьбу великую ввергался он  
от митингов шальных и до шальных атак.  
И все же не в степи — на кладбище Ваганьковском  
(проверьте!) погребен тот самый Железняк.

Братишечка — он всех дивил натурой пылкою,  
но линию свою — единственную — гнул.  
Его задорный бас черту под Учредилкою  
подвел: пора кончать — устал, мол, караул.

То песнями хрипя, то глазом молча зыркая  
на ладный мой костюм из западных краев,  
балтийскою своей — измятой! — бескозыркою  
он лихо машет нам из штыковых боев.

Он машет нам — гранат с полдюжины на поясе  
да верная братва, бузаящая вокруг.  
Под пулями застряв в окошке бронепоезда,  
двух маузеров он не выпустил из рук.

И в памяти людской дела его горят еще,  
и смех Железняка гремит в моих ушах.  
Бурлящая Москва. Ваганьковское кладбище.  
Космический наш век. Задумчивый мой шаг.

## Поле Куликово

И обратишася погании и даша плеща и побегоша...

*Из летописи.*

Вольная порой роднится воля  
с однокрыло машущим мечом:  
дух от духа Куликова поля —  
Пушкин и, к примеру, Пугачев.

Плоть от плоти, синь от той же сини,  
ибо и на смерть и на живот  
все, откуда есть пошла Россия,  
шесть веков в себе она несет.

Шесть веков...  
Сменяя делом слово,  
от Непрядвы — сквозь ее волну —  
до рейхстага поле Куликово  
пролегло через Березину.

Пролегло к частушкам через плачи  
и к бессмертию через семью.  
Пролегло в любой моей удаче  
через суть славянскую твою.

Через ту, что девку-полонянку  
бросила в бега под взвизги стрел...  
От дорог в ночи и спозаранку  
поседел я, да не постарел.

От путей различных и возвратных  
на подъем не стал я тяжелей,  
хоть изведал ширь  
магнитных, ратных,  
хлебных, минных, хлопковых полей.

Хоть от ликованья и до боли  
вдоволь их донине впереди,  
потому как жизнь прожить — не поле  
(даже Куликово!) перейти.

Да, об этом помнить надо крепко.  
Но среди обыденных забот  
что я предка, верю в гены предка,  
сам я предком стану в свой черед.

Все согласно правилам природы.  
Куликова поля вещей свет  
сводит заостренные обводы  
с формами шоломов и ракет.

И густые тьмы батыров вражьих  
разогнав и вползь, и вплавь, и вброд,  
мед вишневый из дубовой чаши  
шесть веков Боброк-Волынец пьет.

Пьет у разных судеб на примете.  
В мире вертолетов и сверчков  
вот и снова прожил я на свете  
целый миг. И целых шесть веков.

### Время любви

Что за дух поселился в саманках и залах?  
 Что за стиль в закоулках и целых кварталах?  
 Посмотри, даже в самых научных журналах  
 о любви начинают печатать стихи.

О любви, хоть недавно еще не хотели.

О любви.

А в стихах — это значит на деле  
 у меня и у времени общие цели,  
 будто оба мы с ним от станка и сохи.

Будто, полнясь и хмарью и голубизною,  
 мы с ним оба-два схлестнуты лямкой одною.  
 Да еще его накрепко вяжут со мною  
 предвкусенье судьбы и прапамять в крови.  
 Да еще: все мне снятся мальчишечье племя,  
 и ступню мне обжегшее месяца 'стремя,  
 и сердца, где свирепости смутное время  
 переплавилось в ясное время любви.

И глаза застилает мне звездная млечность:  
 это, невозмогая свою скоротечность,  
 получает в них высшее право на вечность  
 та любовь, что в веках совпадала с войной.  
 Время!

Не безразличен к житейским урокам,  
 я лицом поворачиваюсь, а не боком  
 к рубежам его, вехам, канунам и срокам,  
 унаследованным и любовью и мной.

Ныне в общем и целом покой на планете,  
 ибо чаще, чем гибнут, рождаются дети.  
 Ибо слезы роняются те, но и эти,  
 эти — нежности, как мы себя ни гневи.  
 Было время лихое и было крутое.  
 Билось зоркостью в нас оно и слепотою.  
 На большое, сегодняшнее, непростое  
 я на время смотрю как на время любви.

И смотрю на него. И варюсь в его гуще.  
 И ему, будто слово мое всемогуще:  
 время, время, — кричу я, как дождику, — пуще!  
 Пуще, пуще лети ты! Да не стороной:  
 между вечностью, время, лети и пределом,  
 между злом и добром, между частью и целым,  
 между черным и белым, душою и телом —  
 пуще, пуще лети сквозь меня и со мной!

Пуще, пуще, хоть кто-то не знает кого-то  
 и кому-то на этом столкнуть их охота.  
 Но взаимодоверия длится работа  
 от меня и до нас, от семей и до стран.  
 От людей рядовых и до тех, что повыше.  
 Это время в лицо и в затылок мне дышит.  
 Это время шуршит листопадом по крыше  
 и врывается спортом на телеэкран.

Да, и спортом, и смертью, и новой строкою.  
 И горячностью чьей-то. И чьей-то тоскою.

Ныне в общем покой? Но ведь нет мне покоя,  
угомона, смиренья — зови не зови.  
Нет как нет: не грядущего малая кроха  
и не время царя-государя Гороха —  
нам даны эта лучшая в мире эпоха,  
этот век, это трудное время любви.

Нам даны и спасительность добрососедства,  
и от чувства безвременья первое средство:  
все, что было вокруг, пропускать через сердце,  
пропускать все, что будет еще или есть.  
Через сердце.

А есть в этом мире и злоба,  
и они — все другие, и мы с тобой — оба.  
И, конечно, измена. И верность до гроба.  
И святое отмщенье. И жалкая месть.

В мире этом, в столикой его круговерти,  
есть и магнитофон и посланье в конверте.  
Против времени страха и времени смерти  
есть желанье метнуться вперед по судьбе.  
Есть намеренье счет повести на минуты,  
на секунды, в которых и нежно и люто  
мчится время любви и кого-то к кому-то,  
и моей непосредственно — лично к тебе.

Пуще, пуще — ни с кем и ни с чем мы не квиты.  
Пуще, пуще — от тропки степной до орбиты.  
И лепи ты нас, время, и дальше влечи ты  
и как можно сильнее нам душу травы.  
И тревожь нашу совесть людскую почаше.  
Пусть, я знаю, без ненависти — без палящей —  
не бывает, увы, и любви настоящей...  
Пусть!  
И все-таки миг этот — время любви!

### Зима

Из любых нас, благодушных и суровых,  
сохранивших и растративших запал,  
кто лично не барахтался в сугробах,  
главной радости мирской не испытал.

Не изведал. А под ахи да под охи  
всем физическим законам вопреки  
вдаль летят через просторы и эпохи  
полновесные московские снежки.

И смоленские поигрывают синью.  
И сибирские свистят над головой.  
Разрумянившись бедово, мать Россия  
молодеет от забавы вековой.

Над соседями развеивает страхи:  
обживая сопредельную среду,  
и литовцы, и грузины, и казахи  
с нашей зимушкой-зимой теперь в ладу.

С раскрасавицей. С хозяйкой. С озорницей.  
Сквозь февраль кружу тропинкою лесной,  
и легонько голова моя кружится,  
и кружатся хлопья снега надо мной.



## ВИКТОР БОКОВ

### Молодые маляры

Красавица забрызгана известкой,  
Но держится с достоинством княжны.  
Она кричит: — Девчата, кровь из носа,  
Но план сегодня дать должны!

На телогрейке свежие белила  
И точки с запятыми кувыркком.  
И красила она и веселила  
Своих подруг калужским говорком.

— Чаво? — Да ничаво! — Куды кудыкина?  
— Сяледку привязли. Бярем? — Бярем! —  
Вдруг сочинила, будто Люда Зыкина  
Работала когда-то маляром.

— А я хотела тоже быть певицей,  
Чтоб, как она, народ увеселять,  
Но помешал парнишка смуглолицый.  
«Брось пение,— сказал,— пойдём гулять!»

Смеются, смело зубы обнажают,  
Дают простор душе своей простой.  
И, кажется, чуть-чуть воображают,  
Что им доверен дом, где жил Толстой.

Девчонка, калужаночка бедовая  
С разлетом удивительных бровей,  
Стена-то у тебя теперь как новая,  
— Ты прав, товариш! Но любовь — новей!

Бок о бок тесно жмутся ведра с краской,  
Осталось красить только полчаса.  
Кончай работу! Сердце бредит лаской,  
Любовь восходит на свои леса!

### Просторы

Отрезал бог ломоть планеты  
И окрестил ее: Сибирь!  
Какие у нее приметы?  
Первейшая примета — ширь.

Просторы. Разве это мало,  
Когда в придачу воля масс?!  
И чудо-музыка Байкала  
Звучит как скрябинский «Экстаз».

Ты на восток, ты не на запад,  
Ты в самолете, ты летишь.  
И вдруг как зеркало, внезапно,  
Как лезвие — внизу Иртыш.

— Здорово,— вскрикнешь,— желтоглазый!  
Спешишь? Давай! Привет Оби.—  
Сибирь сильна тюменским газом,  
Для нефти звездный час пробил.

Торил и я в Сибири тропы,  
Не собираюсь я ей льстить.  
Но знаю: можно и Европу  
Сибирским газом утеплить.

Какую землю нам нарезал  
Всевышний, даровав Сибирь!  
Есть рыба, есть руда, железо.  
Работай! Дома не сиди!

### Сад Пальметта

Как мне нравится сад Пальметта,  
Дружных веток зеленый завив.  
Цепко держит он в лапах лета  
Спасояблочный свой налив.

Поворачивается планета  
На скрипучей своей оси.  
Наливается сад Пальметта  
Красотою, избытком сил.

И откуда такое богатство?  
И такие плоды висят?  
Сами можете догадаться,  
Посмотрите на этот сад.

Все прогрето насквозь лучами,  
Не замеченных солнцем нет!  
И за яблоневыми плечами,  
Где ни встанешь,— тепло и свет!

Что ни яблоня, то невеста,  
То цветущий, венчальный вид.  
Мраку, холоду здесь не место,  
В каждой веточке солнце сидит!



---

---

Развитие, движение вперед нашей литературы — общая забота писателей, работников редакций журналов и издательств. Чтобы литературный поток не мелел, не иссякал, а становился мощней, он должен повседневно пополняться. Постоянный приток молодых сил — необходимое условие нормального, здорового и успешного развития и существования нашей литературы.

Год назад, в апреле 1982 года, во время Всесоюзного Ленинского коммунистического субботника редакция «Нового мира» свою работу целиком посвятила новым именам. Все члены редколлегии, редакторы всех отделов журнала читали и обсуждали произведения авторов, имена которых почти никому из нас не были известны. Сегодня мы предлагаем читателю некоторые из произведений, отобранных на том субботнике.

В один субботний день, конечно же, невозможно решить судьбу рукописи. Как правило, необходима кропотливая работа с автором, помощь ему, затем доработка им самим, редактирование и т. д. Вот мы и решили проводить наши субботники с учетом специфики редакционного и писательского труда.

Прошел год, и теперь в апрельском номере текущего года редакция предлагает вниманию читателей результаты своей работы, проведенной в прошлогодний субботник и после него.

Авторы, которые представлены в этом номере, по преимуществу только начинают свой путь в литературе. Они разного возраста — не только молодые. Чрезвычайно различен багаж их жизненного опыта. Привлекает определенность и своеобразие творческой индивидуальности каждого из них. Здесь не спутаешь и не подменишь. В том, что эти новые голоса так различны и так своеобразны, — свидетельство неисчерпаемости нашего литературного процесса, его способности к воспроизводству и обновлению.

Тридцатилетний Александр Белай работает прорабом под Наро-Фоминском. Его горячая и жесткая повесть — живое, глубокое отражение текущего дня нашего производства во всей сложности экономических, организационных и нравственных проблем, которыми живет строительство. Пульс работы, пульс прорабского труда слышен в ней отчетливо. Смена ритмов и напряжений, как душевных, так и сугубо деловых, является художественной особенностью этой повести.

А. Белая и других молодых по новомирской традиции представляют опытные мастера, наши постоянные авторы. В этой своеобразной мастерской мы тоже видим плодотворную форму работы, полезную для всех участников ее — для начинающих, для тех, кто впервые приходит к нам, для журнала и для писателей, помогающих молодежи. Пока инициатором в этом новом деле выступает отдел прозы, но в дальнейшем при положительных результатах мы намерены распространить этот опыт и в других отделах нашей редакции.

**РЕДКОЛЛЕГИЯ.**

---

---

---

А. БЕЛАЙ

★

## ЛИНИЯ

Повесть

В этой повести много действующих лиц, но читатель не увидит их в быту, в домашних хлопотах, в любовных радостях или печалях. У всех у них одна забота: строительство, где они работают, которому подчинены их помыслы. Строительство живет своей жизнью, у него, как и у людей, свой характер, своя судьба, оно одушевлено, и, словно живой организм, заставляет героев повествования поступать по своим законам.

Но пусть читателя не смущает, что он увидит действующих в этом произведении людей только на работе, в волнениях, связанных с производством, потому что повесть, ее смысл шире, глубже. Мне думается, что читатель узнает много интересного, существенного не только об этих людях, но и о себе самом, в какой бы сфере производства ни протекала его, читателя, жизнь. Повесть «Линия», на мой взгляд, современна и дает повод задуматься о некоторых весьма важных проблемах нашей действительности. Ее автор — молодой, тридцатилетний прораб одной из московских строек.

Н. ЕВДОКИМОВ.

1

Солнце поднималось в полной тишине. Чуть раньше высоко и пронзительно заголубело небо. Все вокруг было обсыпано холодной росой. Только пыль на разбитой самосвалами дороге лежала сухой, готовой взметнуться от первого прикосновения.

На горизонте, сверкая гранями, растянулась Москва.

Услышав шум подъехавшего автобуса, из прорабской вышел сторож в черной шинели, с заспанным, фиолетовым от старости лицом. Приложив ладонь к бровям, он смотрел на показавшегося в калитке Толю Скибина и украдкой потягивался. Протянул руку:

— Анатолию Николаевичу...

Толя Скибин, прораб, похлопал старика по плечу, подняв засверкавшее на солнце облачко пыли.

— Привет, Коптев. Опять спал, я вижу?

Коптев, поняв, что уличен, покосился на пятерню прораба, ласково треплющую его плечо; кряхтя и вздыхая, молча затрусил за Толей Скибиным. Тот, как обычно, отправился осмотреть свое хозяйство.

— Все в порядке, Коптев? — спросил Скибин, оборачиваясь и улыбаясь старику утренней, еще свежей улыбкой.

— В полнейшем, Анатолий Николаевич!

Коптев тяжело дышал, попевая за прорабом, так что доса-

афовский значок на лацкане шинели ходил вверх-вниз, и усердно таранился на спину Толи Скибина.

— В полнейшем, Анатолий Николаевич, можете не сомневаться. Шлялись, правда, тут ночью... часа в два... молодежь какая-то... парни с девками песни орали... но я их!.. А под утро, точно, прикмарил я, Анатолий Николаевич... Да ведь утром ни одна собака... воры и те спят...

— Ладно, дед.

Получив прощение, Коптев отстал; потоптался на месте, готовый выполнять, если еще что прикажут. Но Скибин свернул за угол и не звал за собой. Коптев тут же припустил назад в прорабскую ждать, когда прораб отпустит его, расписавшись в журнале, что объекты принял в сохранности. Он давно уже только и охранял что телефон в прорабской. откуда ночью боялся выйти, и был знаменит тем, что однажды во время дежурства с него сняли полшубок, которым он укрывался, когда спал, сдвинув столы и убрав с них бумаги.

Было без четверти восемь.

Толя Скибин медленно, глядя на огонь спички, закурил, проводил глазами далеко поплзшую полосу дыма. Обошел склады, осмотрел мокрые от росы замки: издали мельком взглянул на штабеля кирпича и железобетона и очень заботливо исследовал пачки досок, которые были сложены у него подальше от глаз, за вагончиками. Места вокруг были дачные, и иногда после выходов Толя недосчитывался по четверти пачки. А что спросишь с Коптева? Хорошо, если самого его утром найдешь живым-здоровым.

Дальше Толя через дорогу пошел к пустым еще корпусам научно-производственного комплекса Института геологии, которые строил четвертый год. Вчера два олуха — механик и сварщик — оставили в самом большом, экспериментально-технологическом, корпусе сварочный трансформатор и новенький насос, которым откачивали воду из траншей; им, видите ли, надоело каждый вечер таскать все это из корпуса на склад. А между тем это были такие вещи, особенно насос, которые могли уйти еще быстрее, чем доски.

Свернув с трассы, мимо Толи Скибина проехал первый самосвал с раствором, посигналил, приветствуя, и скрылся за углом, где в здании механического цеха заканчивали кладку парапетов. Задрал стрелу, там ждал пока неподвижный кран.

Сразу же, увидев в окно самосвал, из вагончика вышли и растянулись по дороге, запахивая и застегивая куртки и надевая каски, каменщики Толи Скибина. Люди Жени Елхимова, прораба, которому принадлежала другая половина комплекса, еще не показывались. Раствор сюда возила только одна машина, и они ждали своей очереди.

Пыль наконец поднялась над дорогой, клубы ее потекли к обочинам, душа там траву; кран зазвонил, щелкнул, запищал тонко и нежно, поворачивая стрелу к ящикам, куда шофер вывалил раствор. Солнце исподтишка начинало накалять все, что несколько минут назад просто освещало.

На прорабстве Толи Скибина начался рабочий день.

Входя в один из пустых, без ворот проемов экспериментального корпуса (ЭТК), в которых свободно разъезжались «МАЗы», но которые издали все же казались маленькими квадратными окошками на сверкающем теле корпуса. Толя по привычке со вздохом выругался; слова пошли эхом отдаваться от стен и замерли в прохладном полумраке.

Год назад здесь весело и стремительно шел монтаж, велась кладка. Теперь в корпусе никто не работал. Огромная коробка с наклеенной кровлей стояла без людей, замерев в бесконечном вздохе ожидания. Вороны через проемы привычно пролетели корпус на-

сквозь, наполняя его криками; шуршали под потолком ласточки. Грунт внутри здания порос желтой травой, которую трепали сквозняки. Шли дни; Толя уже не верил, что увидит свои корпуса готовыми. Он не мог смотреть на стены, изо дня в день стоявшие перед ним одни и те же, знакомые до каждого кирпича в них, до очертания каждого отверстия под трубопроводы; на грунт, уже год лежавший одними и теми же кучами. Надоедливо знакома была каждая щепка или половинка кирпича в мусоре, который некому было убрать.

Обнаружив насос и трансформатор на месте, Толя успокоился и пошел прогуляться на внутреннюю территорию научно-производственного комплекса, или НПК, как он именовался в документах и разговорах.

Бетонная площадка в несколько гектаров, омытая недавними дождями, отливала свинцом. Окружавшие ее квадратом корпуса отбрасывали яркие тени. Все это тяжелое пространство быстро накалялось солнцем, чтобы через полчаса превратиться в огромный мангал.

Толя Скибин стоял посередине площадки, оглядывая обступившие его корпуса. Они были далеко от него, но из-за своих размеров казались рядом, наваливались; от такой игры расстояний и размеров звенело в ушах.

В углу территории за красным кирпичным зданием котельной торчала также кирпичная труба, и дальше, уже по ту сторону забора, зеленели холмы очистных сооружений с тремя приземистыми корпусами биофильтров между ними.

Первый утренний порыв ветра проволока по площадке волну пыли; ударив в стену ЭТК, волна взвилась до витражей и клубами стала опадать, змеиться, укладываясь на новом месте.

Кран замолчал — видно, подал раствор и кирпич каменщикам и теперь ждал следующего самосвала. Стояла тишина. Десяток каменщиков да полбригады бетонщиков не могли наполнить звуками пространство над площадкой. Корпуса, оглохшие от тишины, дремали, пригретые солнцем.

96-е строительное управление, которому принадлежала эта стройка, не работало или почти не работало здесь второй год. Каждый квартал Скибину планировали по НПК большие деньги и под эти деньги — людей и механизмы. Но всегда случалось так, что где-то сдавали или животноводческий комплекс, куда уже были направлены племенные стада из южных областей или даже из Голландии, или близился заезд в пионерские лагеря, которых много было в плане 96-го управления, или срывались задания по вводу жилья в каком-нибудь районе — и все силы стекались туда, а Скибину снимали с плана деньги, забирали людей, оставляя полтора десятка на то, чтобы обеспечивать работу субподрядчиков, которые хоть и вяло, но работали на НПК, добывая к плану в месяц по несколько тысяч.

Женя Елхимов, успевший до затишья получить в план два дома, держал здесь, на НПК, нескольких каменщиков и совсем не появлялся, только присылал материалы, когда об этом просил бригадир. Скибин же опоздал. Теперь новых объектов, чтобы получить приток денег от свежего заказчика, ему не открывали — управление и так не могло насытить людьми и средствами все свои начатые стройки. Уйти Скибину было некуда, и он с горсткой рабочих сидел на НПК, работая по мелочам: сдавал монтажникам фундаменты под оборудование, когда они просили, пробивал отверстия под трубопроводы, копал и засыпал обратно после прокладки кабелей траншеи для 46-го электромонтажного управления. Такое может не опротиветь только тогда, когда делается при быстро ведущемся монта-

же и не составляет главного и единственного в объеме работ ген-подрядчика.

Скибину нужно было сюда еще полсотни человек, чтобы подтянуть за монтажниками все мелочи, закончить благоустройство, дотонировать полы в зданиях, навесить ворота и начать наконец отделку. Но такого поворота событий не предвиделось, и Скибину начинало казаться, что они с Женей Елхимовым настроили такую прорву в насмешку над собой.

Когда на НПК шли основная кладка и монтаж, коробки корпусов стремительно росли, поднимаясь над округой, все думали и были настроены, что сдавать будут с ходу, не допуская затишья перед отделкой. Толя Скибин и Женя Елхимов с двумя сотнями человек забыли о выходных. Прорабства НПК давали великолепные показатели; прорабы НПК были на первых ролях в управлении. Закладывали комплекс они еще мастерами; потом, когда первые корпуса подросли под кровлю, стали прорабами, хозяевами; и здесь же оба узнали тоску прозябания на брошенных объектах — без людей, без внимания руководства. Оставшись на комплексе в одиночестве, Скибин от скуки не находил себе места. В коридоре управления, казалось, забыли о нем. Никто, увидев его в коридоре, не бросался к нему с вопросами; на оперативках и собраниях ругали и хвалили других, а его фамилию даже не упоминали. Не называли и имена его корпусов, как было раньше, когда и Скибин и его объекты были популярны в управлении.

Сначала Скибин, издерганный, уставший держать темп, какой взяло дело на прорабстве, даже обрадовался, когда схлынула масса людей и упало напряжение. Он получил вынужденную и потому не обременяющую совесть передышку. Перестала точить неуловимая, юркая тревога, с которой прораб обычно приближается к переполненным людьми и техникой зданиям, где все ждет и требует от него постоянного напряжения воли. Теперь рабочие места, можно было обойти за десять минут и целый день сюда не возвращаться, наряды закрыть за два часа; месячный отчет умещался в нескольких строках, а нервозности при расчете с заказчиком вовсе не стало: никто не спорил со Скибиным из-за его несчастных десяти или пятнадцати тысяч.

Скибин был хорошая гончая, но теперь стал ходить не спеша и подолгу сидел за столом в прорабской, названивая от скуки то знакомым прорабам, то диспетчерам, покуривая и глядя на замершую стройку сквозь пыльное окошко. Половину своего большого вагончика, где раньше у него переодевались монтажники, он отвел под бильярдную (бильярд, старый, списанный, валявшийся на складе ближайшего дома отдыха, Скибин выменял у завхоза за десяток старых досок от опалубки) и, когда делать было нечего, гонял шары либо с шоферами, ожидавшими разгрузки, либо с забредавшими поглазеть дачниками, а одно время пытался соблазнить даже Коптева, но тот оказался безнадежно слабым соперником — он три раза не попадал по шару, прежде чем сделать удар, путался кием в полах шинели и так наваливался на стол, что едва не опрокидывал его.

Но скоро и бильярд надоел.

Телефон в прорабской Скибина молчал неделями. Никого не интересовало, что делается на НПК.

Каждое утро с девяти до десяти часов притихшую стройку обходили двое.

Переваливаясь на коротких ногах и задевая плечами на поворотах углы, с выражением осатанелого ожидания на лице впереди стремительно шел, заглядывая в каждый проем, директор строящегося комплекса Виктор Николаевич Ванеев. Чуть сзади, поминутно

натываясь на шефа и с извинениями отскакивая, следовал высокий и худой белокурый парень, неказисто, но аккуратно одетый, при галстукe, в заутюженных на смерть брюках, казавшихся из-за аккуратности хозяина и оттого, что хорошо сидели на нем, намного приличнее и дороже, чем были. Парень одной рукой то оглаживал длинные редкие усы, то поправлял на лбу светлую прядь, а другой прижимал кожаную папку. Это был инженер отдела капитального строительства комплекса Миша Балюк, осуществлявший технадзор на строительстве НПК.

Кабинет Ванеева находился в единственном готовом здесь здании, сданном два года назад, — в административном корпусе. Там же сидели с полсотни сотрудников: аппарат управления и часть линии комплекса были уже укомплектованы; люди получали зарплату, среди них циркулировали бумаги с входящими и исходящими номерами, но главные корпуса — технологические, лабораторные — стояли даже не в отделке. И Скибин хорошо понимал Ванеева, директора предприятия, которое пока не существует и неизвестно, когда будет построено. У него был уже кабинет, секретарша, заместители, директорский оклад, но не было настоящего дела.

Ванеев писал письма во все инстанции, врвался на оперативные совещания; но он сам был руководитель и видел, что у 96-го управления и его субподрядчиков нет возможности выкроить силы и средства для НПК. Он дошел до того, что дорожил теперь даже тем немногим, что имел у себя на строительстве. С понятной в его положении мелочностью он ежедневно пересчитывал людей Толи Скибина, скандалил и жаловался на него начальнику управления, когда снимали с НПК хоть одного человека.

Скибин боялся встречаться с Ванеевым: тот держал Скибина возле себя часами, молил, жаловался, настаивал ускорить строительство; он уже перестал понимать, что прораб тут ни при чем. И Скибин, увидев, что директор входит в одни ворота, тут же выбегал в противоположные и отмахивался, поднося палец к губам, когда ему протягивали телефонную трубку, в которой издали было слышно басистое «алло!» Ванеева.

Миша Балюк недавно пришел из института, который Скибин окончил пять лет назад. По мнению Скибина, он сделал глупость: не зная стройки полез в заказчики. Скибин считал его котенком, ему легко было, когда нужно, водить Мишу за нос. Всерьез его Скибин не воспринимал и не собирался воспринимать в будущем. Толя Скибин был строитель, Миша Балюк говорил о себе то же самое; Скибин с чувством превосходства сознавал дистанцию между собой и Мишей Балюком; он знал, что как строитель всегда будет превосходить Мишу, и считал себя вправе снисходительно и добродушно третировать его.

Здесь Скибин повторял ошибку людей его круга, разделяя с ними распространенное заблуждение: он не видел и не мог предположить других путей, кроме пути совершенствования Миши как строителя, по которым Миша мог бы обойти его и оставить его шутки ему самому. Он полагал самолюбие Миши там же, где было оно и у него, и направление самолюбия Миши таким же, как и у себя; однако, если бы Скибин читал в душе Балюка, он с изумлением обнаружил бы, что зря гордится своим превосходством, что превосходства нет, как не может быть превосходства, например, метра над секундой.

Снисходительное высокомерие Скибина по отношению к себе Миша Балюк терпел, как терпят оскорбления от неразумного. С таким же успехом, казалось Мише, любой дворник мог заноситься перед ним потому только, что больше искушен в искусстве мести



тротуары. В жребии, избранном Скибиным, Миша не видел ничего привлекательного. Вечная озабоченность не самим собой, пренебрежение к тому, как одет и как выглядишь, принадлежность скорее к рабочим, чем к кругу руководства,— по мнению Миши, тут нечем было особенно гордиться.

Должность инженера ОКСа — маленького отдела, где был начальник предпенсионного возраста да два инженера: по электрике и по оборудованию,— то есть должность, заняв которую он, Миша Балюк, окажется здесь единственным собственно строителем по образованию, была как раз такой, какую он искал. Директор комплекса тоже не был строителем; Миша знал, что все вопросы строительства, а впоследствии капитальных ремонтов и расширения производства неизбежно будут отданы ему на откуп. При шефе-специалисте он будет незаменим. Кроме того, он получит большую свободу: кто сможет компетентно контролировать его? Положение представителя технадзора позволит ему общаться на довольно высоком уровне. Ответственность хоть и велика, но не настолько, чтобы не спать из-за нее ночами: в конце концов, всегда можно умыть руки и стать за спину директора. Что касается продвижения в должности, то не было сомнений, что именно Миша сменил старого начальника ОКСа; кому же еще? Уже на НПК он, Миша Балюк, окажется на виду. А дальше есть Главное управление капитального строительства министерства...

Но с самого начала Мише не повезло. Он попал на НПК как раз в затишье. Контролировать ему было почти нечего. Никто не бежал к нему с требованиями решить какой-то вопрос, что-то согласовать; ему нечего было разрешать или запрещать властью заказчика. За все время, что он был здесь, ему пришлось только дважды подписывать более или менее серьезные бумаги: какое-то техрешение, согласованное еще до него, но теперь только отпечатанное, да заявку на безобидное рационализаторское предложение мастера 21-го монтажного управления.

У Миши не оказалось деятельности, опираясь на которую он мог бы демонстрировать свою значительность. Утешало пока только то, что Ванеев, как Миша и ожидал, шагу не хотел ступить без своего инженера-строителя и просил сопровождать его на каждый обход или совешание, имея в папке копии всех протестующих и умоляющих писем, составлять которые новый инженер ОКСа оказался большим мастером, так что Ванеев скоро стал подписывать их не глядя.

При таком положении дел Мише никак не удавалось выдерживать с прорабами тон истинного заказчика. В разговорах со Скибиным он нервничал, закидывая пятерней со лба назад жидкую холеную прядь, стараясь не давать поводов для панибратства; но ему не на что было опереться, он не мог, не выглядя просто чванливым, осадить Скибина. Миша Балюк был лишен возможности хотя бы облегчить душу, высказав Скибину свое презрение и основания, по которым его презирает: беспокоясь о чистоте своей репутации, он опасался открыто пренебрегать тем что все вокруг него называли уважением к людям труда. И ему приходилось принимать снисходительно-вежливые приглашения Скибина сыграть партию на бильярде, где рабочие, приходившие перекурить, ехидно и дружно болели за своего прораба и, к досаде Балюка, сиящегося равнодушно улыбаться, ликовали при каждом его промахе.

Миша ходил вокруг стола в тесной половине вагончика, опасаясь задеть чью-нибудь грязную спецовку. Скибин видел его старания и нарочно теснил его. В прорабской Скибин всегда предлагал «уважаемому заказчику» стул, с которого только что поднялся, вызвав перед этим сиденье грязными штанами, кто-либо из каменщиков, приходивший позвонить или заглянуть в чертеж.

Миша терпел. Он поклялся покончить с этим, но для этого ему нужна была деятельность, когда он станет необходимым людям по-выше, чем Скибин.

И его ожидание перемен на НПК было таким же осатанелым, как и нетерпение Ванеева, за которым он носил папку с письмами.

Толя Скибин постоял еще на площадке, пока ему не начало сильно печь голову, и вернулся в прорабскую, где его ждал Коптев.

Заждавшийся старик живо поджал ноги, пропуская Скибина за стол, на котором стоял телефон и был открыт перекидной календарь без единой записи.

Толя сел. Стена за его спиной была увешана почетными грамотами и вымпелами — память о тех временах, когда на НПК делали большие дела. Над грамотами растянулся красный транспарант — известное на стройке изречение с широкими до неопределенности рамками толкования: «Кто не хочет работать, тот задает вопросы».

Коптев, видя, что Скибин закурил и надолго засмотрелся в окно, закашлялся, заерзал, заскрипел стулом, привлекая внимание. Дождавшись рассеянного взгляда, протянул Скибину журнал и ручку:

— Ну что, Анатолий Николаевич, пойду я, а? Все в порядке? Принимай пост, милый.

Коптев со страхом и гордостью верил, что если у него пропадет что-нибудь, то его, старика, арестуют и повезут в тюрьму; и Скибин с добродушной иронией поддерживал в Коптеве эту веру, чувствуя, что она — главная для старика зацепка за жизнь.

— Все в порядке, дед, твое счастье. Везет тебе. Но ты опять спал... Смотри, ходишь на грани...

Коптев в ужасе сжал котомку, в которой звякнули опустошенные за ночь банки и термос. Заглянувший в прорабскую крановщик, увидевший это, прыснул: ему было сорок лет и он находил, что старость не очень красит человека.

— Иди, иди, дед, — ласково сказал Скибин, расписавшись в журнале и берясь за телефон.

Коптев просиял, вскочил со стула. Подхватив полы шинели, скользнул за дверь. Звяканье банок в котомке и шуршание мягкой стариковской обуви долго еще слышалось, постепенно замирая.

Крановщик уселся на стул, покинутый Коптевым, вытянул ноги, закурил и, сложив руки на животе, стал глядеть в окно. Он был свободен до следующей машины раствора.

— Смотри, Анатолий Николаевич, заказчик что-то несется.

Действительно, Миша Балюк, откидывая на ходу со лба прядь волос и далеко отставляя при этом острый локоть, очень прямой и энергичный, быстро шел по дорожке, поднимая тучу пыли. На этот раз он даже не глядел в сторону прорабской, хотя обычно не проходил мимо: то зайдет позвонить и сидит по полчаса, поигрывая трубкой у уха, то с высокомерным видом, стараясь не замечать ехидства Скибина, задает вопросы о сроках окончания того-то и того-то, прекрасно зная, что ответа не получит, то ворвется с претензией к качеству кладки, угрожая сломать и заставить делать снова; все, как правило, кончалось партией на бильярде, которую Скибин, пропустив угрозы мимо ушей, предлагал «господину заказчику» и на которую Миша Балюк соглашался, кусая губы.

Скибин высунулся в окно вслед Мише Балюку. Пиджак на Мише развевался на ветру и хотя был еще студенческих, а может, и школьных времен, выглядел аккуратно, даже щегольски и как бы по моде. Заинтересовавшись, куда это Миша так летит, Скибин вышел из вагончика, выглянув за угол; и от неожиданности, как от сильного внезапного крика, все подпрыгнуло и покосилось на миг у него перед глазами.

Площадка возле ЭТК была полна народу. Люди группами прогуливались, чего-то ожидая; «Волги», «рафики» и «уазики» выстроились у бордюра.

Скибин увидел в толпе своего начальника участка и начальника 96-го управления Щербача, не появлявшихся здесь, на НПК, три месяца; начальников и главных инженеров управлений субподрядчиков; много было полужнакомых и вовсе незнакомых. Машины всё прибывали.

Миша Балюк уже бежал туда, где Ванеев, переходя от группы к группе, пожимал руки, улыбался и озабоченно и радостно оглядывался, заговаривая с каждым, с кем встречался глазами.

Крановщик выглянул рядом со Скибиным, дохнул ему в ухо: — Комиссия, что ли, какая, Анатолий Николаевич?

Скибин, взволновавшись, передернул плечами, чтобы он отстал; пошел к толпе чисто одетых, немного чужеродно выглядевших на фоне штабелей железобетона людей, решительно, критически и с сознанием своего на это права оглядывавших его, Скибина, корпуса.

## 2

Управляющий трестом Виталий Алексеевич Крищенко, седой, коренастый полковник запаса, сидел за столом в своем кабинете, придвинув стопку бумаг, оставленных с вечера секретаршей. Прежде чем читать, он решил еще раз вспомнить и пережить в мыслях, чтобы уже навсегда отвязаться, вчерашний разговор со своим старым другом Машуковым, с которым построил немало объектов по всей стране и который теперь работал у него начальником производственного отдела.

В узком кругу, так как дело не успело принять скандальный характер, речь шла о жалобе жены Машукова на то, что ее муж связался с молодой одинокой сотрудницей.

Глядя на изображающего вину Машукова, Крищенко испытывал затруднение. Он и сам, особенно раньше, бывал неверен жене, о чем Машуков, близкий его друг, прекрасно знал и за что никогда не осуждал Крищенко; так что в действиях Машукова Крищенко не видел греха, кроме, быть может, того, что Машуков не сумел обойтись без огласки. Однако в силу занимаемого положения Крищенко должен был строго осудить Машукова. Тот, зная, что Крищенко сам не верит своему пафосу, тем не менее молчал, понимая, что его друг обязан говорить именно так. С готовностью играя раскаяние, Машуков обещал прекратить свою связь и помириться с женой. Крищенко принял его заверение так, как и подобало ему — с видом грозной удовлетворенности, но, представив немолодую, некрасивую, вечно всем недовольную жену Машукова, понял, что лжет, что и Машуков знает, что он лжет и сам понимает это. Однако обоим сейчас пристойнее всего было именно лгать.

Эта взаимная ложь не переставала и сегодня припоминаться Крищенко. Воспоминание противно обволакивало сердце и мешало сосредоточиться на деле.

Крищенко вздохнул, взглянул на часы. Усилием воли он перестал вспоминать и начал думать о том, что сейчас придавало его жизни совершенно новый оттенок праздничного ликования. Он вот уже три месяца как бросил курить и упивался, особенно по утрам, дурманящей чистотой своего дыхания, новизной своего положения некурящего, сознанием, что от него теперь как по волшебству отступились дурные предчувствия, мучающие курильщиков, которые именно в курении, с которым не в силах расстаться, видят главную угрозу себе и тяжело это переживают.

Не переставая помнить о своем ликовании, Крищенко протянул руку к бумагам.

По всей стране стройки и промышленные предприятия его треста работали, выполняли план, брали и превышали обязательства, награждали своих людей. От инстанции к инстанции шел сюда, в трест, принимая все большие масштабы, с увеличивающимися цифрами в отчетах поток информации о работе на местах. На каждой ступени, проходя сквозь формулы подсчетов себестоимостей, работы, частоты и тяжести несчастных случаев и тому подобного, информация усреднялась, теряла конкретность. Все это анализировалось в отделах треста и, готовое для представления в виде отчета главку и выраженное в приказах на места, приносилось на утверждение Крищенко, будто он мог проверить это. Ему неизбежно приходилось доверять подписям других людей и полагаться на чутье человека, строившего тридцать лет на линии и уже десять лет занимающего главное кресло в тресте.

Бумаги, лежа стопкой на открытой золоченой папке, чуть трепетали в струе воздуха от огромного ярко-красного вентилятора. Крищенко брал их по очереди, читал и, если содержание бумаги не настораживало его, подписывал.

Взяв очередной лист и увидев на нем подпись начальника Главного управления Созинова, он внимательно сощурился и прочел. Это был очень резкий приказ, в котором говорилось, что 96-е строительное, 21-е и 24-е монтажные и 46-е электромонтажное управления, входящие в состав его треста, недопустимо затягивают строительство научно-производственного комплекса Института геологии Министерства геологии СССР; дальше следовало категорическое требование закончить строительство в декабре этого года и была ссылка на приказ министра по этому же поводу.

Теперь Крищенко вспомнил, что неделю назад, встретив его в коридоре министерства, Созинов упомянул об этом комплексе. По его словам, директор института ездил жаловаться министру, и тот в разговоре с Созиновым высказал недовольство, что Крищенко так затянул дело на НПК. Видно, после этого разговора с министром Созинов и был вынужден направить Крищенко более чем строгий приказ, и это значило, что положение серьезное.

В списке важнейших объектов треста, которые Крищенко держал в памяти и на которые только и выезжал, не было никакого подмосковного комплекса. Крищенко никогда им не занимался, ни один вопрос оттуда не доходил до него. Было, правда, несколько писем директора — Крищенко не помнил его фамилии — с просьбами ускорить дело на НПК; все они ушли к начальнику 96-го генподрядного управления Щербачу с резолюцией Крищенко разобраться и доложить о принятых мерах; сразу же ему докладывали, что работы возобновлены (у Толи Скибина, правда, было на НПК несколько оживлений), и этого оказывалось достаточно, чтобы насытить всплеск внимания к комплексу и позволить больше на него не отвлекаться.

Крищенко задумался, досадуя на начальника 96-го за то, что тот допустил дело докатиться до него, Крищенко, и заставить вникать во что-то новое, чего он не знал.

Он бессознательно загляделся на чистые хрустальные пепельницы, расставленные на длинном столе для совещаний, которые, казалось, висели в пустоте полировки, опираясь на свои отражения; снова вспомнил, что не курит и наконец-то способен преодолевать позывы к затяжке, какими раньше у него сопровождалось малейшее усилие воли или внимания, и замер, смакуя наслаждение сознавать это. Потом положил лист перед собой наискось и написал на нем поперек текста своему заместителю, чтобы по содержанию был подготовлен приказ в управления 96-е, 21-е, 24-е и 46-е; продолжая радостно думать, что теперь табачный дым даже неприятен ему, вызвал секретаршу и стал ждать, тяжело навалившись грудью

на край стола,— поза, выработанная многолетней привычкой сидя говорить с людьми.

Секретарша отворила дверь, обитую, как и панели, искусственной японской кожей вишневого цвета. Она была пожилая, высокая и статная, благообразная, в шерстяном сером костюме и мягких туфлях на низком каблуке; крашенные волосы были гладко зачесаны со лба и собраны на затылке корзинкой.

Увидев, что Крищенко навалился грудью на стол и держит в руке бумагу, она по долгому опыту поняла, что он хочет отдать эту бумагу ей, и пошла к нему; когда же, вызвав ее, он сидел прямо и руки его были пусты, она останавливалась у двери и оттуда выслушивала приказание.

— Валентина Павловна...

Крищенко, когда говорил с людьми, изнемогал от удивления и безотчетной тревоги оттого, с какой легкостью давалась ему каждая интонация. Он столько в своей жизни говорил одни и те же слова в одних и тех же ситуациях, что с годами слова стали скользить из него, не задевая сознания, и, казалось, сами знали, какими им быть и как звучать. Их самостоятельная жизнь все больше беспokoила Крищенко. Он часто останавливался, чтобы дать себе время осмыслить сказанное, и всегда с изумлением и тревогой обнаруживал, что оно именно таково, каким и должно быть.

— Валентина Павловна, это срочно в приказ. Обзвоните начальников 96-го, 21-го, 24-го и 46-го. Предупредите, что завтра в десять часов я хочу встретиться с ними на НПК; позвоните директору комплекса и предупредите его тоже... Кстати, разузнайте его имя-отчество, фамилию-то я вижу здесь.— Он кивнул на приказ.— Пожалуйста,— прибавил Крищенко, отдавая ей бумагу и продолжая тревожиться, как мало он думал сейчас о том, что говорил, но в то же время говорил так, будто тщательно взвешивал каждое слово.

Секретарша степенно кивнула; слегка склонив голову и внимательно глядя перед собой, пошла к двери, мысленно повторяя, что ей надо сделать.

Утром на следующий день Крищенко еще не решил, да и не решил, что будет делать и говорить на НПК, где он до этого никогда не был и не рассчитывал больше бывать. Он знал, что стоит ему обойти объекты, а потом сесть за один стол с теми, от кого будет зависеть дальнейшее, слова его окажутся какими нужно.

В машине он приспустил стекло и, вдыхая струи ветра, шевелившие ему волосы, жадно глядел на трепетавшую по обе стороны дороги зелень. С тех пор как он перестал курить, свежий воздух получил для него значение не сравнимой ни с чем ценности, сделался источником блаженства. Вдыхая его, Крищенко светло, радостно верил, что каждый вдох прибавляет ему здоровья, которым пополняется тело.

Подъезжая к НПК, Крищенко вздохнул, прощаясь на время со своим ликованием, и косо посмотрел на корпуса, сверкавшие обширными силикатными фасадами. Они казались издали совсем готовыми. Лишь пустота проемов да кучи грунта и мусора у оснований корпусов, из которых они вознеслись, оставив их на земле, как упавшую мантию, говорили о том, что это пока лишь коробки.

Машина затормозила на бетонной, еще не заасфальтированной площадке перед главным корпусом. Крищенко увидел ожидавших его людей.

Коренастый широкоплечий человек, переваливаясь на коротких ногах, быстро пошел к машине, сопровождаемый высоким парнем с папкой под левым локтем. В толпе перестали улыбаться и разговаривать; все смотрели на Крищенко.

Хозяин комплекса улыбался. Юноша за его спиной от нервного подъема был, наоборот, каменно серьезен.

Крищенко бережно выставил из машины на землю правую ногу, вылез, приставил к ней левую: «Волга» тут же плавно отъехала к бордюру, и он оказался лицом к лицу с подошедшей парой.

— Приветствую, Виталий Алексеевич! — басом, как и ожидал Крищенко, сказал тот, что был справа, протягивая руку. (Юноша спустил глаза и закусил губу.) — Ванеев, директор всего этого много-страдального хозяйства.

Он потряс руку Крищенко, у которого с жуткой легкостью, само собой, с улыбкой произошло:

— А! Очень рад, Виктор Николаевич. — Узнав имя и отчество директора НПК лишь сегодня утром, Крищенко выговорил его задумчиво, по-приятельски скрадывая окончания, будто был знаком с Ванеевым давно. — Отчего же многострадальное оно, ваше хозяйство, а? Что это вы вдруг так?

Миша Балюк вспыхнул, негодуя усмехнулся в сторону, сжав папку с копиями воплей Ванеева во все инстанции; после этого он застыл в позе почтительного недоверия.

Ванеев сделал жест в сторону корпуса, сказал: «Прошу» — и пошел чуть сзади, бая улыбающемуся вполборота Крищенко:

— Как же не многострадальное, Виталий Алексеевич? Не строим ведь, бросили все, понимаешь... Остается только разогнать здесь всех, и меня первого, чтобы не дармоедствовали да деньги даром не получали.

Крищенко улыбался, показывая, что принимает эти упреки, но теперь все будет по-другому.

— Будем, будем строить, Виктор Николаевич... Так!

Крищенко оглядел примолкших людей в поисках того, кто был ему нужен.

Первым подошел, строго глядя перед собой, начальник 96-го управления Григорий Павлович Щербач, за ним начальники и главные инженеры управлений субподрядчиков. Свита каждого — начальники отделов, участков, диспетчеры, снабженцы — продолжала стоять на месте. К ним могли обратиться, могли и не обратиться; и они чутко, не подавая виду, прислушивались, чтобы сразу откликнуться, если позовут, и не дать повода руководству с раздражением выкрикивать свое имя несколько раз.

Крищенко пожал подошедшим руки и стал молча оглядываться, не зная, с чего начать.

— Кто прораб здесь у генподрядчика? — неожиданно спросил он, требовательно вглядываясь в толпу.

Все начали озираться друг на друга; каждый чувствовал себя так, будто вопрос относится прямо к нему. Прошелестело:

— Прораб... Где прораб?... Прораб строителей...

Наконец кто-то с облегчением крикнул:

— Скибин с третьего участка! Вон он идет!

Все смотрели теперь с тем же нетерпением на плотно сложенного парня, быстро шедшего со стороны бытовок. Глаза у него были ярко-синие, так что их было видно издалека. От спешки он шел неловко, на ходу пухлой пятерней зачесывая за уши густые русые кудри. Вскидывая синие глаза, он всякий раз тревожно оценивал расстояние до Крищенко.

Крищенко мог забыть поздороваться на стройке с кем угодно, только не с прорабом. Толя Скибин показался ему молодым, очень молодым: он подумал, что в его время прорабы были постарше.

Скибин пожал ему руку, не поднимая глаз, с раскрасневшимся застывшим лицом, тут же отступил на шаг в сторону, замер, очень серьезный, отрешенный, но готовый мгновенно реагировать на любой вопрос.

— Ну что ж, показывай, Григорий Павлович,— сказал Крищенко и повел плечами, будто ему было все равно, что ему покажут.— Веди.

Щербач, начальник 96-го, и Ванеев с обеих сторон повели Крищенко к входу в ЭТК.

Чуть сзади, оглядываясь, словно видят все здесь впервые, пошли руководители субподрядных управлений. За ними сдвинулась и повалила, запрудив пятачок у входа, толпа тех, от кого здесь хоть что-то зависело или кто был здесь хоть в чем-то в курсе дела, кого начальники управлений, желая иметь под рукой максимум информации, пригласили с собой.

Последним, спотыкаясь о выпускники арматуры и с трудом перешагивая через траншеи, где тянулись трубы, дошел до середины и остановился, задрал голову. Остальные, окружив его, закурили и ждали. Дым от десятков сигарет тяжело, лениво пополз, раскручиваясь, к витражам и там, подхваченный сквозняками, стремительно стал вытягиваться наружу.

Запах дыма снова напомнил Крищенко, что он счастливее в толпе добровольно губящих себя людей, он даже чувствовал ревность к тем немногим, кто не курил и стоял сейчас без сигареты. Счастье поднялось в нем, заслонив все остальное.

— А почему не стеклим здание? — без раздражения, тоном экскурсанта осведомился он.— Щербач! Ты все жалуешься, что монтажники и электрики не работают здесь, держат тебя. А почему не стеклишь? Кто же тебе будет работать на таких сквозняках?

Щербач живо повернул седую голову и с напряженным вопросом в глазах и с немым требованием оправдаться во что бы то ни стало посмотрел на начальника третьего участка Ануреева; тот с таким же выражением повернулся к Скибину; и наконец все взгляды скрестились на прорабе.

— Монтажники не сдали витражи под остекление, Григорий Павлович,— ответил Скибин на вопрос Крищенко, обращаясь тем не менее к Щербачу.— Смонтировали их, правда, давно, но не сдали. Есть погнутые створки, не все приборы открывания работают... Пусть приводят в порядок, сдают, будем стеклить...

Теперь, когда Скибин отвел вопрос на монтажников, все обернулось к начальнику 24-го; напряжение, схлынувшее с лица Щербача, стянуло его лицо. Крищенко, проследив общий взгляд, тоже вопросительно сощурился на него.

Начальник 24-го круто повернулся к стоявшему за его спиной прорабу, который вел монтаж на НПК, и резко, с досадой, что тот не защитил его от вопроса, вполголоса спросил:

— В чем дело?

— Не знаю, чего они. Все готово уже давно. Пусть стеклят, ничто им не мешает.

Маленький и худой, нервный Ануреев, блистая серыми глазами на загорелом до черноты лице, выдвинулся из толпы, спрятав дымящуюся сигарету по-школьному в рукав пиджака.

— Вы сдайте! Я еще от вас ничего не принимал и не знаю, готово или нет! Пусть они покажут бумагу, что сдали! — запальчиво ответил Ануреев, надувая на шее крупные вены.

— Бумагу... — Начальник 24-го усмехнулся, махнул рукой.— Скажите лучше, что вы просто не хотите работать! Бумагу... Сдать немед-

ленно! — повысив голос, приказал он за спину. — Сегодня же сдать! И посмотрим, как они тогда будут стеклить.

— Сегодня сдадим...

Крищенко недослушал, пошел дальше. Спор тут же с облегчением прекратили. Каждый замечал, куда смотрит Крищенко, чтобы предугадать ход его мыслей.

Все прекрасно понимали причину застоя на НПК. Ни у 96-го, ни у его субподрядчиков просто не хватало сил для этой стройки. Понимая это, никто не ломал здесь копий; но теперь, когда все вынуждены были смотреть на дело глазами Крищенко, каждый искал и выдвигал любые причины, кроме единственно настоящей. Однако эта причина безмолвно подразумевалась, и Крищенко видел ее не хуже других.

— Все начато — и ничего не закончено. В чем дело? — медленно спросил Крищенко, глядя на идущие прерывистыми кусками трубопроводы, на зияющие на стенах отверстия под них, на лежащее кучами несмонтированное оборудование. — Ну что мешало домонтировать здесь? Или здесь? Что мешало? Не пойму, — пожал он плечами, прекрасно все понимая. — Это что за отверстие? Ввод кабеля, надо полагать, потому что здесь, если не ошибаюсь, подстанция... Ну? Что ж не прокладываем этот кабель, не вводим, траншею не засыпаем, не бетонируем ввод? Что такое, товарищи?

Главный инженер 46-го электромонтажного управления, которому быстро что-то шепнули на ухо, вынул изо рта папиросу:

— Кабеля этого нет, Виталий Алексеевич. Этот кабель — поставка заказчика, мы просим его полгода...

— Кабель лежит на складе института в Москве уже год! — Миша Балюк стал рыться в папке, довольный, что может подать полный голос в такой солидной компании. — Выписывайте, получайте и прокладывайте на здоровье.

— Нет, минутку... вы передайте его нам. Может, вы предложите за ним в Сибирь ехать? Вы обязаны передать! Ясно?

— Нет, берите! Вам же работать, в конце концов. Может, за вас и проложить его? У вас просто людей нет, работать нечем, так и скажите...

— Мы-то работаем, не беспокойтесь!

— Работаете вы...

Крищенко слушал все это краем уха. Он знал, что не в состоянии проверить то, что говорилось, и найти виноватых; для этого потребовалась бы работа большой комиссии, а он не собирался ни учреждать, ни заменять ее. Он брел за Ваневым и Щербачом, аккуратно огибая углы, брезгливо заглядывая в проемы; кряхтя, взбирался по временным деревянным лестницам и нагибался под трубопроводами; надолго останавливался, чтобы отряхнуться, когда задевал что-нибудь рукавом или штаниной; и, потоптавшись перед пожарной лестницей, ведущей на крышу ЭТК, раздумал лезть туда, чтобы осмотреть кровлю.

Описав по НПК круг, Крищенко остановился.

— Ну что, товарищи, у вас не так уж и много работы осталось. Щербач! Григорий Павлович! Что вы копаетесь? Делать вам больше нечего? Давно пора развязать себе здесь руки.

— Действительно! — ликующе пробасил Ванев. — Я же говорю: работы осталось — кот заплакал. Ей-богу, товарищи, надо кончать, сколько можно? Виталий Алексеевич! Собраться с силами, понимаешь... а?

Крищенко кивнул с улыбкой, означающей, что все так и будет, как говорит Ванев. Само собой у него сказалось с негой снисходительной властности:

— Э-э-э... Виктор Николаевич, есть тут у вас хоть одно готовое помещение, четыре стены и крыша, чтобы нам присесть и все обсу-



дить? Григорий Павлович! — весело позвал он Щербача. — Ты хоть что-нибудь построил ему?

Ванеев показал рукой:

— Ко мне прошу. Мой кабинет в административном корпусе.

Крищенко рассмеялся.

— Ну Щербач! Знает, что в первую очередь заказчику нужно: кабинет! Уважает вас, Виктор Николаевич.

— И на том спасибо, Виталий Алексеевич.

Подхватив смех, все пошли за Ванеевым в административный корпус. Было ясно, что Крищенко признал виноватыми всех — значит, никого; вернее, не считает нужным искать виноватых.

Проходя через приемную с дубовыми панелями и окнами во всю стену, на которых от сквозняка чуть колыхались белые и нежные, как женское белье, шторы, Крищенко глянул на красивую, изящно одетую и причесанную молодую секретаршу Ванеева, улыбающуюся гостям и гибкими руками перебирающую бумаги; и отчего-то при этом снова ощутил прилив сладостного ликования, что не курит и не губит больше свое здоровье.

За столом в кабинете Ванеева рассаживались весело. Уже покрывшись новой задачей, готовые принять ее, люди смаковали последние минуты перед тем, как она станет перед ними вплотную.

На длинный стол легли блокноты, авторучки, папки, листы бумаги; кисти рук, оправленные в манжеты сорочек, торчащие без всяких манжет из рукавов курток, замершие выжидающе или выбивающие пальцами дробь, отразились в полировке.

Крищенко сел рядом с Ванеевым. Он навалился грудью на край стола, положив руки перед собой и разглядывая их. Он ждал, пока все наберутся внимания, ничего не продумывая, но привычно чувствуя себя готовым говорить. Не глядя ни на кого, поднял голову.

— А кто будет вести протокол? Кто-то от заказчика, я думаю?

— Балюк! — рявкнул Ванеев, отваливаясь на спинку стула. — Давай-ка это... протокол веди!

Крищенко без выражения посмотрел на Мишу Балюка, начавшего рыться в папке в поисках чистого листа бумаги, и заговорил, снова уставившись на свои руки:

— Так, товарищи... У меня есть приказ начальника Главного управления Созинова Николая Владимировича. На основании этого приказа вы — не знаю, получили уже или нет, но получите приказ по тресту: закончить все работы и сдать в эксплуатацию... — Крищенко нахмурился, вспоминая название; услышав подсказку Ванеева, поблагодарил кивком. — Сдать в эксплуатацию научно-производственный комплекс, да.

— Ох, мужики, давно пора! — потер руки Ванеев.

— Приказ очень серьезный, товарищи, написан он на основании приказа министра. И я ни от кого не приму никаких возражений. То, что здесь творится сейчас, просто безобразия! — повысил голос Крищенко, произнеся в слове «безобразия» «э» вместо «е». — Запишите! — Он покосился на Мишу Балюка, недовольный, что его слова, которые ему было очень важно дать воспринять окружающим со всей ответственностью, будет записывать этот юнец. — Запишите: всем начальникам управлений в двухдневный срок представить мне графики своих работ по комплексу, имея в виду, что срок сдачи — декабрь этого года. — Он насмешливо подчеркнул «этого» и выдержал паузу. — Щербачу: увязать графики свои и субподрядчиков перед тем, как положить мне на стол. Графики должны быть подписаны всеми сторонами, чтобы потом не было, как это обычно у вас: кто-то кого-то держит и так далее. Я сегодня наслушался, хватит. Согласовывайте свои действия и работайте... Ну, разумеется, товарищи, надо вам в своих коллективах пересмотреть социалистические обязательства,

взять повышенные, включить туда НПК. Проведите собрания, мобилируйте людей...

Миша Балюк быстро дописывал слова Крищенко о графиках, склонив голову набок. Холеные волосы свесились со лба и широко распустились петушиным крылом.

— Далее: также в двухдневный срок определитесь, что из материалов и механизмов вам нужно под эти графики. Дадите мне тоже, буду помогать.

— Где взять людей, Виталий Алексеевич?— Щербач, покраснев от натуги, выглянул из ряда.— Мне совершенно неоткуда взять. Вы же знаете...

— Бросьте, Григорий Павлович,— неторопливо перебил его Крищенко.— У вас всегда нет людей. А я говорю вам, что они у вас даже лишние. Другое дело — как вы их используете, какой отдачи от них добиваетесь. Подумайте лучше над этим.

Крищенко знал, что не ошибется, сказав так. Любого руководителя, особенно в строительстве, без риска ошибиться можно упрекнуть, что он недостаточно полно и целесообразно использует своих людей: всегда есть разница между реальным и идеальным.

— Далее,— продолжал Крищенко, не ожидая возражений Щербача, которых и не последовало,— я вижу, что вы здесь не понимаете и не хотите понимать друг друга. Строители против монтажников, электрики против заказчика — вот как вы себя ведете! Больше так не будет, уверяю вас. Я не хочу слышать, что кто-то кому-то чего-то не сдал под монтаж, под отделку и так далее. Запишите: для оперативного решения всех вопросов и для увязки технологических взаимоотношений сторон еженедельно — определитесь, когда — проводить на объекте совещания на уровне руководства управления; потом, быть может, придется вам даже ежедневно собираться. Копии всех протоколов этих совещаний — ко мне, я буду смотреть, работаете вы или...

— Конечно, мужики! Это будет дело! А то ведь вас не соберешь, ей-богу! Бегаешь за каждым.

Крищенко милостиво кивнул Ванееву.

— Ничего, теперь они будут за вами бегать... Ну, все, товарищи. Виктор Николаевич, копию этого протокола, подписанную всеми, мне прошу прислать.

— Балюк! Отпечатай, милый, немедленно да отвези сразу же. Мою машину возьмешь.

Миша кивнул, довольный, что его фамилия произносится здесь так часто. Бережно снял со стола черновик протокола и понес в машбюро.

Крищенко с Ванеевым еще о чем-то говорили вполголоса, любезно улыбаясь друг другу, а все сидящие, казалось, забыли о них. Связь между Крищенко и ими оборвалась в тот миг, когда Крищенко, сказав «все» и выслушав согласную тишину, убедился, что люди озабочены исходом дела на НПК в той же степени, что и он сам; и это была та единственная ясность, какой он мог и хотел здесь добиться.

По дороге в прорабскую Толе Скибину попался Балюк. Он был явно не расположен беседовать. Толя остановил его, схватив за локоть с привычной бесцеремонностью.

— Господин заказчик, партию на бильярде?

— Нет уж, Анатолий Николаевич! — злорадно и высокомерно ответил Балюк, вырвав локоть.— Кончился твой бильярд, теперь пахать будешь.

— Ох-ох! Деловой! Ты смотри! Растешь на глазах.

Мишу бросило в краску. Но сейчас он нашел в себе мужество независимо пройти мимо Скибина. На шоссе его ждала «Волга» Ванеева.

Синий «график» начальника третьего участка Ануреева, раскачиваясь на ухабах, въехал в ворота с вывеской участка над ними; по середине площадки, заваленной штабелями досок, резко затормозил, навалившись на передние колеса.

Сторож, зажмурившись от солнца, вышел из будки, ожидая, не скажет ли чего начальник. Но Ануреев, спрыгнув с сиденья и приняв от шофера папку, пронесся мимо, едва кивнув. Сторож заложил в рот длинный мундштук с дымящейся сигаретой и смотрел, как Ануреев, ссутулившись, отчаянно пиджак натянул на узкой худой спине, бежал по тропинке к конторе участка — дощатому барaku в углу площадки под сенью маленьких черемух.

Когда Ануреев поднимался по ступеням, грохоча ботинками, из-под крыльца боком выскочила заспанная жирная дворняга и боком же, кисло оглядываясь, затрусила прочь.

— Развели нечисть! — проходя коридором, крикнул Ануреев нормировщице, которая приютила эту собаку и кормила ее по очереди со сторожем. — Чтобы завтра же не было!

Нормировщица в своей комнатухе трещала арифмометром, не обращая внимания. Ануреев каждый день грозил уничтожить пса, но у него не доходили руки, и все знали, что не дойдут.

Он отпер дверь кабинета, оклеенного обоями по фанере, сел за стол, закурил. Маленькая душная комната сразу наполнилась дымом, от которого у самого Ануреева начало резать глаза. «Надо бросать, ну его к черту», — в который раз подумал Ануреев, приходя, как всегда, в состоянии лихорадочной паники при мысли, что выкуривает по две с половиной пачки в день; но тут же забылся, глянув на свою папку, где лежал только что выданный ему график окончания работ по научно-производственному комплексу Ванеева. Бумажка эта была уже утверждена трестом и имела силу закона.

Ануреев вытянул график из папки, развернул его на столе и склонился над ним, боясь начать читать подробно.

У монтажников дела на НПК шли к концу. У Ануреева же оставалось много мелочей по доводке конструкций после монтажа и дальше — вся отделка. Его сроки стояли в самом конце. Он оказался последним, как и всегда.

Работы должны были начаться немедленно, уже с завтрашнего дня. Ануреев понимал, что для успеха дела надо разворачиваться на НПК именно с той стремительностью, какой требовал от него график. Он соглашался с этим, но понимал и то, что от него требуют невозможного.

Все произошло неожиданно. К отделке на НПК не готовились. Перевезти с других объектов на автобусах людей и высадить их на НПК было ничто; нужно было стянуть туда бытовки и механизмы, завезти материалы, оборудовать новые склады, организовать подключение и наладку механизмов, смонтировать километры лесов, чтобы дать людям возможность подняться к работе. График отводил на это два дня... Ну ладно, допустим, что это сделали, — где же все-таки набрать людей?

Объекты участка были разбросаны по всему Подмосковию. Около четверти их стояло без людей, ожидая своей очереди. Отделочников не хватало.

Анурееву предстояло немедленно, преодолевая свою и чужую досаду, перераспределить объекты по важности, сломать работу участка. Он не видел никакой возможности выполнить работы по графику, который он тем не менее безропотно подписал вслед за всеми. С бесконечным, осатанелым упорством он думал и думал именно о том, как сделать то, во что не верил.

Он не заметил, как новая сигарета, размятая, оказалась у него во рту и уже дымилась.

— Маша! — крикнул он нормировщице. — Принеси-ка пообъектную расстановку, самую последнюю!

Маша появилась на пороге с листом бумаги, положила на стол. Ануреев открыл окно и вернулся к графику.

Карандашом он отметил объекты, безусловно вводные в этом году. Людей оттуда трогать было нельзя, разве только снять ненадолго в самом конце, чтобы быстро подсечь на НПК все хвосты. Потом пошел вычеркивать: несколько жилых домов, которые не рассчитывал сдать в этом году и на которых работал, чтобы поправить дело с планом, выхватывая, как часто водится, основные крупные объемы; весь капитальный ремонт, кроме школ и пионерлагерей; столовую и магазин одного не очень торопящегося заказчика; еще какую-то мелочь. Но даже не подсчитав освободившихся людей, Ануреев увидел, что не вышел из положения. Больше из списка нечего было вычеркивать. За все оставшиеся объекты он отвечал так же строго, как и за НПК.

Ануреев застыл над графиком, механически доставая из пачки новую сигарету. Он продолжал настырно, временами впадая в тупое забытие и снова встряхиваясь, думать о том, как сделать это невозможное. После каждого провала в забытие мысль настойчиво возвращалась к признанию тщеты всяких раздумий на этот счет, и каждый раз Ануреев инстинктивно, как отдергивают руку от огня, отводил ее подальше от неверия и держал, изнемогая, пока она снова не срывалась. Это была мучительная игра. У строителей на линии рано или поздно вырабатывается такая привычка смотреть мимо сомнений, даже если они застилают взгляд.

Ануреев продолжал насиловать воображение до тех пор, пока все не перемололось у него в голове и не осталось ни одной отчетливой мысли; его сосредоточенность потеряла конкретность; он больше не мог думать, он мог только стремиться. И он со стоном прикрыл глаза.

В ворота въехал самосвал. Ануреев в окошко увидел, что из кабины высочили и пошли к конторе прорабы Толя Скибин и Женя Елхимов.

Ануреев, когда они вошли, поднял худое, похожее на латунную чеканку лицо, и в его взгляде не сказалось, что он видит людей, — явилось нечто, что должно было помочь ему раздвинуть круг мыслей, принять на себя и разделить с ним ответственность, дать излить потерявшую направление сосредоточенность.

Прорабы уже усаживались напротив, доставая сигареты. Приподнявшись со стула, Ануреев пожал им руки и, не зная, с чего начать, ждал, пока они закурят.

Толя Скибин, которому сразу передалась озабоченность Ануреева, ерзал на стуле, делая короткие частые затыжки. Он был с Ануреевым на НПК во время обхода Крищенко и знал, о чем пойдет речь. Женя Елхимов ждал спокойно, скрестив руки на груди, время от времени длинными пальцами вынимая изо рта сигарету. Когда он разглядывал пылающий ее кончик и, любуясь, дул на него, казалось, что он думает и заботится только об этом.

Скибин протянул руку к графику.

— Что там нарисовали, Аркадий Михайлович? Не тяни.

Скибин говорил Анурееву «ты». Они дружили, несмотря на разницу в возрасте, потому что хорошо понимали друг друга на производстве. Это был контакт без малейшего искрения; задачи двигались от Ануреева к Скибину легко, будто перетекая, не встречая сопротивления, и Ануреев был благодарен Скибину за это.

С Женей Елхимовым Анурееву было так же трудно, как было легко со Скибиным. Женя всегда старался подчеркнуть в отношениях с Ануреевым «вы» — как знак того, что не желает брать на себя никаких интимных обязательств и согласен быть связанным с началь-

ником участка только должностными обязанностями, без оков еще и чисто человеческого сочувствия тому, кто ставит задачу и сам обременен ею.

Толе Скибину, знавшему Женю с первого курса института, было стыдно и непонятно недавно появившееся в друге настырное равнодушие к попыткам Ануреева в таких обстоятельствах, как сейчас, искать у прорабов в первую очередь именно сочувствия, без которого тот не мог поделиться с ними ответственностью так полно, чтобы быть спокойным за исход дела. Ведь задача, которую ставил Ануреев, была на всех одна, и справедливость требовала признать это. Но Женя брал на себя только то малое, что может взять должностное лицо. Остальное он оставлял Анурееву. Бессильная обида в глазах Ануреева, не имеющая формального повода быть высказанной, наполняла Скибина чувством вины.

Скибин с подчеркнутой готовностью взял график из-под руки Ануреева и начал читать, слушая краем уха.

— Это график окончания работ по НПК. Заставляют сдать в декабре, никуда не денешься. Давайте теперь думать, что будем делать. Вам обоим придется садиться на комплекс. Вечером все идем к Щербачу, будут заслушивать нас. До вечера надо продумать, что нам нужно — по людям, по материалам, по механизмам... Нужно знать твердо, что просить, знать сейчас же. Работку нам подкинули, конечно... Но никаких отговорок слушать не будут, дело, чувствую, серьезное.

Скибин внимательно читал график, водя пальцем по строкам. Женя Елхимов заглянул через его плечо. В его улыбке Анурееву, настороженно следившему за Женей, почудилось злорадство.

— Я говорю,— пояснил Женя в ответ на упорный взгляд Ануреева,— я говорю, Аркадий Михайлович, что вы сами соглашаетесь с невозможным и нас заставляете соглашаться. Это уже в порядке вещей — ездить на нас, даже не спрашивая.

Толя Скибин вздохнул от муки за Ануреева. Тот не мог ни возмутиться, ни даже обидеться. Слишком многое зависело от прорабов, слишком невелика была его власть над ними, он не мог решить все категорическим приказом; он должен был услышать не формальное, подневольное, а сочувственное «да», а имел всего-то права потребовать только первого, о втором же мог только безмолвно просить, держа обиду и возмущение при себе. Продолжая глядеть умоляюще и непреклонно, Ануреев будто втирал слово за словом в переносицу Женю:

— А я считаю, что график, хотя и очень напряженный, конечно, но... вполне реальный.

— Да? — улыбнулся Женя, как ребенку.

Скибин глянул на Ануреева и продолжал читать, чтобы поскорее составить себе окончательное мнение и ввязаться в спор на стороне Ануреева. Но у того уже сдали нервы. Подгоняемый страхом, что ему так долго сопротивляются и его ответственность еще не разделена на всех и душит его одного, Ануреев закричал, надувая на шее крупные вены:

— Да! И нечего улыбаться! Ты еще не думал, как сделать, а уже... становишься в позу... передо мной! Приказ такой же для меня, как и для тебя, понял? Иди к Крищенко и стань в позу перед ним! Почему я должен тебя уговаривать? Этот график не моя прихоть, в конце концов! Не сделаем мы — сделают другие, а нас разгонят к...! — орал Ануреев фальцетом, брызжа слюной и матерясь.

Из комнаты нормировщиков отчаянно заголосила Маша:

— Товарищи, имейте совесть! Мне же все слышно!

У Ануреева, когда он взял сигарету, дрожали пальцы. Он помолчал, чтобы сошла с души ярость, взял ручку и лист бумаги. Прорабы выложили на стол и открыли блокноты. Ануреев вздохнул, выпустив столб дыма.

— Так... Я не знаю, о чем мы спорим. Нам надо сделать только то, что всегда делаем: начать да кончить. А разговоры... Ладно... Теперь еще раз считаем людей...

Григорий Павлович Щербач сидел за своим рабочим столом, расположенным не обычно по-кабинетному, в торце стола для заседаний, а особняком в углу у окна. Рассеянно поглядывая на входящих, Щербач читал бумаги, накопившиеся за день, и делал пометки в календаре. Графин с газированной водой стоял по правую руку. Щербач пил ее почти непрерывно, так что секретарша только успевала наполнять графин из сатуратора.

Щербач был высок и тучен, но рыхл; в нем очень заметно было нездоровье, постоянно плохое самочувствие, к которому он просто притерпелся. Когда вечером после работы он спускался по лестнице, толстыми негнушимися ногами нащупывая ступени и отчаянно хватаясь за перила, потом, косолапя и не размахивая руками, шаркал по полу вестибюля, наполняя его звуками страдальческого дыхания болеющей плоти, потом садился в машину, с трудом сгибаясь, цепляясь мясистыми, но немощными руками за дверцу, было видно, что он болен и стар до крайности, хотя был моложе многих, кто еще сохранил здоровье и прекрасно выглядел.

Он долго работал прорабом. С сорока лет началась его запоздалая карьера, о которой он уже и не думал всерьез. И как только он сел в кресло, недуги полезли из него один за другим и мгновенно составили его. Здоровье осталось на линии. Она слишком долго воспитывала Щербача, чтобы отпустить его с миром. Даже теперь, через десять лет, он в манере мыслить, анализировать, принимать решения и говорить с людьми продолжал оставаться грубоватым, бесцеремонным, нахрапистым линейным работником, и это вредило ему как администратору, каковым он должен был быть в силу занимаемой должности.

Он знал, что болен, изношен, но ему и в голову не приходило сменить работу на более щадящую. Он слишком много умел в строительстве, так что больше ничего не умел. Он не научился отдыхать, расслабляться в хобби, устраиваться в жизни иначе, чем сама она ему диктовала; он не представлял, откуда у людей берется время научиться всему этому. И даже теперь, видя, как иссыкает в нем последнее здоровье, и думая, что бы предпринять, чтобы пожить подольше, Щербач покорно сознавал, что и об этом он думать не научился. Каждый день он утром поднимался, брел к машине, ехал на работу и, захваченный там привычной игрой разнообразных, не дающих опомниться напряжений воли, покорно терпел недомогание, никогда не отступавшее от него.

Громко поздоровавшись, вошел Крохин, заместитель Щербача, невысокий, плотный, с бычьей шеей и румяными, гладко выбритыми щеками. Он сел на стул, с трудом заложив ногу на ногу — брюки на нем от этого сильно натянулись, — и стал ждать, когда дело тут коснется его, время от времени закидывая от скуки голову и сквозь золотые очки разглядывая потолок, потом сонно озирался и, не найдя для себя ничего интересного, снова возводил глаза к потолку.

Вошел Ануреев, серьезно и нервно блестя серыми глазами. За ним Толя Скибин и Женя Елхимов. Усевшись, они быстро пожаловались соседям.

Увидев Ануреева, бывшего сегодня гвоздем программы, Щербач встал, захватив с собой графин, пепельницу и сигареты, и уселся во главе стола, навалившись на него локтями и свесив кисти к животу. Дым от его сигареты привел в ужас румяного некурящего Крохина. Щербач несколько секунд смотрел, как тот морщится, не смея протестовать. Вздохнул с улыбкой:

— Да пересядь ты к окну, Вячеслав Иванович, ради бога!

Ануреев спросил, доставая пачку:

— Разрешите мне тоже, Григорий Павлович?

Щербач скосил на него глаза, обнажив тусклые белки в сетке сосудов, подумал.

— Не лопнешь,— решил он наконец, затягиваясь и не смущаясь тем, что сам курит.— Разреши тебе, так все захотят, и будет курилка здесь, а не оперативное совещание.

Все коротко расхохотались над Ануреевым, и сам он состроил себе рожу, пряча пачку в карман. На Щербача за такие выходы не обижались, потому что любили его, даже самую его грубость.

— Аркадий Михайлович,— вежливо, будто только что не оборвал Ануреева, обратился к нему Щербач,— будем начинать. Так, товарищи!..— Щербач оглядел каждого в упор, хмураясь от накатившей вдруг дурноты.— Ануреев вот подтвердит вам, что дело серьезное. Мы год не работали на НПК, выкручивались как могли, это сходило нам с рук, но... лавочка закрылась.

— Мы не работали там потому, что у нас не было для этого сил,— заметил Ануреев, воспользовавшись тем, что одышка заставила Щербача на секунду примолкнуть.— Мы нахватили слишком много объектов, настроили коробок и теперь разрываемся с отделкой на части.

— Мы не хватали, нам их, мягко говоря, совали насильно,— перебил Ануреева Щербач,— но какое кому сейчас до этого дело, Аркадий? Ведь и трест хорошо знал, что мы ни черта там не делаем, и смотрел на это сквозь пальцы. Теперь заставляют сдавать, вот и будем сдавать. Короче, товарищи: слушаем Ануреева! Участок его, львиная доля работ там его, вот и докладывай, Ануреев, как ты будешь выполнять график, что тебе для этого нужно. Я просил подготовиться как следует... Так! Главный механик! Энергетик! Снабжение! Диспетчера! Кончайте там шептаться, слушайте, вас это очень и очень касается! Вячеслав Иванович,— обратился Щербач к Крохину, оторвав его от созерцания медленно вращающегося вентилятора на потолке.— Слушай как следует, тебе придется непосредственно возглавить всю работу на НПК. Будешь сидеть там безвылазно за старшего прораба... Начинай, Ануреев.

— Положение очень тяжелое, Григорий Павлович...— Ануреев встал с листом бумаги в руке.

Щербач, отхлебнув из стакана, проворчал:

— Если ты пришел плакать, то лучше уходи отсюда к... Что положение тяжелое, мне и уборщица скажет, посади ее в машину да прокати по НПК. Давай дальше. И не отвлекайся, будь добр.

— Положение очень тяжелое,— зло и настырно повторил Ануреев,— и вы, Григорий Павлович, не отмахивайтесь, пожалуйста. Значит, так: вот список всех моих объектов, которые в отделке. Я вычеркнул те, откуда придется совсем убирать людей, чтобы перевести их на комплекс. Утвердите, чтобы после Ануреева не били по голове и не кричали, что он срывает людей, бросает объекты...

Щербач, которому сейчас важнее всего было не дать Анурееву повода признать задачу невыполнимой, взял у него из рук бумагу и положил на стол не читая, придавив ее локтем.

— Считай, что это решено. Кстати, как вас ни бьют по головам, ни одного пока не убили... Дальше.

— Попутно замечу, что, связав на НПК до двухсот человек, которые сейчас стоят на выполнении больших, объемных работ, а на НПК будут мельчить и затыкать дыры, мы потеряем за эти два квартала около ста тысяч. Поэтому прошу сразу откорректировать мне план на эту сумму. Соответственно, и выработка...

Щербач прищурился.

— А что, на комплексе люди бесплатно будут работать? Ванеев тебе разве ничего не будет платить?

— Почему?.. Но, сами понимаете, работая в тесноте и, что скры-

вать, из-за спешки кое-где поперек технологии, мы не сможем обеспечить плановую выработку. Штурм — это всегда убытки.

— Ну это уж черта с два! Организовывай как следует, думай, крутись — и выполняй план. Ишь ты! Легко же вы забываете, что государственный план — это закон. Это потому, что вас в тюрьму не сажают за нарушение плана, как за нарушение других законов... А пора бы сажать! И вообще, Аркадий Михайлович, ты очень долго подступаешься к делу. Измором нас все равно не возьмешь. Давай-ка дальше, да покороче, а то к утру не выйдем отсюда.

— Но... — вскинулся Ануреев.

— Дальше!

— Гм... Людей необходимое количество мы набираем. Не хватает плотников. Их еще к тем, что есть, нужно двадцать человек, и немедленно: все начинается с плотников. И помочь просим с бетонщиками. Человек тридцать. Вот расчеты по трудозатратам.

Ануреев протянул Щербачу еще лист, который Щербач, тоже не глядя, положил себе под локоть.

— Ч-ч-черт! Федоров! — Он нажал клавишу отдела кадров на селекторе.

— Слушаю, Григорий Павлович, — прохрипело в ответ.

— Список всех плотников и бетонщиков и как они расставлены по участкам — завтра утром ко мне... Дальше, Ануреев. С людьми буду помогать.

— Так, это что касается рабочей силы, — с тревогой, что Щербач не оценит его трудностей в полной мере, раз так легко расправляется с ними, продолжал Ануреев, настороженно стреляя взглядом по сторонам. — Хотя даже если у нас все это будет... я не знаю... как мы будем там...

— А ну-ка, Аркадий Михайлович, выйди отсюда! — закричал Щербач. — Он не знает! Каков! Выйди, подумай за дверь, через пять минут доложишь, что надумал... Он не знает! На оперативное совещание пришел!

— Ну и выйду! Что вы, в самом деле, не даете мне даже...

— Пожаловаться?

— Да не жалуясь я. Вот график какой-то умник составил: малярка сразу за штукатуркой, тут рядом и полы сунули, когда в это время по ним штукатурки ходить должны... Штукатурки ведь не по воздуху летают! Или, кто график составлял, думает, что раствор за час твердеет? Сделал полы — и сразу ходи? А высыхание штукатурки перед маляркой? По мокрому красить?

— Это уж крутись, на то тебе и голова. Что за детские вопросы? Вон рядом с тобой главный механик сидит; сушите поверхности, пожалуйте! Полы застилайте, добавляйте в раствор ускорители твердения; рассекайте работы на участки: там одно, здесь другое... Все в ваших руках, надо только организовать как следует.

— Здания во многом не готовы в своей конструктивной части для того, чтобы начинать и вести там отделочные работы! — в отчаянии оттого, что все попытки оставить себе пути к отступлению безуспешны, выкрикнул Ануреев. — Кое-где даже кладка не закончена. Вместо подготовок под полы — грунт, потому что не проложены трубы. А монтаж! Сколько еще монтировать? А мы жди?

— Работай пока где можно. Что, совершенно негде? Не рассказывай сказки, не маленькие... С монтажом Крищенко прижмет — сделают быстро. Дальше.

Уже без блеска в глазах Ануреев уныло продолжал:

— И последнее. Материалы. Я связывался с базой. Столько материалов, в таких количествах и в такие сроки, как нам нужно, они не смогут дать. И они правы. Откуда им было знать, что дело так повернется? Мы же не заказывали на комплекс ничего.



— Знаю. Тут тяжелее, верно... Но Крищенко обещал помочь. Дайте мне список, что вам нужно. Завтра я пойду с ним в трест... Так, что еще?

Ануреев помолчал. Он знал, что сейчас, сказав «все», он распишется в том, что признает задачу выполнимой, соглашается с ней и готов отвечать. Переглянувшись со Скибиным, Ануреев широко со вздохом огляделся. Глаза его снова заблистали. Встретившись взглядом со Щербачом, он опустил голову.

— Все у меня.

— Так, отлично!— Щербач прихлопнул по столу пухлой ладонью.— У тебя там будут Елхимов со Скибиным?

— Да.

— Хорошо. Смотри, ребят куда больше не дергать, пусть сидят на НПК. Завтра у вас там должно работать не менее...— он заглянул в график,— не менее ста двадцати человек.

— Но как же за день стянуть туда такую прорву, Григорий Павлович?

— Завтра с утра весь транспорт — в твое распоряжение. Диспетчера, слышите? Перевози все — и бегом развертывай работы. Нам сейчас не дни, а часы и минуты считать придется... Так! Свободны, товарищи!

Все начали вставать, отодвигать стулья. Щербач медленно, отдуваясь и трясая кадыком,пил воду и смотрел, как они уходят. Теперь от них зависело все. Он мог только ругать, хвалить, наказывать и заменять одного другим.

Домой Ануреев добрался к девяти часам. Сбросив туфли, он в носках прошел в кухню и молча уселся на табурет, уставившись в одну точку. Жена, проходя с тарелкой, задела его. Ануреев механически подвинулся вместе с табуретом, не глядя на нее; подпер голову ладонью и опять уставился в одну точку.

— Что так поздно? — спросила жена без всякой тревоги, как привыкла спрашивать каждый вечер.

— Почему поздно? Нормально,— не поднимая глаз, ответил Ануреев так же привычно.— Пойду-ка сполоснусь пока. Я скоро.

После ужина он проверил, как сын выучил уроки; послал его спать и уселся перед телевизором в кресле. Шел фильм, но Ануреев не мог увлечься и начать смотреть.

Он не переставал чувствовать тяжесть того, что предстоит ему завтра. Так было каждый вечер: завтра, еще не наставшее, звало его, наполняя тревожным ожиданием; Ануреев не мог заставить себя не думать о нем, как ни внушал себе, что сейчас все равно нельзя начать действовать, а если уж ждать, то лучше ждать спокойно.

Ануреев привык к этому. Изредка ему приходило в голову, что есть люди, для которых дела службы перестают существовать с последним звонком, и завтра не существует для них, пока оно не настало. Это состояние Ануреев мог только теоретически вычислить и предположить в других людях как противоположное его собственному; он не завидовал и не стремился достичь такого состояния — он не верил в возможность существования его для себя и думал о нем, как думает атеист о христианском рае: там, конечно, хорошо, да ведь рая нет.

Жизнь была заполнена так, что вряд ли можно было добавить в нее что-то еще. Ануреев привык чувствовать, что живет единственно так, как может и хочет. Его жизнь стояла на прочных рельсах. Ануреев вполне доверялся их прочности, не задумываясь, куда они приведут, и ощущал мир как нечто огромное вокруг себя, на что можно спокойно положиться; сам же он был сумма ощущений, которые тянулись от мира и скрещивались в точке, называемой Ануреевым. Он не различал себя в мире, да и не очень старался различать. Жизнь несла его. Ануреев был постоянно сосредоточен на ее зовах, на зада-

чах, которые она в изобилии предлагала ему и решения которых настойчиво требовала. Он был издерган, замотан; дела не давали передохнуть; и все же это был покой. Человек покоен, пока не стал для себя объектом пристального внимания.

Но иногда накатывало отчаяние, причину которого Анурееву пока не дано было распознать. Веяло ветром неведомых пространств — сладким, пряным, несущим неясную угрозу; это были не земные пространства, это были еще не открытые Ануреевым пространства его души. Когда он догадывался об их существовании, он приходил в ужас, хотя не знал, почему должен бояться. В такие минуты мир вокруг начинал казаться маленьким, путь, по которому несла Ануреева жизнь, — замкнутым кругом. Душа же набухала, принимала устрашающие размеры, заслоняла маленький мир; она чего-то требовала, куда-то звала; Ануреев не понимал, чего она хочет от него; это были минуты смутного и тоскливого недовольства собой, жалости к себе.

Ануреев перебирал причины, могущие, по его разумению, сделать человека несчастным, недовольным собой; ничего такого он не видел в себе. Что-то было в чувстве, что не доходило пока до разума. И Ануреев, отчаявшись понять и боясь понять, в такие минуты уповал на то, что в конце концов завтрашний день, обрушившись на него, вновь сомнет и сожмет душу до обычных пределов и покажет мир снова огромным, а дорогу в нем — прямой.

## 4

Сережа Карепов, прораб 21-го монтажного управления, сидел в прорабской у Скибина и читал полученный вчера график окончания работ на НПК. Здесь ему нравилось больше, чем у себя в вагончике. Кроме того, у Скибина был телефон.

На площадке перед ЭТК затормозил, заворачивая, самосвал. Скибин выскочил из кабины и, согнувшись, быстро зашагал к прорабской.

Дверь распахнулась от удара ногой — бедная дверь скибинской резиденции. Скибин вошел, подавшись вперед и глубоко заложив руки в карманы брюк. Сережа Карепов, улыбаясь, протянул руку:

— Анатолий Николаевич... Что-то ты задержался сегодня. График читал?

— Читал, будь он проклят.— Глядя исподлобья и круто поворачиваясь на каблуках, Скибин прошелся взад-вперед, гася инерцию. Уселся напротив Сережи.— Читал... Уже всех людей снял сюда. Сейчас попрут вагончики, автобусы...

Скибин задумался, глядя за окно, на дорогу, по которой ветер гонял крест-накрест полосы пыли.

Мысль забегала от одного к другому. Перетащить сюда все вагончики, поставить и оборудовать их; перевезти, установить и подключить механизмы; срочно подготовить склады под материалы, которые вот-вот хлынут на НПК; оборудовать десятки рабочих мест, выставить леса — помещения высокие, без лесов не возьмешь; хоть мельком просмотреть проекты отделки, вспомнить их, чтобы знать, с чего начинать. Все так неожиданно... Но какое до этого дело массе людей, которая сейчас припрет его, Скибина, к стене?

— О черт! — простонал Скибин в тяжелой грезе.

Сережа Карепов, знавший за Скибиным такие приступы провальной сосредоточенности, хотя и считал их лишними, не мог не уважать их. Сам он никогда не стремился объять необъятное. Если на нем повисала задача, Сережа напрягался до пределов разумной добросовестности и считал, что делает для решения задачи все возможное. Сейчас он следил за Скибиным, всегда работавшим выше этого предела, следил с иронией здравого смысла, но не без почтения, чувст-

вужа в напряженном забытии Скибина что-то высшее, в чем здравый смысл, пусть даже иронизируя, не может отказать шизофрению.

Скибин вздохнул, приходя в себя.

— Пойду посмотрю. Я уже забыл, где какая отделка. Ты чем занят? А то пошли вместе. Кстати, подскажи, какие помещения тебе в первую очередь отдать под монтаж.

— С удовольствием, Анатолий Николаевич.

Скибин быстро шел впереди, засунув руки в карманы. ЭТК надвигался на него — белостенный силикатный параллелепипед весь в скользких прозрачных тенях от карнизов и парапета. Как ни быстро несли Скибин, рядом с корпусом он не ощущал своего движения. Огромная коробка без начинки ждала его и готова была всем своим объемом сопротивляться его усилиям.

Здрав голову, Скибин в тревоге и восхищении прошептал ругательство. Сережа Карепов, как задавший интересную головоломку, улыбнулся, толкнул Скибина локтем.

— Придется повозиться, да?

— Не говори, Сергей Федорович, настроил я на свою голову...

Пройдя сквозь ЭТК, они вышли на внутреннюю территорию. Приземистый длинный механический цех грузно стлался по земле, убегая от ЭТК под прямым углом и соединяясь с ним галереей. Противоположного конца механического из-за солнца нельзя было разглядеть. Он только казался невысоким, потому что был широк и длинен, а такто имел высоту с пятиэтажный дом. Внутри ветер перекачивал картонную упаковку от оборудования, струями сметал пыль с подоконников.

— Тоже не подарок, — сказал Сережа Карепов. — Твой?

— Нет, Елхимова. У него механический, котельная и очистные. Дрянь объекты, особенно очистные. Помнишь очистные химкомбината? Ох я там с биофильтрами намучился!

— Не говори...

Справа из куч грунта поднимался и заканчивался вверху косою стремительной линией парапета граненый брусок производственно-лабораторного корпуса (ПЛАК) с выступающим посередине кубом конференц-зала. На фоне быстро бегущих облаков он бесконечно опрокидывался и все не падал. Солнце зажгло его, как факел, вознесенный над заросшей низкими лесами округой.

— Вот этот мой, — прошептал Скибин. Он смотрел на ПЛАК словно впервые и не верил сейчас, что это он, Скибин, создал его.

Дальше крепко вросло в землю здание клуба со столовой в первом этаже, поблескивающее алюминиевой окантовкой витражей. Окна, когда-то вставленные в проемы, почернели от времени.

— М-да, — озираясь, как пойманный в капкан, сказал Скибин, — черта с два тут сделаешь...

Со всех сторон глядели громадные куски работы: гектары стен, просящих штукатурки, тысячи метров остекления, целые степи полов. Скибин не мог представить всю эту работу исчерпанной.

Они пошли по корпусам. Скибин заглядывал в помещения, бормоча про себя, что будет в каждом, и, открыв проект, смотрел, что тут за отделка. Работа, взывающая к нему, открывалась шаг за шагом во всем объеме. Постепенно Скибин перестал бросаться к каждой конструкции, вслух сообщая, как лучше взять ее в отделке; он брел молча и смотрел бесчувственно, как человек, которого избивают, и он уже только слышит, но не ощущает ударов.

Одиноким монтажником в брезентовой куртке и черных круглых очках заваривал стык труб над входом в ЭТК. Расплавленный металл тяжело падал на землю и с ворчанием рассыпался на искры.

На дороге, еще окутанной облаком догнавшей его пыли, стоял бортовой «МАЗ», к которому был прицеплен вагончик на высоком шасси, выкрашенный голубой краской,— прорабская Тарасевича, мастера, которого Скибин снял сюда, на НПК, в помощь себе.

— Так,— вздохнул Скибин, выходя на свет за Сережей Кареповым,— вот и Тарасевич прибыл. Начинается, Сергей Федорович. Что-то Тарасевича самого не видно, только вагончик. Куда же его поставить-то?

Из кабины «МАЗа» осторожно, как в замедленной съемке, спустилась по ступеням беременная легкотрудница Валя. Она сидела с Тарасевичем на его объектах, потому что на НПК была не нужна. Теперь Скибин забрал и ее.

Шофер высунулся в окошко:

— Куда будку будем ставить, начальник?

— Рядом с этой,— показал Скибин на прорабскую.— Выворачивай.

Он отцепил вагончик, опустил стальную лесенку. Крикнул шоферу:

— Пошел теперь за малярами! Цепляй их вагон, вещи и инструмент в кузов! Там бригадир знает!

— Мне-то ехать с ним? — спросила Валя.

— Сиди тут. В прорабской у меня приберись, полы помой. Да будешь мыть — швабру возьми, зря, что ли, велел сделать? Ты вечно руками...

— Привыкла, Анатолий Николаевич. Шваброй лентяи моют, чисто ей не вымыть.

— Глупости, глупости. Где Тарасевич?

— Сказал, что приедет с плотниками. Они грузятся.

— Хорошо. Давай убирайся быстрее.

Скибин пошел в прорабскую Тарасевича. Ему надо было сесть и подумать, что сказать людям, чтобы его слова не падали, как камешки в прибой.

Пока привезут бытовки, установят их, разберут инструмент и спецовки, перетряхнут все, как бывает на новом месте, оглядятся — наступит обед. Значит, раньше чем после обеда за горло не возьмут, чтобы давал работу. Надо успеть подготовить хоть сколько-нибудь пространства для движения бригад по фронту работ, чтобы отвести от себя удар, не дать сразу смять себя. Опрокинуть первый натиск и, пока поднимется новая волна и поток хлынет опять, углубить ему русло.

Малярам начинать с клуба. Там с прошлого года отштукатурено два этажа. Быстро остеклить здание — и пусть работают. Со штукатурками что делать? Вся работа их — с лесов, на высоте, а лесов не стоит ни метра. Все дело упрется в леса... Надо гнать плотников — за полдня выставить хоть немного лесов и пустить на них штукатуров. Срочно стеклить ЭТК! Вешать люльки, сажать в них стекольщиков. На таких сквозняках, как сейчас на ЭТК, женщины поработают день — и пошли хлюпать носами, успевай только больничные подписывать. Женщины-то еще ничего, можно стать на колени, упросить потерпеть, пока остеклят, и то могут послать подальше; а монтажники? Те народ известный: не создали условия какие положено — повернутся и уйдут. А разве не растерзают его, Скибина, на первой же оперативке, если окажется, что он не обеспечивает и сорвал работу монтажников!

Механик утром уехал за штукатурными станциями. Если их сегодня же привезти и не пустить, то и леса не нужны: не таскать же раствор ведрами вверх на шестнадцать метров.

Вошла Валя, стала на пороге, отклонив туловище назад, чтобы уравновесить большой живот. Скибин уставился на нее без всякого выражения. Валя поглядела так и эдак, пытаясь разобрать, заметил ли ее Скибин, но тому хоть воду лей в глаза. Валя оробела, попяtilась за дверь, тоненько крикнув:

— Я все сделала, Анатолий Николаевич, можете к себе идти! Чистенько все.

Она грузно повернулась и, отойдя к скибинской прорабской, уселась в тени на лавочке.

Из-за поворота, дрожа и сотрясаясь, вырулил длиннорылый безобразный «КРАЗ», таща за собой зеленую будку. Сзади осторожно катил автобус.

— А! Илюша! Наконец-то!

Скибин выбежал из прорабской и остановился посередине дороги, поджидая. «КРАЗ» уперся в Скибина и заглох, передернувшись напоследок всем корпусом будто от отвращения.

Из кабины сквозь пыльное стекло смеялся маленький и старый уже Илья Крыльцов, бригадир плотников, а рядом с ним, выставив наружу загорелый локоть, сидел Валера Тарасевич, пацан, только что окончивший институт и назначенный мастером к Скибину.

Тарасевич открыл дверцу, прыгнул с подножки и засмотрелся на корпуса НПК. Он был тут впервые. Мягкие волосы от короткого пробора на темени рассыпались спутанными кудряшками; раздвоенная челка делала Тарасевича похожим на жеребенка со звездой во лбу. Серо-голубые лучезарные глаза, охватывая корпуса, описывали долгую, восторженно-робкую дугу по парапетам. Под симпатично вздернутым носиком курчавились усы. Одет Тарасевич был еще по-стройотрядовски: в сильно ушитые брюки от формы, в куртку со стершимся клеймом отряда; на ногах были острые сабо на высоких деревянных каблуках.

Увидев Тарасевича, Скибин закусил губу. Толку от Тарасевича как от мастера пока не было никакого. Куда бы его ни ставили, Скибин не мог отвернуться ни на минуту. Тарасевич не защищал от выпадов производства, пропускал нелепейшие удары; стоило Скибину отвлечься, он тут же получал удар в спину.

Пока Тарасевич стоял на второстепенных объектах, еще можно было терпеть. Здесь же дело сомнет его, уложит под первую волну, и Скибин останется один, а между тем все считают и будут считать, что их двое.

Скибин кисло улыбнулся Тарасевичу, когда тот подошел здороваться, почтительно наблюдая его озабоченность. Тарасевич понимал, что поводов для озабоченности у Скибина сколько угодно, что и у него, Тарасевича, они тоже должны бы быть, но он не знал, чем ему нужно быть озабоченным еще, кроме стремления узнать это.

Тарасевич рвался быть солидарным со Скибиным, но безуспешно. Он продолжал чувствовать себя лишним в деле, где ему позорно быть лишним. Потоптавшись перед Скибиным, нетерпеливо глядящим на вылезавшего из кабины Илью Крыльцова, Тарасевич все же протянул ему руку.

— Привет, Толь.

— Привет, Валерий Иванович. Сейчас, минутку...

С автобуса сходили плотники, неся связанную в узлы спецовку и ящики с инструментом. Они ставили ящики на землю и присаживались, мостились на узких ручках, закуривая.

Илюха со стариковской лихостью прыгнул со ступеньки. Обойдя Тарасевича, Скибин бросился к старику. Тарасевич пошел сзади, краснея от мысли, что к Илюхе у Скибина больше вопросов, чем к нему, мастеру.

— Илья Никитич, старый ты черт! Так долго! Я за тобой первую машину послал! Тут без тебя, дед, хоть вешайся... Чего сели? — крикнул Скибин плотникам. — Отцепляйте вагончик, тащите инструмент, переодевайтесь!.. Илюшка, пошли скорее ко мне, расскажу, что надо сделать. Ну, захлебнешься сейчас работой, старый!

— Захлебнешся, — проворчал Илья, с удовольствием поддаваясь подталкиваниям и объятиям своего молодого, сияющего радостью от

встречи, напористого, цепкого, как клещ, прораба.— Илюшка всегда захлебывается, все Илюшка да Илюшка, без Илюшки уж и стройка станет. Скоро, Толь, ноги протяну, честно.

Тарасевич пошел за ними — не потому, что думал, что может понадобиться, а просто ему стыдно было оставаться забытым на улице...

Когда вошел Скибин, Валя вязала синий с белым шарфик и спрятала вязанье в подоле между колен.

— Да вяжи ты, господи!.. Илья! Слушай! Сейчас надо срочно стеклить клуб. Вот-вот приедут маляры, а ты наших женщин знаешь: черта с два они пойдут работать на сквозняке. Значит, четверо — стеклить клуб.

— Стекло-то есть? — спросил Илюшка, держа сигарету огромными тупыми пальцами, которые только казались неуклюжими, а так способны были поднять с полировки и приладить для удара тончайший стекольный гвоздь — операция впору белошвейке.

— Стекло есть, два контейнера, уж год стоят. Сегодня хоть нарежьте, чтобы завтра с утра начать стеклить; женщин я уломаю потерпеть полдня... Это раз. Второе: четверых давай на ПЛК — ставить двери перед штукатуркой, чтобы штукатурки шли за вами начисто, а не возвращались по десять раз. Малярам на клубе через неделю тесно станет, я должен хоть что-то подготовить им на производственном корпусе, понял? Пару человек выдели на мелочи: крыльца к вагончикам, трапы, проемы оградить, сделать временные двери... до черта всего, сам знаешь... Остальных, Илья Никитич, — на экспериментальный корпус, монтировать леса. Штукатурки придут, а без лесов им нигде не достать, все высоко. Если не будет лесов хотя бы к завтрашнему дню, мне останется только сбегать отсюда, бабы растерзают. Это давай вперед паровоза. Леса лежат в торце корпуса с той стороны. Сегодня, ладно, я штукатурков продержу как-нибудь, но завтра... Людей, чтобы помогли таскать стойки, дам, только следи, наверх не пускай... Напрягись, дед, а? Объясни ребятам. Наряда не выписываю, некогда, но не обижу, ты же меня знаешь. Только сделай, милый.

— Эх и быстрые же вы все, начальники! Все бы вам сразу...

— Иди, Илюшка, иди, милый. Делай и не отвлекай меня больше сегодня. Тут и так...

Илюша вышел, посмеиваясь. Скибин услышал его тонкий голос:

— Э, мужики! Встали!

«Так. Это пошло. Слава богу».

Внезапно замер, набычившись, вполоборота исподлобья уставился на Тарасевича, думая, что поручить ему. Встретив обреченный взгляд угадавшего его мысли мастера, Скибин через силу приветливо улыбнулся и тут же в изнеможении отвел глаза — столько сил отняло у него это притворство.

Один объект, как ни крути, надо было отдавать Тарасевичу. Самому Скибину даже на его быстрых ногах не обегать всей площадки. Прикинул, где номенклатура работ поменьше, а объемы побольше. Пожалуй, ЭТК. Там только леса, штукатурка, остекление, бетонные полы да окраска.

— Так, Валера. Тебе мы отдадим вот этого красавца. Его зовут экспериментально-технологический корпус, сокращенно ЭТК. Как он тебе?

Тарасевич дернулся от неожиданности, покорно поглядел в окно на корпус и виновато улыбнулся. Он не знал, что из того, что ему отдают этот корпус. Может, уже надо вскочить и бежать внутрь? Но что предпринять там, чтобы здание начало строиться?

Скибин уловил это и чуть не заплакал, но продолжал улыбаться с энтузиазмом, стоившим ему большого напряжения воли, вздыхая от безнадежности, которую маскировал видом усталости.

— Ты, Валера, не дергайся только, спокойно... Возьми проинструктируй всех, там работа опасная, выпиши наряд-допуск. Пока Илюха будет монтировать леса и стелить настил, ты возьми вот проект, сядь за стол, разберись и уясни себе, что делать с фасадом, какие где полы, чем и в какой цвет красится металл, каких марок идут туда двери... Ну, словом, все посмотри. Выпиши себе в блокнот, чтобы не лазить то и дело в проект, а надо тебе — бац! — у тебя записано. Вот, держи тетрадь... у мастера должна быть рабочая тетрадь. Заведи табель по ЭТК, чтобы знать своих людей. Подумай, как будет время, и выпиши наряды на все работы, ты уже умеешь... И будет красота: пришли к тебе, допустим, бетонщики полы делать, а ты им сразу наряд — пашите, ребята. Понял? Дальше: скоро привезут тебе туда штукатурную станцию. Пройдите с механиком, посмотрите, где ее лучше поставить, чтобы подъезд к ней был, чтобы удобно было подключить, чтобы под ней никаких траншей копать не пришлось. Вообще думай: ага, оштукатурено — надо белить, значит, уже сейчас дай-ка заготовлю известь, шланги, бачки, горелку... ведь не кистями же ты белить будешь, верно? Ну так и каждую работу продумывай вперед. Надо думать, понимаешь? — выкрикнул Скибин, теряя терпение; он увидел в окно, что подошел автобус с малярами, и заторопился. — Давай, Валера, дейст-вуй. Что неясно будет — подходи, разберемся...

Скибин увидел, что Тарасевич так и не понял ничего, и отвернулся; ему некогда было расстраиваться. Выпил стакан воды, отдулся и вышел из прорабской.

Длинный «ЛАЗ» описал на площадке полукруг и, мягко провалившись в рессорах, замер с вывернутыми вправо колесами. Это прибыла большая, в сорок человек, бригада маляров Кандагарова.

Пятидесятилетний Кандагаров Георгий Владимирович, умный, хитрый и знающий дело как никто, был единственным мужчиной в бригаде, которой руководил уже двадцать лет.

Когда-то ему, молодому маляру третьего разряда, дали три десятка выпускниц ФЗУ, только пришедших на стройку. С тех пор бригада выросла до сорока человек, но в основном остались те, кто был сначала. Теперь это были женщины в возрасте, все не ниже четвертого разряда (у Кандагарова стал шестой), матери больших семейств; многие — главные кормильцы в семьях. Кое у кого родились уже и внуки. Но по старой привычке все беспрекословно слушались Кандагарова, называли его отцом; сильно поседевший отец руководил бригадой железной рукой.

На производстве кандагаровцы, как их называли, знали только одно: им должны дать работу и все для ее выполнения, — и они пожирали работу, как саранча посева, изумляя даже издавших виды. В зданиях, где они работали, нельзя было услышать ни шуток, ни болтовни, только оглушительное шуршание шпателей по стенам. Зарабатывали они больше плотников пятого разряда, а такое не часто бывает.

Все женщины были серьезны, не склонны поддаваться шуточной фамильярности, на какую порой вызывает рабочих начальство, когда оно в духе. Если у кандагаровцев все было для работы, то они, будь это хоть министр, смотрели на проходящего равнодушно, как на мешок шпаклевки, и поднимали грозный крик, от которого у прораба дрожь пробегала по спине, если что-то становилось у них на пути.

Георгий Кандагаров не допускал в бригаде вольностей. В восемь часов все уже стояли по рабочим местам. Перерывы были тихими и короткими; чаще всего перерывов вообще не устраивали. И покидали они объект — Кандагаров принципиально следил за этим — последними.

Этот великолепно отлаженный производственный механизм ставлял прораба постоянно вслушиваться в его работу, отнимал на

обслуживание его большую часть сил, поглощал все мысли. Зная цену простоя дорогостоящей и безжалостной в своем гневе бригады Кандагарова, прораб был готов на все, чтобы обеспечить ее беспрепятственное продвижение по фронту работ.

Кандагаровцев не надо было контролировать, подгонять; прорабу оставалось только констатировать результаты, платить деньги, а главное — снабжать. Некоторые мастера и даже прорабы послабее, когда им случалось работать с Кандагаровым, были у него на поводе. Вообще бригада обращала на прораба внимание тогда только, когда ей чего-то не хватало. Прораб существовал для кандагаровцев как нечто положенное им в числе прочего положенного по трудовому законодательству для обеспечения их труда, наравне с инструментом, бытовым помещением и фронтом работ; прораб был для них тоже инструментом. Это обижало многих. Но каждый прораб не мог не видеть, что это справедливо. Однако, аплодируя награждаемому из месяца в месяц Кандагарову, прорабы кривили душой: они далеко не восхищались. Они скрывали это как слабость — прораб должен восхищаться всем, что несет выигрыш его делу. И все же многие в глубине души предпочитали иметь дело с менее сильными, зато и менее требовательными бригадирами.

Сейчас Скибин очень рассчитывал на Кандагарова. Это была любимая его бригада, хотя обслуживание ее стоило Скибину огромных душевных сил. Часто Скибин проклинал «банду Кандагарова» с ее непомерными и всегда справедливыми требованиями; но, пожалуй, о нем о единственном можно было сказать, что он дружит с этой бригадой, несмотря на то, что она противостояла ему так же, как и остальным.

Подходя к автобусу, Толя Скибин улыбался весело и радушно, стараясь не думать, как тяжел будет натиск, когда бригада, оглядевшись, не обнаружит простора для работы. Все сорок человек могли сейчас начать только на двух этажах клуба, да и то кусками, обходя сырые стены и отверстия под трубопроводы, которых еще не было. На ЭТК и лабораторном штукатуре открывали дорогу кандагаровцам через неделю, не раньше.

Скибин чувствовал себя намного слабее кандагаровцев. Ему приходилось начинать диалог с противостояния, с просьбы переждать тесноту, технологические трудности; они вовсе не обязаны были снисходить к таким просьбам. «Что же они сделают с Тарасевичем, когда попрут к нему в ЭТК! — подумал Скибин, пожимая руку Кандагарову, глядевшему с настороженным ожиданием. — Растерзают к черту».

— Привет, Анатолий Николаевич. Что хорошего скажешь, что хорошего предложишь?

Скибин твердо удерживал на губах улыбку.

— Все отлично, Георгий Владимирович. Ждем тебя.

Кандагаров, всегда несколько не доверявший прорабам, усмехнулся:

— У вас вечно все отлично...

Скибин, заметив, что по ступеням автобуса сходит, неся узелок со спецовкой, старая и седая Зинаида Александровна, ветеран бригады, которую в будущем году готовились провозать на пенсию, подбежал и галантно свел ее за руку.

— Спасибо, Толька, — вздохнула старушка, отдуваясь от пыли.

Бригада высыпала из автобуса. Сорок человек! У Скибина разбежались глаза.

— Это что же, отец, — услышал Скибин за своей спиной надменно-возмущенный, с базарным взвизгом голос Лиды Купцовой, главной скандалистки в бригаде, полной и сильной белолицей женщины. — Нас хотят на клуб поставить? Там же стекол еще нет! Сквозняки — соплями изойдешь! А то и сляжешь... Ну эти прорабы, — кричала она, подо-



греваемая согласным молчанием бригады,— совершенно головами не думают! Начальнички хреновы! О людях не беспокоятся! Сами-то небось по будкам греетесь, а рабочий— черт с ним, а? Мало вас гоняют!..

Улыбка дрогнула на губах у Скибина, но он снова удержал ее. То, что кричала Купцова, было несправедливо с точки зрения Скибина, но прораб в таких случаях обязан держать свое мнение при себе. Кроме того, Скибину не стало бы легче, убедил он бригаду, что не виноват в ее трудностях. Виноват тот, кто отвечает, а прораб отвечает за все. И Скибин улыбался орущей Лиде Купцовой, думая, что ответить. Обида прохватывала грудь горячим сквозняком, обида на тон, которым с ним говорили и против которого он не мог унизиться протестовать. На линии не редкость этот тон: отчего бы не говорить с прорабом так — ведь всем известно, что прорабы мало думают, недостаточно ответственно относятся к делу, не берегут людей. Редкий руководитель не способствует вполне сознательно укоренению такого взгляда на линейных работников. Редко какой руководитель не заявляет при возможно большем стечении рабочих, что если бы наши линейные ИТР относились к делу со всей ответственностью, все проблемы строительства в стране были бы давно решены. Редки стройки, где на всех уровнях не культивируется уверенность всех в вечной виновности прорабов перед производством и уверенность в праве каждого колоть прорабу этим глаза.

У настоящего прораба обида со временем перерождается в тайную гордость. Он действительно начинает верить, что виноват во всем и перед всеми, но, значит, от него все и зависит.

Скибин, продолжая улыбаться, сказал обступившим его малярам:

— Завтра с утра начнем стеклить вам клуб, девочки.

— А сегодня?!

Кандагаров слушал молча. Он никогда не скандалил, для этого у него была Лида Купцова. Он же судил.

— Все равно, девчонки,— объяснял Скибин женщинам вдвое старше его (он всегда говорил так, когда их было много),— сегодня вы вряд ли пойдете внутрь, разве только часа на два. Сейчас скоро обед; потом привезут ваш вагончик. Разберетесь, переоденетесь, подготовите инструмент, занесете в здание и расставите козелки... Ну, пару часов, может быть, и придется потерпеть как-нибудь. Неужели сядем и будем сидеть? А уж завтра с утра Илюшка Крыльцов вам быстро застеклит одну сторону — и никаких сквозняков! На остальных объектах остекление начинаем немедленно, так что когда вы туда будете переходить, все уже будет застеклено в лучшем виде...

Скибин спешил: скоро должны были прибыть две бригады штукатуров. Но пока не умиротворились маляры, нечего было думать заняться чем-то другим.

Женщины посмотрели на отца: успокоиться или добить прораба? Они прекрасно знали, что могут продержат еде сдерживающего нетерпение Скибина возле себя и час и два. Но Кандагаров уже принял решение. Он не хотел начинать со скандала. Он доверял Скибину больше, чем остальным. Со Скибиным можно было договориться без крика. Кандагаров сказал:

— Ладно, Анатолий Николаевич. Сегодня все равно день переезда... Мы займемся инструментом пока: помоем, кое-что заменим, почистим фляги, ведра. Наведем побелки, занесем козелки. Если успеем, начнем зачищать потолки... Но завтра с утра давай остекление. И думай, что через неделю делать будем, работы-то настоящей нет тут у тебя.

— Будет, все будет! Сказал же!

Бригада забыла о Скибине, готовая заняться делом. Скибин пока мог идти.

После обеда приехали на двух «ЛАЗах» штукатуры, и Скибин до трех часов бегал, расставляя их по местам. Только отвернулся — сомкнутым строем в него ударили бетонщики, которым сейчас нельзя было дать настоящей работы. Скибин кое-как пристроил к делу и их, зная, что все это делает для отвода глаз. Но надо было хоть за что-то цепляться, занимать хоть какие-то рубежи и закрепляться на них.

Пришли стекольщики; Скибин ждал их так же нетерпеливо, как и плотников. Он показал им внутри ЭТК, который нужно было срочно стеклить, место, куда перенести стекло, где его резать; выпросил у Сережи Карепова сварщика и велел в помещении стекольщиков сделать на окна и на двери стальные решетки. Так просто стекло нельзя оставить: Скибин знал своего доблестного сторожа.

В половине четвертого к Скибину прибежала Валя и позвала его к телефону.

Звонил Ануреев. Скибин только сейчас вспомнил и удивился, что Ануреева до сих пор нет на НПК. Голос Ануреева был на редкость спокоен, интонации небрежны, а обычно, говоря по телефону, Ануреев орал тревожно и напористо, как с передовой. Ануреев интересовался — именно интересовался, как у Скибина дела. По его тону можно было подумать, что он не рассчитывает бывать на комплексе.

Услышав о делах, Скибин только выругался. Ануреев предупредил, что на НПК выезжает Крохин, и бросил трубку.

## 5

В четыре часа к прорабской Толи Скибина подкатила старая, после капитального ремонта, что было сильно заметно по ней, «Волга» Вячеслава Ивановича Крохина, заместителя Щербача.

Он долго работал на периферии — сначала мастером, прорабом; но быстро ушел с линии, руководил техническим отделом ПМК; затем, когда появились деньги, добился перевода сюда, в Подмосковье, заместителем начальника управления и все это время был прекрасным, компетентным и представительным заместителем и очень уважаемым человеком, хорошо выглядевшим и довольным собой.

Сначала, в молодости, Крохин, как и все, хотел для себя большой руководящей работы. Он не думал тогда, что станет вечным замом и будет доволен этим. Но, еще работая прорабом, он почувствовал, что ответственность руководителя, непосредственно связанного с производством, будет слишком тяготить его. Тревоги и недоумения быстро прошли. Крохин поступился профессиональным честолюбием и открыл для себя в этом даже нечто спасительное. Он стал искать должности, где у него оставались бы душевные силы и время без видимого ущерба для дела и своей профессиональной репутации лелеять в сознании факт своего существования как самое сокровенное и жить этим. Нужно было уйти от ответственности непосредственно перед производством, перед тем многообразным и непреклонным в своих требованиях, что называют производственной необходимостью. То есть надо было отвечать не прямо производству, а поставить между собой и производством человека и давать отчет ему.

Щербач за недомогания своего предприятия мог оправдываться перед Крищенко, мог и не оправдываться — делу было все равно, простил где-то человек человека или нет, месть его не смягчалась. Крохин же отвечал за то, что конкретно поручал ему Щербач, и перед Щербачом же. Но Щербач был человек, а человек не может поручить и спросить с другого человека так категорически, как это делает производство с теми, от кого полностью зависит. Крохин этого как раз и хотел: избежать непосредственной власти над собой производства, отдавшись менее способной разгадать ложь и поэтому куда более милосердной власти человека. И в отличие от Щербача Крохин

имел возможность внешне успешно делать свою работу без забвения ради нее себя самого. Дело было важно для него постольку, поскольку от его выполнения или невыполнения зависело спокойствие и безнаказанность существования. На уровне требований, какие человек способен предъявлять человеку, Крохин был прекрасным, добросовестнейшим работником.

Он очень ценил себя, всегда помнил о себе, здоровье его было прекрасное; ради этого он пожертвовал честолюбием — правда, только профессиональным. И, глядя на Щербача и других, забывавших себя ради своего дела, сравнивая себя с ними, Крохин искренне верил, что прав, живя именно так.

Он был образцом добросовестности и самым, пожалуй, страстным обличителем в первую очередь недобросовестности. Здесь он тоже искренне верил себе и всех заставил верить, потому что ни одно из негативных определений, которые были у него в ходу, когда он поднимался на трибуну обличать недобросовестность, не могло быть прямо приложимо к нему.

Нельзя сказать, чтобы Щербач этого не чувствовал. Но у него не было подходящего определения своего интуитивного презрения к Крохину. Тому нельзя было поставить в упрек ничего, что осуждалось бы каким-нибудь законом, параграфом инструкции.

Со временем, защищенный от производства Щербачом, Крохин в значительной степени деквалифицировался как инженер и технолог, но оставался умным администратором; и если, как теперь, ему поручали объект, он чувствовал непорядки лучше и искоренял их решительнее, чем хороший технолог, потому что знание технологии предполагает также знание причин ее недугов и в какой-то мере сочувствие к людям, обслуживающим ее.

Прорабы знали Крохина как жесткого руководителя, не принимающего никаких оправданий. Они не роптали. Что делать! Каждый понимал, что, оказавшись он на месте Крохина, ему пришлось бы перейти на новый уровень требований к людям: забыть о том, каким сам был раньше, ругать за то, за что самого ругали, и отказываться признавать оправдания, какие раньше самому казались беспорядочными.

Крохин вылез из машины, с респектабельной раздраженностью отталкивая рукой дверцу, пружинившую и теснившую его. Невысокий и большеголовый, не полный, а словно туго чем-то набитый, он был на редкость некрасив и дурно сложен, так что странно было, зачем ему этот превосходный костюм, эти щегольские туфли на высоком каблуке, только подчеркивавшие его маленький рост, эти богатые очки в золотой оправе — знаки постоянного внимания к своей персоне и высокого мнения о ней.

Крохин ждал возле машины. Толя Скибин подошел к нему; Крохин протянул руку, и Скибин вздрогнул от неожиданности: у заместителя начальника управления была манера до последнего тянуть при встрече с рукопожатием, держа в сомнении, поздоровадается ли он за руку или нет.

Женя Елхимов, за которым Скибин послал, увидев «Волгу» Крохина, подходил неторопливо. Он улыбался красивым ртом независимо и слегка брезгливо. Пожав руку Крохину, он зашел ему за спину и там и остался.

— Ну,— сказал Крохин,— показывайте, ведите. Потом вернемся и рассмотрим выполнение графика. Где заказчик?

— Я звонил Балюку, он подойдет,— ответил Скибин.

Крохин шагнул в сумрак ЭТК.

— Сейчас орать начнет,— весело и тревожно блестя синими глазами, шепнул Скибин Жене Елхимову.— Работы-то никакой нет еще.

— Черт с ним, пусть орет.

Крохин, огибая кучи кирпичного боя и недовольно косясь на прорабов, переходил из помещения в помещение. Он глядел на необъятные нештукатуренные стены. Судя по всему, успех здесь был сомнителен; и Крохин переполнялся возмущением, что эти объекты поручили ему.

Он шел, свирепо оглядываясь на притихших прорабов, с которыми оказался в одной упряжке. Он видел их трудности и заранее был настроен агрессивно — прорабы могли подвести его. Он с тоской чувствовал, как далека работа здесь от завершения, сколько времени и сил придется оставить в этих корпусах, и медленно наливался яростью.

Стали встречаться рабочие. По тому, как они двигались, как долго, оставляя работу, оглядывались на него, Крохин видел, что работа в корпусах носит случайный, вспомогательный характер, и мрачнел все больше. Ему казалось, что оба прораба слишком молоды, несерьезны, что они неспособны разделить с ним его тревогу за себя, которая у него внешне всегда выглядела тревогой за исход дела. Он уже ненавидел прорабов за равнодушие к тому, что будет с ним, Крохиным. Это равнодушие к своей персоне, предполагавшееся им в прорабах, он привычно отождествлял с равнодушием к работе и, придя к такому выводу, не доверял и ненавидел их все сильнее. Молча и угрюмо повернул он назад. На прорабов он не мог смотреть, до того уже был настроен против них.

Миша Балюк ждал их у прорабской. Он с достоинством пожал Крохину руку; прорабам кивнул и, оставив их за спиной, повел Крохина к вагончику, держась с ним как с равным; он даже рассказал анекдот, пока они шли, и Крохин рассмеялся. С прорабами, даже с самыми заслуженными, Крохин никогда себя не вел так.

Не веря глазам, Скибин догнал Балюка, шепнул:

— Ты что это сегодня такой надутый, шеф? Партию в бильярд, когда уйдет Крохин.

— Думай лучше, как дело делать. Посмотри, люди твои без толку шляются!

Миша Балюк не мог простить себе, что допустил Скибина привыкнуть так с собой обращаться, и любой ценой решил раз и навсегда прекратить это. Он раскраснелся, выдерживая насмешливый взгляд Скибина, справился с собой и прошел в дверь прорабской, пропустив вперед себя лишь Крохина, любезно поддерживая его при этом за талию, на что Крохин с признательностью улыбнулся.

В прорабской Крохин сел за стол Толи Скибина, положив перед собой блокнот, Миша Балюк — рядом с ним. Он продолжал любезно и с достоинством улыбаться Крохину, и тот отвечал ему такой же улыбкой.

Прорабы расположились на стульях подальше от начальника и закурили. Их было только двое: Сережа Карепов, зная манеру Крохина вести оперативки и чувствуя, что и у него рыльце в пуху, просто сбежал.

— Что-то нет никого из субподрядчиков, Вячеслав Иванович, — озабоченно нахмурился Миша Балюк, постукивая карандашом по столу. — Без них мы ничего не решим. Эти, — он кивнул на опешившего Скибина, — начнут сейчас валить на монтажников, монтажников нет... Я не знаю... надо меры принимать, сдавать ведь собираемся... Я предупредил их, и вы как генподрядчик имейте в виду, что за такую работу они не получают у меня в этом месяце ни рубля! Кстати, и ваши тоже пока ничего не заработали, и что-то не вижу я, чтобы они собирались работать. Довольно! Я не намерен больше платить деньги только за присутствие прорабов на объектах, — говорил Миша, обращаясь к Крохину со словами, предназначенными для сидящих здесь же Толи Скибина и Жени Елхимова. Он обращался к Крохину как к

переводчику, будто считал, что самому ему не стоит возиться с прорабами, тогда как с Крохиным еще вполне приемлемо иметь дело.

Балюк говорил о прорабах то, что Крохин думал. Крохин слушал внимательно и воспринимал Мишу так, как Мише и хотелось.

— Совершенно справедливо, Михаил Семенович,— кивнул он, беря в руки график и надевая очки.— Скибин и Елхимов недопонимают, очевидно, всю важность... э-э-э... м-да. Субподрядчиков тоже нет. Ладно, я сегодня буду в тресте, надавим... А пока рассмотрим по графику наши, строительные дела. Да! Отметьте в протоколе, Михаил Семенович, что представители 21-го, 24-го и 46-го, во-первых, срывают работу строителей, во-вторых, не являются на оперативные совещания.

Крохин приготовился читать график. Миша Балюк выпрямился, деловито оглядел прорабов, которые должны были сейчас отчитываться по выполнению графика, и хотя и залился краской, но твердо выдержал уже утративший насмешку, внимательно вопрошающий взгляд Толи Скибина.

Скибин был странно обеспокоен, смутно обижен. Оказалось, что даже здесь, на стройке, есть пути, которые Миша Балюк разведаль и по которым сейчас обходил его, становясь фигурой более значительной, чем Скибин. Скибину не было завидно, не было жаль своего превосходства; он не понимал, отчего так тревожно стало ему.

— Читаем: довести численность рабочих отделочных специальностей до ста двадцати человек. Срок — сегодня.— Крохин огляделся.— Что мы имеем?

— Выполнено,— в сторону сказал Скибин, уверенный, что Крохин не считал и не будет считать его людей.

Миша Балюк остановил руку Крохина, уже занесенную, чтобы поставить галочку.

— Ничего подобного, Вячеслав Иванович! Да и те, кто есть, ничего не делают, ходят из угла в угол. Прорабы совершенно не организовывают труд людей, пустили все на самотек. Это надо немедленно кончать, иначе далеко не уедем.

— Знаю,— кивнул Крохин, снова наполняясь злым недоверием к прорабам.— Видел все. Только языками болтают.— Он взглянул на Скибина. — Запишите, Михаил Семенович, что товарищи Скибин и Елхимов с первого дня не организовали работы, что действия этих товарищей ведут к срыву всего графика... Так: приступить к остеклению витражей ЭТК. Что? — Крохин опять поднял голову.

— Все готово, завтра с утра приступим,— вздохнул Скибин.

— Срок — тоже сегодня,— напомнил Миша Балюк.

Скибину нечего было возразить. Он виновато потупился.

— М-да...— в тревоге и негодовании протянул Крохин.— Вы чем здесь занимаетесь, товарищи? Михаил Семенович, запишите, что и этот пункт сорван. Еще одна такая запись — и я поставлю вопрос о вашем соответствии занимаемой должности! — кричал Крохин, мучимый недоверием к тем, с кем попал в одну упряжку, и страхом, что его поставят под удар.— Есть график, это закон! Вам это непонятно? Что за легкомысленность!

Миша Балюк кивал с таким видом, будто слова Крохина — его собственные слова, которые он просто поручил сказать Крохину.

Женя Елхимов швырнул кусок резиновой прокладки, который он выдернул из витража во время обхода и теперь бессмысленно вертел в руках.

— Зачем, Вячеслав Иванович, кричать? Вы прекрасно знаете, что за день не развернуть все работы с таким количеством людей. Кто этот график составлял, пусть придет и попробует! Да, не получилось! Но почему мы виноваты? Мы делаем все что можем!

Крохин вскинул на него глаза. Скибин тоже смотрел на Женю и не понимал его. Оправдываться, отрицать свою вину — последнее

дело для прораба, к тому же совершенно бессмысленное. Тарасевичу еще было простительно говорить так, но не Жене.

Реакция Крохина была такой, какую Скибин ожидал и считал справедливой:

— Ничего себе у вас здесь настроения! Значит, вы ничего не можете, не знаете и все за вас должен кто-то делать? Нет, так дело не пойдет, не пойдет,— твердил Крохин в панике, в страхе за себя, собирая со стола блокнот, ручку и футляр от очков.— Так дело идти не может... Надо решать, годитесь ли вы вообще для того, чтобы руководить...

Попрощавшись с Балюком за руку, он вышел. Заждавшийся шофер запустил двигатель и тут же взял с места, не дав Крохину как следует захлопнуть дверь. Сразу за Крохиным вышел, высоко держа голову, Миша Балюк.

— Что ты злишь Крохина? — спросил Скибин, заглядывая Жене в лицо.— Будто не знаешь, что он ответит.

Женя усмехнулся, не переставая думать о чем-то.

— Знаю. Все прекрасно знаю. Тысячу раз слышал. И ничего нового не будет, это верно.

Вечером Скибин уходил от обезлюдевших корпусов в прорабскую.

Провожавший его Илюшка Крыльцов еле волочил ноги. Старик в последнее время сильно уставал к концу смены. Уже готов был приказ об освобождении его от должности бригадира и переводе на спокойное место инструментальщика. Илье оставалось отработать в бригаде до Нового года — такой срок он поставил себе. Каждый вечер, видя его усталость, Скибин виновато пожимал старику руку.

В прорабской за столом Скибин задумался. Работа не шла. Слишком многое для этого еще не было им сделано.

Валя попросилась на улицу дожидаться первого автобуса, чтобы занять место у окна. Не в силах шевелить языком, Скибин кивнул ей и, взяв лист бумаги, стал пункт за пунктом записывать самое неотложное, что завтра надо сделать. После двадцатого пункта он писал уже машинально, в отчаянии от явной невыполнимости того, что написано, потом бросил ручку и перестал смотреть на бумагу. Воля сбилась с пути, потеряла направление. Скибин не мог больше ни думать, ни действовать. Сегодня кончилось.

Заглянул Сережа Карепов. Скибин повел на него глазами, опомнился, обмяк; напряжение воли сменилось истомой безразличия ко всему, и пот побежал по вискам. Спросил улыбающегося Сережу:

— Что с оперативки сбежал? Крохин хочет жаловаться на тебя. Говорит, монтаж слабо ведешь.

— А! У меня своего руководства хватает, еще вашего Крохина я не слышал. Без него тут не знают...

— Нажраться сегодня, что ли? — вздохнул Скибин.

— Давай, пятерочка есть.

— Держи тоже пятерку,— оживился Скибин.— Пошли когонибудь, Сергей Федорович. Да вели поесть купить, а то припрут одного хлеба.

— Ладно. Как люди уедут, приду. Женьку и Тарасевича зови.

— Валя,— крикнул Скибин в окно.— найди-ка Елхимова и Тарасевича, пусть сюда идут! Да не бойся, достанется тебе место... Смотайся, милая, ноги что-то не ходят совсем.

Скибин сидел, слушая, как один за другим отъезжают автобусы. Все жили в городке, где находилось 96-е управление. Прорабы, когда задерживались, добирались на попутных.

Вошел Тарасевич, вытирая вымытые под краном руки о штаны. Уселся на край скамейки, сложил ладони и зажал их между колен.

Весь день он бестолково бегал по ЭТК и от корпуса к прорабской, ища, как собака ищет зарытую кость, где бы зацепиться за дело, что-

бы оно повезло его на себе, а не шло непонятым потоком мимо. О том, чтобы властно двигать его, как мечтал в институте, он уже и не думал. Он тоскливо, тупо озирал бесконечные стены, просящие оштукатуривания, витражи, взывающие на непонятном ему языке, чтобы их стеклили, высокие недоступные потолки, землю там, где должны быть полы, проемы там, где должны стоять двери,— и не представлял, что ему делать сейчас, через минуту, завтра для того, чтобы все это стало таким, как написано в проекте и каким он привык видеть все подобное в других, кем-то уже построенных зданиях. Восемь часов он пробегал по площадке в панических подозрениях о своей никчемности — таков был итог дня.

У Скибина Тарасевич ничего не спрашивал. Тот, хотя и не отказывал никогда в совете и честно старался втолковать ему, говорил такое, что, видно, до тошноты хорошо знал сам, однако Тарасевичу это ничего не проясняло. Схватив начало, Тарасевич делал несколько шагов, пока помнил указку Скибина, но был не в состоянии развить движение дальше и останавливался. Надо было опять идти к Скибину. Но не ездить же на Скибине все время!

Ничто на площадке не подчинялось ему. Он мог только послать безответную Валу узнать что-нибудь или отпереть склад, когда просили бригадиры, и выдать им гвоздей или рукавицы.

Спрятавшись в проеме, он следил, как бегают по площадке Скибин, мгновенно реагируя на все, зная, что сказать каждому и сам бросаясь на людей с командами. Тарасевич ужасался, что стоит на месте, а если и бежит куда-то, то лишь бы не стоять, гонимый не потребностью дела, а страхом, что среди общей озабоченности где-то пустует его место.

Тарасевич сидел на скамейке, боясь взглянуть на отдыхающего за столом Скибина, которому — он это чувствовал — был в тягость. Он ушел бы, отказался от посиделок, но это был бы акт гордыни, на которую он не чувствовал за собой права.

Прораб и мастер молчали, томясь в присутствии друг друга.

Наконец, неся пакеты и придерживая оттопыренные карманы, вошел Сережа Карепов. За ним согнулся в проеме Женя. При взгляде на него у Тарасевича забегали глаза.

Женя Елхимов был ласковее всех с Тарасевичем. Он один находил время поговорить с ним в рабочее время не о работе. Но от его ласки Тарасевичу было хуже, чем от крика Скибина. С Женей у Тарасевича жалость к себе становилась невыносимой, а безверие в себя выходило за те границы, оставаясь в которых оно еще оставляло возможность бороться.

Прорабы расселись. Сережа Карепов открывал банки. Скибин спросил:

— Как, Валера, ЭТК? Я замотался сегодня, не заглянул к тебе.

Краска бросилась в лицо Тарасевичу. Женя Елхимов выдвинулся вперед, будто оберегая его. Скибин и раньше замечал стремление Жени защищать Тарасевича от чего-то; и всегда Скибину казалось, что в такие минуты Женя меньше всего думает о Тарасевиче.

— Хватит тебе о деле, Толя. Ты уже и за выпивкой не можешь говорить о другом. Скоро рехнешься, Скибин... Все мы рехнемся.

Скибин почувал, что Женя говорит это не просто, как обычно прорабы жалуются за стаканом на свою собачью жизнь, а провоцируя его, Скибина, на ответ, который не может потребовать прямо. Он растерялся, смолчал. Сережа Карепов ответил за него, откупоривая бутылку.

— Точно, точно, мужики, рехнемся,— пропел он,— рехнемся обязательно... Где стаканы? Ставь сюда!.. Рехнемся..

Красивое лицо Жени с высоким гладким лбом было напряжено, как не бывает перед выпивкой.

Сережа Карепов первым опрокинул стакан и припал носом и губами к хлебу, оглядываясь засиявшим взором. Скибин, Женя и Тарасевич выпили следом и взялись за бутерброды. Сережа блаженно сопел. Скибин в истоме щурил синие глаза. Расслабившись, он, казалось, висел на стуле как надетый на него. Женя вытирал ладонью вспотевший лоб с ранними залысинами. И даже Тарасевич позволил себе вытянуть ноги.

Скибин закурил, поплевал под стол табаком.

— Сегодня намотался... километров тридцать дал, не меньше.

— Точно, носишься, как собака,— сказал Сережа Карепов, задумавшись с улыбкой, мысленно снова преодолевая весь свой сегодняшний путь.— Вечером приходишь домой — и в койку.

— Поэтому и бегут с линии,— вкрадчиво, глядя на Скибина, протянул Женя.— И правильно делают, между прочим.

Скибин опять смолчал. Жалобы прорабов на свою жизнь — дело обычное. Как правило, это единственная форма, в которую у них облекается гордость за свою профессию, единственный способ преодолеть застенчивость. Ни один прораб не сознается открыто в любви к своей работе.

Но с Женей творилось что-то другое. Скибин не понимал его, тревожился и не хотел этого разговора.

— Бегут,— вздохнул Сережа Карепов,— многие бегут. Это точно. Дураков все меньше... Думаешь, зря с линии на пять лет раньше на пенсию отпускают? Правда, Толь?

— Да вообще-то... — пожал плечами Скибин.

Сережа Карепов налил по второй, выпили и замолчали, уже без аппетита закусывая.

— Между прочим, Анатолий Николаевич,— сказал Женя,— у нас действительно собачья работа. Ты на побегушках, понял? На побегушках и у руководства и у рабочих. Ты не человек, ты исполнитель — для всех без исключения. Ты сегодня выложил, ноги не волочишь, а завтра придет Крохин, скажет, что ты лентяй, ни черта не делаешь,— и ты будешь стоять перед ним и соглашаться. Ты тягло, настоящее тягло — ясно тебе?

— У кого ж?

— У кого? У кого...

Женя, не находя слов, махнул рукой как на глупенького.

Захмелевший Сережа Карепов вдруг стукнул кулаком по столу, и пока все ловили покотившиеся стаканы, страдальчески и гневно кричал:

— Правильно Женя говорит! На побегушках мы, точно! Каждый может... ездить на нас как хочется!.. За все бьют, за все!

Скибин увидел в глазах Жени скорбное торжество; тот ухватился за неожиданную поддержку:

— Да, за все бьют! И это ладно, так ведь бьют-то часто за то, что от тебя не зависит! Каждый свое требует, а ты один. Только и слышишь: ты должен, ты обязан был обеспечить, ты обязан был предвидеть, ты недосмотрел... Будь оно проклято! Какая-нибудь пьянь споткнется у тебя на объекте, ногу подвернет — ей хоть бы что, а ты отвечаешь. Люди вон работают себе и отвечают только за себя, и плевать им...

— Ну уйди,— с тоской предложил Скибин, разглядев в словах Жени правду, до которой ему страшно и гадко было дотронуться.— Уйди в контору, будешь сидеть, чертить и отвечать только за себя... Или цветами торгуй.

— Цветами!.. Эх, Скибин! Я-то уйду, не беспокойся. Лучше вон дворником... тротуары мести... сортиры мыть на вокзалах, чем здесь как собаке... в каждую дырку затычка!

Сережа Карепов вздыхал, мелко кивая. Прорабская в молчании наполнялась табачным дымом.



Утром прорабы, сойдя с автобуса, тут же разбежались по площадке, обходя пустые еще рабочие места.

Ушли люди на ЭТК. Прошел мимо Скибина Тарасевич.

На клубе плотники Ильи Крыльцова начали ставить стекла. Маляры наконец вошли в здание, которое сразу наполнилось шарканьем шпателей по стенам; потолки стали стремительно белеть.

Дело здесь пока отпускало Скибина. Он побежал на производственно-лабораторный корпус.

Бригада штукатуров на ПЛК в ожидании штукатурной станции конопатила окна. Станцию обещали привезти сегодня с утра.

Скибин нетерпеливо глядел на дорогу. Потом не выдержал, побежал к телефону узнать, в чем дело, но тут трайлер со станцией выполз из-за поворота, сопровождаемый краном.

Скибин позвал механика. Тот дождался, когда станцию сняли с трайлера и поставили на место, и забегал вокруг нее со слесарем и электриком. Штукатуры из окон криками подгоняли их.

Увидев, что растворные шланги уже тянут в здание, Скибин вытер со лба грязный пот. Покосился на окна; пошел к телефону и позвонил, чтобы везли раствор.

Сережа Карепов вбежал в прорабскую. Глядя сквозь Скибина, обошел его, снял с полки растрепанный альбом чертежей оборудования, открыл, уставился в чертеж, терзая шевелюру. Выругался и бросился вон.

Скибин вышел на жаркий ветер, постоял, обсыхая от пота, облепившего его в прорабской. Маляры пашут. Штукатуры на ПЛК тоже. Что там у Тарасевича? Скибин сорвался с места, чтобы бежать туда. Его остановила колонна машин. Одна за другой они наполнили площадку и гудели нетерпеливо, призывно, раздраженно. Это хлынул на НПК поток материалов по заявке 96-го управления. Крищенко помог.

У Скибина разбежались глаза. Теперь отойти было невозможно, пока все это не пересчитаешь, не разгрузишь и не уложишь в склады. Между тем корпуса молчаливо, но требовательно звали Скибина. Он застонал, выругался: поднял руку, и шоферы, увидев и узнав его, бросились к нему, потрясая накладными. Они грызлись за право быть разгруженными в первую очередь, теребили Скибина, совали наперевод накладные. Скибин велел первые две машины подогнать к складам. То, что можно было выгрузить краном и не прятать в склад, пересчитал в кузовах, расписался сразу в накладных и отправил машины к Сереже Карепову с умоляющей запиской: кран сегодня был только у него.

Рабочие таскали мешки, ящики и тюки из кузовов в склады, а Скибин, привязанный к месту обязанностями материально ответственного лица, оглядывался на корпуса, звавшие его. К нему бежали от туда люди, жаловались, требовали, хватали за рукав, тянули с собой. Скибин, наблюдая разгрузку, сам готов был вцепиться во что-нибудь, чтобы разделаться с этим поскорее.

Отпустив последнюю машину, он поспешил на гневный зов. Валя тронула за плечо, показала в сторону прорабской. Оттуда махал рукой секретарь партбюро управления Павел Николаевич Колокольцев.

— Когда же работать-то дадут, в конце концов!

В прорабской Колокольцев усадил вздыхавшего от нетерпения Скибина за стол.

— Ну чего, Павел Николаевич? Меня люди ждут, я на ЭТК второй день попасть не могу. Чего вы?

— погоди, Толя. Ты думаешь, у тебя одного дела, а остальные ерундой занимаются... Успеешь. Ты не забыл, что принял сообразительство по комплексу?

— Как же я забыл, если принял!

— Почему же до сих пор не собрал людей, не довел до них? Я прошёлся по бытовкам — ни у одной бригады не видел этого обязательства на стене! Спрашиваю бригадиров — они ничего не знают.

— Да сделаем, Павел Николаевич! Не успел еще. Сделаем, конечно... Раз я, прораб, принял обязательство, значит, и люди мои тоже. Это ж ясно. Дайте хоть немного наладить дело. Вы же видите — только подступаемся. Пойдет дело, прорежется что-то похожее на настоящую работу, тогда... Сейчас говорить с людьми — только смешить их.

— Долго раскачиваешься, Скибин. День срока тебе на принятие сообязательств всеми бригадами, не больше.

— День... черт! Ладно, день... Через день уже будет кое-что... Надо, Павел Николаевич, на ближайшем бюро обсудить работу субподрядчиков. Держат нас страшно! Обратиться с письмом к ним, что ли? В партком треста, черт побери! Надо помочь.

— Поможем, Толя. Еще что?

— Что? Да... много всего! Но главное — субподрядчики! И хорошо бы посадить сюда ответственного из парткома. Это будет покрепче Крохина, я думаю.

— Тебя же будет гонять здесь в первую очередь. Не боишься?

— Мы пуганые, не очень-то нас напугаешь.

— Ну смотри...

В чуть уловимой пелене сварочного чада повисли и распустились веера солнечных лучей.

Изнутри ЭТК при взгляде на грунт, лежавший кучами и поросший травой, на голубеющее в проемах небо не создавалось впечатления, что стоишь в здании. Казалось, часть земли огорожена, прикрыта сверху — и хоть картошку сажай.

Скибин разглядывал далекий противоположный торец, с которого думал начать штукатурить. Он ожидал увидеть его в лесах, со штукатурками, рассыпанными по ним. Однако никаких лесов не было, хотя лучшие плотники от Крыльцова второй день работали здесь.

Бригадир штукатуров Тамара Ганичева в гнев бежала к Скибину.

Скибин увидел ее женщин, стоявших вдоль стены на простых козелках. Четверо подсобников уныло таскали им в носилках раствор. Они оштукатурили жалкую полоску внизу необъятной стены.

— Анатолий Николаевич! И это работа?! Ох, я не знаю... я с ума сойду, ей-богу! — всхлипывала Тамара, показывая на своих людей, замерших и повернувшихся к нему. — Это издевательство! Второй день лесов не дождемся, ползаем по низам, ерундой занимаемся для отвода глаз, двадцать-то человек!

Белый накрахмаленный платок туго стягивал ей голову. Несколько крашенных кудряшек выбилось на лоб и колото Тамаре глаза; она дула на них, выпячивая нижнюю губу, и зло смотрела на Скибина. При малейшем сбое Тамара нервничала до слез. Держась за сердце подрагивающей рукой в резиновой перчатке, она другой отирала со лба высыпавший каплями пот. Она готова была разрыдаться.

— Постой, Тамара... Леса должны были уже стоять! Мне никто ничего... Где Тарасевич?

— Да здесь где-то бегают.

— Вы говорили ему? Он видел вас? Знает, что вы стоите?

— Знает. Он сам нас и поставил штукатурить низы. Говоит: штукатурьте пока здесь... Разве это работа! Что мы заработаем? Что кушать будем в конце месяца, начальнички?

— Тарасевич!.. Ладно, что ж делать теперь? Дорабатывайте сегодня так. Тарасевич!.. Сейчас разберусь с лесами, Тамара.

Скибин прошел мимо растянувшейся вдоль стены бригады, закусив губу и не глядя ни на кого. В торце звенели стальные стойки лесов. Первый ярус был смонтирован, но настила на нем не было, и,

вместо того чтобы гнать дальше вверх, плотники почему-то продолжали выставлять стойки первого яруса уже по продольной стене. Молодежь таскала их с улицы, а четверо стариков, ровесников Илюхи, в монтажных поясах сидели наверху и крепили стойки к стенам. Увидев прораба, они свесились через ограждение поглазеть на него.

— Мужики! Почему, черт побери, не вверх, почему сюда монтируем?

— Настилов нету, Толя,— отвечал огромный, седой, ласковый дед Свиридов, заместитель Илюшки Крыльцова.— Даже первый ярус нечем застелить, а без настила вверх лезть — на кой это надо? Сорвесся к черту, да и тебе не поздоровится, если техника безопасности увидит. Вези щиты, тогда вверх погоним, а пока ставим нижние стойки — тоже ведь работа, когда-нибудь, а делать ее.

— Это верно, деды... но нужен торец! Нужно штукатурку начинать! Эх, как же вы... Что Тарасевич-то сказал?

— То и сказал. Он побежал звонить куда-то, на базу, что ли. Чтобы щиты везли. Они ж в комплекте с лесами должны быть...

— Неужели вы не сообразили... Ладно, что теперь! Спускайтесь, мужики. Не пойдет так... Черт! Какие ему щиты? Кто их привезет! Самим их надо делать! Я же говорил... Слазьте! Двое вас берите двух молодых... даже не двое, а все четверо — идите делать щиты! Доска лежит у меня за вагончиками. И давайте торец! Вы же видите: Ганичева уже в истерике. Как вы-то не подумали, деды...

Скибин без сил опустился на кучу стоек, закурил. Плотники сошли с лесов, собрали инструмент и, позвав молодых, пошли наружу.

Проходя на обратном пути мимо Тамары Ганичевой, стоявшей с мастерком на козелках, примирительно махнул рукой:

— Теперь до завтра, Тамара. Что сделаешь, ерунда вышла... Ничего, не нервничай, доработаешь сегодня на низах, завтра на леса пойдешь. С заработком поправим, ничего страшного.

Он улыбался ей снизу вверх. И Тамара не выдержала, улыбнулась сквозь остатки злобы; и, глядя на них, улыбалась прелестным пунцовым ртом девчонка, выпускница ГПТУ, подсобница и подопечная Тамары, влюбленная в Скибина. В таком же, как и у Тамары, платке, забрызганная раствором, она раскраснелась, сияя под улыбкой Скибина изумрудными хрупкими глазами, и, забыв от счастья, что руки у нее в растворе, с бессознательным кокетством оправляла на лбу черную пряжку, размазывая раствор по чудесному свежему личику.

Валя виновато и с досадой опустила вязанье на живот, когда Скибин вошел и уселся за стол, спрятав лицо в ладонях.

— Найди Тарасевича, быстро,— сказал Скибин, с наслаждением растирая лицо ладонями и так жутко уродуя его при этом, что Валя отвела глаза.— Скажи, пусть срочно бежит сюда.

Валя вздохнула, сложила вязанье в пакет, оправила блузку и скрылась за дверь.

Тарасевич, прошедший по ЭТК сразу после Скибина, уже знал все. Войдя, он молча остался стоять у стола и не спрашивал, зачем его позвали. Скибин молчал.

Тарасевич переступил с ноги на ногу. Для Скибина это послужило сигналом опростать душу от гнева. Все прошлые его старания обходиться с Тарасевичем терпеливо вспоминались Скибину теперь как насмешка Тарасевича над ним.

— Валер,— в яростной истоме тихо спросил Скибин,— тебе что, морду набить?

Тарасевич не шелохнулся. Вина его представлялась ему такой огромной, что он и не помышлял о защите.

— Почему? Что я сделал?

— Ты ничего не сделал, верно. Ничего не сделал, чтобы брига-

да — двадцать человек! — вчера и сегодня работала, давала план, выработку, оправдывала свою зарплату, которую, кстати, я не знаю, как ты будешь платить им за эти дни: может, из своего кармана? Ты отвязался от людей, сунул им работенку, чтобы заткнулись и не надоедали тебе... И ходишь спокойно... и ничего не сделал, чтобы обеспечить бригаду настоящей работой!

Тарасевич конвульсивно спросил:

— Как?

От страха он уже ничего не соображал.

Скибин опешил, не зная, что и сказать.

Вошел Женя Елхимов. Он понял, что здесь происходит. Остановился, с жалостью глядя на худую холку опустившего голову Тарасевича.

— Что случилось, Толя?

Скибин нетерпеливо дернул в его сторону головой, не сводя глаз с Тарасевича.

— Неужели ты, Валерий Иванович, не понимаешь, что без толку бегаешь? Не работаешь, а вредительством занимаешься! Ты будешь работать? Или тогда вообще уходи отсюда!

У Тарасевича на задрожавшей губе усика заходили ходуном. Он стоял вытянувшись, как нижний чин под унтер-офицерскими пощечинами. Он понял, что вот-вот заплачет. Держа глаза неестественно широко открытыми, он отвернулся и вдруг выбежал из прорабской.

Скибин замотал головой от переполнявшей его безнадежности.

— Бестолочь! Ох и бестолочь! Что же с ним делать?

Поднял глаза на Женю, ожидая сочувствия. Тот не садился, смотрел в упор зло, насмешливо и торжествующе.

— Ты лучше скажи, Скибин, что ты сделал с собой! Что все вы с собой делаете! Ну и скоты же вы... Ты мне еще говорил, чтобы я торговал цветами! Да лучше так, чем... Я бы на месте Тарасевича дал бы тебе сейчас в морду, понял? Вы скоро будете расстреливать тех, кто не удовлетворяет вас с технологической точки зрения! Ошалели, скоты!

— Что? — изумился Скибин.

Женя повернулся, хлопнул дверью.

— Пошли к черту! — крикнул Скибин ему вслед. — Заступник тоже мне!

Когда Скибин спохватился, автобус уже увез людей на обед. Площадь перед ЭТК была пуста.

В прорабской Валя, сдвинув бумаги, разложила на столе провизию. Скибин протянул руку.

— Дай... пожрать что-нибудь. Да нет, куда ты! — испугался он, видя, что Валя покорно подвигает к нему всю газетную скатерть. — Дай вон бутерброд... для блезиру... что-то и жрать не хочется.

Он сжевал бутерброд, выпил чаю из термоса и, чтобы не мешать Вале, пошел в пустую будку Тарасевича позвонить Анурееву: тот всегда обедал дома.

Слушая гудки, Скибин гадал, что за дела не позволяют Анурееву бывать на НПК.

— Аркадий Михайлович, привет. Слушай, я зашьюсь с Тарасевичем. Было спокойнее — я терпел. Сейчас ни черта не выходит. Не может он... Нашел же ты время подкинуть мне... стажера! Мне мастер нужен! Сними откуда-нибудь сюда мастера, а? А этого забери.

Ануреева, видно, звонок оторвал от стола. Говоря, он жевал и проглатывал что-то.

— Некого, Толя, везде сейчас завал, ты же знаешь. Держи его у себя, воспитывай... А как ты хотел? Тебя тоже воспитывали, сам таким был.

Скибин, удивляясь, куда девалось напряжение, которое охватывало Ануреева и начинало звенеть в его голосе, когда к нему обращались с вопросами, вздохнул в трубку:

— Черт его знает, Аркадий Михайлович, может, я и не помню уже... Да нет, не был я таким ослом!

— Был, Толя, был. Воспитывай свои кадры, что я тебе больше могу сказать? Ты обязан воспитать человека, а не отпихиваться от него!.. Как у тебя дела-то там? — спросил он чуть виновато. — Я все не выберусь к тебе.

— Дела корявые. Но должно вот-вот стронуться. Крохин здесь свирепствует.

— А... Ну, без этого как же? Еще хуже будет. Я слышал, скоро Крищенко будет оперативки проводить, горком партии взялся за НПК... Ладно, ты крутись там. Смотри, чтобы обязательства, наглядная агитация были на объектах... Давай, Толя.

Ануреев говорил таким тоном, будто спешил навсегда отделаться от НПК.

— Ладно, пообедай...

Валера Тарасевич забрел на пустырь, белый от цветущих ромашек.

Валера никогда не видел столько ромашек. Они дружно, весело раскачивались на ветру, будто распевая хором.

Вверху большие упругие облака неумовимо выворачивали нутро навстречу взгляду.

Ветер оглушал, нагонял тревогу. Все вокруг внимало тревоге Тарасевича и было равнодушно к ней.

Далеко в низине игрушечным квадратом стояли, сверкая, корпуса НПК. Каждый из них был не больше ромашки, сквозь которые смотрел на них, повалившись без сил на траву, Валера Тарасевич.

Скоро заканчивался обед. Тарасевич не знал, как он поднимется и пойдет назад. Он чувствовал такую паническую невозможность жить, как если бы и ромашки, и облака, и синее небо над головой, и весь воздух вокруг стали вдруг отравленными.

## 7

Остановившись в огромной росистой тени ЭТК, Скибин смотрел и слушал, как начинается рабочий день.

Утро разгоралось холодное, ослепительное. Корпуса, полные материалов, сыто дремали в скользящих по ним солнечных лучах.

Рабочие выходили из вагончиков.

Толпой повалили к клубу маляры. Кандагаров шел сзади, подавая реплики, в ответ на которые раздавался залиvistый, с восхищенными взвизгами женский смех.

Окутанные блистающими на солнце клубами дыма от утренних сигарет, неся ящики с инструментами, шли плотники Илюшки Крыльцова. По дороге им встретились штукатуры, которых Тамара Ганичева вела на ЭТК. Два потока смешались. Молодежь Илюшки Крыльцова с ящиками наперевес, с папиросами в зубах, сдвинув каски на затылки, шныряла в толпе женщин, гоняясь за девчонками, хватая их свободными руками. Те визжали, прячась за спины «матерей». Женщины улыбались и не думали заступаться. Илюшкины старики подзадоривали парней и весело вертели седыми головами, следя за поднимающимся переполохом.

Моторист, дымя сигаретой, прошел мимо Скибина к компрессору, от которого бетонщики работали в подвалах отбойными молотками. Компрессор застучал, окутавшись дымком, и вдруг завизжал, как джип, свирепо задрожал, отряхнулся от дыма; слегка повело, как

сытых змей, наполнившиеся воздухом шланги, убежавшие в подвал ПЛК, откуда вскоре раздалась дробь отбойных молотков.

Из широкого черного зева ЭТК, качнувшись от удара солнечного света, вышла стекольщица Пашкина с пучком алюминиевых креплений и направилась к люльке, ведя за собой двух пацанов-учеников, которые и без всякой работы ходили за ней как телята и каждое утро получали от нее по горсти конфет. Мальчишки тащили за Пашкиной в деревянном контейнере нарезанные вчера стекла. Они поставили контейнер в люльку; туда же вошла Пашкина, взяв с собой одного; желтая люлька с журчанием поползла по тросам и остановилась у верхнего ряда витражей. Второй ученик отошел и задрал голову, приставив ладонь к глазам.

С такого расстояния Скибину не видно было движений Пашкиной. Вдруг с люльки, на которую, сощурившись, смотрел Скибин, ударил по глазам ослепительный сноп света. Скибин отдернул голову, сообразил, что это Пашкина взяла из контейнера и повернула в руках стекло, отразившее солнце. Когда он вытер слезы, первое стекло уже холодно, глянцевило блестело в черном провале неостекленной ленты.

С дальнего торца ЭТК донесся надрывный басовитый голос штукатурной станции Тамары Ганичевой. Насос станции, проталкивая раствор в шланги, лаял хрипло, отрывисто, зло, как кобель за забором у большой дороги. Значит, бригада Ганичевой поднялась на леса и работает.

Ударил с ПЛК голос и второй станции — высокий и звонкий, ахающий, будто удивляющийся сам себе.

У штабеля досок плотники в четыре молотка сколачивали щиты для лесов. Двое таскали щиты в здание, откуда слышался звон стоек и визгливые удары по ним кувалды.

Похожие на мухоморы в новеньких блестящих касках, пробежали из бытовки на ПЛК запоздавшие девчонки-штукатуры. Они на ходу пересмеивались, переходили на шепот и вдруг снова начинали голосисто, до слез хоточать, перегибаясь пополам. Увидев Скибина, одна сказала: «Ой!»; девочки, смиренно потупившись, пошли чинно, надувая розовые щеки сдерживаемым смехом.

Скибин погрозил им пальцем:

— Опаздываете, черти!

Приснули, понеслись бегом, уже без опаски оглядываясь на прораба.

На клубе только что остекленные, отражающие голубизну окна начали распахиваться одно за другим. Кандагаровцы со шпателями и кистями в руках, опираясь на подоконники коленями, грунтовали рамы, сразу принимавшие праздничный вид.

Скибин стоял как зачарованный. Все, что он носил в душе, теперь наконец воспринималось как внешнее и не тяготило, а было покорно ему. Производство существует лишь в движении и в равновесии между тем, что вкладывается, и тем, что производится, и это ставит условием безболезненного существования занятых в нем людей, и особенно тех, кто руководит им, для кого самочувствие производства — свое собственное самочувствие. Производство безжалостно, когда недомогает. И оно роскошно вознаграждает линейного руководителя, насытившего и давшего ему простор для движения: оно, когда находится в состоянии гармонии всех своих частей, забывает о прорабе, становится снисходительным к нему, позволяет любоваться собой со стороны. Это минуты примирения прораба с тем, что обычно противостоит ему, минуты, когда прораб любит всех и уверен в общей любви к себе. Он без всякой цели идет по рабочим местам, купаясь в ласке умиротворенного производства. Такова награда. На линии другой не бывает; все остальное — лишь материальные поощрения. Прораба не узнать, когда он бывает удостоен ее. Он несется на

гребне волны движущегося производства могущественный, счастливый, величавый и нежный; вокруг любовь к нему и благодарное, радостное повиновение с полуслова.

Это никогда не длится долго. Гармония в производстве — точка неустойчивого равновесия. Сущность гармонии — беспрепятственное продвижение производства по фронту работ, и, значит, она в самой себе всегда содержит и фактор непрерывного своего уничтожения: непрерывное поглощение производством фронта работ и сужение простора для движения. Волна, несущая прораба, наткнувшись на что-нибудь, начинает спадать: уже что-то тревожит, уже вместо повиновения с полуслова — вопросы и озабоченность вокруг, уже нет уверенности в общей любви, душа напрягается, чувствуя новое противостояние. Прорабу пора сходить с гребня волны и бежать впереди нее, опрокидывая преграды, о которые, если не успеть, идущая сзади волна расшибует.

Начинается погоня за новой гармонией; и так без конца.

ЭТК был полон звуков.

Леса в торце стояли. По верхнему настилу рассыпались штукатуры Тамары Ганичевой, и верх стены уже сверкал влажной готовой штукатуркой.

Из бокового прохода вылетел, моргая, Тарасевич: пыль, сметенная порывом ветра с подоконника, запорошила ему глаза. Он сбавил ход, пошел за улыбающимся Скибиным. Приветливость Скибина угнетала его. Он знал, что все здесь движется благодаря Скибину и вопреки его, Тарасевича, глупости, что Скибин притворяется, с удовольствием осматривая сделанное им как сделанное Тарасевичем. Но, поддавшись настроению весело идущей работы, он чувствовал свежие надежды.

Скибин хлопнул по плечу парня, подававшего наверх на леса щиты настила, лучезарно сощурился, задрал голову.

— Здорово, мужики!

Илюхины деды сверху засверкали улыбками.

Скибин полез на леса к штукатурам. Прогремел каблуками по настилу, огибая стоявших вдоль стены женщин и ящики с раствором. Штукатуры, улыбаясь шуткам, отводили в сторону инструмент, пропуская его; но он, как всегда, не уберется, и кто-то обсыпал его гипсом. Скибин со смехом отряхивался, ругался. Женщины хохотали.

Ганичевой, обвязавшей голову платком так, что были видны лишь глаза, Скибин пожал руку выше кисти в грязной резиновой перчатке. Стал в сторону, облокотившись о перила, наблюдая, как Тамара со своей воспитанницей красавицей Ниной Хвостовой, зардевшейся от счастья, что Скибин смотрит на нее, штукатурят простенки. Здесь была ручная работа. Скибина всегда восхищало, как делает ее хороший штукатур: как он, взяв на сокол раствора, перелопачивает его мастерком, подмешивая гипс, — сокол и мастерок мелькают перед ним, а раствор грузной лепешкой висит будто сам по себе между мелькающими инструментами; как потом хлесткими движениями, цепляя раствор на мастерок, он выкладывает один к другому длинные языки раствора на стену, дальше выравнивая слой, а за ним девчонки с кистями и терками, брызгая водой, старательно затирают, хмуря лобики, — и из-под их рук медленно ползет гладкая поверхность, а щербатая кирпичная стена впереди уже просит своей очереди.

Скибин пошел назад, шутливо увертываясь от локтей женщин, орудующих мастерками. У выхода сказал Тарасевичу:

— Ну, нормально... С этих же лесов, не разбирая, быстро стекли изнутри витражи и переставляй леса дальше. Отойдешь от торца — дам тебе бригаду бетонщиков, начнешь отсюда полы. Малярить будешь с автовышек... Следи, чтобы деды надевали монтажные пояса, да пусть, черги, цепляются как следует, а то носят пояса для

блезиру... Требуй пожестче, сгоняй с лесов, ко мне присылай, если не будут надевать. Спикирует кто-нибудь — нам с тобой тюрьма будет. Понял?

В автобус, идущий в столовую, Скибин вскочил лихим прыжком. Человек тридцать, ездившие на обед, сидели за его спиной. Он дал знак ехать и забылся, глядя на ежесекундно прыгающую под колеса и бесконечную дорогу. Сколько он уже отъездил на этом месте! И всегда за спиной у него были то любимые, то страшные ему одни и те же люди. Все, что он делал на стройке, было в конечном итоге борьбой за право свободно чувствовать себя у них на глазах. Ничего не было страшнее безмолвного недовольства сзади; и не было большего счастья, чем знать, что сегодня сделал для них все. Тогда приходили гордость, восхищение собой, уверенность в повиновении, вера в свое всемогущество. Глаза людей показывали ему каждый день, чего он добился. Он не представлял, какой был бы смысл во всем, что он делал, если б он давал задания, обеспечивал и спрашивал работу просто со штукатуров, плотников или маляров.

## 8

Ануреев же вот отчего не появлялся вопреки обыкновению на НПК, удивляя Скибина.

Вечером следующего за оперативкой Щербача дня, собираясь идти спать, Ануреев стоял в ванной перед зеркалом и словно впервые разглядывал свое отражение.

Случившееся сегодня перевернуло его представление о себе. То, что иногда смутно тревожило Ануреева и с чем легко было бороться, потому что оно всегда оставалось в чувстве и не могло подняться к разуму, теперь открылось ему. Ануреев осознал свои страхи, и те твердо стали перед глазами. Смутное недовольство собой оказалось вполне определенным отвращением к себе: это худое дряблое тело, морщины, неровная, расплывчатая линия скул, просвечивающие на висках и на темени волосы, а главное, жалкий характер, позволивший долгие годы жить таким и не возмутиться, — пространства души, существование которых Ануреев раньше только подозревал и которых инстинктивно боялся, теперь кричали Анурееву о его безнадежной ограниченности, помешавшей ему познать их раньше.

Пораженный и расстроенный, Ануреев вспоминал, что ведь был доволен собой, своей жизнью и в этом ослеплении, пропуская истину мимо глаз, ничего не предпринимал, чтобы измениться, а теперь, быть может, уже упустил все возможности для этого.

Взрослый, сорокапятилетний человек смотрел на себя в зеркало и чуть не плакал.

Жена стучала в ванную, спрашивала, смеясь, жив ли он там. Ануреев пришел в ярость. Эта женщина тоже, как и он сам, убаюканный течением жизни, была довольна им много лет и, значит, ценила в нем вовсе не то, за что Ануреев хотел бы теперь, чтобы его ценили и чего он с таким отчаянием вдруг в себе недосчитался.

В этот день утром Щербач позвонил Анурееву домой и просил быть с ним на обходе, где после долгих споров должен был наконец решиться вопрос внутренней отделки ресторана на краю Москвы, который строило 96-е управление. Ануреев как начальник участка был главным заинтересованным лицом.

Проект интерьерера, разработанный архитектурной мастерской, осуществить было невозможно: архитекторы, как всегда, заложили такие материалы, какие существовали только в каталогах и альбомах. Ануреев вместе с техотделом разработал встречный проект, по



своим возможностям. Послали его на рассмотрение заказчику, и вот теперь собирались строители, мастерская и заказчик, чтобы прийти к окончательному решению и начать работать.

Утром у Ануреева было прекрасное настроение. Предстоящий обход ничем не грозил — Ануреев был не виноват, что дело застопорилось. Любое решение: либо делать интерьер по своему проекту, либо, если заказчик не согласится, с чистой совестью ждать материалов, а людей отдать Скибину на НПК, — устраивало Ануреева. Он любил такие встречи и острые беседы с новыми людьми. Его ждали несколько часов отдыха от текущих дел, который, во-первых, тоже был делом, а во-вторых, был вынужденным и потому не обременял совесть.

Встав рано, Ануреев вымыл голову, чисто выбрился; надел новый костюм и свежую сорочку, повязал удачно купленный женой в тон костюму галстук, достал из коробки в шкафу новые туфли — подарок жены. Ануреев редко испытывал удовольствие от хорошей одежды, он вообще не думал о том, как одет. Сегодняшнее утро началось для него с ощущения праздника. Ануреев словно предчувствовал то, что с ним случится, только не предполагал, каким отчаянием оно обернется. Он вышел из дома бодрый, довольный собой, высоко держа голову, упруго ставя блестящие каблуки. Шагая по тротуару, он лихо курил и, оглядывая себя в стеклах витрин, очень нравился себе. От беспричинных смутных надежд и предчувствий у него щекочуще пресекалось дыхание.

Возле управления Щербач, встретив Ануреева у машины, оглядел его и, пожимая руку, проворчал:

— Что это ты сегодня таким фраером?

— Почему это фраером, Григорий Павлович? — широко, как пацан, улыбаясь, спросил Ануреев, довольный реакцией Щербача.

— Черт тебя знает почему... Ладно, поехали.

Архитектурную мастерскую, отстаивавшую свой проект, представляли двое: высокий сутулый парень в джинсах и лохматом свитере мешком, волосатый и с бородой, в крупных очках на римском носу, похожий на гениального разночинца в последней стадии чахотки, и с ним девушка маленького роста, полная, крепко сложенная, выглядевшая несколько коренастой, широкоскулая и с широкими запястьями, с лицом не красивым, но и не дурным, с пышными русыми волосами. Она была весела, румяна; взгляд ее был полон безмятежного, счастливого пренебрежения к порокам своей внешности, и это искупало все.

Она и Ануреев спорили горячее всех — им нравилось спорить друг с другом. Ануреев отвык — да никогда особенно и не привыкал — чувствовать, что нравится молодой, слегка кокетничающей с ним женщине. Поначалу его сковывала диктуемая мужским самолюбием обязанность не уклоняться от взаимного интереса, который — оба это чувствовали — мгновенно возник и заслони́л все остальное. Обручальное кольцо на ее пальце успокоило Ануреева. Он почувствовал легкость тут же вслед за разочарованием и стыдом от своей трусости, стал весел и остроумен. Притом им было о чем говорить.

Девушку звали Лида. От мужа ей досталась трогательная, безобразно-милая фамилия: Мулявка.

Вопрос снова застрял на полпути: мастерская не соглашалась, заказчик, истомленный ожиданием, начинал прислушиваться к доводам Щербача и Ануреева. Решили ехать в Москву к руководству мастерской, и Щербач велел Анурееву пусть потерять этот день, но довести дело до какого-нибудь конца.

Ануреев, не перестававший улыбаться Лиде и ее спутнику, оказавшемуся, несмотря на бороду и надутый вид, вполне безобидным юнцом Жорой, сел в их «рафик». Лида болтала, надолго заглядывая

Анурееву в глаза. То, что он явно нравился ей и ее тянуло к нему, тревожило Ануреева. Он не знал, как ответить на это, он беспокоился, не делает ли уже сейчас каких-нибудь позорных промахов, так ли ведет себя. Он волновался и был счастлив.

В мастерской пробыли до конца дня. Ануреев вызвался проводить Лиду до метро и сам удивился, как легко это у него вышло. Она говорила с ним без умолку, с неожиданно жадной готовностью и доверием. Сказала, что ее муж красив и с хорошим положением; и хотя она говорила это с непонятым Анурееву ироническим разочарованием, у того болезненно упало настроение. Он слушал уже уныло, через силу отвечая на улыбки.

Лида сама записала ему свой телефон и просила звонить, если у него будет желание.

Домой Ануреев ехал как в бреду. Он думал, действительно ли нравится Лиде, и если да, то за что и может ли он вообще нравиться женщинам. Неужели он произвел впечатление потому только, что его не узнали как следует?..

Он вспоминал разговоры Лиды о муже, сравнивая себя с ним, и сравнение всякий раз выходило не в пользу Ануреева, с какой стороны он ни глядел. В представлении Ануреева о себе, до того определенном, стремительно раскрывалась трещина. Ануреев был отчаянно недоволен собой. Надежда, что еще можно что-то предпринять, чтобы измениться, и недоверие к этой надежде изводили его. На следующий день с утра уже без всякого желания, а только из страха отступить и окончательно разочароваться в себе Ануреев позвонил Лиде из телефонной будки у своего подъезда, потому что дома при жене он не мог говорить. Он попросил о встрече, стыдясь, что совершенно не умеет делать таких вещей. Лида, довольно смеясь, тут же согласилась и долго с радостью повторяла:

— Хорошо... ладно... договорились...

Вернувшись с работы, Ануреев завел свой старый «Москвич», сказал жене, что у него срочная вторая смена на одном из объектов (так оно и было, и еще вчера Ануреев собирался туда, а теперь решил просто успокоить себя, позвонив прорабу), и поехал в Москву.

У Лиды Мулявки действительно муж был очень обеспеченный, уважаемый молодой человек лет тридцати.

Они поженились студентами. Тогда Мулявка еще не был ни обеспеченным, ни уважаемым. Все это только угадывалось в будущем, и Лида добивалась брака с Мулявкой изо всех сил. И она получила все, о чем мечтала, так как Мулявка быстро добился хорошего положения и заработка. Однако оказалось, что Лида не пара Мулявке. Она так и осталась простушкой и стала замечать, что Мулявка не то чтобы раскисался — он слишком был независим и доволен собой, — но уже не женился бы на Лиде, вернись все сначала. Успехи Лиды у мужа были гораздо ниже успехов у него других женщин, и с годами это все сильнее бросалось в глаза.

Сначала это ошеломило ее. Она ревновала Мулявку тайно, потому что такой человек, как он, не мог позволить ущемлять себя ни в чем. Постепенно к ревности добавилась новая сильнейшая мука: ее угнетало, что она, как ни старается, не смотрится в обществе друзей Мулявки и это позволяет им считать ее человеком второго сорта и не особенно с ней церемониться.

Самолюбие и страх, что долгая беспросветная ревность сделает ее неуверенной в себе и она не только понравится кому-нибудь, но даже и полюбит кого-то, кроме Мулявки, неспособна, подталкивало Лиду платить Мулявке его же монетой. Она должна была иметь любовника, она хотела и ждала этого.

Надо было с кого-то начать. Ануреев был попроще Мулявки. К нему не страшно было подступить, не то что к кому-нибудь из дру-

зей мужа, у которых она опасалась оказаться в той же цене, что и у Мулявки.

Сидя с Ануреевым в его «Москвиче», Лида рассказывала о себе, о муже, о друзьях. Ануреев с холодком тайного ликования под сердцем убеждался, что муж чужд и враждебен Лиде до такой степени, что верность ему каким-то образом ранит ее самолюбие и тяготит ее.

Она стала любовницей Ануреева в первый же вечер. Попросила отвезти ее домой, у подъезда небрежно сказала, что муж укатил в очередную командировку — она была счастлива, что может наконец говорить и думать о командировках Мулявки с легким сердцем, — и повела Ануреева в пустую, без детей квартиру.

Двадцать лет были отданы линии. Двадцать лет жизни в ней она была единственным его судьей, двадцать лет только она диктовала Анурееву взгляд на самого себя. И вот Ануреев увидел, что есть другие точки зрения, о которых он если и догадывался, то не считал их сколько-нибудь подходящими для самооценки.

По легкой, мило-циничной болтовне Лиды, в которой каждое слово несло прямую или скрытую проповедь ее женских идеалов и безжалостную насмешку над всем, что не согласовывалось с ними, Ануреев понял, что Лида не простит человеку такого взгляда на себя, какой был до этого у Ануреева. Он был работяга, пахарь — и теперь он стыдился себя такого, скрывал это как мог. За время близости Ануреев не сказал Лиде ни одного непритворного слова, играя совершенно не того, кем он был.

Она сказала, что полюбила его. Но это случилось, когда он был в лучшей своей душевной и физической форме, когда и сам себя не узнавал. Что, если бы Лида увидела его таким, каким он обычно бывает, — вечно задержанным, озабоченным, без сил да и без всякого желания близости вечерами?

Работа!.. Как он мог так преступно забыть!

Анурееву теперь даже вспомнилось, что он вовсе и не любил работу, считал ее неблагоприятной, что она всегда его тяготила.

Уже дома, в постели, пытаясь уснуть, Ануреев подумал, что все же сорок пять лет еще не старость, что многое, если взяться решительно, можно еще поправить; и с этой надеждой уснул...

— Анна, — радостно сказал он жене, садясь утром за завтрак, — слушай: я думаю, мне надо поменьше думать о делах, черт бы их взял. Смотри, до чего я дошел: кожа да кости!

Жена, не перестававшая безуспешно твердить Анурееву то же самое, счастливая, подседа к нему.

— А я тебе что говорю все время, Аркаша? Но ты разве слушаешь!

— Курить надо бы бросить, а, мать? Спортом заняться... Я в молодости был будь здоров!.. А что? Мне только сорок пять... Слушай, мать, действительно, а? И главное — в самом деле, ну ее к черту, эту работу! Я вообще, наверное, поищу, где поспокойнее, мест много.

Но в первый же день у Ануреева ничего не получилось.

Даже думать о себе сколько-нибудь сосредоточенно не давала привычка всецело повиноваться производству, слушать только то, что оно ему предлагало. Дела настолько захватили Ануреева, что он успевал только спохватываться, что не выполняет своего решения меньше заботиться о работе, и тут же отвлекался, чтобы при первой же передышке спохватиться снова.

Весь следующий день, как и всегда, Ануреев пробегал в провальной озабоченности, но уже ненавидя все, что делал. Это отвлекало его от самого себя. Страх, что придется проститься с надеждой осуществить решение, которому так радовался утром с женой, мучил Ануреева непрерывно.

Вечером он поехал к Лиде.

Что только не лезло ему в голову! На этот раз он обнаружил, что быстро устает — возможно, быстрее, чем Лиде того хотелось бы. Раньше усталость после работы была хоть и тяжела, но сладостна — теперь она приводила Ануреева в отчаяние. Когда Лида болтала, отдыхая на его плече, Ануреев со страхом следил, нет ли в ее взгляде разочарования.

Все, что Ануреев находил в себе не такого, на что его воодушевляла любовь этой отчаявшейся и пытающейся снова очароваться чем-нибудь женщины, он вновь и вновь клялся уничтожить. Он знал, что в это нужно вложить все силы души. Но как быть с производством, от которого придется их оторвать?

Единственный выход — перестать бояться мести производства.

Пытаться обмануть его, хитрить с ним бесполезно: обмануть можно людей, которые часто довольствуются видимостью, но не производство, которое безошибочно чувствует неискренность по отношению к себе и тут же мстит. Надо было отважиться открыто перестать быть искренним в своих отношениях с производством.

То, что Ануреев неясно чувствовал в Крохине и за что безотчетно, как и Щербач, презирал его, стало понятным и не вызывало больше осуждения.

С твердым решением не бояться производства начал Ануреев следующий день. Зовы производства были для него теперь только болевыми ощущениями, и он откликался на них только как на болевые ощущения; он не терял себя, а оберегал от них. Внешне вся деятельность Ануреева оставалась такой же, как и всегда, но внутреннее содержание ее совершенно переродилось. И Ануреев не хотел, да и не мог уже ничего предпринять против этого.

9

Уходили дембеля.

Женя Елхимов сидел за столом и писал, когда бывшие его бетонщики, все пятнадцать, в новеньких дембельских мундирах, грохоча сапогами, наполнили прорабскую.

Они стояли перед Женей, улыбаясь своей беспомощности найти верный тон с тем, кто больше не был для них начальником, смущенные правом говорить ему «ты» и не решающиеся на это, чтобы не выглядеть дорвавшимися до возможности фамильярничать с прорабом.

Они громко переступали начищенными сапогами, перекладывали из руки в руку новые портфели, вытирая о галифе потеющие ладони. Все сверкало и скрипело на них. Шей были туго стянуты воротничками купленных в военторге из дембельского щегольства офицерских сорочек.

Они пришли проститься.

Женя, приподнявшись со стула, пожимал им руки, заглядывал в глаза. Он пугался стремительно растущей в нем тоскливой, сладкой зависти. Пронзительная тоска, тоска брошенного счастливыми людьми, душила его. Женя сел на стул, продолжая механически улыбаться.

— Что, домой? — спросил он, склонив красивую голову и видя в стекле бледное отражение своей улыбки.

Бригадир, сержант, неловко повернулся в новом кителе, как в скафандре.

— Домой, Евгений Давыдович. Все, отрубили...

— Молодцы, мужики! Сейчас на поезд, да? Дорога... Сядете в вагон... Ехать, забыть все к черту... Эх, ребятки!..

Посидели молча. Дембеля начали вздыхать и подниматься.

— Пойдем мы, Евгений Давыдович. Пора. Прощайте... Счастливо вам...

Женя проводил их до крыльца и остался стоять там, глядя, как они уходят к трассе. Печаль просилась на лицо, лезла в глаза. Женя закусил губу, уродуя улыбку, продолжая смотреть на пустую уже дорогу.

Женя Елхимов, окончив институт и вместе со Скибиным распределившись в 96-е управление, был сначала быстроногим и беспомощным молодым мастером, вызывавшим у стариков в руководстве управления благословляющие улыбки.

Он учился и начинал работать с уверенностью, что хочет добиться и добьется в своей профессии многого. Он был не без способностей и знал это. Женя был уверен в своем пути, не помышляя ни о каких других.

Женя первый стал прорабом, Скибин даже несколько месяцев работал у него на НПК мастером.

Но вместе с опытом, которого так ждал Женя, еще одно стало открываться ему — не как истина, потому что открывающееся как истина, признанное истиной, принимается безоговорочно, но как великое злоеющее сомнение, отравившее Женю, как он ни боролся сначала, все мысли.

Мучительна была сама постановка вопроса, какой она сложилась в сознании: либо то, что открылось ему, — истина, с чем разум и все окружающее не согласовывались настолько, чтобы утверждать это наверняка, либо — если так — оставалось признать ущербным свое собственное сознание, поддающееся таким сомнениям.

Женя в тревоге уговаривал себя остановиться, но чем дальше, тем больше крепла в нем против его воли убежденность, что производство переросло свое первоначальное назначение — быть источником материальных благ для людей; что теперь наряду с этим у производства есть и преобладает самосознание, свое «я», что у этого «я» появились свои собственные желания и цели и одна из них стала для производства самоцелью — непрерывное, ритмичное, все возрастающее развитие самого себя. Женя все чаще, и чем дальше, тем сильнее, ощущал производство как нечто враждебное и сверхэгоистическое. В своем эгоистическом требовании от людей хорошего для себя самочувствия производство перестало считаться с людьми как главным для него, третируя их как нечто вспомогательное, обслуживающее его самоцель, спекулируя на том, что если прекратится его жизнь, то прекратится и всякая жизнь.

Производство стало диктовать людям такие взгляды на себя, такие критерии самооценки и оценки друг друга, что люди оказывались довольными собой и друг другом лишь в той мере, насколько успешно каждый из них обслуживал его эгоизм.

Нелегкая доля слуги, которому слишком многое доверено... Такие слуги у производства — прорабы и мастера, линейные работники, для которых самочувствие производства — свое собственное самочувствие. Они всегда искренни перед своим господином, безоговорочно послушны его воле, называемой производственной необходимостью. Сознательная недобросовестность немыслима для них — за каждый промах производство тут же мстит. Они если грешат, то только невольно. И в то же время едва ли кто на стройке так постоянно и тяжело виноват перед ней, как прорабы, инженерное тягло.

Женя понимал и соглашался, что иначе нельзя, что прораб должен отвечать за все, даже за то, что прямо не зависит от его воли. Производство, его обеспечение стоит на ответственностях. Снятие ответственности — это остановка и смерть; и производство не может позволить прорабу признать хоть что-то случайным, не зависящим от воли тех, кому оно вверяет свое самочувствие, свою жизнь.

Поэтому бесполезно прорабу даже себе объяснять свой промах не зависящими от него обстоятельствами, хотя объективно такое случается часто. Логика производства, боящегося провалов в ответственности, создает свою объективность.

Скрывая свои мысли как слабость, Женя считал производство, развившееся до наличия в нем самосознания и эгоизма, жестоким, несправедливым по отношению к людям. Женя считал так наперекор разуму, хорошо сознавая, что люди и производство связаны единственно возможным образом и другого предложить ни он, Женя, ни кто-либо другой не может. Но, если единственно возможное и, следовательно, разумное вызывает в сознании страх, как при виде неразумного,— значит, ущербно такое сознание?

Из этих двух крайностей Жене не удавалось составить примиряющего сочетания, на котором вместе отдохнули бы и чувство и разум. Женя вопрошал жизнь, но в страхе услышать приговор себе затыкал уши.

## 10

Сегодня была зарплата, и прорабы после совещания потянулись по лестнице в холл первого этажа, к окошку закрытой еще кассы. Там стояла очередь; в ней от скуки судачили о заработках вообще и о заработках Щербача и Крохина.

Входная дверь отворилась, и вошел Валера Тарасевич. Остановившись в проходе, он озирался, глядя то на доску объявлений, то на очередь, то назад на дверь, точно подумывая убежать. Намокший хохолок с пробором посередине, высоко зачесанная по моде макушка, венчающая хорошенькую, как у девушки, голову, усики, брюки и куртка в обтяжку на стройной фигурке — все казалось жалким и стыдящимся себя.

Сегодня он тоже весь день слонялся по ЭТК мимо рабочих, мимо дела, которое сдвинулось благодаря Скибину и катилось пока по инерции без его, Тарасевича, участия. Он подходил к людям, жалко смотрел на работу из-за спин и потом не знал, как с достоинством отойти. Пробовал он сидеть и изучать проект; он выучил его наизусть — бесполезно: в нем, Валере, продолжало не хватать чего-то помимо знания и стремления действовать.

Истрадавшись хоть по какому-нибудь осмысленному действию, моля рабочий день кончиться поскорее, Тарасевич сбежал с объекта, где никто этого не заметил, сел в попутный самосвал и поехал в контору, хотя никаких дел там у него быть не могло; он даже не знал, какие у мастеров бывают дела в управлении.

Он попал к зарплате, о которой и думать забыл, и чуть не повернул обратно. Теперь выходило, что он бросил объект, чтобы вперед всех получить деньги, встав в очередь рядом с теми, кто их действительно заработал и имеет право расписаться в ведомости с чистой совестью. Он не хотел и боялся, что ему сейчас дадут деньги, хотя уже полторы недели жил в долг и в столовой урезывал себя как мог. Увидев спускающегося по лестнице Женю, Тарасевич почувствовал себя совсем плохо.

— Валер, привет. За денежкой?

Женя обнял Тарасевича, усадил рядом с собой на подоконник. Тарасевич согнулся под ласковой рукой. Тоска до того натянулась в нем, что он перестал слышать все, кроме тиканья часов на запястье этой тяжелой руки.

В дверь повалили рабочие. Очередь у кассы выросла до входа.

— Ты займи очередь, Валера. Я пока найду Скибина, и мы пойдём. Ладно?

Женя нашел Скибина в отделе труда. Он сидел за столом и поедал оставшиеся от чая конфеты, которыми потчевали его нормировщицы.

— Ну, вы,— погрозил им Женья,— смотрите, закормите Скибина, он бегать не будет... Толя, пошли, там твой Тарасевич очередь занял. Надо жалованье-то получить.

— Кто это Тарасевич? А, мастер новенький, да? Такой симпатичный... — сказала одна из нормировщиц, мечтательно подняв к потолку подведенные глаза.— Ты, Скибин, познакомил бы, что ли.

Скибин глянул волком, дожевывая конфету. Он слышать не мог о Тарасевиче.

До кассы было еще далеко. Женья со Скибиным закурили в углу, ожидая.

— Ну Тарасевич, черт бы его взял! — сказал Скибин, глядя, как тот механически переступает в движущейся очереди.— Увижу, так тошнит, ей-богу. Достался же мне подарок от отдела кадров... Что это за мастер, Женья: сорвался с объекта, бросил людей — и впереди всех к кассе! Хоть плачь. Ты еще заступаешься за него.

Женья Елхимов улыбнулся довольно, словно получил сейчас подтверждение тому, о чем думал, вкрадчиво протянул:

— Я заступаюсь не за него... Ты, Скибин, скоро и меня возненавидишь точно так же.

— Почему это вдруг?

— Возненавидишь, Толя, это точно. Стань я у тебя мастером и промахнись несколько раз, как Тарасевич,— что ты делал бы?

— Ты собираешься в мастера?

Женья разочарованно усмехнулся, прекратил разговор.

Утром к зданию механического цеха, главному мучителю Жени Елхимова на НПК, спокойно подрулил «ЗИЛ-130», таща за собой аккуратный стальной вагончик на пневмоходу с эмблемой 46-го электро-монтажного управления.

Вагончик отцепили двое парней, выпрыгнувшие из кабины; потом выгрузили и стали заносить в него бухты провода, мешки и ящики.

Следом на место отъехавшего «ЗИЛа» подошел полуприцеп с трубами. Двое начали сбрасывать их на землю. И вся площадка наполнилась истошными взвизгами стали.

Женья Елхимов побежал туда. Электриков на механическом давно ждали. Щербач на оперативках впадал в истерику оттого, что они не начинают своих работ и держат всех остальных. Полы, пока под ними не будут проложены трубы разводки, нельзя было делать, и эта работа давно и уже далеко вышла из графика.

Парни, управившись с разгрузкой, отдыхали в вагончике за столом, подбрасывая кости, и лениво переговаривались, считая очки. Куртки они повесили на спинки стульев.

Женья пригляделся.

— Чусов! Коля!

— А, Женья! — Чусов вынул изо рта сигарету.— Здорово, здорово. Присаживайся.

Это был прораб 46-го, с которым Жене часто случалось работать вместе. Он набросил на плечи куртку, вставая; Женья удивился, что это спецовка и в нагрудном кармане не ручка и блокнот, а плоскогубцы и отвертка с контрольной. Протянул Чусову руку:

— Привет. Когда начнешь? Всю работу мне держишь.

— Не лопнешь,— ласково ответил Чусов.— У вас вечно горит.

Женья пожал плечами.

— А где та твоя прорабская? Помню, в Дубне у тебя была.

— Это уж черт ее знает где она. Где-нибудь да есть.

Женья ничего не понимал. Чусов вздохнул, тяготясь его удивлением.

— Не по адресу канителишься, начальник. Чего смотришь? Я же, браток, уже год как не прораб. Не видишь, что ли? — Он кивнул на инструмент в кармане.— Свободный человек. Рабочий класс!

— Как?

— Электромонтажник пятого разряда, вот как.

— Что, ушел? Ушел из прорабов?

Коля Чусов выждал, готовый дать отпор осуждению или насмешке, но увидел только растерянность.

— А что там делать?

— Да, верно... Слушай, ну пошли ко мне, расскажешь... Пошли, вон будка моя.

В прорабской Женя сел за стол, жестом выслав легкотрудицу. Коля Чусов уселся напротив и закурил.

— Значит, ушел? Слушай, ну и как тебе?

— Ты знаешь, Женя, отлично. Клянусь, совсем другим человеком стал!

— Да, я представляю... И давно ты?

— Год, говорю же тебе. Сразу после Дубны и послал все к черту. Помнишь, как там пахали? Без выходных, вечерами... Думаю, будь вы прокляты, сдыхать здесь... Говорю тебе, Женя, — совсем другим человеком стал. Именно человеком, а не собакой. Утром поднялся, умылся, поел, едешь на работу. Спокоен, голова ничем не забита. Не мучаешься, как народ расставит, чего у них нет, как бы кто не простоял, куда девать тех или этих... Ты бегаешь, как волк, обложенный флажками, а меня никто не дергает, думаю только о себе. Свою-то работу этими вот руками всегда сделаешь нормально, если ты не идиот какой-нибудь, и любого можешь послать подальше. Сначала не верилось: за материалы не отвечаешь, не дрожишь, что украдут или испортят и придется как-то списывать. План, выработка, себестоимость, фонд зарплаты, наряды, отчет, графики — как подумаешь, что на все это плевать, сердце радуется! Пять часов двенадцать минут натикало — собираешься, моешься, переодеваешься — и гори оно все синим пламенем! Домой! И забыл, что и работа-то существует! Раньше, бывало, вымотаешься, как гад, нервы треплешь, бегаешь за каждым, да еще тебе и тычут, что плохо работаешь. Вечером домой пришел, пожрал — и спать. В семье только орешь, да и не видишь ее толком. Сейчас — ничего подобного! Спокойный стал, спортом с женой занимаемся — велосипеды купили, — с дочкой в бассейн... Второго вот решили родить... Раньше как? Вылез из графика по чьей-то вине, как вы сейчас из-за нас, — иди, Чусов, субботами, воскресеньями наверстывай! И идешь, а что сделаешь? Ты виноват! Рабочих уговариваешь выходной поработать, на коленях стоишь, будто тебе больше всех надо, отгулы им, премии обещаешь, а самому — хрен: ты должен, ты не обеспечишь... Сейчас если у меня чего-то нет, то и работу не спрашивай. Обеспечь — буду работать, нет — буду сидеть, и попробуй мне не заплати! А деньги, Женя! Работать я умею, давай только материалы... Рублей двести сорок на руки, если меньше — жена уже домой не пускает. Да аккордные, да сверхурочные или за выходные, если меня уговарят в выходные пахать... Да вечер-два сходишь к кому-нибудь в гараж или в квартиру проводочку сделать, вот еще тридцатник тебе... А ты? Оклад сто восемьдесят. Долой подоходный — сто шестьдесят. Это деньги? Премия тебе когда бывает, когда и нет, как работаешь. Сто шестьдесят! Да я не представляю теперь, как жил на такие гроши! С женой чуть не развелись: мужик, а получаю меньше бабы... Да еще то пожарка, то СЭС оштрафует — по пятерке, по червончику... Нет, Женя, я свое отбежал, бегайте теперь без меня.

— Да, — кивнул Женя, — правда.

— И еще. Вы же все время битые, вы козлы отпущения. Каждая сволочь, хоть что-то контролирующая, требует своего и пишет на тебя докладные, будто то, чего она требует, — единственное, чем ты должен заниматься. А ведь сколько всего набирается, посчитай! Если честно, то ни один из нас **еще** не успевал всего делать как положено, половину журналов заполняем от фонаря. Знаем, что не в силах, а все же мол-



чим, терпим... Идиотизм какой-то! Эх, Женя, вспомнить страшно... А теперь? Я работу знаю, не пьянь, не лодырь, делаю свое дело, отвечаю сам за себя — и будь здоров, отвали от меня! Любому так скажу: как прорабство бросил, только хорошее о себе слышу, на доске почета, победитель соцсоревнования!

Женя был воодушевлен — сейчас он наконец принял решение. Но, уже зная, что поступит так же, как и Чусов, он не хотел верить, что подобен ему. Он не мог не видеть, что все, кажущееся низким в чужих устах, сразу становится оправданным, когда начинает касаться тебя самого, и продолжал искать для себя более возвышенных причин.

Чусов теперь только мешал думать. Жене стало тяжело с ним, и тот уловил перемену.

— Ладно, — вздохнул Чусов, — пойду. Сейчас прораб прилетит. Дерзай, Женя.

Вечером Женя зашел к Скибину. Тот сидел за столом, держа трубку телефона испачканной в побелке рукой. В другой руке над листом бумаги замер карандаш. Лицо Скибина было в потеках грязного пота.

— Знаешь, кого встретил? Колю Чусова, прораба. Помнишь Чусова из 46-го? В Дубне с нами был.

— А... Ну и что? Скоро он начнет? Я не могу на ПЛК по коридорам подвесные потолки делать, жду, когда они закрепят кронштейны для светильников.

— А он не прораб уже. Электриком работает.

Скибин писал пункт за пунктом на завтра, низко склонившись над столом и дуя дым в сторону. Пробормотал:

— Правильно сделал.

— Нет, честно. Говорит — отлично, горя не знает.

— А? Ушел он, говоришь? Молодец! — Скибин вдруг вскочил, отшвырнул бумагу, с ненавистью глядя на нее. — И я сбегу скоро к чертовой матери!

Выглянул в окно, схватил только что брошенную бумагу, вынесся с ней на улицу и побежал к ПЛК, заглядывая в нее.

«Врет», — с неясной тоской подумал Женя. Сказал вслух, устало массируя виски:

— Ну и черт с ним!

Всяческая сосредоточенность не на себе самом стала в тягость Анурееву. Он начал видеть в этом ограниченность, сопредельную убожеству, потерю индивидуальности. Открывшееся ему знание дна его души было непреклонно в своей ревности, везде и всюду подставляя себя как единственно истинное и заслуживающее внимания.

Деятельность Ануреева на производстве внешне продолжала выглядеть вполне добросовестной. Он не прогуливал, не опаздывал, выполнял все команды. Теперь даже больше, чем раньше, он стал заботиться о хорошем мнении руководства на свой счет и делал все, чтобы его поддержать; однако голос производства не тревожил его больше. Он честно отдавал делу все, что было положено ему по трудовому законодательству, но и только; и считал, что наконец-то понял и правильно осуществляет принцип разумного сочетания личного и общественного интереса. Этот принцип оказался очень удобен для какого хочешь толкования.

Сначала Анурееву было жутко, тревожно думать, что теперь никакая деятельность, где бы он, Ануреев, ни оказался, не сможет заслонить от него образ его «я», что всякий самозабвенный труд будет чужд его новой сущности. Повисая на лямке, которую тянули остальные, и изображая, что по-прежнему тянет ее вместе со всеми, Ануреев, уже бессильный что-либо поделаться с собой, не мог не сознавать, что не

прав перед людьми, потому что, последуя все они его примеру, прекратилась бы жизнь. Но для себя — единственного, любимого, — для себя он не мог не сделать исключения, не мог не отдать себе предпочтения перед всеми. Каждому свое — ведь не зря же такое сказано!

Вспомнив и осознав факт своего существования как сокровенное, Ануреев вспомнил и полюбил свою плоть и заботился о ней с неотступным наслаждением, заслонившим все остальное. И, главное, он обрел способность жить сегодняшним днем, не тревожась ожиданием завтрашнего.

И он не оскорбился, а еще больше успокоился, когда увидел, что производство, незаметно передоверенное им другим людям, мало пострадало от этого.

Скибин в работе был очень самостоятелен. Начальник участка давно уже сделался для него только передатчиком ответственности и команд сверху. Он воспринимал Ануреева больше как единомышленника и искал у него не помощи, а понимания. И именно тогда, когда он перестал получать от Ануреева и это, Скибин все понял. Ануреев мог ввести в заблуждение руководство, перед которым отчитывался за состояние дел, двигавшихся, как оказалось, и без его участия, но не линию. Скибин почуял в Анурееве постоянную озабоченность чем-то далеким от дела: Ануреев явно плыл по течению, тратя силы единственно на то, чтобы только держаться на поверхности и не захлебнуться окончательно. Скибин принял это без возмущения. Линия внутренне всегда готова обнаружить такое в каждом. Ануреев не был единственным, он был очередным.

Ануреев перестал существовать для Скибина как единомышленник и, значит, перестал существовать вообще. Теперь, обсуждая с ним вопросы, Скибин был подчеркнуто самостоятелен. О нем говорили, что он готовый начальник участка. Эти слова обрели для Скибина новый смысл после того, как он перестал верить в инициативу Ануреева и ждать ее. Ануреев же, в котором профессиональное самолюбие совершенно выродилось, охотно и без ущерба для своего самолюбия предоставил право инициативы Скибину, сбросив с себя еще одну тяжесть. Сейчас ему нужно было одно: чтобы дело, за которое он пока продолжал отвечать, двигалось — безразлично, чьими усилиями.

Так на линии, где никогда не бывает борьбы вокруг портфелей, сходят со сцены, освобождая дорогу другим.

## 12

Весь октябрь лили дожди.

Земля раскисла на полметра вглубь. Жидкая грязь затопила дороги, и по ней, нагоняя тоску, плыли и лопались пузыри.

Деревья теряли последнюю листву и к концу октября уже размазывали на ветру голыми мокрыми ветвями, среди которых, бесстрастно покаркивая, перелетали вороны.

Люди стали забывать, как выглядит солнечный свет с голубого неба.

Все было насыщено холодным туманом. Утром и вечером уже горели на парапетах прожекторы, освещая грязь ломающимся, рассыпающимся на иголки светом; и таким же желтым светом, отвратительно змеившимся сквозь дождевую пыль, сочились окна корпусов, где горели слабенькие, тридцативольтовые гирлянды временного освещения.

Скибин, обходя утром корпуса, месил сапогами грязь, застревая в ней, и слепо озирался в тумане на крики невидимых ворон.

Машины неслись по шоссе с адским шуршанием, еле различимые в облаках вздымаемой ими грязной водяной пыли.

К автобусам, чтобы ехать на объекты, сходились теперь в темноте. Под светом фонарей свирепо и зыбко искрился мокрый асфальт, от этого блеска резало глаза. Рукопожатия встречавшихся у автобусов были безмолвны и торопливы; сразу лезли в тепло и, пригревшись, задремывали.

Скибин в штормовке стоял под дождем, считая людей. Садился в головной автобус и вез спящие бригады сквозь дождь и темноту в дождь и скудный рассвет.

С автобусов на НПК сходили осторожно, боясь угодить в лужу. Хлюпали по трапам в бытовки — ни смеха, ни визга девчонок; вздохи и мат вполголоса. Свет прожекторов лип к глазам, только мешая смотреть.

В бытовках сидели подолгу, с ненавистью слушая шуршание настывшего осеннего дождя по крышам. У Скибина не хватало духу выгонять людей на дождь; он стоял и ждал, глядя на чуть светлеющее небо, по которому ветер быстро гнал бесконечные, насыщенные влагой черные облака.

Сырость пропитывала здания, заползала во все щели, губила уже окрашенные поверхности. Основания под чистые полы отсырели; линолеум, уложенный с вечера, на следующий день шел волнами, и Илья Крыльцов с руганью отдираал его, скатывал в рулоны и относил в склад. Краски шубой сходили со стен. Побелка почернела в углах.

По графику полагалось уже всю красить, стелить полы и уходить из готовых помещений. Скибин бросил всех плотников, чтобы забить щели и остающиеся пока незаделанными монтажные проемы и вставить везде вторые стекла; у каждой входной двери дежурила легкотрудица, чтобы держать входы постоянно закрытыми, не надеясь на пружины; на комплекс стянули все свободные средства сушки и обогрева, так что не выдержала местная сеть и пришлось ставить две передвижные электростанции; в зданиях уже смонтировали и запустили системы отопления. Но стены и полы не подсыхали. Шпаклевка на потолках кисла, не твердея и не давая зачищать поверхности перед окраской. В помещениях было тепло и сыро, как в парной, и в углах на стенах и потолках каплями высыпал обильный конденсат, о который споткнулась вся малярка. Поставили временные вентиляторы. Но воздухообмен в зданиях был запроектирован для работы несравненно более мощных систем, так что и вентиляция ничего не дала.

Подвалы были залиты водой. Вводы коммуникаций, неоконченные, не давали Скибину засыпать траншеи и окончательно планировать территорию вокруг корпусов, чтобы отвести дождевые воды, заливавшие сейчас незасыпанные пазухи у фундаментов. Скибин наставил в подвалах насосов, и мотористы начали качать, но все равно воды оставалось по щиколотку.

Стройка стремительно выползала из графика.

Крохин, впавший в злую тревогу, потребовал от Щербача, чтобы его освободили от всех остальных дел, и дежурил на НПК постоянно, обосновавшись в прорабской Скибина.

Ванеев с Мишей Балюком, приунывшие, в новых брезентовых штормовках, стоявших на них колом, и в блестящих, как лакированные, только что со склада резиновых сапогах собирали со всей площадки и приносили Крохину печальные вести. Прорабы потеряли счет договорам; да они и не считали этих выговоров, пропуская их мимо ушей. Скибину страшно было показываться на глаза людям, распившимся в обязательствах и теперь срывающим сроки без всякой своей вины. У всех бригад рушились аккордные наряды, для выполнения которых столько уже было вложено сил. Люди остервенело требовали от Скибина сухих поверхностей, нормальных условий работы. Тревога руководства за исход дела, тревога рабочих за свои заработки — тре-

вога ходила за Скибиным, тревогой наливался воздух, которым он дышал.

Стоя утром в мутном просвете лестницы, Скибин следил, как маляры и штукатуры поднимались, расходились по этажам, приближались к рабочим местам. Взрывалась ругань, от которой хотелось бежать. Но Скибин шел туда, уговаривал, обещал, успокаивал, видя, что ему не верят; и уходил, оставляя за спиной не работу, а временное затишье, с каждым разом разрешавшееся все страшнее.

Оперативные совещания, как и предсказывал Крищенко, проводились теперь ежедневно.

Все острее становилась необходимость начинать работу в подвалах, где предстоял основной монтаж и где для этого нужно было оштукатурить, побелить и сделать полы. Скибин, хотя и возражал, что в подвалах вода, холод и совершенно не готово под отделку, прекрасно знал, чем грозит каждый день оттяжки с монтажом. Деваться было некуда. Скибин пошел к штукатурам.

Женщины сидели в бытовке вокруг бачка с питьевой водой: были минуты отдыха. Скибин, решившись, сказал им про подвалы; не дав забросать себя злыми, истеричными возражениями, рванулся в атаку, потрясая обязательствами, которые держал в руке. Он обещал кучу денег за эту работу, но женщины поддались не столько обещаниям заработка, сколько не выдержав умоляющего, но притворяющегося повелевающим взгляда Скибина. Подхватив инструмент, пошли в подвал. Следом подсобники потащили козелки и ящики для раствора. Скибин, глядя им в спины, спрятал в карманы задрожавшие от облегчения руки, но, не успев отвернуться, опомнился и ужаснулся тому, на что уговорил женщин согласиться. Спустившись за ними, Скибин увидел начавшуюся в холоде и сырости работу, увидел облачка пара от дыхания, бросавшие на стену прозрачные тени, услышал хлопанье воды под ногами. Он с робостью и благоговением прошел вдоль стены за спинами работающих женщин и молча удалился.

В прорабской, сев на лавку, ответил вопросительно глядевшему Крохину:

— Через два дня сдадим подвалы под монтаж, Вячеслав Иванович.

Как ни затыкали щели и ни забивали проемы, как ни боролись со сквозняками — несмотря на прививки, которые приезжали им делать, люди начали болеть. Грипп пошел косить направо и налево. Скибин каждое утро видел, как увеличивается брешь в табеле. Больничные листы несли непрерывно.

Сам Скибин давно еле ходил. Дождевые струи смывали с лица гриппозную испарину. Боль накапывала, давила на глаза, сходясь у переносицы. Скибин так ослабел, что стал опасаться, как обычно, стремительно огибать углы и осторожно обходил их, часто переступая дрожащими ногами. Он перестал бегать напрямик через глубокую грязь — боялся, что не хватит сил вытащить ноги, и придется с позором звать на помощь. Сердце тяжело стучало, перерезая дыхание, когда он поднимался по лестницам. К вечеру он начинал гореть в жару и, хлюпая носом, с пылающим лицом сидел над бумагами, пугая своим видом пришедшую взамен Вали молоденькую легкотрудицу Варюшу, ходившую в респираторе, который приспособила вместо марлевой повязки.

На упреки, крик и угрозы Крохина прорабы уже не реагировали. Отсидев оперативку, они бежали к своим корпусам, где их ждал настоящий и единственный упрек — упрек болеющего производства, требующего облегчить его страдания.

Все ждали морозов, которые съедят в воздухе влагу, скуют грязь и прекратят движение вод в грунте.

Наконец стройка, перенасыщенная людьми и материалами, стала давиться всем этим. Русло технологического потока измельчало, одно наталкивалось на другое, и ничто не могло получить завершения, чтобы освободить пространство для движения остальному.

Десятки вопросов, догнав один другой, стояли теперь перед прорабами одновременно, сводя с ума равной их неотложностью. Напряжение воли у прорабов, вызванное стремлением опрокинуть эти вопросы, уже не знало, на что прежде быть направленным, и, потеряв направление, лежало в душе тяжелым грузом. Наступили черные дни мести производства прорабам за свое недомогание. Все, что совершалось в нем, осознавалось как враждебное и превосходящее силой. День заканчивался изнеможением и полным равнодушием к мукам воли, не могущей ничему дать движения и самой страшно неподвижной из-за этого.

Люди оставляли в зданиях свой труд; сжигалась энергия, поглощались материалы. Но казалось, что все это растворяется в воздухе и ничего не добавлялось к тому, что было вчера, что ежедневная усталость людей — впустую.

Таково было впечатление от созерцания.

Крохин, проводя оперативки, на которых уже присутствовал работник райкома партии, раз за разом признавал, кусая губы, что движения нет. Все замолкали в тревоге, глядя в стол.

Скибин, издерганный властными вопросами, отчего это так, уставший опровергать обвинения в преступном бездействии, отчаявшийся доказать, что на данном этапе, через который должна пройти всякая стройка, труд уходил на мелочи, на доводку конструкций перед чистой отделкой,— Скибин в конце концов и сам перестал верить себе и, подобно Крохину, впал в истерическое недоумение: куда же, в самом деле, девается все то, что ежедневно вкладывается?

Женя Елхимов уже знал, что дорабатывает последние дни в этом кошмаре, ставшем с тех пор, как он принял окончательное решение, категорически невыносимым для него. Только надежда на скорый уход давала ему последнее терпение.

Он уже договорился в другом управлении устроиться плотником четвертого разряда. Удостоверение у Жени было. В стройотрядах перемчивый, с детства любивший возиться с деревяшками Женя старался попасть в бригады плотников и там всегда находил себе учителей. Ставить окна и двери, стелить полы — все это Женя умел. В стройотряде же от одного старичка он научился виртуозно точить инструмент. Женя был уверен, что потянет по четвертому разряду.

Он все решил, но медлил, охваченный странной бредовой ленью. Он бесконечно перепроверял свою готовность уйти и все больше внушал себе и убеждался, что прав, что не может быть не прав.

Он решился внезапно и поразился своему счастью. Оно застало Женю, стиснутого делами, на полуслове, на полужесте.

В прорабской, запершись на ключ, Женя, счастливо изумляясь самому себе, написал заявление об уходе.

Он бросил все, сел в самосвал и поехал в контору. Там озадаченная секретарша Щербача приняла и зарегистрировала заявление. Женя бережно спрятал в карман копию.

Он вернулся и продолжал бегать, как обычно. Он ничего никому не сказал.

Вечером он написал отцу, что переходит в другое управление на должность старшего прораба. Усмехнувшись, вспомнил мечты отца о его, Жени, строительной карьере, карьере большого инженера.

Грипп все же доконал Скибина. Чувствуя, что завтра утром уже не сможет подняться, Скибин в конце дня, еле вода ручкой по бумаге, распisał Тарасевичу, что делать завтра и послезавтра, влез в самосвал и поехал домой отлеживаться, оставив мастера в горестной панике.

Валере Тарасевичу теперь приходилось сидеть в вагончике Скибина за прорабским столом. Он робко поглядывал на перекидной календарь, где рукой Скибина были записаны для него основные задачи, и на бумагу с более подробными разъяснениями.

Приходилось отвечать на звонки.

— Алло, Тарасевич слушает.

— Тарасевич? А где там Скибин?

— Заболел...

Трубку сразу бросали.

Никто и ничто не хотело обращаться к Тарасевичу. Он уже смирился, что так и будет, и, представляя, что вся стройка навалится на него, как на Скибина, вместе с безнадежностью испытывал унижительное облегчение.

Он сидел за столом Скибина только потому, чтобы святое место — место прораба — не пустовало.

Бумага, оставленная Скибиным, помогла плохо. Тарасевич с ужасом, не зная, как вмешаться, наблюдал, как час за часом на его объектах то одно, то другое останавливается, натываясь на препятствия, и страдает, и зовет его. Но он сидел за столом, в тревоге вскидывая глаза на входящих. Это искали Скибина. И Тарасевич продолжал сидеть.

Так прошел день. Но утром производство, слепое в своей ярости, в своем требовании облегчить его недуги, не дождавшись Скибина, навалилось на несчастного Валеру.

Кляня пропавшего Скибина, бригадиры обступили Тарасевича, сжавшегося за столом в панической готовности реагировать. Подражая Скибину, Валера взял ручку, чистый лист бумаги и принялся записывать все, что от него требовали, страшась того момента, когда нужно будет не писать, а действовать.

Он встал, повторил обычные в таких случаях слова Скибина: «Сейчас, мужики, все будет...» — и, проводив бригадиров за дверь, еще раз перечитал свою записку.

Пунктом первым стояло в ней требование Кандагарова осветить подвал, куда маляры собирались войти после штукатуров. Бригада уже стояла у входа в подвал. Ее грозное нетерпеливое молчание толкало Тарасевича в спину, когда он бежал к будке электриков. Он не замечал дождя и грязи, в которую зашел. Он думал, как заставить электриков подняться и пойти копать в сыром подвале. Он привык, что ему делают либо с опозданием, либо совсем не делают, ссылаясь на что-то непонятное, но явно уважительное. Тарасевич видел причину в своей неспособности командовать; и всегда, если что-то нужно было сделать по электрике или по механизмам, он клячил как лично для себя, маленького, не имеющего права повыситься голос.

Электрики — два молодых парня — блаженствовали в тепле. Они только что, провозившись два часа в траншее у насосов, пришли посушиться и сидели без сапог и телогреек, которые развесили над печками. Тарасевич с ужасом понял, что они имеют полное право остаться на месте, по крайней мере не в его силах заставить их оторваться от тепла, надеть снова мокрую одежду и возвратиться под дождь. Он сказал, зачем пришел. Электрики даже не возмутились. Они курили, не глядя на Тарасевича. В таких случаях Тарасевич, думая только о себе, следя за собой и видя себя жалким, отступал и шел жаловаться Скибину. Но сейчас ему было не до себя: нужна бригада и ее гнев стояли над затылком и не давали думать ни о чем другом. И Тарасе-

вич, забыв себя, бросился в атаку. Он опомнился, когда уже вел электриков, одетых и со снаряжением, к корпусу и слушал их ругань у себя за спиной.

В подвале в свете нескольких слабых лампочек жались друг к другу маляры. Они подняли крик, но Тарасевичу впервые в жизни вдруг нашлось, что ответить:

— Знаю, знаю, Георгий Владимирович... Готовь пока инструмент, расставляй тех, кому света хватает... кто-то ведь может уже начинать, что же вы все-то стали? Вот вам электрики. Через полчаса все сделают. Пробросьте, мужики, сначала гирлянду по коридору, чтоб ходить, а после в каждую комнату по переноске — и достаточно.

Тарасевич выслушал в ответ себе удовлетворенное молчание. Только электрики продолжали материться в полумраке, разматывая бухту провода.

Тарасевич побежал дальше, пряча свою бумажку под полой штормовки от дождя. То, что было там написано, не угнетало больше безнадёжностью его выполнить, а указывало путь. Тарасевич находил нужных людей и теребил их решительно, как не посмел бы раньше. Он забыл, потерял себя в гонке за гармонией производства, которую начал чувствовать как главное и прекраснейшее в жизни. На волне первых своих побед он несся, опрокидывая преграды, могущественный, как бог, и, как божество, счастливый.

Дни и часы побежали стремительно.

Тарасевич все яснее осознавал себя как часть общей для всего на производстве и всем повелевающей силы. Пока он не постиг ее, она угнетала; теперь же открылась как милосердная. Он видел и слышал теперь лишь ее и, забыв себя, преисполнился ее могущества. Осознанная как милосердная, а не враждебная душе, она стала двигателем воли. У Тарасевича не стало ни желания, ни времени думать о себе. Не было больше беспокойства от поиска нужного поведения и сосредоточенности страдания; было полное самозабвение в деле.

В ноябре пришли морозы. Первым снежком прикрыло землю.

Труд, вложенный в корпуса, начинал прорывать границы, до которых он на стадии доводки перед чистовой отделкой имеет обыкновенные накапливаться без видимых глазу последствий, словно исчезая.

Никто точно не уловил момента, когда начали замечаться в первую очередь не беспорядок, грязь и недотянутость всех работ, а больше готовое или близящееся к завершению.

Вдруг обнаружилось, что уже окрашены окна и двери и в них стоят замки, сверкая ручками; остеклены окна; оформились плоскости, углы, кромки; ровными линиями прорезались примыкания потолков и полов к стенам. Смонтировали светильники, убрали паутину временного освещения. Стало пусто, чисто и свободно в коридорах и на лестницах. Везде, где еще не было чистовой отделки, успокаивающе виделось, что она на подходе.

Стало неловко входить в здания в грязных сапогах.

Лицо Ванеева сияло, словно отражало свет ламп, когда он проходил почти готовыми коридорами, слушая эхо почти готовых помещений. За ним толпой шли сотрудники и персонал комплекса. Они уже сейчас делили помещения, строили проекты каких-то перепланировок, кляня проектировщиков, и загадывали, что и где у них будет стоять.

Оперативные совещания Крохин перенес в отделанный начисто конференц-зал ПЛК, где на паркете, покрытом пока бумагой, стояли длинные столы, сколоченные Илюшкой Крыльцовым.

Все чаще на планерках и после них слышались шутки и посторонние разговоры. Со дня на день ждали Крищенко, и теперь ждали даже с нетерпением: в таком виде не стыдно было показывать корпуса.

Приближались праздники. Ванеев разукрасил комплекс флагами, при взгляде на которые у уставших людей поднималось в груди смутное и счастливое волнение.

## 14

Все праздники и День строителя 96-е управление отмечало обычно в кафе напротив конторы.

Женя Елхимов, выпивший со Скибиным еще в общежитии по рюмке водки, возбужденный, но без радости, медленно стаскивал в гардеробе пальто. Скибин уже разделся и весело зыркал по сторонам синими глазами, задирая входящих; те отвечали ему рукопожатиями и объятиями. Счастливое ожидание понятного ему веселья, в котором никто не мог обойтись без него, взъерошило Скибину волосы и растянуло рот в улыбке. Он был сейчас совсем пацаном; конторские старики умилялись, глядя на него со скорбным и покойным, благословляющим любованием.

В зале включили магнитофон.

Вошли прорабы, сами на себя непохожие в парадных костюмах; бог знает чем руководствовались они, выбирая их в магазинах. Привыкшие к штормовкам и сапогам, они двигались осторожно, словно боясь улететь от слишком широкого движения, и бережно ставили ноги в скользких туфлях. Костюмы — зеленые, ярко-синие, бордовые, коричневые с тисненными узорами, сиреневые — запестрели в фойе; широкие галстуки лопатой с огромными узлами закрывали по полгруды. Красные, шелушащиеся от ветров и недавнего упорного мытья лица ярко оттенялись впившимися в шеи воротничками сорочек. Слишком тщательно, с пристрастием вымытые волосы слежались под шапками и теперь в беспорядке рассыпались.

Пожимая друг другу руки, они улыбались восторженно, изумленно, как после долгой и опасной разлуки. Руки тянули издали, отставляя другую для объятия, обнажая при этом широкие твердые манжеты сорочек со стекляными и латунными запонками. Резко бросались в глаза начищенные туфли.

Вошли женщины: инженеры отделов, бухгалтеры, бригадиры, рабочие. Их встречали одобрительно-изумленным гулом, давая понять, что они неотразимы в своих неискusstных нарядах; и столько было вокруг готовности считать их прекрасными, что они в простых, с бессильными притязаниями на увиденный где-то шик платьях верили общему восхищению.

Вошла красавица Нина Хвостова в окружении подружек; разодетая и украшенная, как только могли позволить ее заработки и не воспитанное в этом направлении воображение, она показалась Скибину хуже, чем на стройке, когда, забрызганная раствором, улыбалась ему, кокетливо прикрываясь пушистыми ресницами.

Вошла бригадир маляров Наташа Орлова, полная, статная, белокурая, в открытом платье, с шалью на розовых плечах, которую теребили за грубевшие от работы и кухни, маленькие для таких величественных рук пальцы.

Вошла Тамара Ганичева, усталая после дня праздничных домашних хлопот, радостная и смущенная.

Скибин пожимал руки, отвечал на приветствия, но улыбка уже не давалась ему. Люди толпились вокруг, не зная, с какой мукой думает о них Скибин.

Скибин не воспринимал друзей в костюмах, которые скорее уродовали их. Он продолжал видеть их такими, какими любил и какими отчаянно, с необъяснимой ревностью хотел, чтобы все и всегда их знали. Гордое, горькое счастье медленно кружило ему голову.

Илюшка Крыльцов, сощурившись, болтая огромными кистями, расплывшись в улыбке, подходил к своему прорабу. С Нового года дед



расставался с бригадой. Скибину было жаль терять его, но и радостно, что Илюшка не будет больше так выматываться.

— Дед! Пришел! Вот молодец!..

Скибин обнял его, отвел в угол.

— Ну и вырядился ты! А галстук-то, галстук! С ума сойти!.. Ну-ка...

— Иди ты! Жена заставила... Я вот сейчас сниму его к черту!

— Не вздумай! Ты на артиста сейчас похож... погоди, на кого же? Забыл.

— Пошел ты, Толька!..

Сутулясь, шаркая подошвами, поглядывая исподлобья, вошел Щербач. Он вел приглашенного на вечер заместителя главного инженера треста. Сияя, огляделся, потер руки. Поздоровался глазами с Кандагаровым, с Илюшкой, с Тамарой Ганичевой, кивнул прорабам:

— Ну, собрались? Еще бы, это ведь не на совещание. Вы бы работали так.

И засмеялся, задыхаясь, продолжая кивать тем, с кем встречался взглядом.

Вслед за Щербачом все повалили к столам. Щербач усадил гостя, сел сам, тут же налил в стакан минеральной и медленно стал пить, наблюдая из-под бровей, как рассаживаются остальные.

Весело откупоривали бутылки, накладывали друг другу закуски. Замерли — два ряда сияющих и сдержанных лиц, два ряда поднятых блистающих рюмок.

Щербач встал с бокалом, плеснув на пальцы водкой.

Женя Елхимов слушал его еле-еле. Он думал о скором освобождении и был в тревоге и ярости на себя оттого, что ему не давалась радость, на которую он надеялся. Приказ был подписан. Он уходил сразу после праздников, его уже рассчитали, и вся контора судачила. Не знала пока только линия.

Новая мысль всплыла, оформилась из неясных до этого сомнений. Он искал облегчения и теперь получал его. Он знал, что несправедливо не желал облегчения и другим; но разве возможно для всех такое облегчение?

Тарасевич сидел напротив рядом с Орловой, за которой, выпив рюмку, слегка ухаживал, не переставая задирать соседей. Он был счастлив пришедшей к нему уверенностью в том, что ему есть о чем говорить с людьми и его будут слушать. И теперь уже Женя не выдерживал его взгляда, начиная видеть в счастливой улыбке Тарасевича неясный приговор себе.

Когда захмелели и устали сидеть, объявили танцы. Сдвинули столы, и люди с застланными восторгом глазами смешались в огромном, без правил и законов, признающем единственным законом тягу и разгоревшуюся любовь друг к другу танце.

Женя сидел и пил. Поманил пальцем Скибина, отбежавшего от танцующей толпы к столу за рюмкой водки.

— Знаешь, я с понедельника ухожу. Уже приказ есть, ты дела принимаешь.

Кто-то из танцующих толкнул стол. Скибин оторопело ловил и снова ставил на стол опрокинутые рюмки.

После праздников утром, расставив рабочих по местам, Скибин принимал дела у Жени Елхимова.

Скибин, которому на голову свалились вдобавок к своим еще и елхимовские корпуса, старался не глядеть на Женю. Он стал бояться души этого человека.

Они отправились смотреть корпуса. Обошли рабочие места, бытовки, склады. Все было хорошо известно Скибину, и это давало облег-

чающую возможность не разговаривать, обходиться без вопросов и разъяснений.

Женя с уже не ранищим ужасом наблюдал, как то, что он одно за другим сбрасывал с себя, нагружало душу Скибина. Однако груз, когда в него начинал впрягаться другой, вдруг переставал казаться таким невыносимым, как раньше. Женя терялся, не обнаруживая радости там, где надеялся находить ее. Он стал думать о наступившей легкости, в которой насильно купал свое освобождающееся от забот сердце. Молчание давало простор мыслям, и Женя заговорил, стараясь не замечать холодности Скибина.

— Тебе Ануреев дает кого-нибудь в помощь? Все-таки дел здорово прибавится.

— Откуда? Я и не заикался.

— Он что, с ума сошел? Как же ты будешь?

— Поставлю сюда Тарасевича,— Скибину было неприятно сочувствие Жени.

— Разве потянет?

— Потянет, не бойся.— Скибин вдруг оскорбился за Тарасевича. Он не хотел показать, что от ухода Жени здесь кому-то станет тяжелее.

Женя сдвинул шапку на затылок.

— Я-то не боюсь, чего мне бояться. Пошли в прорабскую, при-  
мешь отчет и документацию. Акт я уже подготовил.

Женя усадил Скибина за свой стол, сам сел сбоку, придвинув к себе стопку журналов и папок, на которые Скибин хмуρο покосился, готовый принимать их по очереди.

— Давай смотреть, Толя. Так: журналы работ, накопительные — одна, вторая, третья, журнал инструктажа, журналы сдачи под охрану, осмотра противопожарного состояния, осмотра лесов, табель. Все заполнено по сегодняшней день. Папки: акты скрытых работ, паспорта на конструкции, наряды, накладные... Рассчитывался с Балюком я честно, вперед не лез. Проверять это долго. Я думаю, ты поверишь.

Скибин кивнул, взял стопку себе. Ему хотелось разделаться поскорее. Корпуса уже звали его.

— Материалы.— Женя достал акт передачи материальных ценностей.— На, читай. В натуре ты все видел. В основном здесь все в норме. Не хватает только доски куба три и гвоздей немного. Ну и мелочевки с двенадцатого счета. Ерунда, спишите.

Скибин просмотрел список, кивнул. Подписал акт и отдал его Жене. Оба замолчали. Встать и разойтись сразу было неловко. Женя побарабанил пальцами по стеклу.

— В сейфе бутылка стоит. Раздавите с Тарасевичем. Я не смогу: вечером поезд, а надо еще оформить все в конторе.

Скибин потер лоб, припоминая что-то.

— А что это ты вдруг?.. И куда теперь?

— Куда? — Женя усмехнулся, скрестил на груди руки.— В хорошее место.

— Не в строительство, конечно? — как можно благожелательнее спросил Скибин.— Наверное, куда-нибудь...

Он засвистел и сделал лихой жест круто вверх по спирали.

— Да,— улыбаясь, протянул Женя, решив говорить с этим рабом производствa на языке, на котором, казалось ему, Скибин лучше всего поймет его.— Место отличное, и не на стройке, конечно.

— Оклад, наверное, побольше, да? — делая Жене последнюю уступку и переходя на тот язык, на котором, как казалось Скибину, Женя лучше всего поймет его, спросил Скибин.

— Еще бы! Под триста.

— Работа чистая, не то что у нас, да?

— Ну!

— Молодец, повезло тебе.

Женя встал, он не мог больше этого вынести.

— Ладно, я ухожу. Надо еще в контору...

— А... Ну, вечером зайди, обмоем.

— Я же сказал — вечером поезд.

— Жаль. Ну, счастливо тебе... устроился... молодец, поздравляю...

Пожали друг другу руки. Женя собрал свои бумаги. Скибин чуть заметно переступал с ноги на ногу.

— Ладно, Женя. Я погнался.

Женя махнул рукой, не поднимая глаз. Услышал удар двери и хруст снега под быстрыми ногами Скибина. Схватил шапку, сбежал с крыльца... «Свобода! Свобода! Свобода!»

Визг компрессоров, оханье растворонасосов, щелчки и пение кранов становились за его спиной все тише. Женя свернул на шоссе, дошел до места, где начинавшаяся посадка елей скрыла от него корпуса НПК. Остановился, поджидая самосвал, выруливавший на трассу.

Шофер, узнав Женю, затормозил.

— Далек, начальник?

Женя уселся, положил папку на колени.

— В контору.

— Сделаем, начальник...

## 15

Ветер широкими веерами и струями таскал по заснеженному полю прозрачную поземку. Деревья торчали над сугробами. Элегантные сойки, присаживаясь, гнули им ветви.

На горизонте — все та же Москва.

У белого поля вырвали середину; в котловане бледно и судорожно горели сварочные огни. Вдоль фундаментов тянулись гирлянды сигнальных ламп электропрогрева. Далек внизу два маленьких человека сколачивали из досок щиты опалубки. Стук молотков не долетал сюда, наверх.

Очевидно, здесь будет либо кинотеатр, либо торговый центр нового микрорайона. В общем, что-то громоздкое и дорогое, судя по котловану.

Три девятиэтажных дома выстроились уступами, прячась один за другой, недалеко от котлована. Окна были застеклены грязной обрешью, как стеклят временно, когда отделяют здания зимой. Свет угадывался внутри. Из приоткрытой двери одного из подъездов вился парок.

Вагончики-бытовки были поставлены квадратом. К ним сбегались все тропинки.

Женя Елхимов расстегнул пальто, сдвинул шапку на затылок; пригляделся и, безошибочно определив среди вагончиков прорабскую, пошел к ней, нащупывая в кармане приемную записку из отдела кадров местного прораба.

Парень за столом глянул исподлобья, не поднимая головы от бумаг. Он был без шапки. Шапка лежала рядом на стуле, обсыпанная бисером растаявших снежинок.

Женя сощурился в белом свете глядевшего в окошко морозного утра, которому только мешали усилия лампочки без плафона.

Два стола буквой «Т». Стеллажи с чертежами. Сейф в углу. Две лавки. Мокрый и грязный от нанесенного на ногах снега линолеум.

Женя заранее обдумывал свое поведение с прорабом, к которому попадет работать. Он решил ничего не говорить о себе, смиренно и с ликованием в душе, какое бывает у зрячего среди слепых, слушать приказы и со спокойной душой делать что говорят.

Этот прораб был очень молод, моложе Жени. Только что произведенный из мастеров, ясно. Он сидел в телогрейке; шарф на шее скрутился в жгут, воротник клетчатой байковой рубашки выбился и

торчал концами в разные стороны. Ноги в валенках громоздились под столом.

Парень перебирал наряды. Женя вспомнил, что сейчас конец месяца. Наряды, выполнение, отчет... вон он лежит, на углу стола.

Женя представил, как бы все это вернулось сейчас к нему вновь, представил тяжесть всего, что навалилось бы на него, сядь он сейчас за прорабский стол, вздохнул с облегчением. Вдали от тех, кого оставил, облегчение стало даваться ему без труда. Он вызывал это чувство в себе, когда хотел, то и дело натываясь на пустоту в душе там, где раньше лежала ответственность, и с наслаждением проваливался в эту пустоту — игра, не потерявшая пока для него прелести.

— Здравствуйте, я, наверное, к вам? Это ведь четвертый участок ПМК-43? — Женя подал записку.

Прораб закурил и стал читать. Женя присел на лавку, аккуратно подобрал полы пальто. Теперь у него, прежде чем сесть, всегда будет время осмотреться.

Шел первый его рабочий день — первый день плотника четвертого разряда Жени Елхимова. Уже часа как не бывало — и ни одна минута этого часа не отдалась в груди тревогой, не возвала напрячь волю, забыть себя. Наоборот, Женя постоянно помнил о себе и о своем облегчении. Шум стройки, раньше звавший так страшно, теперь был восхитительно безразличен Жене. Он мог спокойно ждать, что ему велят делать, и, делая это, не озираться с тревогой ни мысленно, ни глазами на окружающее, до которого ему больше не было дела.

Зажав сигарету в зубах, прораб потянулся к ящику стола, выдвинул и стал рыться в нем.

Женя понял, что он ищет журнал инструктажа по технике безопасности. Сейчас откроет его и начнет говорить Жене то, что сам Женя столько раз говорил другим.

В журнале одна за другой десятка фамилий. Слава богу! Для него, Евгения Елхимова, осталась на свете только одна фамилия, до которой ему есть дело: его собственная.

— Елхимов... Евгений... Давыдович...

Прораб бормотал, записывая. Он торопился, дел с нарядами и отчетом было невпроворот. Женя отнимал у него время. Он глянул на стопку нарядов, потер виски. Женя улыбнулся:

— Да ладно, ученые, знаем все сами. Не первый раз одно и то же... Давай распишусь, что время тянуть.

Прораб охотно пошел на это нарушение, протянул журнал: Женя расписался, посмотрел, как выглядит его подпись в графе «Инструктируемый». Один черт!

— Пойдешь в бригаду Мандрина, вон их будка, длинная, обитая железом. Мандрин. Запомнил? Скажешь, что направлен к нему, он поставит тебя на работу. У меня сейчас времени нет совершенно, но я после подбега, посмотрю, как ты там...

— Мне же надо еще инструмент и спецовку получить. Где это?

— А... Верно. Дуй тогда сначала на склад, там рядом и инструменталка. Вон, — указал прораб на группу домиков в километре от площадки, обнесенную дощатым забором, куда вела пробитая в снежной целине дорога. — Контора участка. Там склад. Потом пойдешь... там есть такой дед... инструментальщик... Он выдаст тебе инструмент. Погоди, я записку напишу. Вот. Бери, получай все — и к Мандрину.

— Хорошо.

Женя не спеша, как раньше было ему недоступно, пошел по колее, заложив руки в карманы и подставив ветру блаженную улыбку. Ему не надо было думать, что будет через минуту, через час, завтра. Сознание работало только на смакование этого блаженства. Производство бессильно было распорядиться его душой; тело же пусть возьмет. Женя бросал ему назад тот призрак власти и избранности, которым оно утешает тех, на ком ездит.

И производство не звало его больше.

В длинном холодном складе Женя долго выбирал и мерил телогрейку, костюм, валенки, болтая с кладовщицей. Потом пошел в инструментальную мастерскую.

Там седенький дедок-инструментальщик прочел записку, снял с гвоздя связку ключей, и они пошли к складу инструмента. Отпирая замок, старик спросил:

— Что будешь брать-то?

— А это мы сейчас посмотрим, что у тебя есть,— потер Женя руки. Он знал и любил плотничный инструмент.— Ну-ка... Только вот ящичка у меня не имеется. Не успел сделать. У тебя не валяется какой-нибудь?

Старик принес ему ящик. Женя пошел вдоль стеллажей, заглядывая в гнезда с инструментом.

Пропустил фуганки — на стройке они лишний груз, валяются в вагончиках у плотников даже не наточенные; если и берут их, то только на халтуру.

Вот стамески — большое дело. Выбрал четыре разных.

Снял с полки рубанок, повертел. Железка так себе... впрочем, в инструменталках лучшего не найдешь. Ладно. Вряд ли придется что-нибудь так уж чисто строгать.

Отвертки. Ого, и крестики! Дефицит! Придумал же какой-то идиот шурупы с крестовым шлицем.

Топоры, большой и поменьше; отвес, метр, уровень. Вспомнил, вернулся, взял коловорот. Внимательно глядя, подошел к ножовкам, выбрал две.

Ящик уже оттягивает руку. Взял брусок и оселочек.

Старик ждал, позванивая ключами.

— Все,— сказал Женя,— теперь точить надо. Где у тебя станок?

— Иди вон в сарай. Да давай ножовки сюда, наточу тебе. А то ты до вечера проковыряешься. Стой, карточку на тебя заведу.

В конторке за крошечным столиком старик положил перед собой чистый бланк, надвинулся на него с ручкой.

— Тэк-с... Елхимов Е. Д. Плотник. Что у тебя, значит? Так, рубанок... топоры — два... стамески — четыре...

Женя расписался, оставил старику ножовки. Пока шел к сараю, взглянул на часы. Полдня прошло, считай, а незаметно, спокойно. И делом занят, ни одна сволочь не попрекнет.

Женя открыл сарай. В углах намело через щели снежку. Чтобы взять из бочки воды, пришлось проломить лед.

Разложив все на верстаке, запустил станок. Развинтил рубанок, оставил в руках лезвие. Обсыпая искрами руки, спустил ровную фаску; напилал водой брусок и твердыми движениями наточил жальце; свел на оселке заусенцы. Поднял с земли щепку и для пробы перерезал ее пополам. Срез как стеклянный. Закурил, любуясь.

— Еще и не всякий так наточит, черт возьми!

Взялся за топоры.

Он еще не привык к тому, что огромное око производства не направлено на него. где бы он ни находился. Он постоянно ощущал себя теперь вне этого огромного требовательного взгляда и был очарован свободой от необходимости внимать ему.

В конторке, пока старик дотачивал ножовку, Женя курил, протянув ноги на середину каморки. наслаждался благостным покоем. Потом сложив инструмент и увязав спецдовку в узел, направился назад к котловану.

Как славно быть ни в чем не виноватым...

Совсем простым, совсем простым созданием...

Бригада человек в пятнадцать сидела в вагончике и перекуривала, когда Женя вволок туда свое новое имущество.

Телогрейки на всех были расстегнуты, валенки стояли у печек и парили. Шапки лежали на длинном столе среди старых газет и журналов, костяшек домино и рассыпанных шахмат. Вдоль стены стояли шкафчики; поверху были навалены каски, монтажные пояса, старые куртки и рукавицы. Сквозь дым Женя разглядел на стене социалистические обязательства и подписи под ними.

Плотники едва взглянули на него; кое-кто и вовсе не повернул головы.

Женя сделал шаг от порога, улыбаясь с настойчивой приветливостью. Полагая, что теперь обстоятельства потребуют от него какого-то перерождения, но не чувствуя желания меняться, он стремился хоть внешне казаться не тем, чем был, и от этого фальшивил, сознавая это и удивляясь себе.

— Привет. А кто бригадир, ребята?

Крупный, румяный, пышноволосый мужчина, до этого чему-то смеявшийся, умолк, уставился на Женю вполоборота, держа сигарету на отлете. Что-то продолжало подталкивать Женю фальшивить, не быть самим собой. Он почувствовал, что вот-вот все поймут это. Перестал улыбаться, но вышло еще хуже. Спросил, потерявшись в поиске не давшащегося ему нужного поведения:

— Ты, да? Мандрин, да? Меня направили к вам в бригаду.

Женя обежал глазами всех по очереди. Он внезапно подумал, что не все предусмотрел. Представляя себе свое грядущее существование как безмятежное и радостное самосозерцание, он не видел людей, которые будут окружать его. Теперь — и именно этого не было в его мечтах — тоже приходилось, как и раньше, на кого-то реагировать, ради кого-то напрягаться, от кого-то зависеть; дело менее всего шло к тому, чтобы, как он мечтал, принадлежать только самому себе, отвечать перед собой и за себя.

Женя механически поставил ящик, стал расстегивать пальто. Ему хотелось уйти, остаться одному и воскресить в себе то, что он утратил, едва переступив порог вагончика. Но шел рабочий день. Он был членом бригады и обязан был остаться и говорить с этими людьми, совершенно ненужными ему.

— Бутылку неси — примем! — молодо и нахально послышалось из-за голов; и сам парнишка-ученик первым засмеялся, заглядывая в глаза старикам, чтобы те оценили его остроумие.

— Направили, ну и ладно, — медленно сказал бригадир, вставая. Он открыл один из шкафчиков и стал вытряхивать оттуда тряпье и старые газеты. — Развели бардак! — прикрикнул он на своих. — Что это за хлам здесь? Твой шкаф будет, — показал он Жене. — Как зовут-то?

Женя с тоской вспоминал: что же очаровало его в проповеди Чусова? чему он тогда так радовался? что нашел для себя? Ведь что-то привело его тогда в восторг! Но что? Женя не мог вспомнить. Услышал вопрос и подошел к протянутым отовсюду рукам; начал пожимать их, суетливо повторяя:

— Женя... Женя... Женя... Женя...

И не запоминал, не слушал имен, произносимых в ответ.

Бригадир крепко стиснул его руку, представился:

— Владимир Иванович.

Женя удивился, что будет называть бригадира по имени-отчеству, а тот его — только по имени; опомнился, кивнул, соглашаясь:

— Женя.

— Какой разряд-то?

— Четвертый.

— А раньше где работал?

Женя назвал трест и управление.

— Знаю, — кивнул Мандрин. — Ладно, дай-ка я тебя в табель впишу. С сегодняшнего дня, значит. Сегодня у нас... Елхимов Е. Так! Вста-

ли, мужики! Ты, Женя, переодевайся и догоняй. Мы в первом доме полы стелим.

Плотники, надевая шапки и запахивая телогрейки, стали выходить.

Женя торопливо стянул с себя пальто, затолкал его в узкий шкафчик. Снял пиджак и брюки, надел спецовку. Свитер остался на нем. Из-под зеленых брюк торчали лакированные ботинки. Он сбросил их, сунул ноги в валенки; надел телогрейку и застегнулся на все пуговицы. Все на нем было новое и сидело туго. Кисло пахло брезентом. Женя уловил все же запах одеколona от свитера. Что-то напоминал ему этот запах, чем-то прозвонил в памяти. Женя присел на скамеечку перед шкафом, обессиленный внезапной тоской сиротства.

И тут, как часто с ним бывало, из самой глубины тоски забил вдруг ключ чистой, горячей надежды, что все будет хорошо, что с ним, Женей Елхимовым, не может быть не хорошо, что тоска — это ошибка.

— Ерунда, — прошептал Женя, — я просто не привык. А привыкну... и буду работать, и плевать мне на всех... Скоро день закончится, пойду домой...

Схватил ящик и побежал догонять бригаду.

Бригадир остался у входа в подъезд и, задержав одного, дождался Женю.

— Станешь вот с ним в пару. Будете стелить полы на третьем этаже. Он покажет.

Женя кивнул. Напарник его был молодой парень, такой же, как и он сам. Женя обрадовался. Он был доволен и тем, что начнет с дощатых полов — уж на этой-то работе он не срежется. Было важно нормально начать, а дальше втянешься. Женя опасался, что ему придется с первого дня на глазах всей бригады делать что-нибудь сложное.

Плотники поднимались по лестнице и по двое, по трое уходили на свои этажи.

Парень привел Женю в только что оштукатуренную, сырую еще квартиру, где под полы были выставлены и расшиты лаги и в большой комнате с угла на угол лежал штабель поданных с балкона досок.

Оставшись с парнем вдвоем, Женя почувствовал себя увереннее, тронул его за плечо:

— Слушай... извини, конечно... забыл, как тебя зовут. Сразу разве всех запомнишь!

Парень засмеялся.

— Да ничего. Витя меня зовут.

И Женя, хотя ему много раз приходилось стелить дощатые полы, застыл на месте, не решаясь ни к чему прикоснуться, боясь первым же жестом выдать, что он не профессионал.

Он дождался, когда Витя отрезал по длине комнаты первую доску и начал резать по ней остальные; тогда и он, взяв у Вити шаблон, начал резать доску, набирая себе стопку.

Дальше пошли стелить; Женя увлекся и перестал думать.

К вечеру правую ладонь жгло от ручки молотка. После долгого сиденья на корточках ломило колени.

Заканчивали уже при свете переноски временного освещения, оказавшейся у Вити в ящике. За полдня настелили полы в двух комнатах и начали прихожую.

Сгребли щепу и стружку к балкону; дожидаясь, пока бригада пойдет вниз по лестнице, закурили, присев на ручки ящиков, неподвижно глядя на настеленный пол.

Теперь, когда участие Жени в производстве сузилось, он ждал простора в душе, но, казалось, сузилась и душа, и радости негде было

в ней поместиться. Да и радости все не было, а ведь прошел уже день. У Жени было такое чувство, словно он стремился к чему-то, чего-то искал и, придя за этим, забыл, за чем пришел. Забыл и не мог никак вспомнить. И недоумевал, зачем он здесь.

Идя вслед за Витей в бытовку и слыша вокруг хруст снега под валенками, Женя снова терзался тоской сиротства. Эти люди были чужие ему, вернее, он был чужд им, будто, идя сюда, не ожидал больше встреч с людьми. Он пришел к ним в поисках чего-то для себя, они были ему совершенно не нужны. Женя чувствовал, что, узнай эти люди, с чем он пришел к ним, они сочли бы его враждебным себе. Он с ужасом видел необходимость изо дня в день таиться, притворяться и лгать.

Но Чусов, Чусов... Чем же он был так доволен? Что очаровало тогда его, Женю? Неужели не было ничего?

В бытовке он стал в один ряд со всеми у шкафчика и начал переодеваться, стараясь не касаться соседей локтями. Он не мог участвовать в общем разговоре. У него не оказалось заинтересованности ни в чем, кроме своего душевного состояния, и оттого, что оно было угрожающим, Женя ненавидел все вокруг.

Неужели так вот всю жизнь?

И снова, когда Женя готов был сорваться к отчаянию, поднялась в груди надежда и уверенность, что тоска просто ошиблась адресом и не может быть такого, чтобы ему, Жене Елхимову, было плохо.

Распахнулась дверь, и вошел прораб. Сел за стол, поманил Мандрина, который только что выпростал голову из свитера.

— Володя, сейчас была оперативка, получил я чертей... и правильно, между прочим... что мало берем бетона на фундаменты. Мы с тобой увлеклись полами: я — выполнением, ты — заработками. Но надо все же снимать с полов хоть пару человек к тем двоим в котлован на опалубку. Пойми и электриков: мучаются с прогревом на маленьких объемах, разве это работа! Давай двоих на опалубку с завтрашнего дня. Кто? Говори.

— Черт вас знает, Паша... — Мандрин задумался. — Я ведь людей настроил: знают сроки, заработки... Срывай теперь, бросай все...

— Ладно, хватит! Я ведь тоже теряю немало... но надо, никуда не денешься. Заработки... Пусть на опалубке зарабатывают. Не работа, что ли?

— Что там зарабатываешь?

— Ну, знаешь! Мы здесь не выбираем себе работу, какая нравится. Давай, Володя, назначай. Кто?

Мандрин выругался, оглядел бригаду.

— Виктор. И... Елхимов.

— А, новенький? Как работается, нормально?

Женя пожал плечами.

— Ничего.

— Ну и ладно... Так, завтра с утра оба ко мне. Берите молотки, топоры и ножовки, больше ничего не понадобится. Я вас отведу. Володя, пошли сейчас же кого-нибудь двери в домах позакрывать как следует. Черт вас всех возьми! Медведям столько говорить, и то научатся закрывать за собой. Московскую область отапливаем... Ну, до завтра.

«Отлично, — подумал Женя, — пойду завтра с Витей, будем лепить опалубку...»

Ему стало спокойнее, и опять думалось, что покой останется навсегда.

Стройку заметала пурга.

Снег валил непрерывно. Вместо рассветов чуть брезжило что-то серо-синее в зените; через три часа над головой вновь сгущалась чернота без звезд, и тогда включались прожекторы. Снег неся в их свете



косо, и казалось, что все поворачивается, падает, но неуловимо становится на свое место как раз в тот момент, когда готово опрокинуться,— и так без конца.

Каждое утро четверо плотников лезли по трапу в котлован, очищали от снега штабель досок и в четыре молотка начинали сколачивать щиты опалубки. Потом, глядя в истрепанную бумажку со схемой, нарисованной прорабом Пашей, крепили щиты на место. Следом за ними валяли из бадей бетон, визжали, захлебываясь в нем, вибраторы. Когда отходили люди, начинали гудеть трансформаторы электропрогрева.

Вспотев и вымокнув, набрав полные валенки снега, плотники бежали к себе в будку курить и сушиться.

Женя Елхимов привыкал к новой жизни.

Телогрейка быстро обтерлась по нему и утром надевалась будто сама. Ручки инструмента успели отполироваться его ладонями. Он сжился с бригадой, а с Витей, своим постоянным напарником, у них было что-то похожее на дружбу.

Работа у Жени шла. Он был сообразителен, много умел сам и много знал со стороны как бывший прораб. Скоро он уже руководил Витей и объяснял ему. Но радости, какой Женя ждал, праздника освобождения от ответственности не дождался. Со временем прекратились приступы отчаяния, мучившие Женю сначала. Он устал, в душе износилась способность глубоко отчаиваться. Немного утешала мысль, что прорабом он все равно не хотел бы работать, так что жалеть ему не о чем. Острота переживаний утратилась. Осталась только потребность в самососредоточенности. Она не проходила, росла, стала первой необходимостью; и уже неизвестно чему служила эта сосредоточенность: в ней Женя ничего не обретал и не надеялся обрести. Это была привычка, бессмысленная и властная, как курение.

Когда прораб Паша, проходя мимо, останавливался за спиной Жени и смотрел его работу, Женя застывал в тоскливом раздражении и не мог поднять молотка, пока Паша стоял над ним.

Этот пацан был постоянным источником тревожных подозрений Жени о себе. Возле Паши то, что Женя покинул как несправедливое и жестокое, не казалось таким. Женя начинал видеть причины не в жестокости производства, а в своей неспособности быть сильнее его — неспособности, которой нет в Паше, в Скибине, в тысячах других. Его шаг переставал представляться жестом, прекратившим несправедливость, это было бегство с хорошо продуманными доводами самообмана.

Поведение с Пашей как зрячего со слепым не давалось Жене. Женя чувствовал пугающее превосходство Паши над собой и ловил себя на робости в обращении с ним. Ему нелегко давалось даже называть прораба по имени и на «ты»; оборви его Паша раз — он снес бы это безропотно.

Он давно бросил вопрошать себя в поисках смысла случившегося с ним. Он геперь и без этого знал, что совершил ошибку, и не тогда, когда оставил линию, и не потому что ушел в рабочие, — он не считал это потерей престижа. Да и зачем знать свои ошибки, если уже знаешь, что совершил их?

Вечерами он играл в красном уголке на бильярде выщербленными шарами, стал поигрывать и в карты, просиживая за преферансом до утра. Азарта он не чувствовал, ему просто нужно было расходовать на что-то внимание. Всего тяжелее было то, что его больше не тянуло пить. Душа, отрезвляясь, не находила в себе надежд, которые рождались в ней после рюмки.

Женя очень повзрослел, огрубел и опустился внешне. Ему стало лень бриться, он дал бороде расти и не подправлял ее. Он перестал

даже переодеваться с работы и на работу и так и ездил в трамвае в телогрейке и валенках.

Стал писать длинные письма домой — сестре и родителям. Писал, что его назначили начальником участка, поэтому у него теперь больше денег. Он стал находить много ласковых слов для сестры, которая росла в семье на вторых ролях и о которой раньше никогда не думалось так, как теперь. Письмами от нее, которые обычно просматривал и бросал, Женя теперь зачитывался, хватал их на вахте, нес в комнату и, не сняв телогрейки, закрываясь от соседей плечом, перечитывал несколько раз.

То, что Женя и в новой работе, в новом своем положении по-прежнему чувствовал себя подневольным, в конце концов помогло ему понять свою ошибку. Он заразился боязнью ответственности, не подумав, что на ответственности стоит мир. Он ошибался, полагая, что ему невыносима только ответственность прораба. Он не захотел видеть, что стремился освободиться от ответственности вообще, и в ослеплении своем зашел слишком далеко. Чусов и ему подобные, которых Женя презирал за меркантилизм их стремлений, считая себя в этом отношении благородно бескорыстным, — те хоть остались в каких-то приемлемых рамках в своем неприятии ответственности; он же дошел до конца.

Когда Женя понял это, душа его затаилась в уверенном ожидании горя, в предчувствии скорого и опустошающего откровения о себе, после которого не останется надежд. И с такой неподвижной, страшно напряженной душой он делал все: вставал, ехал на работу, работал, лежал вечером на койке, играл в преферанс, крупно проигрывая и не замечая этого.

Он шел в толпе плотников к работе — высокий, сильный, красивый; девчонки поглядывали на него, вертелись рядом; но он дышал ровно в начинающую чуть виться бороду, глядя только перед собой просветленными осознанной безнадежностью глазами.

Его спокойствие обреченного изменяло ему теперь лишь тогда, когда Паша попадался ему на глаза.

Между тем — и Женя опытным взглядом видел это с восторгом неуправляемого злорадства — дела Паши были плохи.

Неожиданно с домов сняли основную массу штукатуров — очевидно, в какой-то прорыв, — и маляры, которые без идущей далеко штукатурки не могли как следует развернуться, стали у Паши над душой.

ДОК в Савелове застопорил поставки досок для полов. Плотники второй день перебивались случайной работой. Недовольство их росло; Паше все труднее было с ним справляться.

Как назло, ударили сильные морозы, и все работы на открытом воздухе усложнились вдесятеро. Теперь нельзя было отойти от котлована: малейшая небрежность могла дорого стоить.

Системы отопления домов, запущенные по временной схеме на половину мощности, не поспевали за морозом. Как ни берегли, по чьей-то небрежности все же разморозилось несколько батарей; за ночь вода, хлеставшая из лопнувших труб, сгубила сотни метров готовой окраски. Паша из последних сил сдерживал натиск расстроенных, обозленных маляров.

Вдобавок неделю назад кто-то из бетонщиков, спускаясь в котлован, покатился по обледенелому трапу. Перелом обеих рук — тяжелый несчастный случай. Паша был полностью виноват — не уследил, чтобы трап очистили от наледи и посыпали песком. Уже неделю случай расследовал работник прокуратуры, и Паша ходил сам не свой.

На следующее утро где-то прихватило морозом сеть временного отопления бытовок. Люди пришли и обнаружили в шкафах холодные

и сырые телогрейки, которые невозможно было надеть. Толпа двинулась к Паше, негодуя и грозя, и с ними шел Женя Елхимов. Он кричал громче и яростнее всех, хотя ему единственному было безразлично, высохла ли его телогрейка:

— Издеваются над людьми! Никакого порядка! Мало вас гоняют, начальнички! Ни черта не думают эти прорабы! Не можешь — скажи и не лезь в начальство! Морозят людей, понимаешь!..

Паша вышел на шум, стал перед толпой — без шапки, пацан пацаном. Не успел он рта открыть, как прибежал электрик, схватил его за рукав: перегорел трансформатор электропрогрева, надо было везти новый трансформатор и кабель, а пока что-то делать, чтобы бетон в фундаментах не замерз.

Вслед за Пашей на крыльцо вышел инспектор прокуратуры, довольный тем, что прораб покинул его. Паша умоляюще оглянулся: в его положении хамить инспектору было безумием. Паша пролепетал извиняющееся: «Сейчас, минутку...» — и тут три полуприцепа, груженые долгожданной доской, въехали и развернулись на площадке, подняв нетерпеливый протяжный вой. Кран же неделю стоял сломанный, и починить обещали только завтра.

На секунду Паша замер. Отовсюду орали и дергали, машины гудели, инспектор нетерпеливо постукивал ногой, наливаясь раздражением.

— Безобразие, — передернул плечами инспектор. — В самом деле, что за халатность? Потом удивляетесь, что люди у вас болеют. Не только калечите их, но еще и морозите.

Женя видел Пашину муку.

Паша лихорадочно соображал. Вздохнул, приходя в себя.

— Мандрин! Владимир Иванович! Ставь всех разгружать доску. Кран сломан... сволочи!... Ну! Для себя ведь! Берите спецовки и перо-одевайтесь в здании. Отогреете куртки на батареях... перебьетесь сегодня как-нибудь. Что ж, не работать весь день? Слесарь сейчас пойдет и посмотрит, где там прихватило трубы, порядок будет... Человека четыре пошли, пусть берут в домах паклю и закрывают бетон. Замерзнет — зубами потом грызть будем. Коля, — сказал он электрику, — садись в самосвал и дуй за кабелем и трансформатором, к вечеру прогрев чтобы был. Стой. Возьми с собой пару человек, заедете на пилораму да опилок наберете, будем и опилками бетон засыпать. Все, поезжайте! Сейчас я закончу с товарищем, — он повернулся к инспектору, — и ко всем подойду.

Рабочие стали расходиться. Площадка перед прорабской опустела, Женя, тупо повинувшись жесту Мандрина, пошел за всеми, натягивая рукавицы.

— Володя, стой-ка! — крикнул Паша Мандрину. — Чуть не забыл. Одного надо послать срочно врезать замок во входную дверь трансформаторной подстанции. Сегодня предупредили: монтажники начинают завозить туда оборудование, мы должны передать им ключи. Кто?

Мандрин остановил Женю, шедшего позади всех.

— Женя, сходишь?

— Сейчас. Инструмент возьму, — тихо ответил Женя и повернул к бытовке.

— Ты что? На вот молоток да стамеску, какой тебе еще инструмент?

— А... Да.

Мандрин сходил на склад за замком, отдал его Жене, показал здание подстанции на противоположном краю котлована.

— Ключи прорабу отдашь. Делай и быстрее приходи.

Женя положил замок в карман, кивнул; побрел в направлении, указанном Мандриним.

Мысли вдруг хлынули в сознание, не давая себя разглядеть. Беспросветное горе стояло перед глазами, манило за собой. Женя шел, завороченно вглядываясь в него. Он давно сбился с тропинки на целину, помня лишь направление, и не понимал, отчего стало так трудно идти. Он проваливался по пояс и разгребал снег валенками. Чей-то непрошенный пронзительный крик стал в ушах, отвлекая Женю, завороченного созерцанием своего горя, которое вело его за собой.

— Эй, куда? Куда, мать твою?...

Женя жалобно вздохнул, сощурился поглядеть, кто это мешает ему; неожиданно встретил ногой пустоту и, ахнув от удивления, заскользил вниз по длинному крутому скату котлована, продолжая крепко сжимать молоток и стамеску; потом перевернулся и грянул вниз головой.

Цепляясь руками за фундамент, остановивший его, Женя поднялся. Увлеченная им лавина снега засыпала его по пояс. Слепленный кровью, залившей глаза, он озирался, хватая руками пустоту.

Сначала закричали в котловане, потом где-то дальше, еще и еще.

Потеряв шапку и шарф, прораб Паша бежал по одиноким следам человека, неожиданно свернувшего туда, где никто не предполагал никаких хождений и где котлован не был даже огорожен. Увидев внизу Женю, Паша прыгнул, съехал по скату, яростно разгребая снег, добрался до Жени, и алый цвет резанул по глазам. У Паши свело сердце от вида крови и от ужаса возмездия за эту кровь. Всклипывая без слез, он огляделся.

— «Скорую»! «Скорую»!

Женя полой телогрейки вытер лицо, зажал рану ладонью. Отчаяние и ужас Паши примирили его с ним.

— Не ори, дурачок. Какая тебе «скорая»! Хочешь, чтобы у тебя зарегистрировали еще один несчастный случай, да еще и тяжелый?— У Жени кружилась голова, он сел в снег.— Ничего страшного. Где твой самосвал? Скажи шоферу, пусть отвезет меня в медпункт, это рядом. Там ребята перевяжут и не будут особо интересоваться. После полежу дома дня три... в табеле восьмерки нарисуеть... Мандрину объяснишь, поймет. Иначе несдобровать тебе, дураку, понял? Два тяжелых случая за неделю... Давай быстрее, народ собирается.

Паша вел Женю по трапу вверх и тревожно спрашивал, уже сдавшись и успокаивая совесть:

— А если что серьезное? Надо бы все же в больницу...

— Что ты трясешься? Я же чувствую, что ничего страшного. Отлежусь. Какая разница, где перевяжут?

Женя улыбался, превозмогая тошноту. Кровотечение утихало. Страх Паши перед наказанием забавлял Женю; ему было хорошо, и он не чувствовал боли.

В медпункте Женю осмотрели и, не найдя ничего серьезного, отпустили с миром, сделав перевязку и посоветовав обратиться к врачу по месту жительства. Самосвал ждал Женю у КПП. Он доехал до общежития; напугав вахтера видом окровавленной одежды, поднялся к себе, лег на кровать. Он начинал гореть в жару. Рана сильно болела. Женя стонал, но не думал о боли. Он вспоминал испуг Паши, и на душе у него впервые за много дней было легко.

Утром Женю охватило беспокойство, боль прекратилась, но куда-то пропала и легкость, которой Женя так радовался вчера.

Уходя на работу, соседи по комнате спрашивали, как он себя чувствует. Женя отмахнулся: хорошо, дайте поспать. Едва они ушли, Женя вскочил в сильной тревоге. Но она никуда не гнала, и Женя недоуменно озирался, стоя посередине комнаты.

Горе вернулось и снова стало перед глазами, заставляя завороченно вглядываться в него.

Женя заметался, начал лихорадочно рыться в своих вещах; не найдя того, что искал, принялся выворачивать чемоданы соседей. Достал тетрадь и ручку, вырвал лист и сел к столу. Он писал отцу...

Босиком и в трусах сбежал в вестибюль к почтовому ящику, вернулся, лег на кровать и стал ждать, плохо представляя, сколько пройдет времени, прежде чем отец получит письмо. Он ждал минута за минутой — три дня.

На четвертый день к вечеру Женя дремал, вздрагивая от озноба. Он не слышал стука в дверь, не слышал, как она отворилась, как его отец подошел и, не веря своим глазам, опустился на край кровати. Женя проснулся оттого, что кто-то тихо коснулся его лба.

## 16

У крылец и с отмолок рабочие сгребали в кучки и грузили в самосвалы последний мусор, который вымели после себя маляры.

На очистных, котельной, механическом, ЭТК и клубе уже прошли государственные комиссии, и акты были подписаны. Эти объекты стояли готовые, и немногочисленные люди Толи Скибина, устранявшие в них последние недоделки, терялись в толпе работников эксплуатации, начинавших в корпусах свою жизнь.

Неделю назад остатки материалов, вагончики, механизмы начали перевозить на другие площадки. Скибин задержал лишь полтора десятка людей да легкотрудицу Варюшу, которую назначил ключницей и временным комендантом оставшегося пока не сданным ПЛК.

Людей на новом месте принимал Тарасевич. Скибин и сам не заметил, когда начал доверять ему. На линии это всегда происходит неуловимо.

Сегодня на ПЛК ждали государственную комиссию. Скибин направлялся туда проверить, не забыли ли где мусор, все ли ящики и козелки вынесены. Варюша с огромной связкой ключей шла за ним.

Вокруг бегали очень озабоченные незнакомые люди, заселившие сданные корпуса. Теперь, кроме Ванеева и его секретарши, Миши Балюка и нескольких инженеров комплекса, Скибин никого не знал на НПК. Ему приходилось клянчить в цехах, возведенных им, газированной воды из сатураторов, с боем прорываться в здания мимо вахтеров и проводить туда своих людей, чтобы что-то доделать.

Скибин поднимался по лестницам и в лифтах, проходил коридорами, петлял между работающими станками в цехах. Всюду было новое, непривычное движение. Несли бумаги, курили на площадках, разговаривая на языке чужой технологии, сторонились уборщиц, уже хозяйки мывших полы, безжалостно хлопали дверями, топтали ступени лестниц, вбивали в стены гвозди и вешали доски информации и стенгазеты, крепили таблички к дверям. Люди уже жили здесь; а Скибин продолжал помнить эти стены еще неоштукатуренными, в дырах под трубопроводы, которых нет еще и в помине, двери — только что выгруженными из машины и сложенными штабелями, полы — из земли и мусора. Он продолжал видеть своих людей в растворе и грязи, превративших то, что было, в то, что есть. Скибину припомнилась вся усталость на этом пути. Дрожь восхищения и облегчения сотрясала его плечи так, что он оглядывался, не видит ли кто. Смешная самому ему обида на новых людей, не замечающих его, сотворившего все здесь для них, вызывала у Скибина улыбку блаженной скорби.

Оставался производственный корпус — единственный, где он был пока хозяином, последний, куда он мог еще войти, отомкнув входную дверь своим ключом; и последний, мешающий сказать, что дело здесь сделано.

Скибин достал из кармана ключ и отпер лакированную тяжелую дверь. Распахнув ее, он пропустил вперед Варюшу и отдал ключ.

— На, пристрой к общей связке. Сдашь вместе с остальными. Варюша пошла открывать Скибину двери.

Скибина, остановившегося на минуту в мраморном вестибюле, продолжало сладко мучить воспоминание о том, как все было. Это повторялось на всех готовых объектах. Скибин стыдился, что важничает перед собой, переживая, как сейчас, в последние минуты всю усталость — свою и людей — от начала до конца. Она давила Скибина, он ощущал ее так ярко, что даже согнулся, идя за Варюшей, тяжело опираясь на сжатые в карманах кулаки, исподлобья глядя на стены и колонны, которые продолжал видеть обнаженными, безобразными, бесконечно далекими от того, какими должны стать.

Скибин шел, заглядывая в распахнутые Варюшей двери, пятная чистые полы сапогами; и уже зная, что завтра чужая уборщица сотрет его следы, не боялся наследить.

В конференц-зале, пока без кресел, которые лежали упакованными в фойе, вытянулся стол, стулья вдоль него. Скибин посчитал стулья. Для комиссии хватит. Поправил красную кумачовую скатерть, взял из пепельницы окурок и сжал его в кулаке, чтобы выбросить на улице. Повернулся к Варюше:

— Пепельницы протри. Входную дверь пока закрой и будь наготове: откроешь, как только начнут собираться, чтобы не мерзли на улице. Внутренние двери так оставь. Будешь передавать ключи — закроее с комендантом... Беги в будку пока.

Толя Скибин и Сережа Карепов, сбросив телогрейки, сидели в вагончике у Скибина, курили и в окошко смотрели, как собирается у входа в ПЛК комиссия.

Уже приехали и нервно прогуливались на морозе Щербач с Крохиным. Они весело переговаривались с вечными своими противниками, руководителем управлений субподрядчиков. Свиты смешались в одну толпу. Инженеры — хранители документации, предназначенной к сдаче заказчику, держали стопки папок на груди, как детей. Представители контролирующих организаций, которые должны были подписать акт, независимо поглядывали по сторонам.

Акт приемки здания лежал в портфеле у Щербача и ждал своего часа.

Скибин увидел Варюшу, направлявшуюся к входу со связкой ключей. Подошел Ванеев, помог ей отпереть дверь и повел комиссию дожидаться в вестибюль.

Сережа Карепов и Толя Скибин, бросив окурки, взяли с печки по сухарику, которые Варюша сушила им из остававшегося от обеда хлеба; захрустели, откинувшись на спинки стульев, блаженно и неподвижно, как два пенька, созерцая друг друга.

— Замерзли, греться пошли, — глядя на комиссию, сказал Скибин. — Пойти к ним, что ли?

— Сиди. Позовут, когда надо, не забудут, не бойся.

— Да, верно. Черт с ними.

На укатанной площадке лихо завертелся, тормозя, «рафик» Ануреева. Молодой шофер Аркадия Михайловича любил такие фокусы. Ануреев выпрыгнул, огляделся и, увидев толпу, толкавшуюся у входа, зашагал туда.

— Прибыл, — проворчал Скибин. — Без него здесь не обойдутся.

— Ануреев, что ли? Чего ты на него так?

— А!.. Я ничего... Службу человек понял четко...

— Понял, говоришь? — Сережа зевнул. — Эхе-хе...

У Ануреева дело постепенно дошло до того, что даже видимые результаты его работы стали настораживать руководство, не говоря о линии. Пока это не причиняло ему крупных неприятностей, он был спокоен. Честолюбие, выродившееся как профессиональное, легко мирилось с падением его репутации инженера. Понимая, что долго так не продержаться, Ануреев решил сменить работу на более спокойную

Он уже оформил заявление об уходе; начальником участка оставался Скибин, не знавший еще об этом.

Варюша заглянула:

— Анатолий Николаевич, вас начальники зовут. Там все уже приехали.

— Пошли, Сережа.

В вестибюле стоял тихий гомон. Оттаивая с мороза, члены комиссии бродили между колонн, озирая стены и потолок. С обуви на мраморный пол натекали лужи.

Крищенко и директор института стояли в центре, улыбаясь друг другу и тому, что им весело, и негромко говорили со всех сторон начальники управлений. Крищенко огляделся.

— Ну что, товарищи, начнем? Как вы думаете? — спросил он у председателя. (Тот кивнул.) — Щербач! Григорий Павлович! Веди.

Он взял директора под руку и повел вслед за Ваневым и Щербачом в конференц-зал. Миша Балюк встречал комиссию у дверей.

Миша рассаживал комиссию, и вид у него был такой, что ему повиновались. Он дождался, пока сядет Ванев, сел рядом и с достоинством, внимательно слушал, о чем говорит Крищенко с председателем; те не отказывали ему в праве на участие и изредка поглядывали на него, так что всем было ясно, что их разговор в числе немногих касается и Миши.

Толя Скибин сидел у входа, в конце стола и весело разглядывал собравшихся. Тревоги кончились, осталось развлечение — смотреть и слушать.

Крохин встал и предупредительно огляделся. Спросил у Крищенко:

— Я начну докладывать, Виталий Алексеевич?

— Да, пожалуйста. Внимание, товарищи!

— Э-э-э... Товарищи, мы начинаем работу государственной комиссии по приемке в эксплуатацию здания производственно-лабораторного корпуса НПК. Довожу до вашего сведения...

Миша Балюк слушал величественно и внимательно, покачивая головой, словно он написал эту речь и уполномочил Крохина произнести ее. Он стал фигурой, как и стремился. Не по должности — за время работы на НПК его произвели только в старшие инженеры, — а по уровню общения. Он был на дружеской ноге с руководителями управлений, не говоря о своем руководстве. Скибин только глазами хлопал, видя такое.

Через два часа акт подписали. Появился пожилой комендант в новенькой ватной куртке. Варюша стояла сзади, и руки ее были пусты. Ключи держал комендант.

Миша Балюк строго посмотрел на него.

— Принял? Все в комплекте?

— Да вроде бы...

— Что это за вроде бы? После половины ключей не окажется, знаю. Будете бегать... Смотри, тебе жить. Скибин! Вот он подпишет акт передачи ключей, я не буду, не проверю. — Махнул коменданту. — Ну подписывай, если принял, как говоришь.

Комендант кивнул, подписал поданную Скибиным бумагу. Скибин сложил ее и сунул в карман. Больше ему нечего было здесь делать.

Варюша дрожала у входа, ожидая его.

— Анатолий Николаевич, я все сдала. Можно мне пораньше домой?

— Что, пеленки покупать? Когда родишь-то?

— Да уж скоро... Спасибо, Анатолий Николаевич.

— Дуй...

Вечером люди шли к автобусу с узлами. Они уезжали отсюда навсегда.

---

---

Н. ПЛОТНИКОВ



## МАРШРУТ ЭДУАРДА РАЙНЕРА

*Повесть*

Рукопись повести Николая Плотникова «Маршрут Эдуарда Райнера» попала ко мне случайно, и, признаюсь, я долго не мог взяться за чтение, хотя этой повести давали очень высокую оценку. Меня всегда настораживает восторженный отзыв, и за чтение я принялся с предубеждением. Но с первых же страниц понял, что передо мной произведение, написанное талантливым пером.

Автором повести оказался немолодой уже человек, родившийся в 1924 году в Москве и проведший детство на Арбате. Перед войной работал слесарем на заводе, а в сорок втором был призван и до конца войны находился в действующей армии: Украина, Белоруссия, Польша, штурм Берлина, освобождение Праги... Н. Плотников награжден орденом Отечественной войны и медалями.

Человек, прошедший трудный военный и жизненный путь и начавший поздно, уже в зрелые годы, писать,— явление в нашей литературе привычное. Юрий Додолев или Вячеслав Кондратьев — яркое тому подтверждение.

Но повесть Николая Плотникова не о войне, вы не найдете в ней ни одного военного эпизода. Единственное, пожалуй, что роднит ее с военной литературой, это то, что герои Плотникова постоянно находятся в критических ситуациях, когда так же, как на фронте, четко выявляется сущность их характеров, все их пороки и достоинства. Психологически точно рисует он портреты людей, создает картины жизни и природы, исполненные высокой красоты и подлинности, художественными средствами исследует сложные человеческие взаимоотношения. И если ему удалось создать остросюжетную повесть на таком, казалось бы, искоженном вдоль и поперек материале, то я не сомневаюсь в успехе будущих его произведений.

Георгий СЕМЕНОВ.

1

Они вывалились из автобуса, из его распаренного нутра, и пошли по микроскверу, глотая выхлопной чад с привкусом кремния, мимо скамеек, занятых мающимися бездельниками, в лиловатую полутьму с зигзагами сигарет; они шли рядом, а полутьма уплотнялась, и одно за другим врубались в нее электрические окна и мешали думать, хотя именно думать-то ни о чем не хотелось.

Через новую площадь в стекле и неоне и налево — в прошлый век — меж каменных столбов навеса (в черноте стоячие внимательные лица), через улицу (светофор, икра голов — алых, потом зеленых), проходным двором в булыжный тупик с дворянскими особнячками (доживают, скоро на снос), в нелепый подъезд с кариатидами (бывший доходный дом), по грязной лестнице, некогда роскошной, с закруглениями на площадках (лифт не работал).

Он шел вверх за толстым Ромишевским и слушал, как чмокают их подошвы не спеша, повторяясь эхом, словно шли не двое, а трое,



и он знал, кто третий, который подымался вот так не раз и не два — уверенно, законно. «А я зачем здесь?»

Здесь, в квартире № 87, собирався «совет старейшин», все свои, из одной связки. Здесь они выбирали маршруты, пути подхода и пути штурма, рассматривали кроки, панорамы, фотографии ледников. А через день-два многие уезжали к этим ледникам. И возвращались. Почему же не вернулся именно брат?

Два года назад, тоже в августе, это письмо на бланке альплагеря «Алибек» с копией акта, и мамин рычащий стон, и как она уперлась в стенку на кухне, точно стараясь ее опрокинуть, и ее посеревший лоб, щеки, волосы, посеревшее окно, и этот ползучий — изо дня в день — гнет, мертвенный, через год обыденный, необратимый, выдавливающий эти ее мелкие слезинки уже и без повода, постоянно, эти сырые дорожки, точащиеся в припухлостях лица, когда она сидела ночами на кровати, как сломанный манекен, а он ходил и курил и безнадежно говорил что-то, уже догадываясь с ужасом, что ее внутри полностью подменили, что мать теперь слабоумная старушка, почти незнакомая, равнодушная ко всему, кроме каких-то темных иероглифов в усохшем желтоватом черепе под редкой сединой. Никто этого не знал, кроме него, и никому нельзя было сказать об этом. «Почему Юра, а не он?» — так она думает, когда сидит, раскачиваясь монотонно, бессонно. Единственное спасение — читальный зал Исторички и, конечно, байдарка. А сейчас срывается поход: нет напарника на август. «Вот почему я здесь: может быть, найду компаньона. Да, вот почему, только за этим».

Он упрямо повторял это, чтобы не слышать эха шагов и не считать: двое идут или трое?

— Приехали, — сказал Ромишевский, и эхо исчезло.

Левантовичам — 1 зв.

Горелик — 2 зв.

Чередниковым — 3 зв.

Носову — 4 зв.

Четыре звонка, четыре автогенные вспышки в паутином углу в недрах огромной квартиры — бывшей присяжного поверенного Левантовича, а ныне, уже полвека, коммунальной, — долгая тишина и наконец, когда Ромишевский сказал: «Черт!» — щелчок двери и треугольное лицо под светлым завитком, прищуренный глаз, черные от помады губы.

В тусклом провале прихожей она казалась молодой.

— Здорово, Маргит. Это Юркин брат — Дима, Димка.

Она кивнула и пошла вперед, в катакомбы. Узкая спина, стрижка под мальчика, ловкий шаг. Корзины, лыжи, шкафы, вешалки, и все громче гомон, такой знакомый чем-то, что он смутился: там, среди друзей, сидит брат Юра, вон там, за этой грязно-белой дверью.

Комната была забита дымом, гамом и лицами. В распахнутое окно поддувало ржавым сквознячком. Шел спор, и он не прервался, не отвлекся от их прихода, спор полунамеками, но изнутри натянутый, настороженный и для всех важный.

— Садись сюда, — сказала Маргит, и он втиснулся за ней на диван, замер, стараясь включиться, понять, но ничего не понял.

Все были старше его, умнее, опытнее, сильнее, а главное — все из одной связки. Он же даже не видал гор. «Еще бы год — да, я как раз десятый кончал — и Юра меня взял бы. Вот с ними».

Голоса повышались, грубели скулы, блестели лбы, только хозяин комнаты, Носов, не волновался, мягко улыбался. Он сидел на подоконнике, обняв коленку, худощавый, долгоносый, сплошь платиново-седой — белый чепчик над вишнево загорелой рожей, из которой смотрели два добрых голубых глаза.

— И все это не так, — сказал он тихо, но все услышали.

— А как?

— Во-первых, траверсировать вправо от серака они не могли — натечный лед, камень,— поэтому пошли по камину. В лоб.

— Это мы знаем.

— И в камине стали навешивать веревку на свои крюки.

— Не на свои, а на старые,— перебил кто-то угрюмо.— От группы Нестеренко.

— Брехня! — мягко улыбаясь, сказал Носов.— Я все проверил. Крюки Нестеренко были, это факт. Даже репшнура клочок. Гнилого. Но их крюки тоже есть. И забиты хорошо и по месту. Когда Островского мы сняли, пока его ребята обвязывали, я прошел с четверть камина. Без страховки. Там, где они шли. Правильно они шли. И срыв не из-за этого... Брехня.

— Эта брехня Крайскому стоила дисквалификации,— заметил угрюмый.

— Да. Но я сам тогда в Пятигорске лежал, ты знаешь, с переломом и не знал всей этой муравьины... Ведь год уже прошел.

— Всегда так,— сказал кто-то, и стало тихо, и все следили, как угрюмый наливает себе в стакан воды и делает огромный круглый глоток, и все слушали, как где-то в пропасти улиц прожужжал одинокий троллейбус и ушел в ночь, но слышали, быть может, как срывается ледяное крошево и катится по камню, шуршит, прыгает, сыплется в бездонный провал.

Это было секунду, вторую, кто-то вздохнул, они встряхнулись, чиркнула спичка, затрещал табак сигареты, длинно выдохнулся дым, и все пропало. Дима разжал стиснутые под столом руки.

Теперь говорили вразброд, по отдельности, смеялись, кивали, поддразнивали, двигали стульями. Гам разрастался облегченно и обрубился радостным: «Вот!» — с которым в центр встала полная кастрюля. Вот! — и поднята крышка, и винный пар горячо ударил в ноздри гвоздикой, виноградом, терпкой сладостью. «Глинтвейн. Так и брат угощал у нас. Черно-красное, обжигающее, густое вино. Это ритуал их ордена».

У Димы заволокло глаза. Эти грубые складки губ, твердые глаза, прямые улыбки, эти лыжи — «Росиньоли» — у притолоки и выцветшая штормовка на вешалке, этот мужской гул, чуть разбавленный женским смехом, а главное, над всем этим — ощущение гигантской ледово-снежной стены с впадинами-теньями, проступающими как чье-то бесстрастное спящее лицо. Вот чем жил брат, который там умер. Впервые за два года он почувствовал не унылый гнет, а горькое, чуть гордое волнение. Он протянул руку, взял кружку и выпил все до конца. Маргит что-то говорила ему, он обернулся, улыбаясь бессмысленно: он был сейчас благодарен всем, кто из той же породы, что и брат, она тоже из этой породы, она знала его; что она говорит? Ее колено мешало двигаться, но что поделаешь в такой тесноте. Как в палатке! В щеках жаром пульсировал глинтвейн, дуло от черного окна.

— Знаете, кто это? — спрашивала Маргит.— Вон тот блондин. Который не пьет.

Он посмотрел и увидел плотного сутуловатого мужчину. Редкие волосы причесаны на косой пробор, ничего примечательного. Какой-то полковник в отставке. Кто это?

— Это — Райнер,— сказала она.— Эдуард. Эдик. Эд.

Он знал это имя. Все знали. Он всматривался в спокойно-равнодушное лицо, отыскивая что-то, чего в нем не было, но должно было быть, потому что этот человек исходил и изъездил все глухие углы страны в поисках... Чего? Эдуард Райнер, по образованию инженер-энергетик, никогда не работал по специальности. Славу создали ему вулканы: цветные фотографии извержений, гейзеров, малиново-раскаленных лавовых потоков украшали развороты журна-

лов и настенные календари. Это был запечатленный камерой разгул стихии, опасной и первозданной. Он снимал также диких животных и птиц. Его «Схватку лосей» или «Камчатских медведей» перепечатывали за рубежом как классику. Но даже и не это выделяло его среди людей, а то, что он всегда путешествовал один и был первым там, где не были другие. Зимовка на Подкаменной Тунгуске, когда он заключил договор с Заготпушниной, потерял в реке напарника, но перекрыл план по соболу, или спуск на плоту по Мае от устья Кунь-Манье, или два года жизни на Командорских островах — все это рассказывал не он сам, а свидетели. Здесь он сидел и как равный среди равных, и как бы сам по себе, молчаливо, иногда чуть усмехаясь, прихлебывая томатный сок из высокого стакана.

— А вы его знаете? — спросил Дима.

— А как же... Вроде бы знакомы, — странно ответила Маргит.

Он хотел еще спросить, но постеснялся: она смотрела поверх голов в слои табачного дыма, жесткая складочка прорезалась в углу глаза.

— Я и брата вашего знала. У меня есть его памирские фото. Хотите взглянуть?

— Конечно.

— Тогда заходите. Лучше сегодня — завтра лечу в Терскол.

У нее был голос с хрипотцой, слишком тяжелая косметика и прокуренные зубы, но это не имело никакого значения: она говорила просто, без всяких сантиментов — она имеет на это право, потому что опять летит туда.

— Конечно, — повторил он.

— Тогда пошли: мне рано вставать.

Ему не хотелось уходить, но и незачем было оставаться: здесь каждый был на своем месте, а он — турист подмосковный, и все. Байдарочник! Разве найдется ему здесь напарник? Но хорошо, что он сюда попал.

— Пошли, — сказала она, но в это время запели и движение прекратилось. Запели одни мужчины:

В суету городов и в потоки машин  
Возвращаемся мы — просто некуда деться,  
И спускаемся мы с покоренных вершин,  
Оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце...

Они пели, нахмурясь, опустив глаза, негромко, серьезно.

Кто захочет в беде оставаться один?  
Кто захочет уйти, зову сердца не внемля?  
Но спускаемся мы с покоренных вершин...  
Что же делать — и боги спускались на землю...

Он повторял про себя последние слова, спускаясь за Маргит по грязной, некогда роскошной лестнице с закругленными маршами и пересекая ночной двор с темными окнами, за которыми кто-то томился, стараясь разглядеть небо. Но неба здесь не было. Оно было там, где солнечные снега.

— Нам в метро, направо, — сказала Маргит и нарушила красоту молчания.

Впрочем, она больше не заговаривала, не мешала, покачивало вагон, в черных зеркалах неслись мимо подземные искры, скрежетало, встряхивало, всасывало в черноту. «Маргит... Странное имя, не русское, где-то слышал ее фамилию — эстонская или литовская? Эд Райнер, Юра говорил о нем, они там сидят, а мы зачем-то едем, какой седой этот Носов, а ему под сорок только, как здесь душно, парко, тесно...»

Точечное жжение в правой щеке, что-то мешает, тянет, он двинул шеей, увидел в черном зеркале их — ее и себя, курносого, ро-

тастого, и ее глаза, которые изучали его лоб, губы, плечи, и стал слышен жесткий ритм движения, запах пудры и пота, стало тоскливо, смутно. Да, он знает, что рожей не вышел, но зачем так смотреть? Или показалось? Он скосил глаза: она устало смотрела в черные зеркала, где они покачивались плечо к плечу среди сотен таких же усталых москвичей, которые ехали и никак не могли доехать до дому или до того места, которое по традиции носит это доброе название. Да, показалось. В этом он всегда был мнителен, женщинам не доверял. И вообще: кто толком знает, что такое женщина? Вот он как дурак едет в обратную сторону от своего дома, а уже без пятнадцати двенадцать, в час метро закрывают, а на такси денег нет. Ну и черт с ним... На секунду он точно выпал в пустоту, в черноту, громыхание, мелькание, где нет ни одной мысли. Это было как передышка, а потом с шипеньем раздвинулись двери и они вышли. «Ленинский проспект», — отметил мозг, но это название ни о чем не говорило: он был уже и не в пустоте, но и не в самом себе, и так было спокойнее, потому что можно было идти лениво, расслабленно, отшвыривая носком ботинка мелкие камешки с чистого широкого асфальта.

Они поднимались в лифте на шестой этаж. Он не смотрел на нее, а она — на него. Новый блочный дом был нем, как светлый стерильный склеп. От запаха штукатурки, нитролака и пластика казалось, что в нем нельзя ни спать, ни есть. У нее была отдельная квартира, и напрасно он вошел на цыпочках, как школьник. Она врубила свет, бросила ключи на подзеркальник, сказала: «Иди посмотри фото, а я сейчас». Он покорно вошел в желтую модную комнату и встал посредине. Она высыпала на диван груды снимков и ушла. Сразу же в кухне загудел газ, потом в ванной зашумел душ.

Он поднял одну фотографию, различил Маргит — загорелую, в анорাকে, с ледорубом. Она прислонялась головой к плечу какого-то здоровенного парня, который тоже улыбался. Парень был в знакомой лыжной шапочке, снежные очки подняты на лоб, щеки не бриты. Парень был чем-то тоже знаком. Да это же брат, Юра, и никогда дома он так не улыбался! Эту шапочку норвежскую он взял с собой в последний поход. Кто ему ее подарил? Она?.. Старший брат. Ее ровесник. Ее мужчина. Он спал с ней в палатке и спал с ней здесь. Но теперь он мертв. Его, их, всю связку, четыре человека, нашли и вынесли из цирка под Семенов-Баши только весной, когда трупы оттаяли. Труп старшего брата. А сейчас она выпьет кофе и ляжет спать с младшим братом. Вот так просто. Почему?

В ванной шумела вода, на кухне шумел газ. Он вышел в переднюю, отодвинул язычок замка, придержал дверь, шагнул, затворил бесшумно. Он шагал вниз через две ступеньки, забыв про лифт. На дворе было прохладно, голо, спящие краны стройплощадки маячили гигантскими пеликанами, где-то в космосе светилась точка рубинового сигнала. Бесконечный проспект был тоже пуст. Горели лицо, шея, уши. «Трус! — сказал он. — Трус! Сбежал! Да, да! Смылся, а она готовит кофе». Он помотал головой. Нет, остаться было невозможно. Это было бы предательством.

Город был мирен, темен, незнаком. Транспорт не работал, но ему было все равно. Он думал, морщился, с лица не сходило удивление. Как они пели там: «Что же делать, и боги спускались на землю». Но ведь она — одна из них. Как же так? Ее зовут Маргит, фамилия эстонская, мастер спорта — вспомнил! — первая женщина, сделавшая траверс Домбай — Ульгена. Или нет? Не важно, но — одна из них. «А я тогда ходил в девятый класс. И сегодня мог бы с ней... Может быть, она, оя, Сашка, ребята, Нейман, Домбровский, Рыбин — все правы, а я дурак, анахронизм? «Это как водки выпить. Бабы — это бабы. И удовольствие и продовольствие». Чьи это цита-

ты? Да, по логике — это проще простого, отправление, функция, и все».

Но его тело не слушало логику, освобожденное, проветренное, оно отвергало эту логику, оно было здоровым. Оно наслаждалось пустынностью проспекта, долгожданной прохладой камня, который наконец испарил всю горячую вонь автопокрышек и плевков и стал самим собой. Здесь, на окраине, было просторней, и, закидывая голову до боли в позвонках, Дима отыскивал ночные облака, подсвеченные спящим городом.

## 2

В детстве и в школе исторических книг он совсем не читал, а в институте пришлось. Сначала по программе, потом и не по программе, что попало, и все почти, казалось, забывал. Но исподволь копилось, оседало на самое дно, в тину и лежало там бесполезным грузом, а река шла над ним все дальше, неуклонно, беззвучно. Где истоки этой мутной неиссякаемой реки, куда она впадает?

Так текло время — год, второй, третий, и вот иногда что-то исподволь толкало донные залежи и начинали всплывать топляки — вразброд, без смысла покажется то одно, то другое, возникает в кружении омота незнакомое лицо, глянет мимо и опять канет куда-то. То древний лик, то нынешний, и все — безымянны, потому что не важно, кто сказал: Геродот, Титмар, Ярослав Мудрый или неведомый свидетель, — всех поглотила река, все они были только люди и навсегда ими остались. Не в том суть. А в чем? И этого невозможно узнать, вглядываясь в сумеречные провалы, где брезжило иногда некое откровение или просто догадка, то приближаясь к границе дневного света, то удаляясь в густую тень некрополей. Как назвать эту суть? Даже сравнить не с чем то, что не знаешь, как назвать.

*В области, лежащей еще дальше к северу от земли скифов, как передают, нельзя ничего видеть и туда невозможно проникнуть из-за летающих перьев. И действительно, земля и воздух там полны перьев, а это-то и мешает зрению.*

*В лето 6579... Волхв явися в Киеве, прелщен бесом, глаголя, яко землям превращатися Русской на Греческую, а тои на Русскую... И реша ему: «Бес тобою играет».*

*В большом городе, который был столицей этого государства, находилось более 400 церквей, 8 рынков и необычайное скопление народа, который, как и вся эта область, состоит из беглых рабов, стекавшихся сюда отовсюду...*

«Почему рабы, как говорит Титмар, бежали именно в Киев? Киев, наверное, основал все-таки Кий, хотя этот отрывок в нашей летописи не датируется, но в армянских хрониках шестого века, кажется, есть что-то о его походе на Царьград...»

Землечерпалка разума все-таки включилась, попыталась черпнуть то, что ей надо, но все испортила: топляки затонули, залегли. Он выругал себя, он знал, что нельзя в этот час временного полуоцепенения тревожить серое первобытное течение. Он сидел в своем закутке у окна во двор и смотрел на выцветшие пятна на выгоревшем сукне канцелярского стола. Этот стол раньше был Юрин. Тогда из-под оргстекла на нем всегда смотрела какая-то растрепанная девчонка, любительское фото, не разобрать — красивая или нет, злая или добрая.

В комнате стояла духота перегретого переулочка: пыли, кровельного железа и оконной замазки. «Может, это и не девчонка, а женщина...»

*Исида изображалась в виде женщины с коровьими рогами.*

*Каждая вавилонянка огнажды в жизни должна садиться в святилище Афродиты и отдаваться за деньги чужестранцу.*

*Об обычаях массагетов нужно сказать вот что. Каждый из них берет в жены одну женщину, но живут они с этими женщинами сообща.*

*«Где я слышал о таком же обычае? Совсем недавно, позавчера, у Неймана или у кого? О современном обычае».*

*Землечерпалка-разум опять включилась, разрушались старинные пергаменты, рвались строчки, но не до конца, потому что уже всплыло нечто, что он смог увидеть просто глазами:*

*Там, в пещере, он нашел некое существо смешанной природы — полудеву-полузмею. Верхняя часть туловища от ягодич у нее была женской, а нижняя — змеиной.*

*И еще одна женщина всплыла как живая, близко, различимо до блеска золотых нитей вышивки:*

*На ней было красное платье, а на платье богатые украшения. Сверху на ней была пурпурная накидка, донизу отороченная кружевом. Волосы падали ей на грудь, и они были густые и красивые.*

*Он словно чувствовал сухой электрический запах этих волос, которые покрывали ему все лицо. У них был привкус морской соли и солнца. Он закрыл глаза и стал слушать.*

*— Есть у меня для тебя работа,— сказала она и дала ему в руки оружие.— Поезжай-ка на Раугаскригур, там ты встретишь Сварта.*

*— Что я должен с ним делать? — спросил он.*

*— Ты еще спрашиваешь,— сказала она,— злодей ты этакий! Ты должен убить его.*

*«Это может случиться и сейчас, ничего удивительного, это может случиться со мной...»*

*Гудрун велела поднять доски, которые покрывали пол церкви там, где она привыкла стоять на коленях во время молитвы. Она велела разрыть там землю. Там были найдены кости, они были черные и страшные. Там нашли также нагрудное украшение и большой колдовской жезл. Из этого заключили, что там была погребена какая-то колдунья.*

*Аще жена будет чародеиница, или наузница, или волхова, или зеленница... муж, доличив, казнить ю...*

*«Может быть, историю делали не только злые, но и добрые?»*

*Эта мысль показалась постыдно ребяческой рядом с монолитом «Политэкономии», который равнодушно отбекала серая река. Монолит торчал, как гранитный бык разрушенного моста. Теперь осталось только солнце на раскаленном подоконнике, и все мысли — свои и чужие — расплавились.*

*В лето 6738... в Киеве всем зрящим бысть солнце месяцем, и явишася обапол его столпи червлены, и зелены, и сини; таже снуде огонь с небесе, аки облак велик над ручаи Лыбеди, а людем отчаявшимся живота и прощающимся, мняще кончину.*

*В лето 7041. Того же лета засуха была добре велика, и дымове были велики добре, земли горела.*

Прошло еще две недели, но зной не спадал, мазутный смог висел неподвижным куполом, сквозь который светило пыльное злое солнце. Все кто мог сбежали, разъехались, а Дима остался. В зашторенной комнатухе за ширмой часами бубнила мать, укоризненно кивала невидимому собеседнику, а он пытался читать, не выдерживал, выскакивал, брел по мягкому асфальту к остановке троллейбуса. В Публичной библиотеке можно было взять «Русский архив», летописные своды или какую-нибудь «Хронику Титмара, епископа Мерзебургского».

Странно: когда он зубрил учебники и сдавал зачеты, то понимал историю, а когда стал читать подлинники, то перестал понимать...

Из библиотеки он пошел пешком, потя, отыскивая ртом воздух, слушая, как в чугунном темени пульсирует вялая кровь. Мимо шли женщины, старики, опять женщины, мешанина шагов, восклицаний, бликов, и сквозь это будто шум душа, скрип паркета, щелчок замка — и лица женщин казались пустоглазыми, а за зрачками — непонятно, душно, зыбко, опасно. И до того безнадежно, что захотелось где-нибудь закрыться, спрятаться от них от всех, переплетенных, двойных, медузных.

Только брат был ясен и чист от вечного мороза.

Брат был неподсуден: он остался как бы навсегда впаянным в зеленоватую глыбу льда, распятый падением, стремящийся и одновременно — спящий: сквозь лед просвечивало его лицо с закрытыми веками, мудрая незнакомая полуулыбка. О нем не надо больше говорить: он невозвратим. А о ней?

«И про Райнера она сказала: «Вроде бы знакомы...» — и про брата и про меня скажет так же. Скажет?»

Он ускорил шаги, но шум воды, шум газа на кухне не отставал, и он увидел, как она ходит по пустой стерильной квартире, поблекшая от бешенства, взад и вперед и курит, курит, но выхода у нее нет, потому что она знает, что он сбежал из-за брезгливости к ней. Она останавливается, прислушивается — никого. Она смотрит на себя в зеркало и видит то, что увидел он так бесстыдно подробно: дряблость, волосинки, складочки, распад. Ему послышалось, что она воеет сквозь стиснутые прокуренные зубы, и стало страшно и жалко той жалостью, какой жалеют раздавленных автобусом. Ему казалось, что он виноват в этом. Да, несомненно виноват, хотя непонятно почему, но это так.

Стало тошно. Куда бежать? Бежать было некуда, надо было плестись домой, потому что мама ждет его с перловым супом и надо зайти купить хлеба и сахара. Раньше, совсем недавно, он не умел много думать. Хорошее было время, спокойное. Может быть, оно еще вернется, ведь все эти наваждения просто от пекла, от солнечных протуберанцев. Пишут же, что в периоды солнечной активности на планете чаще войны и революции. Может быть, и не врут?

В полдесятого вечером соседка позвала его к телефону.

— Дима? — спросил незнакомый мужской голос.

— Да, я.

— Райнер. Мне сказал Ромишевский, что вы ищете напарника на байдарку?

— Да, Эдуард Максимович.

— Какая у вас байдарка?

— «Луч».

— Трехместная?

— Да.

— Запишите мой адрес. Телефон тоже. Во вторник в семь можете?

— Да, конечно, спасибо, Эдуард Максимович, я обязательно...

— Записывайте... Воробьевское шоссе, дом сто восемь дробь четыре. Записали? Ход через арку, направо, второй подъезд.

— Да-да. А кто мой напарник будет?

— Значит, во вторник в семь. Пока.

— Мам, я, наверное, уеду на месяц на байде. Мам! Не знаю еще куда.

Она смотрела мутновато-покорно куда-то мимо: слушала кого-то или ждала кого-то, покачиваясь легонько.

— Ты слышишь, мам?

— Чего тебе?

— Я на месяц уеду. Ты тут, если надо, Марью Васильевну попроси, она обещалась. Всего на месяц, спекся я здесь...

— Утром за хлебом ходила, встретила эту, как ее, квашня такая, рыхлая, она говорит: сын, говорит, не дочь. Да, сын... Чего тебе?

— Уезжаю я. Газ на кухне не забывай. Ясно?

— Поезжай, поезжай. Ясно, ясно. Напридумывали слов... Масла-то купил?

— Купил.

— Иди-ка, а я полежу, что-то так устала, устала...

Он сел за книгу к окну, а она легла в чем была, только шлепанцы скинула, лежала с полчаса не шелохнувшись и вдруг сказала нормальным голосом:

— Чего-то головой стала слабеть, Митя, все хочу вспомнить, хочу, а не дается, мелькает на душе, Митя, не дается...

По голосу он понял, что она плачет, и зажмурился, сжал челюсти, но ничего не ответил.

Новые корпуса стояли под углом к Москве-реке; над пыльными липами в мутном вечере маячила эстакада Большого трамплина.

Он сидел с Райнером в маленькой комнате; в соседней под желтым абажуром пили чай мальчик и красивая лохматая женщина. Они позвякивали ложечками, прихлебывали и тихо ссорились. Дверь была полуоткрыта.

— Байдарку надо проклеить,— говорил Райнер.— Кильсон и вдоль стрингеров. Будут пороги.

— Говорят, резиновым бинтом хорошо...

— Плохо. Возьмите автокамеру. Нарезьте полосами... Теперь о маршруте. В Карелии были?

— Нет. Я на Севере не бывал, все думал, но...

— Хорошо. Смотрите...

Райнер вытащил целлофановый пакет с картами и кроками, вытянул одну, расстелил на столике. Дима цепляя взгляд странные названия: Сегежа, Тунгуда, Колежма... Бледная зелень болот, озера, озера: Выгозеро, Сегозеро, Кумозеро, Водлозеро — и реки, речушки: Воньга, Шомба, Елеть, Кереть... Голос Райнера пробивался сквозь них ровно, настойчиво, заставляя думать.

— Смотрите: поездом Москва — Мурманск до станции Лоухи. Далее можно байдаркой. Тут кольцевые маршруты, туристские: Лоухи — станция Княжая, через Елетьозеро и волок на Копанец, по рекам Сенной, Большой и дальше, или Лоухи — и по озеру Кереть, или другие на двести, сто пятьдесят километров с волоком. Но все это ни к чему.

Райнер замолчал и молчал долго, рассматривая карту.

— Стандартный путь ни к чему. Нужно идти к морю, в Кандалакшскую губу или прямо к открытому берегу. Вот сюда.

Дима пугался глазами в речках и заливчиках.

— Сюда вот так никто, кроме одного, не проходил. А он шел так: Лоухи — Соностров, через эту систему озер, через Полубояр-



скую, которой нет, через Вехозеро и далее на северо-восток. В конце пути много порогов, есть непропуски. Понятно?

— Да,— сказал Дима и покраснел.

— Значит, деревня Соностров на Белом. Которой тоже нет. Хорошо.

— Кто же пойдет со мной?

— Вы Красавина знаете? Мужа Маргит. Бывшего.

— Нет.

— Это он прошел тут. В прошлом году. Это его крок.

— Я с ним пойду?

— Вы пойдете со мной.

— С вами?!

Серо-голубые глазки Райнера не улыбались, но рот скупой улыбнулся.

— Что, не подхожу? Я бы сюда не пошел, но сорвался Таймыр. Захотелось Севера. Я был рядом, за Кандалакшей. Но лет восемь назад. Вы можете седьмого выехать?

— Да.

— Тогда надо заказать билеты.

Мальчик вошел в комнату и встал у притолоки. Ему было лет десять. Он хмуро в упор рассматривал Диму. Он был в шортах и немецкой курточке.

— Папа, это кто? — спросил он.

Райнер не ответил.

— Алик, уйди оттуда,— приказала женщина, но мальчик не шевельнулся. Она распахнула дверь и выволокла его вон. Она была красива, как в кино, особенно волосы и злые глаза.— Какой он тебе папа! — сказала она за дверью и ударила мальчика.

— Папа! — упрямо повторил тот.

— Хорошо,— сказал Райнер.— Договорились на седьмое. Мой билет завезете мне, но не сюда, а домой. Запишите. Телефона нет. Если меня не будет, передадите жене.

Шагая к остановке троллейбуса, Дима задавал вопросы сам себе. Ему хотелось пить и есть. Он вспомнил хрустальную вазу со сдобным печеньем под желтым абажуром и проглотил слюну. Он заметил эту вазу, когда женщина распахнула дверь, чтобы затащить мальчика обратно.

Райнер открыл глаза, но не шевельнул даже пальцем: он хотел удержать ощущение моря. Он смотрел через открытое окно на ночную кирпичную стену проходного двора и уже понимал, что это был только сон, хотя все тело ощущало сопротивление теплой морской воды и запах конского пота, льда и соли все еще держался в ноздрах. Он плыл, мощно раздвигая воду, среди таких же, как он, коней, которые знали его давно, которые переговаривались без слов, фыркали, играли и щурились на солнечную рябь в тени сахаристобелых спокойных айсбергов. Это были кони с торсами и лицами людей, и он никак не мог вспомнить, как они называются. Он был рад, что они существуют на самом деле, но как они называются? Он никак не мог вспомнить, и это мешало наслаждению и еще, может быть, радужные пятна на воде, слишком теплой для Арктики, поэтому он, наверное, и проснулся, а сейчас вспоминает, как их звали. Его не удивляло ничто во снах и сейчас тоже не удивило, потому что он запретил себе думать о том, на что нет ответа, давно запретил, это стало привычкой.

В соседней комнате скрипнул диван, и он закрыл глаза. Что-то надо было сделать, чтобы жить. Уехать, да, но куда? Лето было сорвано, потому что он порвал контракт: маршрут на Таймыр ему нравился, но группа не нравилась, особенно этот геодезист, Харченко. Слишком много народу. Слишком много командует этот Харченко.

Он попытался заснуть, но на сквозняке было душно. В Подмоскowie даже трава пахнет людьми, а в городе у нее нет запаха совсем. Сколько дней еще ждать до 7 августа?.. Этих коней-людей звали кентаврами. Вот, вспомнил. Кентавры. И никто их не видел, кроме него, никогда.

## 3

Райнер помог втолкнуть сорокакилограммовый тюк с байдой на верхнюю полку и сел к окну. Дима тоже сел. Он обливался потом. Из-под столика что-то урчало, повышая тон, он нагнулся и увидел лайку. Она лежала, выгнув морду по полу, и скалилась на его ногу. Это была старая грязно-белая лайка.

— Нельзя, Вега! — сказал Райнер.

Дима боялся шевельнуть ногой.

— Собачка, — сказал он. — Как ее? Вега?

Райнер не ответил: он стаскивал рубашку. Дима и сосед смотрели на него с удивлением: голый Райнер был мускулист, как борец, седая шерсть курчавилась на груди.

— Тронемся — помоемся, — сказал он и привалился к перегородке потной спиной.

Сосед, долговолосый парень лет тридцати, тоже снял рубашку, но майку не снял.

— Далеко ли, охотники? — спросил он. — Я до Петрозаводску, из Сочи еду, отдохнул.

— Хорошо там? — спросил Дима из вежливости.

— Неплохо погуляли! Было с собой четыреста, осталось тридцать. У нас на целлюлозном зарплата ничего. А ты учишься, студент?

— Да.

— Я сразу вижу — студент, глаз имею!

Дима уловил струйку перегара, прикрыл глаза: в купе, в желтоватой мути, нечем было дышать. Они смотрели, как за этой мутью поползли перрон, люди, эстакады, заборы, корпуса, а потом загремело, закачало, набирая скорость, швыряя на стрелках.

— Прощай, столица нашей Родины Москва! — сказал парень и ловко достал откуда-то пол-литра. — Сейчас обмоем разлуку! — сказал он весело и гордо.

Проводница открыла дверь.

— Нам две постели, — сказал Райнер. — Чай будет?

— Билеты сдавайте, — сказала она. — Все будет.

— Что-то ты, Маруся, невеселая! — сказал парень.

— Какая я тебе Маруся, сынок?

— Ну уж и сынок! Да такие, как ты, еще...

— Туалет открыт? — спросил Райнер.

— Подождете. Только отъехали. Это ваша собака? Намордник где?

Райнер ушел в туалет и долго не возвращался. Парень налил себе и Диме.

— Ждать не могу, — объяснил он. — Давай со знакомством.

Они выпили и закусили салом. Диму слегка затошнило.

— Мне хватит, — сказал он.

— Ничего, пройдет и по второй! — Парень чокнулся и заглотнул теплую водку, покривился.

Райнер вернулся свежий, бодрый, расческой поправил косой пробор, сел.

— Догоняйте, — сказал парень. — Штрафную.

— Не пью.

— Не пьет тот, кому не подносят. Ну, поехали!

— Не пью я.

— Пятьдесят грамм для вас на глоток. Уважьте, я угощаю!  
— Я не пью.

В третий раз это прозвучало предостережением. Парень растерянно поболтал водку в стакане, зло крякнул, опрокинул в рот, задвигал кадыком. Потом шумно выдохнул, отер губы, оглядел всех подозрительно. Дима заметил щетинку мокрую на губе, невымытые космы за ухом, опустил взгляд. Парень схватил с газеты помидор, сочно откусил, зажевал.

— Сука ты,— сказал он Райнеру гнусаво, ненавистно.

Райнер не изменился, только щеки отвердели, стали как доски, поднялись, уперлись в парня маленькие зрачки.

— Что еще? — спросил он тихо.— Чтоб через минуту на столе было чисто.

— Чисто?! Нашел холодя, да я таких...

Парень схватил бутылку, Дима привстал, но парень стал запикивать пол-литра в карман, губы его прыгали.

— Да я такую интеллигенцию видал в гробу, мы найдем с кем посидеть, мы вас понимаем, мы вас...— Уже в коридоре заматюгался во весь голос, сплюнул, ушел.

Тогда Дима услышал непрерывное негромкое рычание под столом, увидел зеленя за грязным стеклом, непроницаемое лицо Райнера. Он стал вытирать столик. Райнер опустил раму до конца и начал стелить постель. Сквозняк гулял по купе, шевелил волосы.

— Вот с этим аккуратней: оптика.— Райнер показал на дюралевый ящик, обтянутый брезентом.

Собака повозилась и легла, затихла.

— Я лягу на верхней.— Райнер одним броском взлетел вверх. Он сидел, свесив сильные ноги в тренировочных синих брюках, и смотрел в окно.

Диме хотелось чаю, но он не решался выйти в коридор: может, парень стоит там, ждет, с кем связаться? Дима тоже стал стелить, хотя было рано. Он не знал, о чем говорить с Райнером. Когда он ездил с ребятами, они знали, о чем говорить, смеялись, пели.

За окном тянулись скучные места: Подмосковье, дачки, платформы, шлагбаумы — все сто раз виденное. Поэтому и мысли болтались тоже скучные, полумысли, горечь во рту, сухость в горле. Надо было еще этому с водкой впутаться, хотя он хотел по-хорошему, но... «В одиннадцатом веке водку не пили, пили меды и брагу, пиво варили, впрочем, это у исландцев, а у русских? Мама говорила, что отец пил тоже, все пьют, у нас и везде, а Райнер не пьет. Это плохо?»

Откатилась дверь, и он вздрогнул.

— Чай будете? — спросила проводница.

— Один стакан.— сказал Райнер.

— Мне два.— Дима полез за деньгами. Он с наслаждением пил чай и поглядывал в окно.

В Калининне стояли мало, но в неподвижности сразу стало душнее. Райнер лег, с головой накрылся простыней. Дима достал книгу и попробовал читать: «Далее, по мнению того же петуха, между людьми идиоты стоят много выше ученых и знатных. Грилл оказался гораздо мудрее многоопытного Одиссея, когда предпочел лучше хрюкать в хлеву, чем подвергаться вместе со своим предводителем новым опасностям». Дима не понимал, что читает, ему эта книга Эразма Роттердамского вообще не нравилась, но Нейман сказал, давая ее, что это историк должен знать.

Дима закрыл книгу и положил на столик. «Культуры мне не хватает,— покорно подумал он.— Уснуть, что ли? Только уснешь, а этот припрется, набравшись...»

Но парень пришел, когда Дима крепко спал, бесшумно лег. Собака поурчала и успокоилась. Райнер под простыней открыл глаза,

подождал, опять закрыл. Он лежал и ждал так же терпеливо, как его старая лайка.

Еще в полусне Дима ощутил другой воздух, новый, прохладный. В купе никого не было, поезд стоял. Он припал к стеклу: серый чистый вокзал, серое утро, неторопливые пассажиры. Петрозаводск. Он вышел. Да, путешествие наконец-то началось. Воздух здесь был иной, и свет облаков ближе, и зелень травы сочнее. Райнер выгуливал собаку около платформы. Он был выбрит, подтянут и тоже какой-то новый.

— Купи газету,— сказал он.— Местную.

Дима купил газету и поспешил в купе. Поезд тронулся. Он лежал и смотрел, как серо-зеленое уходит назад, и все больше облаков, а потом еловые леса, валуны, осколки воды в болотах, две сосны на бугре, деревянные платформы, тесовые бараки и облачный, все более сильный и мягкий свет над всем этим. Они были одни в купе, потом не стало и Райнера, потом его самого, тела, только облака, если лежать и смотреть снизу, только тончайший прохладный свет. Обрывки прошлого сметало ветром назад, в ничто, всю эту жару, болезнь, скуку, и настал момент, когда ничего не осталось, кроме радости дремотного погружения.

— По местному прогнозу днем четырнадцать — шестнадцать,— сказал Райнер и зашуршал газетой.

— Север?

— Почти.

Они лежали весь день, только сходили в вагон-ресторан пообедать, читать Дима и не пробовал, а Райнер повертел Эразма Роттердамского, ничего не сказал, бросил на столик, лег.

«Об этом я тоже когда-то слышал,— думал Райнер, покачивая ногой.— Зачем это надо?» Он все принюхивался к ветру под потолком, старался уловить в нем что-то, чего ему не доставало, и не мог. В Медвежегорске он высунулся в окно, прижмурился, сквозь ресницы вспыхивали искры серого плеса, за соснами мелькало и пропадало озеро, и он ясно ощутил запах большой воды. Вот чего ему не хватало. Большой воды.

— Сходи прикупи до Чупы,— сказал.— Вылезем в Чупе.

— Где? Зачем?

— На следующей после Лоухи. Я передумал: сначала море, потом Лоухи. Сходи, потом объясню.

Дима сбегал в кассу и доплатил за билеты до станции Чупа, ничего не понимая. В купе его ждал Райнер. Он расстелил карту.

— Смотри: вот система озер западнее Сонострова. Но у нее нет связи с нашей. Мы из Чупы морем зайдем в нее и будем не спускаться, а подыматься до Лоухи. Найдем волок, думаю. Зато уж здесь-то точно никого нет.

Дима кивал, разглядывал карту. Райнер с хрустом потянулся, зевнул. Он и самому себе не сумел бы сказать, что изменил маршрут только потому, что захотел увидеть море как можно скорее.

Блесны, мормышки, искусственные мушки. Дима никогда не видел такого: полупрозрачные пластмассовые креветки, дрожащие, как желе, матово-золотистые, зеленоватые, стальные с изморозью рыбки, пушистые мотыльки, спрятавшие в брюхе острейшие жала тройников, то миниатюрные, то массивные блесны.

— Американская, эта шведская и та тоже. Эта наша,— скупое объяснил Райнер и погрузился в сортировку.

После Петрозаводска поезд опустел и стало больше тишины и места, и стук колес стал монотонней, покойней. Райнер убрал блесны и смотрел в потолок. Неизвестно, о чем он мог думать. Вообще

все в нем было Диме непонятно. Вот он опять взял Эразма и стал листать небрежно. Читал он это раньше?

«Читал или слышал?» — подумал Райнер. Нет, не читал, но кто-то когда-то говорил об этой книге что-то умное и едкое. Все это давно не имело значения — умное и едкое. Он прочел вслух:

— «Не лучше ли всего живется той породе людей, которые слышат шутами, дураками, тупицами...» Верно! — сказал Райнер. — «Говоря короче, не тяготят их тысячи забот, которыми полна наша жизнь». Или вот: «В глупости женщины — высшее блаженство мужчины». Верно?

Дима восторженно спросил, но это Райнер спрашивал не у него.

— «Недаром Платон колебался, к какому разряду живых существ подобает отнести женщину — разумных или неразумных». — Райнер прочел это тоже вслух, а потом листал все медленнее, неохотнее, закрыл, взглянул на Диму. — Ты филолог?

— Нет, историк, то есть буду им, если...

— Историк? История не наука. Кто сильнее, тот и прав. Взять верх, заставить жить по-своему. Вот меня этот тип не заставил, а тебя заставил.

— Как?

— Так. Ты же пил с ним.

Дима долго искал ответа, но от обиды не мог найти ничего умного. Райнер смотрел в потолок, лежа на спине. Он был недоволен собой: зачем он говорил с этим студентом? Правда, надоело молчать, и с Риммой молчишь и с женой, надо же все-таки говорить что-то, если больше нечего делать и едешь в поезде.

— Надо взять то, что тебе нужно. Вот и вся история, — сказал он. — Но люди не знают, что им нужно.

— А вы? — сердито спросил Дима.

— А я — знаю.

Больше Райнер ничего не сказал до самого вечера. Он лежал и ждал вечера, чтобы смотреть в закат; он знал, какие здесь закаты. Он отдыхал молча и в себе самом от всех слов, которые сказал сегодня, вчера, позавчера. И от тех, которые он слушал почти два месяца с того дня как вернулся с Памира. Их были сотни тысяч, и почти все они, кроме конкретных названий, ничего не выражали. «Милый!» — говорила Римма. «Великолепно!» — говорил редактор фотоальбома.

«Только определители растений, птиц, животных чего-то стоят. Семейство белчиных. Род белки. Белка обыкновенная. Белка персидская. Бурундук. Чем отличается полевка Миддендорфа от монгольской полевки? Не помню, но это мне сейчас ни к чему». И он выбросил из головы полевки вместе с Эразмом Роттердамским, потому что незаметно наступило время заката.

Прошел час и два, но закат не угасал. За темнеющими низинами моховых болот, за обугленными рогами сушин горело холодно и неустанно малиново-оранжевое зарево; прозрачная зелень расчесанных ветром облаков плавилась и не расплавлялась на этом северном огне.

Дима забыл обиду и все смотрел, смотрел туда, куда бежал и не мог проникнуть их одинокий поезд, и не спрашивал больше: «Это Север?» Потому что и так все было ясно. Лицо Райнера, подсвеченное закатом, было спокойно, он тоже не моргая смотрел на северо-запад. Когда кто-то приоткрыл дверь купе, он не повернул голову, он не слышал, как что-то спросили, как что-то ответили. Эти закаты всегда вызывали в нем какое-то воспоминание, точно отголосок давней и смертельной болезни, опасной, но прекрасной, о которой невозможно ничего сказать словами, но которая была, а может быть, и есть. У нее было женское имя, наивное и печальное, как в старинных рыцарских романах. Кто поймет это?

К Чупе подъехали в два ночи (а по-здешнему на заре нового дня), туманной, холодной и широкой. Дима торопливо увязывал рюкзаки, таскал их в тамбур. Лайка тоже забеспокоилась, тянулась в проход, нюхала воздух. Райнер не торопился: он ждал не только Чупы. Чупа — это городской поселок рыбаков, лесозаготовителей, геологов и шоферов. Это — люди. И на берегу тоже могут быть люди. Вот на озерах, которые он выбрал, не должно быть людей. Там его ожидание кончится. В том месте, где на сотню километров вокруг не будет ни единого человека.

## 4

Райнер остался на станции стеречь вещи, а Дима пошел в поселок искать машину. До поселка было пять километров лесом, который обрывался у первых домов.

Поселок Чупа спал в матовом свете белой ночи. Шоссе было пустынно. Справа за забором рыбозавода просвечивала серая вода, слева тянулись глухонемые аккуратные домики с телеантеннами, совсем подмосковные, с номерами. Выше их, вдоль береговой террасы, маячили в соснах новые пятиэтажные корпуса. Людей не было, хотя стало совсем бело.

Эту ночь Дима не спал. В дымно-стеклянной пустой голове звонко отдавались его шаги, от сигарет горчило во рту, хотелось горячего чая. Он прошел весь поселок насквозь, читая вывески: «Рыбозавод», «Сельский Совет», «Автобусная станция», «Пекарня», — и сел на сваленные у обочины бревна. Здесь что-то строили и бросили, мазут впитался в землю, кирпичная крошка втоптана в грязь. Две утки плыли вдоль берега, вертели головами, одна взлетела, за ней другая, и тогда он понял, что это чайки. Часы показывали только без десяти три. Он встал и побрел к воде. От зелено-черных камней несло гнилью, ржавели в тине консервные банки; он зачерпнул пригоршней, глотнул, сморщился: хина! Это была морская вода. Это морской залив, а не река, но какое же это море, такое серое, и грязное. и без волн? На другой стороне залива горбились каменистые взлобки, торчали угнетенные мокрые сосенки. Дима вернулся к бревнам, сел, съезжил. Голову тянуло вниз, холод студил спину под рубашкой — он был в одной ковбойке. А Райнер надел австрийскую пуховую куртку, лыжную шапочку. «И брюки пуховые на «молниях» у него есть, и можно из этой куртки и брюк за минуту соорудить спальный мешок, в котором спи хоть на снегу. А я, дурак, только свитер взял, я же не знал...» Он дремал, клевал, просыпался, таращился и опять засыпал. Он был в ванной, теплой, кафельной (где это?), хотелось залезть еще глубже в тепло, но пол дрожал под ногами мелко, противно, как в вагонном тамбуре, а женский голос приставал, что-то спрашивал, непонятно что и откуда, и, чтобы разобраться, он открыл глаза. Его била дрожь, суставы задубели, отекли.

— ...чего, парень, сел здесь, на бревна, простынешь, — говорила женщина озабоченно. Она стояла сбоку и улыбалась. В платке, в телогрейке, не понять, сколько ей, но голос молодой и зубы белые.

Дима встал, потер лицо.

— Сторожу кожу, гляжу — сидит ктой-то... Суббота — все спят, автобус в семь-восемь, машина будет на пекарню, вот и договоришься, а на Соностров МРБ ходит — семгу когда берут, когда нет, а седни не пойдут: Пахомов вчера прибежал, видели; в баню пошел мыться. Что такое МРБ? Малый рыболовный бот. Да ты, верно, вербованный? Егор довезть может, у его лодка на «Вихре», благодарить посла будешь, а сейчас иди, покуда его найдешь, только вряд повезет, пьяница, у него суббота заливанная, второй дом от почты, синий, один такой — с налишниками, найдешь, иди вон на теи дома, по ярусу, потом влево...

Дима шел и вспоминал ее голос, который был много моложе лица,

а особенно ее рук, корявых от рассола. «Новгородцы здесь селились еще, может, и до Ярослава, дань собирали, меняли бусы и ножи на мягкую рухлядь, карельских девок тискали, а потом соль варили, у Марфы Посадницы где-то на берегу были солеварни — отняла их у Соловков, Соловки севернее. Интересно, норманны сюда заходили через горло с Баренцева? Ничего я толком не знаю, историк, читал мало, что я читал, разве сравнить с Нейманом и Райнером, и что это за фамилия — Райнер?»

Дом Егора — обшитый тесом, синий, с желтыми наличниками и терраской — еще спал. Было пять утра. Дима сел на край деревянного тротуара, закурил, стал ждать. В шесть послышался рожок, потянулись, взмывающая, коровы, черные, рыжие. В полседьмого прошла заспанная продавщица. В семь где-то заурчала первая машина. В семь пятнадцать мелькнул через проулок голубой автобус на станцию, а Егор все спал. Без пяти восемь Дима решил постучать. «Входи, кто?» — донеслось глухо. В деревянной горнице было полутемно, сыро. На кровати, свесив босые ноги, сидел рыжий мужик и с треском тер небритую щеку. «От Конюхова, что ли?» — спросил он. Дима рассказал, кто он, и попробовал договориться насчет Сонострова. Мужик, не глядя в лицо, колупал толстым пальцем колено. «Сколько?» — спросил он. «Десять». Мужик покривился: «Нет». Дима боялся прибавить без Райнера. «Сходи в магазин, возьми бутылку», — полуприказал мужик. Дима вспомнил: «Ты с ним пил, а я нет», покачал головой и вышел. Когда у пекарни он договаривался с шофером, кто-то подтолкнул его в плечо: сзади стоял Егор. Он был выбрит, весел, скалился хитровато-наглым лицом, подмигивал.

— Забирайте барахло — и ко мне: завтра сvezу, — сказал он.

— Лайку возьму в дом, — твердо предупредил Райнер.

— Что же, в сенцах привяжи, — согласился Егор.

Они сидели в той же полутемной горенке в сыром табачном запахе холодного зилья и пили чай, а Егор пил водку. Дима чокнулся с ним только раз. От водки Егор все больше расслаблялся, бурели обветренные щеки, костлявая грудь под расхристанной гимнастеркой.

— Бумага мне твоя ни к чему, — говорил он Райнеру, — у меня частный сектор, мотор свой, лодка своя, на рыбнадзор я положил, на рыбокооп тоже, на всех... Дело? А? — И хрипло смеялся.

Райнер не торопясь отхлебывал густой чай, поглядывая в окно на скучную улочку.

— Ты солдат и я солдат, — продолжал Егор, — я солдат доведу. Дело? А? А этих туристов всяких я под зад коленом, не люблю. Дело? Ты с какого году? С восемнадцатого? А? И я тоже, мы свое отыщали, пускай вон они, а? Дело? Ты покалеченный и я тоже, гляди! — Он задрал рубаху на синюшном пузе, и они увидели морщинистые лиловые шрамы швов. — В сорок третьем на Кольском! — гордо сказал Егор. — А тебя когда?

— Где? — спросил Райнер.

— А вон, я ви-и-жу!

Дима глянул: на затылке Райнера бугрились два узких белых шрама, пропадали под волосами.

— Я на фронте не был, — спокойно сказал Райнер. — Не воевал.

— Где ж тебя?

— В лавину попал. Кошками.

— Кошками?! Какими такими?

Райнер не ответил.

— Это зубья такие, их к ботинкам привязывают, чтоб не скользили на восхождении в горах, — смущаясь, объяснил Дима.

— А-а! А я думаю — смеетесь! Кошками! Эвона чего!

Райнер рассеянно помешивал чай. Он не хотел этого вспоминать, но само вспомнилось, ощутилось, как в неуловимый миг сдвинулось

все привычное, снежное, безмолвное, потащило, наваливаясь, отнимая свет, крик, смысл, руки и ноги, как спеленало и стало втискивать под пресс, в беспамятство. В бессилие. Вот оно, самое ненавистное.

— Где это? — спросил Дима.

— У Азау-Баши. Потом узнал: пять тысяч кубометров сошло. Сто двадцать восемь тонн на метр квадратный — ударная сила.

— А как же кошки? — хитро спросил Егор. — Оне же на ваших ногах были, как же ими свой затылок окорябать? Не пойму.

— Не на моих ногах они были, — ответил Райнер холодно.

Он вспомнил крик горных галок и сквозь мутную пленку — белое пасмурное небо. Галки ходили по склону, приглядывались, нагнув голову, к тому, что торчало из-под снега. Он хотел прогнать их, но голоса не было. В этой лавине из шестерых только он и Сидоренко остались живы.

— Хочу спать, — сказал Райнер.

С утра в воскресенье Егор ушел в поселок за бензином и пропал. Дима притащил из магазина мешок с буханками, сходил за сахаром, маслом и крупой. Райнер перепаковывал вещи, посматривал на небо. К полудню залив затянуло мглой, ветер стих.

— Схожу в столовую, потом ты.

Они пообедали, Егор не приходил, было около четырех. Райнер лег на диванчике в комнате и заснул, Дима слонялся по палисаднику, где ничего не росло. Напротив стоял новый блочный дом с почтой и аптекой. Точно такой же, как в их районе или у Сашки или у Неймана. Женщина в синем платье протирала окно на третьем этаже. Стекло играло синими бликами. Рядом с домом у фанерного ларька «Пиво — воды» бродили две белые курицы. В засохшей грязи проулка ржавел раскуроченный трактор-тягач.

В пять шумно притопал Егор, красно-бурый, веселый, сказал: «Поехали!» — прищурился, добавил хитро: «За пятнадцать». Райнер подумал. «Какой ваш адрес?» Егор перестал ухмыляться: «А что?» «Хочу записать, а вы — мой». Егор долго разбирал написанное.

— Что за фамилия у вас? Еврей, надо быть.

Райнер пожал плечами.

— Родословной не веду. Дед — из шведов. Предки, может, еще при Петре обрусели. Спроси лучше вон у «историка».

Солнце пробивалось сзади под лиловой тучей, а впереди все раздвигалась морская темная пустынность, кое-где вспыхивая всплеском волны. Справа уходил, загибался к югу скалистый берег, у розоватых лбов опадали беляки прибоем, а выше плавно изгибались пустые холмы с редкими тычками сосен. Когда-то Райнер видел — вот так же с моря — на таких же холмах-гольцах маленькие фигурки оленей. Они паслись и не смотрели на море. Тогда рядом у фальшборта стояла Римма, мотобот Кандалакшской биостанции шел вдоль Кольского на восток и берег был слева, а сейчас справа.

Егор переложил румпель и пошел к островам; иногда катер поддавало под скулу и обрызгивало лицо и плечи; сильнее засвежело, резче запахло солью и бензином; лайка поводила носом к берегу, щурилась на блики.

— Шхеры, — сказал Егор, но никто не расслышал. — За островами потише, а вот посла мыса — только смотри!

Егор говорил больше для себя, рыжие волосы прилипли ко лбу, потемнели, ворот был расстегнут, и по жилистой шее стекала вода. Он все напряженнее всматривался в море, где на дальнем мысу четко белел треугольник — мореходный знак. Егор знал, что за ним прикнуться будет негде, и выжимал из мотора все.

Чайки кружили в кильватере, иногда нырком чертили воду и взмывали с визгливым криком, «хорошо, хорошо» повторялось в Ди-



ме, он слизывал горькие капли, слушал, как то взывал, то захлебывался мотор, жадно смотрел вперед, где все огромней распахивалось открытое море. Когда миновали последний островок — кучу черноспинных скал, — ухнула, прокатилась под днищем первая тяжелая волна, ударила под корму, окатила колени. Егор тянул шею, высматривал встречные накаты, еще не рваные, но уже в пузырьках пены, несущейся вдоль бортов. По голубому востоку навстречу тянулись грязные расчески, холодом дуло в рот, в глазницы, продувало голову до корней волос.

— ...ачивать ...адо! — крикнул Егор.

Райнер покосился.

— Заворачивать надо! — повторил Егор зло.

Райнер узко усмехнулся, покачал головой. Он не утирал брызг, не шевелился. Дима впервые заметил, какой у него по-женски изящный нос и маленькие ушные раковины. А шея как у борца.

— ...ачивать ...рю ...бе ...раты! — кричал Егор, но его никто не понимал.

Стемнело от непогоды, но свет еще падал с запада на восток через все морское пространство, почерневшее, пестрое до горизонта от пляшущих белаяков. Вкус ветра стал осенним, стывшим, берег пропал, подымало, бросало, кособочило, удары под днище сквозь стиснутые зубы отдавались в темя. Диму тошнило, он старался не бояться и не мог. Он смотрел на затылок Егора, напряженный, грязный, с мокрыми косицами, и понимал: наступила беда.

— ...атер ...убим! — крикнул Егор еще злее, но Райнер все улыбался, хотя понял: «Катер загубим!»

Райнер знал, что разворачивать плоскодонный речной «Прогресс» на такой волне — это перевернуться. Разворачиваться было поздно, и Егор это тоже знал. «Только б не заглох, сволочь, только б не заглох», — тоскливо думал Егор, стискивая румпель, который рвало из ладоней. Косой вал сбил с курса, второй подправил, а третий с грохотом подкинул катер, едва не опрокинув на борт; плеснуло через головы, вымочило до нитки. Вода перекатывалась по дну, тяжело мотало, болтало в ней банки, окурки, масляные тряпки. Жалобно взывала лайка, царапаясь, пытаясь взобраться Райнеру на колени, но он сбросил ее обратно.

— Вычерпывай, ...ать ...шу ...ак! — кричал Егор. Под бурим загадом на скалах засерела кожа, ощерились желтые зубы.

Дима схватил банку и стал, цепляясь, вычерпывать. Его выворачивало наизнанку. Один Райнер был спокоен: это была удача — в шторм идти на речной посудине и знать, что дойдут. Он не сомневался в этом.

— При-е-хаа-ли! — сказал Егор. Мокрый, осунувшийся, он сидел на корточках, безуспешно пытаясь прикурить.

Дима лежал рядом. Его только что вырвало, и он бессильно смотрел на море. Море было нелюдимо, взбаламучено, в желтоватой мгле плыл дождевой горизонт, широкий накат грохотал вдоль галечниковой отмели. Когда совсем захлебнулся мотор, Райнер схватил весло, выворачивая катер кормой к волне, что-то коротко крикнул суетившемуся Егору, за шиворот отбросил его от борта. Егор в кровь разбил подбородок, вскочил, схватил второе весло. Дима вычерпывал, а они гребли, и катер несло, заваливая, все ближе к обвальным взрывам прибоя у береговых камней — они уже маячили в пасмурной тьме, белая кайма опадала вслед за каждым грохотом, и тошнило все сильнее, тянуло за душу от нелепой мысли-жалобы: «Пропадем...» Потом заскрежетало под днищем, и сразу тяжкий вал накрыл их, завалил, ледяная вода захлестнула уши и ноздри. Райнер выпрыгнул за борт. Он стоял, удерживая катер за борт, по груди в воде. «Прыгай — отмель!» Егор тоже выпрыгнул, Дима медлил. «Прыгай!» — кричал Егор. Они вели катер вброд к берегу, их то и дело накрывало волной,

но они вели. Начался отлив, и они не успели: катер обсушило метров за пятьдесят от коренного берега. Егор бросил якорь и, всхлипывая, отхаркиваясь, побрел к твердой земле. Только Райнер вытащил и донес свой рюкзак.

— Надо костер,— сказал он.

Дима сел. Шел мелкий дождь, вроде светлело, но еле-еле; все шумело и шумело море.

— Дрова ищите,— сказал Райнер.

Егор не шевельнулся, Дима встал и наугад побрел по берегу. Весь берег за чертой прилива был завален плавником: отшлифованными водой бревнами, досками, палками, в которых запутались водоросли. Разве это будет гореть?

— Бес-по-лез-но...

Он сказал это вслух и оглянулся. Райнер достал из чехла топор и колот доску. Потом он стал щепать лучину, бросал ее Егору. Стоя на коленях, Егор чиркал спичками, но их тут же гасило.

— Дай сюда,— сказал Райнер.

Когда Дима, набрав охапку плавника, обернулся второй раз, он увидел бьющийся язык пламени. А еще через двадцать минут он сидел так близко от большого огня, что дымилась паром одежда. Райнер помещивал в котелке, жаркий запах бразильского кофе побеждал запах гнилых водорослей; Егор сидя дремал, вздрагивая, как собака, а собака, Вега, тоже сидя, щурилась на огонь. Когда катер завалило, ее выбросило, но она выплыла.

Егор выпил горячего кофе и ожил.

— Катер подтяните,— сказал он.— Прибылая пойдет — сорвет с якорю.— Прилеж, положил голову на полено и заснул.

Светало. Дима пил кофе и смотрел на Егора, который даже не выжал штанов и рубашки, но спал. «Я бы так не мог»,— думал Дима.

Совсем рассвело, но не понять, утро или день,— так затянуло все над морем. Они подтянули катер, немного обсушились, Дима надел свитер на голое тело.

— Топор мой не берите,— сказал Райнер.— Принесите дров.

Он один до света поддерживал костер, сварил манку с изюмом, натянул на веслах тент. Егор то спал, то ругался, Диму развезло, лихорадило. Он потащился вдоль прилива за плавником. На мели в круглых камнях мотало водой что-то белое, тоже круглое. Дима нагнулся и отшатнулся: из-под набегающей водяной пленки то проступало, то пропадало небритое распухшее лицо без глаз. А дальше было тело в прилипшей рваной гимнастерке и полуспущенных кальсонах.

— Берись! — скомандовал Райнер.— Вот так, давай!

Они вытащили утопленника на гальку и стояли вокруг. Диму опять потянуло на рвоту, он согнулся, но его не вырвало.

— Привыкай,— сказал Райнер.— Что будем делать? — спросил он Егора.

Егор мрачно курил.

— Вы нашли, вы и делайте,— ответил он.

— Придешь в Чупу — заявишь. Или ближе. Далеко до Сон-острова?

— Километров пятнадцать... Чего я буду заявлять? Сами и заявляйте.— Егор сплюнул рядом с телом, вытер рот.

— Кто это? — спросил Дима.

— Сами и заявляйте,— повторил Егор.

Райнер пожал плечами.

— Здесь заявлять некому. Расплатимся с тобой и пойдем дальше. Сами.

— Хоть закрыть его чем-нибудь,— сказал Дима с тихим отращением.— Чайки вон...

Чайки все чаще кружились над ними, кричали противно, садились недалеко на воду.

— Расплатитесь...— зло сказал Егор.— Да за это я четвертной не возьму!

— Десять! — твердо поправил Райнер.— Выгружай вещи. Можем помочь его в катер погрузить. Или потом будешь сам.

Егор долго и бессмысленно матерился, пока они выгружали байдарку и рюкзаки с продуктами. Море волновалось тише, но еще широко и накатило, жидкий свет с востока туманно вспыхивал по ряби, быстро и низко шли серые тучи. Егор долго ковырялся в моторе, наконец завел, не прощаясь тронул, развернулся, ушел в сторону Чупы.

— Что же... с этим?

— Накроем камнями.

В кучу камней сверху Райнер стоймя приладил бревно, на широком затесе написал шариковой ручкой: «Это тело найдено 10 августа 1975. Сообщили в Чупу через Чумакова Е. П. Райнер, Кузнецов».

К вечеру на байдарке они прошли на северо-восток только километров восемь. Все время приходилось прижиматься к берегу, выжидать затишья. На косе в устье какой-то речушки зажгли костер, стали варить ужин. После ужина Райнер посмотрел на затихшее море, послушал журчанье порога, сказал довольно:

— До Чупы отсюда километров шестьдесят с лишним почти никого, а до Гридина на восток больше ста совсем никого.

— А Соностров?

— Не в счет. Живет один карел, Егор сказал. Хотя один карел — это тоже... Что не ешь?

— Все этот мертвый вспоминается...

— Не нравится? А мне все равно. Привык.

— Где ж это?

— Мало ли где... Хотя бы на спасательной. Помню, сели передохнуть — четверых вытягивали, положили на снег, а сами на них.

— На кого?

— На трупы. Промерзли за зиму, как дерево.

— Где же это?

— На Семенов-Баши. Четверо, связка, угодили в цирк, до весны лежали.

— Кто же это?

— Пижоны! Сорваться с двойки. Надо уметь. Но бывает.

— В каком году это было? — Дима отвернулся.

Райнер стал соображать.

— Не твоего ли брата я вытаскивал? Да, Кузнецов, правильно.

— Моего.

— Правильно. Зря они стали спускаться к Домбаю не по гребню, а спрямляли по снежнику. Пижонство. Связались вчетвером, один всех и сдернул. Спрямили!

— Нам написали, что все это случайно так у них... Просто не повезло.

— Нет. Сами виноваты.

Диме не хотелось говорить. Райнер втащил в палатку спальный мешок и стал устраиваться.

— А курить тебе придется бросить,— сказал он из палатки.— Не перевариваю этого в своей палатке.

Диме захотелось ответить, что дальше он никуда не пойдет вместе. Он сам себе удивился: ведь Райнер взял его с собой на Север, а вчера ночью, возможно, спас.

— Брошу,— сказал он глухо.— Уже бросил.

И он выбросил начатую пачку в костер. Но Райнер не слышал — он засыпал мгновенно.

Когда Дима проснулся, Райнера рядом не было и до слюны прошибало запахом жареной рыбы. Он высунулся. Было солнечное ясное утро. Тихо плескалось море. Рдели уголья погасшего костра. У костра на камнях стоял противень с жареной рыбой. Он вылез, потянулся. По пустынному серому берегу бродила белая чайка, голубели горбы дальнего мыса, покачивались сосны на крутом обрыве за палаткой. И все журчала, перекатывалась откуда-то сверху и мелко рябилась прозрачная вода в речке. Там на валуне сидел Райнер и смотрел на море. Стало сразу скучно.

Райнер оглянулся, махнул рукой.

— Ешь рыбу, хариус! — крикнул он.

Дима заметил спиннинг, прислоненный к камню, рядом спала Бега.

Он ел хариуса и запивал теплым кофе. Он хотел оставить Райнеру, но тот сказал:

— Я уже...

И голос Райнера и движения стали медленнее, добродушнее. Он расстелил карту, позвал Диму.

— Утром влез на сопку, посмотрел. Нам повезло: кажется, это и есть та система. Переволок до первого озера — через эту гору. — Он показал на сосны. — Километра не будет, но в гору. Собирайся, и пойдем.

До полудня они перетаскивали вещи на берег озера. Озеро лежало в скальной котловине, поросшей сосняком, его простор уходил в далекое гористое сужение. На берегу гнили останки древней избы. Кто ее поставил, кто здесь жил?

— Я думаю, это выселки. Староверы, — сказал Райнер.

— Почему?

— Название: Поповское озеро. Потом изба: не карельская, по-морская.

Дима долго разглядывал сгнившие до трухи огромные сосновые кряжи нижнего венца. Тишина наполняла чашу озера, чуть звенела в солнечной хвое сосен. Не хотелось вставать с травы.

— Загружаемся, — сказал Райнер и потащил рюкзак к байдарке. — Ты — на руле.

Легко, без всплесков входили в воду весла. Медленно шли назад скальные обрывы, щели в граните, корявые одинокие сосны на островах. Одна сосна, спаленная молнией, вся мертвая, обугленная, кроме боковой зеленой ветви, стояла как страж этой серебристой тишины. На плесе плеснула большая рыба, медленные круги шли все шире, дальше, колебали розоватые отражения скал. Они гребли до семи вечера и в конце озера привернули в заливчик с остатками низкого сруба — промысловой избушки. Крыши на ней не было, а внутри на глянцевиных прокопченных бревнах вырезано до белой древесины, глубоко: «Малютин Г. В., 1923».

Райнер полез на гору с биноклем, Дима принялся разводить костер. Сосало в животе, не хватало чего-то весь день. Он наконец догадался: курить хотелось, — и тогда сосание стало невыносимым. Но он понимал, что раз он остался с Райнером, надо терпеть. Тебе холодно, противно или больно, ты, может быть, заболел или еще хуже, но никто не должен этого знать. Это никого не касается. Таков был закон Райнера и ему подобных, и они презирали тех, кто жил не так. В городе можно было плюнуть на этот закон, но здесь, среди скал, один на один с Райнером, нужно было ему подчиниться.

В палатке Дима лег так, чтобы не касаться Райнера, хотя ему было холодно и жестко: палатку ставили на камнях, так как обычной земли здесь не было. Или болото, или камни. Да еще влажные мхи

езде — и на камнях и на сгнивших валежинах. «Когда он заснет, я вылезу и покурю, — думал Дима, глотая слюну. — Кажется, заснул?»

— Я тебя подыму рано, — сказал Райнер. — Посмотришь, как щуку снимать с жерлицы.

— Ладно.

— Надо забраться поглуше: я банку какую-то здесь нашел, правда ржавую, но...

— Ладно. А далеко эта система идет? Озер?

— По карте километров двадцать, но дальше есть и другая. Переволок километра два-три. Туда и полезем, — с удовольствием заключил Райнер и зевнул. — Ты не волнуйся — оторвемся.

Диму это не волновало — ему и здесь было достаточно безлюдья.

Гудели комары за марлевым окошечком струнно, беспощадно, всю ночь. В лесу крикнула какая-то птица дико, страшно и захохотала, удаляясь, скалы повторили эхо. Над озером вставала оранжевая луна, холодало, плотный туман подымался из болотистых низин. Что-то затрещало в лесу, потом еще, Вега вскочила, заворчала. Райнер спал и ничего не слышал.

Первая щука, которую Дима сам вытащил, ошеломила его. Она рвала лесу, боролась, взметывалась свечой и окатывала лицо брызгами, а потом билась тяжелым бревном на камнях, не даваясь в руки, вывертывая скользкое упругое тело.

— За глаза пальцами и кинжалом в затылок, — посоветовал Райнер.

— Можно, я и ту вытащу?

— Можно. Потом придется тебе одному ловить.

— А вы?

— А я — с ружьем.

— А на спиннинг?

— Спиннинг я тебе дам, но ружье — никому. Закон.

«Этот закон я знаю», — подумал Дима, нахмурился и отвернулся, чтобы Райнер не заметил. Но Райнер и не смотрел на него, он уже вспарывал щуку.

От озера к озеру, подымаясь по порожистым протокам, все глубже уходили они в узлы каменных отрогов. Нигде ни дыма, ни жилья, только сосновые леса по террасам, а в ложбинах и по руслам ручьев — мокрые ельники, угнетенный березняк. От комара не было спасенья, только на широкой воде да на ветру он отставал. На ночлегах спасала палатка и дымокуры.

Наконец на четвертый день остановились на каменистом, насквозь продуваемом мысу, и Райнер сказал:

— Здесь задержимся. — Он внимательно осмотрел окрестности, достал бинокль, прощупал противоположный берег, поковырял зачехотанный мох, заключил: — Давно не были.

— Кто?

— Люди.

— Может быть, никогда.

— Лет десять назад все вырубил.

— Что?

— Разве не видишь?

Он показал на другой берег, и Дима осмыслил то, что давно видел, но не обращал внимания: сваленные застрявшие стволы, заросшие мхом пни, прореженный сосновый сухостойник. Это, объяснил Райнер, работал леспромхоз: взяли что смогли, остальное бросили.

Втайне Дима гордился. забрался туда, где, может быть, почти никто не бывал; но оказывается, что гордиться было нечем.

— Как же они с таких скал свозили?

— Скатывали. Потом на лошадях. По льду вывозили зимой.

— Не может быть.

— Хорошо еще, что давно: ель, береза, осина выросли. Но подзол на сопках они подорвали, ягоды будет мало. И дичи, соответственно.

До сих пор Вега только дважды находила выводки глухарей. Но Райнер ружья не расчехлил: «Еще не поспели, маловаты».

Здесь, на мысу, обдувало весь день, сгоняло комара. Они сделали настил из фашинника и хвои, поставили палатку, у костра натянули тент. Райнер валил сосновые сушины, расчленил их на обрубки метра по два. Вечером разводили большой огонь, сидели, сушили одежду, пили чай. Они почти не разговаривали: Дима замкнулся, а Райнер всегда был молчалив, в лесу же вообще не разговаривал без нужды. Молчание его не тяготило, наоборот, оно как бы обволакивало его, делало терпимей, и он только шурился, когда Дима неумело подкладывал в костер или запутывал леску. Он приходил и уходил когда хотел, подолгу пропадал в лесу. Когда однажды Дима вздумал идти вместе с ним, он предупредил: «Я хожу в одиночку».

В соседнем заливе поставили по краю осоки одиннадцать шестов с жерлицами на щуку. Это хозяйство целиком перешло к Диме. И окуня у скал на глубине пяти—восьми метров он тоже ловил без Райнера. Окунь, тигровый, горбатый, брал на заглот, рвал леску, колол ладони оранжевыми перьями плавника. Были окуни граммов на пятьсот — шестьсот. Таких Дима никогда не видел. Он ловил под темно-красной скалой, которая мрачно громоздилась над головой. Вода под ней казалась черной, глубина здесь была большая. От скалы и в жаркий день веяло холодом гранитного монолита, в ее трещинах-морщинах в пятнах лишайников проглядывало лицо древности, мудрое и жестокое. Когда-то жрецы охотничьих племен высекали на нем магические руны, силуэты оленей и мамонтов. Может быть, и здесь есть пещеры с наскальной росписью? Дергало за леску, он запоздало подсекал, долго насаживал червя. Червей надо было беречь: в здешней песчаной почве их не было. Райнер же ловил окуня только на блесну и только во время жора. И хорошо, что он пропадал где-то по целым дням. Лес, небо, скалы, вода — все раскрывалось тогда еще глубже, огромный покой затоплял сознание, мысли еле шевелились где-то на дне, хотелось дремать, бездумно щурясь на поплавок, хотелось погружаться все дальше в синее безмолвие неба, опрокинутого в омут вместе с ржавой кромкой скал. Машин, денег, газет, кино, секса, водки — всего этого будто не только здесь, но и вообще нигде никогда не существовало.

Подуло с северо-востока, пошли дожди, и рыба перестала брать. У них кончилась крупа, осталось полторы буханки хлеба, по утрам сахар выдавался по два куска на день. Теперь хотелось все время не только курить, но и есть. Наконец Райнер достал и собрал ружье. Дима с восхищением разглядывал вороненные стволы, тончайшую насечку, шлифованные детали замка. Райнер любовно подышал на сталь. «„Меркель“, комбинированное,— сказал он,— модель двести одиннадцать, система „блиц“». Дима ничего не понял. «Третий ствол — нарезной,— пояснил Райнер.— Калибр девять и три. Гладкие — двенадцатый». Он бережно отер ложе, поскреб пятнышко. Лицо его стало внимательным, заботливым, словно он прислушивался к живому существу, стараясь понять, здорово оно или нет. На ночь он забрал ружье в палатку, уложил себе под бок. «А вдруг заряжено?» — с опаской думал Дима, но спросить не решался.

Два дня подряд Райнер пропадал на охоте, но приходил пустой, спрашивал: «Ну, как рыба?»

— Я тут нашел четыре озера,— сказал он на третий день,— пойдем завтра вместе, может, там будет брать.

— Ладно...

— Смотри сюда.— Райнер начертил в блокноте схему.— Вот се-

вер, это лагерь, отсюда идем скалами до устья ручья. Здесь непропуск, идти верхом и верхом же по каньону на запад-юго-запад до первого озера. Оно круглое, из него вытекает ручей. От него низиной до второго, лес мелкий, гнилой. Второе Г-образное, только палочка на оборот, влево. Понял? Северный берег — скальные стены, южный и западный — морошковое болото. Проходишь по южному берегу до конца — и там старые затесы на запад. Тропа запыла. По затесам выходишь на третье. На юг поворотку я затесал заново. Там видел следы оленя и глухаринные наброды. Много черники. Примета третьего — голый скальный стол на сопке, тот берег — сосновый. Со стола просматривается четвертое и в бинокль на юго-восток — пятое. Пятое, кажется, травяное. Может быть, оно сообщается с нашей системой. Надо исследовать. Понял?

— Да... А на карте их нет?

— Нет. Палатку застегни, возьми котелок, топор, соль, десяток жерлиц, крючки, леску, одного червя.

— Одного?!

— Первого окуня на червя, остальных — на глаз.

— Как это?

— Выдавливаешь и ловишь.

Райнер взял ружье, спиннинг, маленький рюкзак. Вега уже все поняла — ждала, помахивая хвостом, раздувая ноздри.

— Ну что, Вега? — спросил Дима, но она даже не посмотрела.

Сразу за палаткой пошли по каменистому склону, набирая высоту. Тропы не было, замшелые глыбы, бурелом, провалы, гранитные валуны, опасные щели под бурями подушками мха. Райнер не спешил, легко нес свое грузное тело, безошибочно ставил ногу, бесшумно прыгал, перелезал. Дима начал отставать, пот заливал глаза, некогда было утереться, комары жгли виски и за ушами. Он смотрел только под ноги и не запоминал примет. К десяти утра прошли лесистой террасой выше первого, круглого, озера и спустились ко второму, шиферно-голубому от опрокинутых в небо скал. Остановились на мысочке, сели на сухой ягель под сосенкой. Вега легла и стала вылизывать сбитые о камень подушечки лап.

— Начинай с низкого берега. Поставь три-четыре и догоняй.

— А вы?

— Встретимся на третьем. Там поставишь остальные: есть осока в заливах.

Дима следил, как уверенно, бесшумно удаляется широкая спина, как впереди мелькает белое — Вега ищет наброды. Ушли. Стало тихо, только сердце стучало да зудели комары. Он достал мазь «Тайга» и намазался. Райнер мазь эту называл дерьмом, но своим репудином не поделился. Коршун плавал над сосновыми гривами, второй поднялся из-за леса, скрестил свои круги с первым, и оба вместе стали уменьшаться, поднимаясь в невозможную высоту.

Мелкий черный окунь брал раз за разом. Он спускал окуней в котелок, и они билась гулко, а потом замирали, шевеля плавниками. Потом он искал по болоту прямые березки на жердины, втыкал, привязывал, наживлял. Когда он поставил четыре жерлицы, солнце сместилось к западу, в бору попискивали рябчики. Он выпустил лишних окуней и пошел искать старые затесы. Никаких затесов не было. Надо просто идти на запад, а потом на юг. После свежего затеса. Но где запад? И тут он вспомнил, что забыл компас. Ничего, запад вон там, наверно. Не возвращаться же к палатке. «Не умеешь — не суйся», — скажет Райнер. Или: «В лесу тебе делать нечего».

Вечер уже румянил гроздья шишек на высоких елях, а он все искал третье озеро, на котором ждал Райнер. Темнота выползала из еловых низин, сложился редкий пар над болотинами, хотелось пить. Он сел прямо в густой мох и стал обрывать крупную матово-синюю чернику, горстями ссыпал в рот. Ладони, рот и язык почернели от

сока. Он встал, безнадежно огляделся. Ельник, кочки с черникой, корявый выворотень, бледная зелень запада. Где же точно запад, когда полнеба там светится? «Я не найду этого озера. И палатку тоже. Через полчаса темно. Надо идти на нашу систему, на восток. Или на юго-восток? Как она на карте? Почему я не взял карту? Компас? Райнер бы взял. Он сказал бы: «За ручку никого не вожу». Или: «Тебя сюда никто насильно не гнал». К черту Райнера! Он прямо не скажет, а ухмыльнется. Ногу я стер. Переобуться? Райнер сказал бы: «Мамочка, пальчик бо-бо!» К черту Райнера! Сволочь, бросил одного, ни о ком, только о себе, ест отдельно, кружку прячет, топор прячет, сволочь!»

— Сволочь! — Он сказал это вслух, испугался эха, устыдился. Стало сразу сырее, темнее, глуше все вокруг от этого чужого злого голоса.

Он повернулся к закату спиной и пошел на темное, на восток, напрямик. Он торопился — свету оставалось все меньше, он знал, что не успеет. Он лез все круче вверх — на скалах было светлее — и вылез на голое, серое от ягеля плато. Отсюда было видно широко вдаль — лесистые увалы, гранитные лбы, сосны, ложбины, полные молочно-белых испарений. Лиловатый восток прокальвали первые звезды, а меж двух сопков левее и ниже эти же звезды тонули в круглой черной воде маленького озера. Какое это озеро — все равно, только бы дойти до него, потому что только оно одно было дружелюбным в этой лилово-черной похолодавшей стране.

— Хоть плохой, а рубит, хоть плохой, а рубит! — приговаривал он, врубаясь своим топором в смолье стоялой сушины. Сушина ружнула со стоном. Дима разжег большой костер, наломал лапника и сел. Ночь стояла вокруг, багульником дышали болота, скрипело где-то иногда в утробе тьмы, выжидало и опять скрипело старчески бессильно. Огонь грел колени, лоб, а к спине липла ледяная рубаха. Он выпил чай с одним кусочком сахара и съел полгорбушки, задремал и проснулся. Был не страх, а безнадежный гнет затерянности, скрипела ночная тайга, скалы, болота не знали его и не хотели знать. Тускло смотрел чей-то глаз из чащи — мерзкий старичишка, зеленый, бескровный, ждал, когда он заснет, и не было сил оглянуться, встретиться с ним взглядом. «Хозяин» — так шепотом называли его бабы и крестились, но разве испугается он креста, если неверующий перекрестится? Что-то прошуршало, шевельнулось за самой спиной, и он едва удержал крик, после которого сорвалось бы в нем все человеческое и осталось только животное, напуганное до заикания. Он так прикусил губу, что стало солоновато во рту. Он встал, напрягая все мышцы, разворошил огонь, выхватил горячий сук и наконец оглянулся. Никого. Только хвоя ближайшей ели, кочки во мху, блики огня на черной воде, скрученный завиток бересты. Никого. Он вздохнул, сел. Тело ослабело, в затылке стучала тяжелая кровь, веки отекали. Он обнял колени, положил на них голову и увидел лайку. Лайка лежала у огня и смотрела в темноту, насторожив уши. «Кто там, Вега? Как ты нашла меня, Вега?» — спрашивал он, проваливаясь в сон..

За розовым туманом трубили журавли, угли съежились под пеплом, тело бил озноб. Он разогнулся, долго вставал, через силу разводил огонь. «Надо выпить чаю покрепче. Надо согреться».

Круглое озеро просыпалось всплесками рыб. Он наживил четыре жерлицы и наловил окуней для уха. Пока чистил их, взяло, и он вытащил двух щук, вторую килограмма на четыре. Он забыл про усталость от радости. Взошло солнце, рыба перестала брать, но и так было что принести домой. Теперь, когда наступил день, он узнал озеро — это было первое, круглое озеро, которое он видел сверху. Он узнал его по двум соснам, которые свалились в воду крест-накрест, и по ручью. Отсюда он дойдет. И не торопясь Дима **смотрел снасти**



и тронулся прямо на солнце вдоль ручья, вытекающего из озера. Но и сейчас его не оставляло ночное ощущение дурного мутного глаза, следящего из-за висячих лишайников за его человеческой растерянностью.

На подходе к палатке он замедлил шаг, стиснул зубы, готовясь к встрече с Райнером. Но Райнера не было. Лагерь был пуст и разгромлен: алюминиевые миски разбросаны, тент разорван, котелок опрокинут, вся земля усеяна клочьями бумаги и станиоли: кто-то на мелко порвал все пакеты с концентратом, которые висели в полиэтиленовом мешке на елке. На стоянке точно побывал сумасшедший.

Только к вечеру появилась Вега, а за ней неслышно шагающий Райнер. Он кивнул, бросил на мох двух молодых глухарей. Потом снял рубашку, вымылся до пояса в ледяной вечерней воде, надел чистую майку и сел к огню.

— Завтра погода поломается,— сказал Райнер, оглядываясь кругом.— Что за мусор?

— Здесь без нас кто-то был.

Райнер встал, обошел вокруг, присел, пощупал землю. Собака подошла к нему, обнюхала след, посмотрела на лес, на хозяина, зевнула.

— Остыл. След остыл.

— След?

— Росомаха.

На сырнике меж корней продолговатая вмятина, точки когтей. Райнер что-то обдумывал.

— Ты уходил с бивака? Сегодня?

— Я сегодня только вернулся. А вы?

— И я здесь не ночевал.

«Прекрасно! — думал Дима, ожесточенно стягивая сапог.— Шатался где-то сутки, а я виноват, росомаху какую-то выдумал...»

— Придется менять место,— сказал Райнер.

— Зачем? Все равно везде одинаково: одни камни.

— Или менять, или ее пристрелить. Но ее просто так не взять.

У тебя проволока есть? Мягкая?

— Есть немного...

— Метра два-полтора надо.

Дима ждал, что Райнер спросит, где ночевал, но Райнер ничего не спросил. Он сосредоточенно гнул из проволоки мертвую петлю. Потом отрубил комель у березки и стал вырезать крюк. Он знал, что Дима не дошел до третьего озера, потому что напрасно прождал его там. Ведь все объяснил, нарисовал, ребенок бы нашел. Райнер тогда подождал еще с полчаса и решил пройти по основной гриве на юго-восток по новым местам. Он шел по гриве вдоль чистого мохового болота, которое просвечивало меж стволов. Таких просторных открытых болот он здесь еще не встречал. От вечернего солнца болото сияло золотисто-ржавым светом, кое-где просвечивали алые листочки примороженной брусники вспыхивала паутина. От редких сосенок удлинялись тени, касались уже дальней опушки, и сквозь частокोल этих теней замелькали бесшумно два бегущих оленя. Сдержав ружье, он удержал руки: олени неслись, не задевая кочек, полетному шоколадно-пятнистые, закинув рога на спину. Белая лайка все больше отставала, но гнала упорно, настырно, и он знал, что она бросит гон, только измотавшись до предела. Олени скрылись за дальними сосенками, и Вега скрылась за ними, а он все стоял, тихо улыбаясь. «Многовато мяса на двоих»,— оправдал он себя и передвинул предохранитель обратно. Возвращаться старым путем не хотелось, и он пошел по оленьему следу на юго-восток. Через час ему встретилась Вега. Нося боками, вывалив язык, она добрела и легла у ног. Совсем свечерело, когда он вышел на гул воды и с высоты увидел

реку. Стиснутая скальными стенами, она вспенивалась со ступени на ступень. Гигантская стена только вверху розовела от заката, а внизу каньон был полон сырой тьмы и рева порогов. На той, закатной стене лепилась к скале корявая сосенка, одинокая и бесстрашная, как первовосходитель. Спуститься здесь к порогу было невозможно, и Райнер пошел вниз по течению верхом, по гранитному гребню. Он понял, что эта река соединяет их озеро со следующим и что им придется обносить эти пороги по скалам.

Километра через полтора каньон раздвинулся, появились плесы, мелкие шиверы — каменистые перекаты. У одного омута забросил спиннинг, ощутил удар по мушке, рывок — и с наслаждением потянул из струи крапчатую борющуюся форель. Он забыл о времени. Костер пришлось разводить уже в темноте...

— Вот, — сказал Райнер, привязывая к деревянному крюку капроновый шнур, — завтра поставим. Отруби у щуки хвост. С мясом. На приманку.

Дима угрюмо отвернулся. «Нарочно меня в тайге оставил, нарочно про росомаху, нарочно, назло ловушки эти делает, в которых я не понимаю...»

— Расскажи что-нибудь, — сказал Райнер. — Хоть про историю. Ты какую историю изучаешь?

— Всякую...

— Но все-таки?

— Древнерусскую. Да вам-то зачем это?

Дима стащил второй сапог, полез в палатку. Он поворочался и затах. Райнер остался у костра. Он задумчиво вертел деревянный крюк, подрезывал, подправлял, что-то насвистывал. Да, так уж получилось, но это хорошо — ведь он не нарочно бросил студента, а надо бы было бросить, как бросают в пруд глупого щенка. Щенок может выплыть, а может утонуть. В тайге не место щенкам, которые не умеют плавать. Здесь каждый сам за себя. В одиночку. Как, впрочем, и в городе. Ты хотел увидеть тайгу? Пожалуйста. Но за вход надо платить. Вот Вега знает это. На холке у нее шрамы, лапы обморожены, а сейчас к тому же до крови сбиты о камень. Она лежит и лижет лапы, но не сердится, она знает закон леса. Как это у Киплинга: «Мы одной крови, вы и я...» Ноет плечо: завтра погода переломится.

Ночью Дима проснулся от ветра. Ветер выстудил палатку, он рвал гент, бросал в него пепел кострища и то уходил в гору и гудел мощно, глубинно во тьме лесов, то возвращался к озеру, и тогда был слышен плеск и скрежет гальки под накатом суматошных волн. Ветер не ослабевал, разрастался, невозможно было заснуть. Райнер дышал ровно, чуть подхрапывая, но это не успокаивало. «Я мог быть не здесь, а дрожал бы сейчас там, в этой темени, и никто бы меня не нашел...» Стали всплывать строчки, бессвязные, но очень четкие, кажется, это называется ощущения — синестезия. Сначала отключались мысли — он их и не удерживал, — потом отключалось тело, становилось ничейным, ненужным, его уносило ветром вместе со всей землей в серо-черное кипение непогоды; гигантская мешалка перемешивала тучи, скалы, море, леса, казалось, что даже здесь, в десятках километров от побережья, слышны раскаты штормового прибоя.

...Буйная волна, грозная, как страшный суд, — услышал-прочитал он, не пытаясь вспомнить, откуда это.

Еще один порыв потряс палатку до основания, принес привкус гранита и снега; клочья тьмы — невидимые всадники-тени — неслись из пустыни времен над безымянными озерами и гольцами. Он покорился их вечному движению, закрыв глаза, беззвучно повторял:

*...Точно как снежные хлопья с воздушных пространств ниспадут... так в это время без счета... сыпались легкие стрелы...*

...Совсем его бурное море смирило.  
 Все его тело распухло; морская вода через ноздри  
 И через рот вытекала...

*...Гуннхильд была очень красива и умна и умела колдовать.*

...Руны на роге режу,  
 Кровь моя их окрасит.  
 Рунами каждое слово  
 Врезано будет крепко.

*...И когда понеслись колдовские звуки, то люди, которые находились в доме, не могли понять, что это означает. Но пение их дивно было слушать.*

...Соткана ткань  
 Большая, как туча,  
 Чтоб возвестить  
 Воинам гибель...

*...Он не находил себе покоя. Он вскочил и выглянул. Он пошел к тому месту, где происходило колдовство, и тут же упал мертвым.*

*...Там их убили камнями, и над ними насыпали груду камней, остатки которой еще можно видеть...*

Ветер повторял эту бессмыслицу, в которой еще жил какой-то давно забытый смысл, похороненный напластованиями культурных слоев — слоев глины, золы, черепов, костей и наконечников копий. Все исчезло, кроме ветра, и он не смел пошевелить даже пальцем, скованный в своем коконе холодом и страхом. Этот страх вернулся из вчерашней ночи, когда некто неживой, но существующий смотрел ему в спину из леса. Он лежал и еще чего-то ждал, и вот всплыло со дна:

*...Я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшее от Меня, и глаза их, блудившие вслед иголов.*

Внезапно наступила тишина, такая полная, что он задержал дыхание, пока не понял, что это исчез ветер. Тишина продолжалась, а он все ждал еще чего-то и дождался:

*...Я — гочь женщины и мужчины из племени Агама и Евы.*

«Только б не вспугнуть: может, будет дальше?»

*...Отдайте мне единственного любимого Петра, а имущество наше все будет вашим.*

И еще раз:

*Дайте ми единого любимого Петра, а имение наше все в руку вашу будет.*

Он удивился, что Райнера нет рядом, а за марлевым пологом — мрачный, как в ноябре, дневной свет. Значит, он проспал утро. Он откинул тент: дуло несильно, но по-зимнему студено с мутного неспокойного озера; на камнях и корягах белел тончайший налет инея. Содрогаясь, он выбрался из теплого кокона, натянул брюки.

Райнер сидел у костра и скручивал проволокой свою ловушку. Он следил, как студент, лохматый и отекий, вылезает на четвереньках из палатки. Любит студент поспать, рыхлый какой-то, хоть и мясистый.

— Пойдем, поможешь,— сказал Райнер.— Место я уже при-  
смотрел.

Росомаха не поймалась ни в этот день, ни в следующий, зато они досыта наедались ухой, жареной щукой и глухарятиной, которую Райнер искусно тушил с брусникой, закапывая котелок в горячий пепел. А из глухариних грудок он жарил на ивовых шампурах шашлыки. Они почти не разговаривали, много спали, вечерами Райнер у костра чинил брюки; шил он ловко, ровными стежками. Погода стояла пасмурная и очень холодная. На третий день загрузили байдарку и тронулись дальше в глубь этой неуютной страны. Райнер был доволен, а Дима с радостью остался бы на старом месте. Черно-красные скальные стены, туман каньона, рев сильный, пена в сырых щелях — все это угнетало его, и, когда спустили байдарку на плес выше порогов, он облегченно вздохнул.

— Теперь-то наверняка оторвемся от всех,— сказал Райнер.

Они гребли до вечера и остановились на берегу узкой протоки, заросшей осокой.

— Где-то недалеко то озеро травяное, которое я видел в бинокль,— вслух размышлял Райнер.— Пока следов людских не видно. Надеюсь, и не будет.

Дима не отвечал, он старался понять смысл тех строчек, которые всплыли откуда-то той бессонной ночью, но смысл ускользал. Или его и вообще не было.

## 6

Узкая протока привела в большое озеро с островками, поросшими старыми березами и соснами. С одной сосны снялся белоголовый орлан, сделал круг, завис, пошевеливая кончиками крыльев, разглядывая с высоты незваных гостей. Они плыли, отыскивая следующую протоку, но мыс за мысом оставался позади, а протоки не было.

— Кажется, тупик,— сказал Райнер.

Оставался только дальний конец озера, где стеной стояли камыши. Они погребли туда почти без надежды, но в камыше открылся узкий проход. Течения почти не ощущалось, над кувшинками дрожали стрекозы, за камышом ничего не было видно. «Куда мы лезем? — думал Дима.— Лезем, лезем, а куда — не знаем...»

Он первый увидел поселок. На склоне еловой горы серели бараки, избы, у воды чернели баньки.

— Приехали,— зло сказал Райнер и бросил грести.

Да, в самом глухом углу стоял этот поселок, один дом даже двухэтажный, белели изоляторы на столбах, поблескивали стекла в широких не по-северному рамах. Но что-то странное было в глухой полдневной тишине, в молчаливых домах, которые надвигались все ближе. Черные провалы окон, рухнувшие крыши, заросли у порогов, ржавый паровой котел у пристани. Две утки с шумом взлетели из-под носа, и они вздрогнули: поселок был мертв.

Поселок был давно мертв. Они молча переходили из дома в дом, заглядывали в выбитые окна, нюхали нежилой запах брошенных комнат, в которых ржавели прутья коек. Осыпавшаяся штукатурка хрустела под сапогами, обои цвели плесенью, у крыльца Дима поднял детский резиновый сапожок. Лет пятнадцать назад это был благоустроенный леспромхозный поселок с конюшней на двадцать восемь денников, с паровой пилорамой, движком, радио, клубом. В клубе еще прели в углу груды старых журналов. Дима разлепил страницы: «Крокодил» за 1949 год, брошюры о вредителях леса. Перед клубом по пояс в крапиве стояла красная облезлая Доска почета. Почему все здесь брошено?

— Лес выбрали и бросили,— объяснил Райнер.

Они сидели на ступеньках крыльца и смотрели вниз, на озеро. Это было именно то озеро, которое они искали: щучье, густо заросшее осокой. Вечерело, холодало, от воды надвигалась стена сырого тумана, такого плотного, что не видно было другого берега. И со всех склонов стекал сюда этот туман, тяжелый, липкий, пробирающий до озноба.

— Гиблое место,— сказал Райнер.— Где будем ставить палатку? В бараках этих спать нельзя.

— Вон тот еще не осмотрели. Там одно окно цело, не выбито.

Дом был на два входа, левая половина сгнила, но в правой одна комната оказалась сухой и крепкой. Бревна проконопачены, в раму вставлены стекла, печка с плитой обмазана глиной. В комнате были нары на троих-четверых, на вешалке — старая телогрейка, банка на подоконнике полна окурков.

— Красота! — сказал Дима.

Райнер помрачнел.

— Кто ж это? — спросил он, хмуро оглядываясь.— Беглые? Браконьеры?

— Может, туристы?

— Откуда? Да и не станут они конопатить да чинить. Окурки от «Беломора», а вон крючки.— Он вытащил воткнутые за доску крючки с обрезками леси.— Местные, крупные, туристы таких не ставят.— Он открыл печь, поворошил зачем-то золу.— Переночуем, завтра я поищу переволок или протоку дальше, и уйдем.

— Может, проживем пару дней? — Дима смотрел на печь и вспоминал палатку, дождь, холод.

— Я здесь жить не буду.— Райнер открыл дверь, выкинул наружу банку с окурками.— Надо жерлицы ставить — через полчаса поздно будет.

Щука яростно брала минут двадцать перед самым закатом. Туман поднялся выше человеческого роста и колыхался, как вода; у него был привкус болотной гнили и болезни.

Они растопили печь, нагрели комнатку, и Дима с наслаждением лег на нары, разулся. Лайка заскреблась в дверь, но Райнер ее не пустил. Он сидел у стола и протирал телеобъектив. До сих пор Дима не видел, чтобы он что-нибудь фотографировал.

— Можешь спать завтра хоть до обеда,— сказал Райнер.— Пройду вверх, посмотрю проходы. На северо-запад все заставлено сопками, но на запад и чуть к югу долина. Вроде проходная.

Он убрал телеобъектив, раскатал постель, лег, закрылся с головой.

— Вы что ж, ужинать не будете, Эдуард Максимович?

— Нет.

Он лежал молча минут пять, потом сказал:

— Пожарь всю щуку: возьмем с собой. Приду — и сразу тронемся.

Но они не тронулись ни завтра, ни послезавтра. Часа в четыре вернулся Райнер: он тяжело подымался в гору — нес на руках лайку. Донес, осторожно опустил на нары. Старая собака смотрела на них умными глазами, тихо поскуливала.

— Что с ней?

— Сорвалась. Со скалы. Полезла за мной.

— Что же делать?

— Переломов нет, может оправиться. Хотя если позвоночник...

— Смотрите: она чего-то просит. Глазами.

— Пить, Вега? — спросил Райнер.

Лайка лизнула его руку, попробовала подняться и завалилась на бок.

— Принеси воды.

Но пить Вега не стала, она все смотрела в лицо хозяина, повизгивала еле слышно.

— Если безнадежна, то...— Щеки Райнера одеревенели, губы сжались.— Нет, не поднимется рука. Ты — можешь?

Дима отвел глаза от его тусклого взгляда.

— Что вы, Эдуард Максимович, поправится, пусть полежит, я тоже... не могу...

Райнер постелил свитер рядом с собой на нарах, осторожно перенес туда собаку.

Ужинал Дима опять в одиночестве. Туман обволакивал дома, полз меж ними в гору, цеплялся за черную хвою елей. Ночной поселок поглощала сырая тишина; где-то за сопкой выкликал филин, хохотал, удаляясь, и опять все тонуло на дне темного молчания. Запах гнили и мокрой прели, человеческого тряпья, отбитой штукатурки, раздавленной сапогами крапивы. Дима ворочался, не мог заснуть, в черноте серел квадрат окна, потом провал в полусон, тяжесть на груди, болотные рожи, цветной туман, чмокающие шаги, бормотанье, спазма пробуждения, тело в поту. В комнате было натоплено, душно. Он босиком вышел на крыльцо, постоял в ледяной травянистой мгле; пока вытянул глотками сигаретку — продрог до озноба. Да, гиблые места.

Райнер тоже спал плохо, часто садился, ощупывал собаку, гладил ее теплый, порывисто вздрагивающий бок. «Умрет,— думал он, жестко стискивая челюсти.— Сколько их у меня было, а последняя всегда дороже. Сантименты. Да. Умрет — и все. А если не сразу?»

— Вы не спите? — спросил Дима.

— Сплю.

— А я не могу.

— Не можешь — не мешай другим.

Райнер опять ушел куда-то с утра, и весь день старая собака пролежала мордой к лесу, не спуская глаз с двери. Она отказалась от еды, только попила немного. Дима пытался разговаривать с ней, гладить, но она не отзывалась, она терпела его, и все.

— Лазил на гору над поселком,— сказал вечером Райнер.— На юго-запад в долине просматривается озеро, кажется, есть боковой приток оттуда.

Дима молчал; теперь он сам хотел уйти отсюда, из этого догнивающего выморочного поселка. Щука брала, но жор был короткий, и надоело ее чистить, возиться в кишках, в кровавой слизи, в холодной воде. Солнца не было, дул ровный постоянный норд-ост, зябко морщил серую гладь, трепал пожелтевшие камыши. Дима силился и не мог представить себе городскую жизнь, она казалась надуманной, искусственной. Настоящая жизнь была только здесь — вечная жизнь зверей, птиц, рыб, елей, гранитов, облаков. Такой она была от века и всегда будет такой. А человек? Нечего ему тут делать: посмотрел — и обратно в свою пятиэтажную коробочку на Ломоносовском проспекте. А Райнер? Он смотрел, как Райнер чистит щуку — ловко, быстро, с удовольствием. Как он взрезает ее вдоль спины, одним движением вытягивает все внутренности в прозрачной пленке, отделяет печень, икру, рубит на куски плотное мясо. Даже этим Райнер был ему чужд. Не так давно по этим моховым падам бродили с оленями коренастые смуглые кочевники, били из луков белку, куницу, ловили рыбу, пекли ее в золе, ели руками, обжигаясь, дуя на пальцы. Во что они верили? В мертвых родичей, в крик ворона, в радугу, в сотни примет. Молились странным божкам из камня и кости, мазали их жертвенной кровью. Никто толком не знает, во что они верили. А Райнер? Уж он-то точно ни во что не верит. Ему это не нужно. Слишком он

сильный, опытный, самоуверенный. Слишком ловко он чистит эту щуку.

— Ну, как угли? Нагорели? — спросил Райнер.

Они жарили щуку на костре на берегу.

— Нагорели.

— Подай-ка муку. И масло.

Две утки налетели из тумана с заката, и Дима не успел глазом моргнуть, как Райнер схватил ружье, ударил с паузой дуплетом, и обе утки, кувыркаясь через голову, шлепнулись в озеро.

— Столкни байдарку, достань,— сказал Райнер. Он всюду таскал здесь свое ружье, даже на берег, когда чистил рыбу или умывался. Слишком ловко он стреляет, таких дуплетов Дима еще не видел — утки были на пределе.

— Вот и обед на завтра,— сказал невольно Дима и поморщился: он не хотел этого говорить. Он вообще не хотел думать о Райнере, но постоянно думал, это было как некая надоевшая неудобная тяжесть, от которой невозможно избавиться. Слишком тяжел был Райнер, непонятен, сложен, скрыт. Или, может быть, просто примитивен? Эгоисты всегда туполобы.

— Ты тут без меня, один, поосторожней,— сказал Райнер, переворачивая шипящий кусок. В болотной сырости остро запахло жареным.

— А что?

— Тут всякие могут шататься. Недаром эта комната отремонтирована.

— Никого здесь нет...

— Может быть. Но дверь, когда ночью на двор ходишь, запирай.— Райнер приладил на двери крюк и на ночь его накидывал.

— Я запираю.

«Человек человеку волк» — девиз первобытных охотников. Забивали насмерть всякого, кто забредет нечаянно в их деревню. Недавно еще было не пройти через чужую слободу. «Да что слободу! — как меня отлупили ребята с Молчановки, когда был в третьем классе. А за что?» Дима уставился в землю. Он ясно увидел здорового парня, который лениво, наотмашь ударил его в затылок. Парень казался темным немым великаном. Как Райнер. Его не разжалобишь слезами, скажет: «Ха! Сопли!» — и все.

— Ты что, заснул?

— А?

— Бери противень, а я — котелок, пошли ужинать.

«Ушкуйники, ушкуйники», — шептал осенний дождь бревенчатому срубу. Дождь начался вечером и шептал в темноте. В сухом еловом тепле он лежал рядом со спящим Райнером, но будто совершенно один.

«Ушкуйники были русскими, новгородскими ребятами. Они сюда заходили с моря, где сейчас Кемь или Чупа, ловили карелов, лопарей, брали дань пушшиной, речным жемчугом. Но могли и последнюю рубаху отдать. На, бери! Райнер не отдаст. Я знаю, кто он: норманн. Эти норманны тоже сюда заходили из Норвегии. Они верили в Тора и в Одина, крови не боялись, даже любили кровь. А ушкуйники?»

«Ушкуйники, ушкуйники», — шептал безразлично, неустанно мелкий дождь, и Дима стал засыпать под этот шепот, за которым стояла безнадежная тьма прошлого. «Ушкуйники», — никто толком не узнает никогда?.. Что? Ничего... «Ушкуйники, ушкуйники»...

Его разбудил толчок. Была тьма, дождь, дверь тихо дергали.

— Что? — спросил он испуганно.

— Тихо! — шепотом сказал Райнер, и Дима понял, что он подтягивает к себе ружье.

Вега предостерегающе зарычала.

— Откройте, люди добрые,— попросили глухо из-за двери.

Райнер включил фонарь, желтый круг уперся в доски, замер; в горле собаки нарастало клокотание, вздыбилась шерсть.

— Кто там? — спросил Райнер. — Кого надо?

— Да откройте же, как не стыдно людей держать — дождь! — крикнул мальчишеский голос до того искренний, что Райнер приказал:

— Открывай!

Дима откинул крюк. Первым вошел подросток, жмурясь от бьющего света, заслонился локтем. Косицы торчали из-под кепки, по плащу стекала вода.

— Чего слепите-то! — сказал он с негодованием.

Вторым в дверь пролез старичок с котомкой, приговаривая:

— Вот уж благодать, вот уж спасибо, тепло-то, тепло-то! — Он сразу стал греть руки у печки.

Дима зажег на столе свечу.

— Вы откуда? — спросил Райнер. — Дима, запи дверь. — И он потушил фонарь. — Тихо, Вега! Откуда вы?

— С Лоухи,— ответил старичок,— здешние. — Он щурился на свечу, стирал дождь с безбородого лица.

Подросток в темном углу вешал плащ.

— С Лоухи? Здесь оттуда прохода нет.

— Как нет, есть. Каждый год сюда ходим. В это место.

— Это место занято,— жестко сказал Райнер.

— Нам хоть на полу лечь и то слава богу. — Старик опять прилип к печке, плечи его тряслись. — Припозднились, протоки спутали...

— Эту комнату мы оборудовали,— сказал подросток гневно грудным голосом. — Раздевайся, дядя, сейчас я затоплю.

— Это место занято,— упорно повторил Райнер. — Нары заняты, собака больна.

— Да вы сами-то откуда? — смело спросил подросток и вышел на свет.

Это была девушка, худенькая, светловолосая. Она всматривалась в темноту, где сидел на нарах Райнер, свеча высвечивала ее прозрачные сердитые глаза.

— Мы из Чупы,— ответил Райнер и лег, повернулся к стенке.

— Ложитесь, я подвинусь,— сказал Дима. — Подвиньтесь, Эдуард Максимович.

Райнер не ответил.

— Да вы лежите, мы устроимся, все устроим,— сказал старичок. — Ты затопляй, а я дров принесу.

— Дрова же есть,— сказал Дима. — Вон и за печкой еще. И чай есть.

Он слушал, как загудело в печке, как они стелили что-то на полу, как задули свечу и легли. Темнота наполнялась дыханием, он слушал его и старался понять, кто дышит, но не мог. В открытой печке догорали угли, тускнел малиновый квадрат, подергивался сизыми тенями. Дождь шуршал: «Ушкуйники, ушкуйники» — и все казалось странным, нереальным, а дыхание становилось глубже, ровнее, покойнее.

## 7

На востоке под плотной облачностью светлела слюдяная полоса, клубился туман со дна ложины, проступали в тумане камыши; где-то близко кричали невидимые утки. Дядя Миша столкнул в воду осиновку-долбленку, взял кормовое весло.

— Вон там кол, а от него к тому мысочку поплавки, видите?

Они с Димой снимали сеть. В сети-путанке бились молодые надимы, мелькнул пятнистый щучий бок. Медленно подгребали к бе-



регу. По колено в тумане стояла девушка, она казалась гимнасткой в этом тонком свитере, в тренировочных брюках, совсем молоденькой.

— Что ж не разбудил, дядя? — сердито спросила она.

— Вчера-то намаялась, так что ж... Ты почишь рыбу, пожарим.

— А у нас на жерлицы — ни одной, — сказал Дима девушке, но она отвернулась.

— Восток дует, на живца не берет, — сказал дядя Миша.

— Мы вот тут жарили, сейчас я разведу. — Дима стал колоть щепки. — Как же вы, так одни и путешествуете? — спросил он, глядя на спину в синем свитере у воды. Туман шел через нее, подымался, все сильнее, свежее проступал солнечный край восхода, сверкали камышинки. — Одни, с ней?

— Мы привычные. — Дядя Миша раскурил трубочку, присел на корточки у огня. Он был не так уж стар, но щетина на щеках с проседью и глаза какие-то усталые. — Она в этих местах родилась, брата покойного дочка, сирота. Она лес знает.

— Ну все-таки... У вас даже ружья нет.

— Ружья нет, я не люблю ружей. — Он посмотрел вокруг, втянул воздух. — Сегодня-завтра погода постоит.

— Вы рыбак?

— Я? Учитель математики. Ну и рыбак. Кумжа должна вот-вот пойти.

— А она?

— Нина? Она тоже учитель.

— Как учитель?

— Учитель русского языка.

— Сквороду готовы! — крикнула Нина с берега.

От дома спускался Райнер. Он подошел к воде и стал раздеваться. В одних плавках он стоял и гладил грудь, плечи; туман обтекал его, как статую атлета. Он оттолкнулся ногами и с шумом нырнул. Райнер каждое утро в любую погоду купался в этой ледяной воде.

Девушка несла рыбу в берестяной кошелке. Теперь Дима знал, как ее зовут. Но он не знал, пригласят ли его завтракать после ночной истории. Дядя Миша развязал мешочек и стал раскладывать на доске хлеб, помидоры, соль в тряпице.

— Сейчас пожарится — и закусим. А из налима — уха. Вы печенку его, максу, пробовали?

— Нет, — сказал Дима и покраснел: девушка смотрела на него через костер.

Солнце было сзади нее, он видел только светящуюся паутинку волос и светлые глаза; кажется, она была обычной, только взгляд какой-то серьезный, пристальный, а может, она всегда так с незнакомыми; вот она жарит рыбу, день будет ясный, иней тает, но в тени бревна еще белеет; дым идет прямо вверх, а там сносится вбок, загибает крышу на конюшне.

— Сколько лошадей здесь было, клуб, библиотека, — сказал он.

Дядя Миша поглядел вокруг.

— Было, да... Там вон еще барак был, а за ним колодец. Видали? А вон, где сосны, — кладбище. А дале, по вырубке, дорогу начинали на город, да не кончили — болота.

Райнер подошел неслышно, он стоял, расставив ноги, и расчесывал на пробор мокрые жидкие волосы.

— Садитесь с нами, — сказал дядя Миша.

— Какой же протокой вы сюда прошли? — спросил Райнер. — За тем косогором?

— Нет, там озеро непроходимое, в горах. Ниже протока, вы ее минули, когда подымались. Осока там, видели?

— Да.

— Вот в этой осоке она и есть. Не угадаешь. Мне один карел показал.

— Так. Понятно.

Райнер не торопясь пошел к дому.

— Сейчас готова будет! — позвал вдогонку дядя Миша, но он не обернулся.

Они съели уже по два куса щуки, а его все не было.

— Вот этот и тот отложи ему, — сказал дядя Миша девушке.

Диме было стыдно и тошно: он знал, что Райнер не придет. Он курил и смотрел в землю на искры в золе с краю костра, на маленькие ноги в белых кедах, которые то появлялись, то исчезали. Ключом закипел котелок, и узкая рука швырнула туда полную горсть чая.

— Кружку принесите, — сказал женский голос.

— А?

Он встал, он был на полголовы выше ее. Кажется, ее глаза не такие уж сердитые. Он нахмурился: ему не хотелось идти в дом, где сидит Райнер со своей собакой. Но пошел.

— Смотри: Вега вставать начала, ходит, — сказал Райнер.

Вега посмотрела на Диму и вильнула хвостом. Он хотел погладить ее, но она подняла губу.

— Возьму байду, поищу эту протоку. Если не врет.

— Вам там рыбы оставили. И чаю.

— Я не хочу. Вега, пошли!

Сверху Дима следил, как плавно идет байдарка по тихой воде. Ключья тумана истаивали в камышах, мелькал проблеск весла, белая собака сидела на носу, смотрела вперед. Потом ее закрыло осокой на повороте, и наступила тишина.

Весь день в нем хранилась эта тишина, прохладная от осеннего солнца, и сине-лилового озера, и от порыжевшей осоки, и от медленных кругов коршуна над макушками старых осин на том берегу.

Он сидел, безвольно расслабившись, на бревне рядом с дядей Мишей, который сушил и чинил сеть, и следил, как легко и неслышно взад и вперед ходит молчаливая девушка. Она то мыла сковороду, то стирала что-то маленькое, голубое, то уходила в березняк и выходила оттуда с венником, то что-то делала в доме. Наконец она подошла к ним и тоже села; она пришивала латку к старому ватнику, быстро-быстро мелькала стальная игла, на опущенной голове ветерок играл легчайшими волосами. Дядя Миша рассказывал не спеша, затягиваясь трубочкой, о рыбе, о карелах, о старых поморских селах, голос его доходил как сквозь сон, а она все шила, шила, точно вышивала его рассказ на прожженном ватнике травами-шелками, мелким бисером, петухами и единорогами. Постепенно Диму втягивало в этот старинный ритм, добрый, даже ласковый, с волны на волну, плавно, былинно, и он и они будто становились одной семьей, будто знали друг друга с детства и еще раньше — с тех времен, когда плыли струги от облака к облаку, от века и до века... Она уронила наперсток, и все исчезло.

— Вот он. — Дима подал ей наперсток, и глаза ее скупно улыбнулись.

— Так я здесь впервые побывал, — заключил дядя Миша и понурился, ушел в свое, недосказанное. Она положила ему руку на плечо, он глянул, виновато улыбнулся. Теперь они были вдвоем, а он, Дима, третьим лишним. О чем рассказывал старик под конец? А, о поселке этом, вернее о лесоразработках до поселка, о первом бараке. Вон там он стоял, где куртина застарелой крапивы. Что он, в нем жил?

Ничего нельзя спрашивать, если у человека такое всегда доброе, покорное лицо вдруг становится замкнутым, горько-морщинистым и мутнеют эти маленькие глаза, помудревшие от всего, что они видали за шестьдесят лет.

— Вот мы с ней, сироты, теперь и бобылим, — сказал дядя Миша и невесело, но с такой любовью улыбнулся ей.

— Не надо, дядя! — строго остановила она, и наступило молчание — долгое, полное мыслей, а может быть, и родных лиц, и Дима боялся шелохнуться, чтобы не помешать им вспоминать. Он и не помешал, он понял это, когда она коротко вздохнула и сказала:— Пойдем распилим бревнуху. У нас тут пила спрятана.

— Вы здесь не первый раз?

— Первый? Раз шесть уже бывали.

Под вжиканье пилы он думал обо всем и ни о чем; откатывая кругляки, мельком ловил ее взгляд: она стояла, опираясь на прогнувшуюся пилу, смотрела поверх леса в уже вечеряющее небо. «Неужели день прошел?» — подумал Дима с сожалением. Да, от елей тени длиннее, сочнее, с озера из дальней протоки опять надвигается стена тяжелого тумана. Трубный клик донесло от соседнего озера, второй и еще раз. «Тише!» — сказала девушка, и он увидел лебедей. Они сделали круг над поселком и вписались, снижаясь, в темную воду и заскользили, озираясь, — матово-белые, крупные два и серые неказистые позади еще два: семья, родители и двое подростков. Они сплылись и держались на месте, осторожно приподняв головы. Лес, камни, камыши, озеро — все стало иным, прекрасным и настоящим, вот чего не хватало этому месту для законченности. У Димы перехватило дыхание, он невольно поймал ее за руку, сжал тонкое запястье. Лебеди всполыхнулись, разбежались по воде, мощно ударя крыльями, и взлетели. Там, в вышине, самец торжествуяще или негодуяще кликнул «клинч! клинч!» и повел семью по высокому кругу, замкнул его на закате розовым взмахом и увел за гору.

— Вот это да! — выдохнул Дима.

Он отпустил руку Нины; ее глаза блестели, как и его, говорить стало незачем. Они стояли и смотрели на озеро, на байдарку, неслышно выплывающую из протоки, на белое отражение Веги, лежащей на носу.

Райнер вытащил байдарку и пошел в гору. У костра он бросил на землю селезня.

— Нашли протоку? — спросил дядя Миша.

— Нет.

— Лебедей-то видали? Только счас были.

— Видал.

— Семья. Что-то припозднились с выводком. Здесь они не живут, а по Воньге гнездятся. Раньше много было.

Дима и Нина подошли к ним.

— Вот это красота! — сказал Дима.

— Тут приезжал один из Москвы, года четыре будет, бил их, восемь штук застрелил, а зря: ни одного не вывез — протухли.

— Таких надо убивать, — жестко сказал Райнер.

Дядя Миша посмотрел на него внимательно.

— Убивать, конечно, нельзя — не собака же, а наказывать надо.

— Убивать, — повторил Райнер.

— Не собака...

— Собаку — согласен, а таких...

— Нельзя этого...

— Очень просто.

— Может, и просто, а потом будешь сам не свой.

— Как это — не свой?

— Так. Я видел таких-то...

Дядя Миша понурился, стал расковыривать трубочку.

— Ерунда! — заключил Райнер.

Он присел и стал ощипывать селезня. Он бросал перья в костер, и едкая гарь разливалась в тумане. Туман опять накрывал дно этой гиблой ложбины.

На площади, заросшей крапивой и дудником, полыхал костер, выхватывая из тьмы то лицо, то безглазый фасад конторы, белый наличник, оторванную тесину; над черной еловой гривой встала полная луна, и от этого брошенный поселок казался еще мертвее.

Трое молча доедали налиమ్ю уху, а рядом четвертый, Райнер, — своего селезня. «Лучше б он сидел там, в доме, чем вот так, — думал Дима, обсасывая мягкие налимы хрящики. — Сказать — ответит: «Не люблю одалживаться» или еще злее...»

— Утка, чернеть, пришла на озера, — сказал Райнер и повернулся к ним. — Теперь будем с мясом. Вы мясо любите?

— Я-то мяса не ем, — сказал дядя Миша.

— Склероза боитесь?

— Что? Нет, не поэтому.

— Может, по убеждению?

— Может, и так, а что?

— Буддист?

— Я-то? Нет, с чего бы, православный я. Просто, думаю я, есть у них настоящий разум. У животных.

— У дельфинов? Это не доказано.

Дядя Миша сидел ссутулясь, глаз не было видно под козырьком кепки, пальцы, набивавшие трубочку, мелко дрожали, сыпали табак на колени.

— Доказано, — тихо, упрямо сказал он.

— Может, у них и душа есть? — спросил Райнер и встал. Он потянулся всем телом, сверху выжидающе уставился в макушку дяди Мише.

— Душа — это у человека... — еще тише ответил старик.

— Не перевариваю этой мистики, — сказал Райнер жестко. — Пошли, Кузнецов, спать.

Он зашагал в темноту, в гору, посвечивая фонарем под ноги; лайка поплелась следом.

Дима догнал их только у порога.

— Эдуард Максимович! (Райнер остановился.) Погодите, зачем вы так? Это хорошие люди, откровенные, хлеба вон дали. Буханку. Зачем?

— Что зачем? — Райнер взялся за дверь. — Соберись, завтра с зарей тронемся. Не перевариваю этих «откровенных». Ерунда все это, Кузнецов. А буханку верни: чем расплатимся? Денег они не возьмут.

— Денег! Конечно! А вы бы взяли? Я не поеду, поеду с ними, через день-два и они... Протоку все равно не найдем.

— Найдем. Это твои носки?

— Мои. Я — не поеду.

Их разделяла только стеариновая свеча. Райнер не успел стянуть свитер, повернулся, руки его точно были связаны, бугрились мышцы предплечья.

— Не поедешь? Это почему?

— Потому.

— А, ясно: влюбился. Брось, Кузнецов, все эти бабы...

— Не влюбился, а девушку вы эту не затрагивайте!

Горячее, вибрирующее нарастало внутри Димы, копилось, он боялся самого себя, но не хотел остановиться. Лицо Райнера, невозмутимое, чисто выбритое, чуть придвинулось.

— Какая это девушка! Это женщина, Кузнецов. И бывалая. Я вижу. — Он стянул свитер и швырнул на нары. — Свежатинки захотелось?

— А! — крикнул Дима. — Испохабить? Да! Сволочь вы, сволочь последняя!

Райнер с изумлением следил, как побледнели его губы, ноздри, как резко проступили веснушки. Он, конечно, мог искалечить сту-

дента одним ударом, но студент и сам почему-то этого хотел. Зачем?  
— Ты что, грибов объелся? — спросил Райнер спокойно. — Чего ты хочешь?

— Что? — Дима шагнул, наткнулся на стол. Свеча слепила его, ненависть ожгла его, как овод, скрипнули зубы: он хотел бы убить Райнера. Вот здесь. Сейчас. — Что? Убивать вас надо, таких... — Он задохнулся; свеча слепила, мешала разглядеть эти плоские щеки, оловянные глазки, пробор. — У-би-вать! — сказал он, расклеивая челюсти, трясясь, не помня себя окончательно.

— За что же? — спросил Райнер негромко.

Нет, он не испугался, он только все больше удивлялся, искренне, открыто, и эта искренность отняла у Димы заряд, обмякли плечи, руки, выступил пот; он выбежал из дома. «Может, я сумасшедший?» Сырой холод разгонял озноб, в веках набухала соль.

В черном тумане тлели уголья, там были свои. Но у костра никого не было. Где же они? От озера что-то доносилось негромко, вроде музыки, он вслушался и понял, что там поют. Он подошел сзади по траве, он не хотел им мешать, но без них он сейчас не мог. Пела Нина, еле слышно, чисто, грустно, а дядя Миша вторил ей ладным тенорком:

Мело, мело по всей земле  
Во все пределы.  
Свеча горела на столе,  
Свеча горела.

Он боялся дышать, боялся вспугнуть — что? Он и сам не знал что; никогда не слышал он этой песни. Песня — Нина, эта девушка-женщина. Туман слоями стоял над черной водой, розовый глаз костра тонул в нем, тускнел, и все выше, голубее простирался над еловой горой лунный неподвижный свет. Что-то совершалось — может быть, самое важное, — и он забыл все, только слушал:

На сзаренный потолок  
Дожились тени,  
Скрещенья рук, скрещенья ног,  
Судьбы скрещенья..

Они, двое, сидели на перевернутой долбленке лицом к озеру и, не двигаясь, пели — уплывали все дальше в эту лунную тишину, чтобы забыть все, что мешает этой необъятной тишине. И тишина росла, щемила незнакомым предчувствием.

Он незаметно вернулся к потухшему костру и там ждал их: он не мог без них вернуться в дом, где спал Райнер. Он почти успокоился.

Но на нарах, когда он лежал без сна между дядей Мишей и Райнером, он опять стал задыхаться от гнева. Даже мерное дыхание Райнера казалось ему зловонным, хотя Райнер всегда хохотил свои зубы. Нары скрипнули с другой стороны, он понял, что это легла Нина, и Райнер как бы исчез. Дима лежал, закрыв глаза, и смотрел в ее русское лицо, обыкновенное, но непонятное, когда она смотрела в костер и думала — о чем? Может быть, она все понимает, что происходит с ним. Может быть, она думает о нем. Кто она? Он не мог ответить, но это было не важно. Он стал повторять ее песню — не слова, а их смысл, который настиг его на берегу и остался с ним.

— Нин! Ты чего вертишься? — сонно спросил дядя Миша.

— Живот что-то схватило...

— Не застудилась ли на берегу?

— Спи! — строго сказала она, и Дима улыбнулся.

День был холодный, синий, солнечный, до полудня не стаивал густой иней в жестких осоках, на бревнах у воды. Дядя Миша нагрел смолы и заливал щели в долбленке, Нина ушла за брусничкой, а Дима залез на обрушенный сруб и попытался начать дневник. Но у него

ничего не вышло: он написал число, год и задумался, глядя на опушку молодого сосняка, в котором скрылась девушка. Он не мог слепить ни одной мысли, хотя ему казалось, что со вчерашнего вечера прошел год. Все, что волновало, подкатывало, дергало или, наоборот, затопляло вчера и позавчера, не имело выражения в словах. Был некий смысл, реально ощутимый где-то в междуреберье, под вздохом, но такой же невыразимый, как просторная высь над головой или темно-багровые старые осины на другом берегу за протокой. Осень дышала тончайшими нитями паутин, искрилась слюда в гранитном валуне. Он чего-то ждал, опустив руки, жмурился, втягивал носом хвойный привкус остывшего воздуха. Когда меж сосенок замелькал синий свитер, он слез со сруба и пошел к дяде Мише.

— Набрала? — спросил тот Нину.

Она показала ведерко, почти полное розово-красных крепких ягод, вытащила горсть, обдула мусор, листочки, протянула Диме:

— Угощайтесь.

Он не любил бруснику, но сейчас она показалась особенной, с дикой кислинкой и каким-то незнакомым запахом: сухим и терпким, как ладонь, которая ее набрала.

Потом они с дядей Мишей начистили рыбы и следили, как Нина варит уху. Это было серьезное дело: обед.

Они обедали на дворе, у костра, как одна семья, почти не разговаривали, но Диме было свободно и просто с ними. Он не заметил, как прошел день.

Вечером Райнер не вернулся.

— Он часто так, — сказал Дима, когда они укладывались спать. «Никуда не денется», — хотел он добавить. За весь день он впервые подумал о Райнере. Точно целый месяц он без роздыху таскал тяжести, а в этот день получил первый выходной.

Он сел на край нар, нащупал на столе спички, закурил, и никто не выгнал его на улицу. Дядя Миша спал, и Нина спала, а может быть, не спала, следила за угольком его сигареты. Женщина? Пусть. Еще непонятнее, сильнее, точно на санках во сне с огромной горы, в темноту, по льду, все скорее, радостней, страшнее, бесконечнее. Женщина. Это не то слово, вообще не слово, это — Женщина. Не надо думать, бесполезно думать, надо сидеть, смотреть, как дышит уголек сигареты, и просто падать с горы, парить, отдаваясь падению, сжимающему горло. Он передохнул и жадно затынулся. «Нет, дневник — чепуха. История? Вот рядом спят двое, а где-то миллиарды других, и все чем-то сходны, но нет ни одного абсолютно одинакового, как отпечатки пальцев. Это история? Не одинаковы, потому что гены сохранили и передали каждому всех его предков. Может быть, генетика откроет историю? Наличник с резьбой. В резьбе крошечка истории, нашей, моей? Да, но — крошечка. Гораздо больше ее в моей, в Нининой крови. Но кто прочтет? Клинический анализ крови: эритроциты, лейкоциты и так далее — не то. Не то. Наличник, храм Спаса на бору, гроб Ярослава Владимировича, Остромирово Евангелие. История? Да, но только крошечка, капелька. Где же она, в чем?»

Он лег на спину и уставился в сухую древесную тьму. Чье-то дыхание шелестело рядом, путало мысли. Кто творит историю: райнеры или дяди Миши? Кто-то же ее творит...

Он сдался: ответа не было, но он его и не ждал. Достаточно было погружаться в темноту доброй ночи, наполненной дыханием семьи. Их семьи, его семьи, пусть даже об этом никто никогда не скажет вслух. Они встретились, родные люди, им хорошо рядом друг с другом. Они бродили где-то врозь, а теперь встретились. Они не знали его жизни, а он их, но это неважно. Важно, что он — с ними, что они накормили его ужином, что дядя Миша нарезал и засушил осоки на нары и что Нина вечером сварила кисель из брусники. Он как будто

родился и всегда жил в бревенчатом старом доме, в запахе сырых половиц, печной глины и березового веника. Березовая листва увяла, отмякла в тепле; на родине — не здесь, а там — осенние опушки белели сухой нежной округлостью стволов, тонкая густая трава, выстоявшаяся за долгое лето, прятала отдельные облетевшие листочки, глянцевиито-твердые, с зазубринками, с розоватой желтизной заморозка. Он шел мимо бумажно-белых стволов по этой траве, а рядом шла она, они шли все глубже в сон, но и во сне продолжалась эта тихая солнечная опушка с тенями, былинками, с обветренными серыми пнями, густо заросшими шляпками молодых опят.

## 8

Райнер по привычке собрался с вечера и вышел из дома перед рассветом, когда было еще темно. Колкий холодок охватил разопревшее от печки тело, жестяная трава зашуршала под ногами, ветка задела щеку. Он поправил рюкзак, втянул ноздрями запах заморозка и улыбнулся освобождению. Так было всегда, когда он уходил от людей в леса. Он медленно, но уверенно шел в плотной грибной темноте под елями, тугой мох, схваченный морозцем, хрустел под сапогами; он шел на ощупь, не руками, а всей подошвой, всей кожей лица ощущая пространство, вовремя перешагивая валежины или отстраняясь от суков. Все свободнее, сильнее, радостнее становился ритм крови, дыхания; ноздри, расширяясь, узнавали прель колодника, горечь осины, стылость гранита; глаза, обвыкнув, различали серость меж стволов, громады зарослей, туман прогалов; уши ловили шорохи малых зверьков, потревоженных человеком, следили за поиском собаки. Собака бежала неподалеку сбоку, то смутно белея у ног, то опять исчезая. Но и тогда он ощущал ее присутствие, как и она — его.

Он шел, ни о чем совершенно не думая, но все время строго на северо-северо-запад. Когда посветлело, он был далеко от выморочного лесхоза. Меж двух лесистых гор пробилося свежее солнце, на хвойном склоне алой рябью встрепенулись осинки, вспыхнул иней на подушках ягеля, а впереди вдаль зарозовели голые скалы вершины, которую он узнал. Он пошел к ней, он ощущал ее как живое дружелюбное существо, которое тоже заметило его издали и ждет. Наступал день, чистый, холодноватый; этот день будет его до дна.

В низине, в прелой мочажинке с редкими хвощами, принюхивалась к чему-то Вега. На буром вымокшем перегное вмялись косолапые отпечатки. Он встал на колени, разглядел вдавленную когтями мокреть и посмотрел на лайку. Вега отвернулась, хвост ее опал, сегодня она не хотела догонять этого зверя; она все еще была слаба. Райнер отряхнул колени и пошел по следу сам, а она медленно побрела сзади. Медведь кое-где рыл болотину, искал луковицы, в одном месте перевернул валежину, полизал белую плесень. Райнер вытащил, наладил телеобъектив и пошел еще тише.

К полудню они вышли к подножью горы с розовыми обнажениями на вершине. У подножья крылось узкое озеро с заболоченными берегами, попадалась закисшая поздняя морошка, и Райнер на ходу обрывал ее слабые водянистые ягоды. Поперек берега лежала макушкой в воду вывороченная сосна, он присел на ствол, снял кепи, вытер лоб. Нет, он почти не устал, хотя шел без отдыха семь часов, а в этих сопках километр можно считать за пять. Он присел, чтобы подумать. На этом болоте вновь появился след медведя, который он потерял час назад, но теперь этот след шел по следу северного оленя, а значит, медведя не догнать. Да и зачем: у него много фотографий медведей. Но хоть посмотреть, ощутить еще раз. Вот они, следы оленя: почковидные копыта широко раздвинуты, если взглядеться, видны вмятины от боковых пальцев. А след медведя стал шире, глубже вдавлена пятка. Но олень пока его не почуял: длина шага сантиметров

шестьдесят. Где-то там, за боковым отрогом, олень рванется, потому что ветерок слабый, но ровный, дует с юго-востока, и едва медведь перевалит этот отрог, запах его опередит... Райнер осмотрел в бинокль каждый уступ, каждую сосенку на отроге и ничего не заметил. Он встал и полез в гору. Она снизу заросла редким ельником, потом пошел голый камень в зеленых лишайниках, скалы. Он с удальством лез в лоб, испытывая себя, выбирая зацепы, полки, трещины, его ладони вспоминали зернистую стылость гранита, давно знакомую, еще с молодости. Он вылез на самый верх, на поросшую ягелем площадку и выпрямился.

Прямо, вправо, везде по кругу волна за волной застыли сопки, чернели ельники, белели осколки спрятанных безымянных озер, ярко охрились морошковые болотины в распадах.

Он смотрел на северо-запад, в сторону моря, которое было где-то там, километрах в сорока отсюда. Вот туда он и пойдет день за днем и выйдет где-нибудь в районе поселка Кереть, которого давно нет. Вся эта страна под осенним солнцем — его. Здесь нет ни карелов, ни туристов, ни геологов. Никого. Только сзади в дырявом бараке трое бывших спутников. Но они сами по себе, им нет до него дела, а ему — до них. Он уже их забыл.

Райнер посмотрел ниже по склону и присел: далеко внизу по болоту мелькал светлый зад бегущего оленя, а ближе и выше на отроге у сломанной серой сосны стоял медведь. В бинокль можно было разглядеть наставленные уши медведя, гладкую шерсть на лопатках, всю его настороженно-разочарованную позу. Быстрыми мелкими движениями медведь влез на камень повыше и опять устоялся на недосыгаемого оленя, который остановился на дальней опушке и повернул к горе рогатую морду. Ветерок нанес на него запах, он развернулся и исчез. А медведь стал суетливо спускаться, ловко, неслышно перелезая, перепрыгивая промоины, все время двигая веретенообразной мордой с подвижным черным пятчком — принюхиваясь, проверяя, что ждет его впереди. Небольшой бурый медведь с рыжеватыми подпалинами.

Райнер скупо улыбнулся: день был прожит недаром. Его страна — необитаема. А сам он — добрый хозяин больших и малых, которых он убивает очень редко и только для насущного пропитания. Он мог бы стоять здесь до вечера, но надо спускаться. Как это поется: «Что же делать — и боги спускались на землю».

Выше озера в порогах они втроем ловили форель. Потом здесь же, на галечном мысочке, Нина почистила ее и стала жарить, подложив под противень два камня, а Дима помогал: подавал масло, муку, соль, — и неотрывно смотрел сзади на ее пушистый затылок, над которым кружились комары. Дядя Миша, разувшись, отдыхал на солнышке, хлюпал трубочкой, щурился в небо над соснами. Они почти не разговаривали, в разговорах не было нужды — покойно текла по жилам густая кровь, словно синь небесная, настоящая на осени, сонно шумел перекат, посверкивая рябью на валунах, и мысли и тело — все отдыхало, а глаза следили за тонким дымком, и ноздри чуяли сырость коряги, холодок песка, увядшую осоку и сытный дух жареной форели, янтарной от подсолнечного масла, пропитавшего корочку, обнажая плотное белое нутро, и ели, заедая черным черствым хлебом. Дима смотрел, как Нина заваривает чай (где уже это видел?), как, сморщив от старания переносицу, разливает его по кружкам, как дует, глотает, поднимает глаза на него, и глаза эти — улыбаются. Он отвернулся, подкинул-поймал камешек.

— Второй раз ем, вкусная, — сказал он.

Еле слышное жужжанье неведомо откуда, слышнее, ближе, металлическое высотное жужжанье, и все они закинули головы, отыскивая самолет. Маленький самолет пролетал над дальним кряжем,



двухмоторный биплан лесной охраны. Он летел из почти забытого мира, с ним не было связи, пролетел и заглох, сгинул. А они молча нагнулись над кружками.

«Когда, где я вот так же с ними сидел, в такой же день, в такой же точно день?» — пытался вспомнить Дима. Ему казалось, что он знает их всю жизнь. Он смотрел, как она встает, лениво потягивается, подставив солнцу зажмуренное помягчевшее лицо, и с легким вздохом идет мыть кружки. Он взял противень, присел рядом с ней и стал скрести жир песком. Она вымыла кружки, но осталась.

— Нина, — сказал он и облизал губы.

Она повернула к нему голову.

— Нина, — повторил он и смутился, не зная, что сказать.

— Что?

— Вкусная была форель...

— Да...

— Пошли, ребята, — окликнул дядя Миша. — Надо вечером сеть проверить, да и вообще...

Вечером, когда затопили печь и сели за стол вокруг свечи, дядя Миша сказал:

— Ну вот и день прошел.

— Прошел, — грустновато повторила Нина.

— Завтра пойду искать, — сказал он и посмотрел на дверь. —

Второй день.

— Кого? — недоуменно спросил Дима: он совсем забыл о Райнере. — Ах да! Я тоже пойду.

Он не испытывал никакого беспокойства, ни разу не подумал, что с Райнером может что-то случиться в лесу. В городе — может быть, и то вряд ли, но в лесу — нет.

— Нет, я один пойду, — сказал дядя Миша. — Я места знаю. Вам нельзя.

— Почему?

— Он может и сюда вернуться. Ну как больной или что.

— Тогда я, — сказала Нина.

— Не надо. Вы дом покараульте лучше. Ночью не приду — не гоношиться, здесь лазы тяжелые, сопка, ветровал. Утром или к полудню ждите.

Нина ничего не ответила, и Дима понял, что она останется с ним. Он думал об этом, не проникая никуда глубже самого факта, но думал неотрывно, пока дядя Миша собирал котомку, отбирал хлеб, спички, сматывал бечевку, разминал сухие портянки и все копошился, копошился. Дима полез на нары стелиться и нащупал в углу какой-то сверток. В старые брюки было аккуратно завернуто шесть пачек концентрата, соль в баночке, две банки тушенки, двенадцать кусков сахара: ровно половина продуктов, которые оставались у них с Райнером. Он еще пошарил на нарах, заглянул под нары, сел, сказал растерянно:

— Знаете, а ведь он все свои вещи забрал. Вон продукты разделил...

Дядя Миша посветил свечой, проверил, почмокал трубочкой.

— Значит, напарник ваш подался в одиночку. Записки нет?

— Нет...

— Ну и дела!

Молчание стало тревожным, мысли разбегались, как тени от свечи.

— Как же будем? — спросила Нина.

— Я все одно пойду. Места он не знает, пешком далеко не уйдет.

— Он — уйдет, — угрюмо сказал Дима.

Дядя Миша полез спать, ничего не ответил.

Они спали или не спали, а он сидел и смотрел в огонь свечи. Голубоватое жало, желтое сияние, и все колеблется — огонь, тени,

изба, жизнь, решения. Почему не предупредил? Зачем ушел? Райнера не было, но он словно вернулся — бесплотно, чтобы опять мешать жить. Дима сидел и думал, почему Райнер не оставил записку, а продукты честно разделил.

Прежде чем спускаться, Райнер еще раз взгляделся в бинокль в котловину под далеким восточным кряжем: еловый нетронутый лес, заматерелый, ржаво-черный, и меж елей — темное зеркальце с белыми шариками кувшинок. Он засек азимут. «Там и заночую».

Но внизу сначала пришлось долго ждать Вегу: старая сука все-таки увязалась за оленем и приплелась часа через полтора, повесив хвост, прихрамывая. Потом встретилось широкое болото, и он поперся напрямую, шел, пока под ним не стала зыбиться вся моховая непрочная ряднина, затканная бусинками клюквы. Ноги плотно засасывало до колена, они выдирались с чавканьем, из дыр-следов воняло тухлым яйцом; сразу взмокла спина под рюкзаком, сбилось дыхание. Он расшатал, выломал с комлем сухую сосенку, обрубил сучки и стал прощупывать проход. Участились розово-рыжие мокрые пятна, окна с веселой травкой, раза два он проваливался по пах, приходилось ложиться, снимать рюкзак, отползать, погружая локти в мутную жижу. Наконец опыт приказал: поворачивай! — и он повернул назад к опушке, хватая воздух, сплевывая грязь и пот.

Лайка ждала его под первыми елками, она обнюхивала что-то.  
— Пошли, отдыхать не будем.

Но она не тронулась. \*Он нагнулся и увидел мертвого глухаря. Глухарь лежал, откинув голову, примяв спиной листву морошки, тронутую заморозком. Он был совершенно цел. Райнер подул под перья: нигде ни царапины. Отчего умер? Дальний потусторонний гул, жучиное жужжанье — самолет. Райнер стоял и смотрел, как маленькая машина снижается за горой, уходит, уводя ненужный гул в сторону Беломорска. «Отчего он умер?» У Райнера испортилось настроение.  
— Долетались! — сказал он с отвращением.

В низинах ветра не было, и гниlostная парь дурманила голову, а высоты поросли нерубленным лесом, паутина прилипала к лицу, то и дело приходилось обходить, проламываться, отцепляться от суков. До озера четыре раза он переваливал через гривы и пересекал низины и когда наконец понял, что лезет вверх на пятую, последнюю, стало не хватать воздуха. Эта пятая грива оказалась самой тяжелой: каменная, плешивая сверху, но по склону ошестинившаяся старой гарью. Обугленные рухнувшие стволы, выгоревшие ямы под выворотнями, черные суки в жесткой высокой траве. Руки, лоб, штормовка — все было в саже, болело под ребром — напоролся где-то? — но он не останавливаясь пробился через гать и встал на голом камне наверху.

Прямо внизу, в котловине, гушина старых елей, а меж ними — вода. Он постоял, отдуваясь, щупая грудь, где болело. Предвечернее молчание нагретых за день валунов, шишек, коряг; на гранитной плите — веретенообразная погадка горносталя; в сухом ягеле кое-где кустики перезрелой брусники. Собака ушла вниз, к воде, и там, за чащею, вспыхнул злой угонный лай, смолк, и кто-то, шумно ломясь, стал уходить от нее по котловине. Медведь? Лось? Райнер подождал, пока все не стихло, и пошел туда. Озерцо в старых елях темнело глубью, только в середине — голубой лоскут неба. У самого берега в моховом плюше крестики глухариного наброда, а рядом все усыпано еловыми чешуйками — беличьей поедью. Ничто никем не тронут. Он встал на поваленный ствол и улыбнулся. Вон у той скалы на поляне он устроит бивак. Скала, как нос линкора, углом уходила в черную воду, а полянка пестрела желтыми ягодами морошки — здесь, в укрытии, морошка спаслась от заморозка. Не всякий нашел бы, не всякий дошел бы. С таким рюкзаком, без отдыха, по таким местам. Многих и молодых он загнал бы до полусмерти сегодня. Да что мо-

лодых — из мужиков тоже не всякий бы выдержал. Может быть, никто вообще не бывал никогда на этом озере — уж очень оно скрытно!

Он спрыгнул с валежины и зашагал на поляну у берега. «Костер — под скалой, растяну палатку, помоюсь, надо успеть спиннинг покидать, сварить ужин, а под скалой можно окуня попробовать на донку... на донку...»

Он споткнулся, недодумал, еще раз споткнулся, чертыхнулся, рывком поправляя рюкзак, и согнулся, словно напоролся на рваную боль под ребрами. Он хватанул воздуха, чтоб не крикнуть; поляна, озеро, лес — все приподнялось и поехало вниз, и он понял, что лежит на спине, опираясь на руки и на рюкзак, а боль — спазма за грудной — не разжимает хватки, отдается в шею и в нижнюю челюсть. В ярости и недоумении он напряжинул мышцы, оттолкнулся, чтобы разорвать эту мороку, вскочить, и захлебнулся удушьем и ужасом: маленький беспощадный кулак сжал внутри нечто самое нежное и важное, вот-вот раздавит.

В его выпученных глазах отражалась только кромка скал высоко вверху по краю котловины, гранитные обелиски, освещенные закатом, а сам он лежал на дне страха и темноты и не мог пошевелиться. Сырела, уплотнялась еловая темнота, болью-иглой отзывался каждый ломаный толчок пульса, Райнер боялся даже моргать, он ждал, когда пульс оборвется окончательно, навсегда. Впервые он ощутил, что умирает. Это нелепо; смерть и он — это нелепо. «Не надо!» — выдавил он; не он — его глубочайшее нутро, и от этого все изменилось в долю секунды. Весь он, все сто двенадцать килограммов мяса, мышц, костей, мозга, крови стали другими за долю секунды, от пяток до корней волос, меж которыми выступил ледяной пот. Пот стекал по вискам за уши, по лбу, копился в глазницах, над верхней губой, а он боялся поднять руку, чтобы утереться. Боль — смерть — сидела на груди, стерегла. Скалы вверху над елями наливались розовым, темно-багровым, потом фиолетовым холодом, наконец осталась одна жила мерцающего кварца; тьма стекала вниз и встречалась с туманом, жила гасла, все гасло, но он еще дышал, ни о чем не думая, ни на кого не надеясь, но дышал.

Лайка подошла в темноте, ткнула его носом, твякнула, лизнула в щеку. Ему было не до нее, вообще ни до чего: главное было не шевелиться, замереть, как мертвый, обмануть. Кого? Об этом он думать не смел.

## 9

Дядя Миша ушел, едва засветало.

Расходился ветер, качал лес за проваленными крышами, брякал оборванным проводом на одиноком столбе; ветер обнажал суть покинутого поселка, стонал в пещерах выстуженных комнат, в скелетах голых стропил. Матовой изнанкой стелились заросли крапивы, раздувало угли в кострище. Ветер поворачивал на северо-восток, укреплялся, очищал лимонно-бледный край восхода, промытый холодом.

Нина повязала платок, надела стеганку и села к огню. Издали она казалась беженкой на привале. Дима стоял у дома, не подходил. Он уедет, а это останется: костер, ветер, шерстяной платок, по-бабьи спущенный на лоб. Но не для него. Ему стало тошно, ноги сами зашагали к ней. Она не повернулась, но сказала:

— Садись, посидим...

Первый раз на «ты». Он сел рядом. Что сказать, чем успокоить?

— Все обойдется, — сказала она.

— Конечно, обойдется. Он лес знает.

— Кто?

— Кто? Дядя Миша.

— А! Он-то знает. Но этот, другой. Райнер его фамилия?

— Райнер. Он всегда в одиночку, не беспокойтесь.

— Это ничего не значит.

Оказывается, она думала не о дяде, а о Райнере. Пусть, лишь бы не молчала.

— Вы что, поругались с ним?

Он покраснел от неожиданности.

— Нет... Да, было дело, но он, вы его не знаете...

— У него семья есть? — Теперь она смотрела опять только в костер.

— Кажется. — Он вспомнил мальчишку в немецкой курточке и шортах. — Может, и не одна...

— У таких всегда так... С такими жить вместе невозможно.

— Почему? — спросил он и понял, что не надо спрашивать: сейчас она думала не о Райнере.

Он встал. Уйти или остаться? Ветром швыряло искры по кочковатой сырине. Уйти?

— Садись, — сказала она. — Есть хочешь?

Он сел, скрывая волнение: второй раз на «ты». Ему захотелось все рассказать ей о себе, о Райнере, даже о странных цитатах из истории, которые он слышит иногда в полусне.

— Он сам не знает, кто он, и никогда не узнает, — непонятно сказала она и развязала платок, стянула на шею.

Ветер тотчас дунул под тонкие волосы у висков, обнажил маленькое ухо, родинку на шее пониже порозовевшей мочки. Дима забыл, о чем они говорили.

— Вы... всегда... вместе ездите? — спросил он, выбираясь из оцепенения.

— Часто. А последние два года подряд. — Она резко заправила прядь за ухо. — С дядей так хорошо ездить, а с иными другими...

Он ничего не спросил, он почувал, что даже думать об этом, ее интимном, опасно. Она глянула на него, еще чуть хмурясь, и улыбнулась:

— Налить тебе чайку?

— Да! — Он опустил глаза, чтобы не выдать своей глупой радости. Она бережно налила, еще бережнее передала кружку, их мизинцы столкнулись, у нее он был совсем холодный.

— Холодно? — спросил Дима с таким участием, словно она замерзала в снегу.

— Нет, это бывает...

Она ответила не о холоде, и он спросил не о холоде, они одновременно поняли это, взглянув друг другу в глаза, и оба смутились. Теперь они смотрели в дым над костром и думали об одном и том же. Говорить больше было незачем, они и это поняли и оберегали молчание весь день.

К вечеру ветер усилился, он всеял беспокойство, и чем ближе подступала темнота, тем оно становилось глубже и потаенней.

— Что на ужин сварим? — спросил он.

— Я не хочу... Есть щука отварная, если хочешь.

— Ну тогда хоть чаю.

Он расшуровал костер, который так весь день и не затухал, навесил котелок. Бараки-покойники смотрели в ночь пустыми глазами, брякал провод о телеграфный столб, шумела, скрипела, гукала еловая тьма. Остаться на юру стало невозможно, и они перешли в дом, зажгли свечу; Дима стал колоть растопку для печки.

— Сегодня не придут, — сказала Нина. — Неуютно здесь одной.

— А я?

— В лесу этого не было, я два раза даже ночевала одна. Вернее, две ночи подряд.

— Страшно?

— Нет. Со мной собака была, ружье. Собака все шорохи понимает. Смотришь на нее — и спокойно.

— Расскажите. Когда это случилось?

— Нет, не надо...

Настаивать было опасно — как тогда, днем. Но и молчать стало опасно.

— Раньше люди часто так жили, — сказал он. — Привыкали. Починок от починка на десятки верст, электричества не было, волки, лихие люди, а не боялись. А мы, то есть я...

— Да. Все было по-другому. Когда в Ленинград возвращаюсь, не могу привыкнуть сразу, боюсь машин, бегом бегу через улицу.

— Разве вы в Ленинграде живете? — Он попытался, но не смог обратиться к ней на «ты». Днем еще можно было бы, но сейчас — исключалось.

— Да.

— А я там не был. Говорят, Ленинград красивый.

— Говорят...

Разговор иссякал, свеча оплывала, тень от ее головы колебалась, как крыло бабочки. Ветер набегал на тайгу, на поселок с прибойным гулом, звякало стекло в раме.

— Почему вы на истфак пошли? — спросила она, с усилием отрываясь от этого гула, дребезжанья, скрипа, которые свивались, сплетались, втягивали за собой в косматую стихию ночи.

Он посмотрел на ее лоб, брови, на ушедшие куда-то зрачки. Он заметил, что лоб обветрен, а нижняя губа потрескалась.

— Сам не знаю...

Нет, и говорить невозможно, лучше смотреть на язычок свечи, который все время колеблется, и от этого колеблется за ним это близкое задумчивое лицо, то строгое, то нежное, то опять не пропускающее в себя постороннего взгляда. Или это просто казалось?

Она медленно пошарила по столу, взяла гребенку и стала расчесывать волосы. Ее глаза, как у сомнамбулы, были прикованы к свече — два остановившихся зрачка, окруженные золотистым мерцанием, трещали искры в волосах, механически подымалась и опускалась белая рука.

Когда она встала, встал и он. Она легла, лег и он. Свеча горела на столе одиноко и ненужно; весь старый барак шатало разошедшимся ветром.

— Потуши, — сказала она.

— Пусть горит, — сказал он.

— Потуши, — повторила она.

Он сел, приблизил губы почти вплотную к отстранившемуся пламени, ощутил его колющий жар и дунул. Во тьме затлеел светлячок, съежился, погас.

Он лег поверх спального мешка, глаза его были широко открыты. Между ним и Ниной был прогал — голые доски нар, и он откинул туда руку ладонью вверх, чтобы ее ладонь легла на его ладонь. Он знал, что это немислимо, но в такую ночь могло случиться и невозможное. Это ночь древних финских заклинателей, это кантеле Вейнемейнена закликает старуху Лоухи, хозяйку мрачной Похьёлы, колеблет леса, море, горы, болота. Шаманьи бубны колотят по гнилым тесинам барака, ветер западает, пережидает и опять гигантским катком приближается через утробу лесов, через озеро, вдоль проулка, и тогда воеет-щебечет в трубе, дует сквозь пазы на распростертое тело.

— Нина! — позвал он. — Нина!

— Я здесь, — шепнула она, и он услышал.

Он вытянул руку еще дальше, наткнулся на что-то мягкое, и сейчас же ее ладонь нашла, накрыла его ладонь, осторожно, но крепко прижала к доскам, словно заблудившегося зверька, он хотел, но не мог остановить мелкой дрожи, которая от пальцев передавалась все-

му телу. Все могло случиться в такую ночь, совсем нечеловеческую, и пусть, но... «Где же я? Где она?» Он искал слова как спасения, дрожь мелко колотилась в зубах, мешала сказать, но он выговорил:

— Нина! Нина, я... я — женюсь — на вас...

Молчание, какое черное, полное ветра, дрожанья стен, половиц, рам, стекол. Какое долгое, полное тьмы, когда нет света ни позади, ни впереди, как в вакууме, в болезни.

— Я уже была замужем, — сказала она наконец, и его ладонь обмерла.

— Ну и пусть, — сказал он с отчаянием, потому что ночь обрушилась на него опять и все ускользало. — Пусть, какое мне дело, я не могу, я не могу так, я...

Ее ладонь чуть сжалась, успокаивая, и он поверил ладони. Хотя теперь уже без сомнения это была ладонь Женщины, и он боялся еще больше ее силы и того колдовского акта, который надо совершить, не зная, что будет, стать иным, потерять разум, волю, стыд и все свое прошлое, чтобы потом, может быть, остаться совсем одному.

Но ее ладонь все успокаивала; пальцы сплетались с пальцами, дрожали, жаловались, просили, отталкивали, не отпускали, и ему показалось, что он услышал плач, или смех, или все вместе, и он опять поверил и стал огромным, жарким, бережным, мудрым, но еще прислушивался к страху ошибиться, чтобы не быть отброшенным, искалеченным, а потом (сколько веков утекло — он не знал) не она, а сами пальцы сказали ему: не бойся...

Он проснулся внезапно, будто его окунули в прозрачную воду рассвета, увидел ее открытые глаза прямо против своих глаз и улыбнулся одновременно с ней. Каждая клеточка его тела дышала силой и покоем. Все изменилось. Он стал сильным и добрым. Он покорился ей добровольно, а она — ему. Ветер стих, и светлело все чище, прохладнее, а потом они услышали синицу, осеннее бодрое теньканье на рябине у крыльца. Она не улетела, когда они открыли дверь и встали на пороге как муж и жена. Свет и тучи, брызги солнца с востока по побуревшей осоке, по ряби на плесе. Ровный умеренный ветер с запахом льда и хвои. Они умылись и стали готовить завтрак.

Поздно вечером, когда они пили чай у костра, вернулся дядя Миша — ссутулившийся, прихрамывающий, весь в грязи.

— Нашел, — сказал он и сел на землю. Все морщинки его посеребрили от усталости, запала виски, выпятился кадык. Не снимая кепки, он выпил подряд две кружки чая.

Они смотрели на него и боялись спросить. Он попытался снять сапог и не смог, откинулся. Дима стащил с него сапоги — портянки были пропитаны грязью.

— Правый прохудился, — сказал дядя Миша и закашлялся. — Нашел, идти надо. Всем.

— Далеко? — спросила Нина.

— Далеко.

Он прислонился к бревнам, кепка сползла на глаза.

— А... он жив? — спросил Дима, напряженно подождал.

Но дядя Миша не ответил — он канул в обморочный сон. Они сидели, подкладывали в костер и разговаривали вполголоса.

— Жив, наверное, — говорила Нина, — иначе зачем всем нам туда идти?

— Но что с ним?

— Не знаю. Ногу, может быть, подвернул или... Не знаю.

— А может быть, и не жив?

— Не знаю. Да ты не надо так: дядя поспит, разбудим, спросим. Видно, намучился он. Накрой его вот этим.

Дима заклеивал сапог дяди Миши и отгонял беду, а беда все равно не пропадала. Вот она — в этом надорвавшемся старике, который

ее нашел, увидел и принес сюда. Надо идти спасать. Райнера спасать. Но как идти ночью? Дядя Миша спал так глубоко, что даже дыхания не было слышно, а они сидели возле него.

## 10

Одни глаза жили в нем, расширенные, холодные, они отражали проблеск зари над скалами. А тело огрузло, вмялось в мох, как груда булыжников, пропиталось болотной жижей. Всю ночь он не двигался, руки онемели до плеч. Он медленно завел их на грудь и стал разминать пальцы. Он думал. Теперь он твердо знал, что с ним: у него инфаркт миокарда, — сколько-то он понимал в медицине. От этого отделились многие его знакомые: прыгун Гава, потом Нестеренко, мастер альпинизма, отец тоже из-за этого отдал концы. Раньше эти краткие эпитафии нравились ему: «сыграл в ящик», «дал дуба», «загнулся». Сегодня они казались дешевым жаргоном, трусливой рижовкой. Сегодня, может быть, завтра или послезавтра он умрет. Это ясно. Отсюда не вылезти, да и ползти он не может. Людей здесь не было, и нечего им здесь делать. Спутников он сам бросил. Чужие они люди, а кто свой? Никто. Не надо вспоминать: это лишние расходы. Он должен быть сейчас предельно скупым, пока не решит, что делать. Потом — пожалуйста. Если его и найдут здесь, то как труп.

Он закрыл глаза, чтобы не видеть света, который заставлял сожалеть. Это тоже расход. От него снова трепыхается та надорванная пленочка под левым соском, в глубине, которую он оберегает уже десятки часов. Надо сосредоточиться. Инфаркт. Значит, дело идет только об отсрочке. Для отсрочки надо: вылезти из лямок рюкзака, вытащить штормовку и брюки, сахар и котелок, доползти до сухой поваленной ели на берегу, с которой он спрыгнул последний раз. Последний раз... Стоп! Да, до ели, это и костер и вода. Попробуем. Если не выйдет отсрочки, есть еще одно средство. Но о нем потом.

Он попробовал завалиться на бок, но лямки не пускали. Тогда он осторожно вытянул кинжал, засунул кончик под лямку и перерезал ее, как масло. Так. Теперь вторую. Теперь сползти с рюкзака. Он стал сползать, засверлило в подреберье, затылок ударился о землю, пальцы скрючились, и он почувствовал горячую струю по ногам: он неудержимо мочился прямо в брюки. Это было так постыдно и страшно, что Райнер впервые застонал.

Прошумело крыльями, плюхнулось где-то за головой в ель, и сейчас же там азартно залаяла Вега. Глухарь... Он скосил глаза: вот оно, последнее средство. «До ружья я еще могу дотянуться. До ружья...» До этого он рассуждал педантично, логично, но здесь логика становилась полной бессмыслицей. То есть логика была точной: отсрочка — удлинение агонии, следовательно, не надо отсрочки. Но все равно это бессмыслица — убить то, что ты всегда вопреки всему и всем берег, защищал, кормил, радовал, забавлял, лечил, любил. Но лежать в моче, в сырости еще день, неделю, может быть... Он протянул руку и подтащил к себе ружье. Какое холодное и тяжелое. Он отер стволы ладонью. «Даже если меня вытащат (кто?), вылечат (где?), я останусь калекой, старикашкой...» Он увидел их, старикашек, мимо которых по утрам выгуливал собаку. Они читали газетки, или забивали козла, или просто глазели мутно в пространство, распустив губы. Он увидел их отчетливо, этот отработанный шлак, тех, кто только мешает жить другим своими аптеками, жалобами, «неотложками» и скучными воспоминаниями, увидел до каждой морщинки, до седой проплешинки, до сального пятнышка на мятом пиджачке. Его передернуло. Нет, он не будет жаловаться, животные это знают, даже лисица в капкане, когда подходишь к ней с палкой, чтобы добить, смотрит в глаза с зеленой ненавистью, не просит пощады.

«Какое тяжелое и холодное. Никогда таким не было. В левом

картечь, в правом — глухарина, первый номер, в нарезном — пуля, калибр девять и три. Зачем лает Вега? Это я не для нее... Когда же уйдет этот глухарь: он меня видит...» Но ему не хотелось, чтобы глухарь улетал. Глухарь сорвался, и лай смолк. Где он сел? За гривой? Все три заряжены. Все одинаково годно с такого расстояния. Что надо? Надо сдвинуть предохранитель. Он сдвинул. Его тошнило все сильнее. Он посмотрел в тоннель ствола, в бесконечную черноту, высверленную на оружейном заводе фирмы «Меркель», чтобы всякий, кто заглянет туда, не возвращался к свету. У него так затряслись руки, что ружье выскользнуло, а сам он прикусил язык от спазмы, которая опять надрывала хлипкую пленочку, прорывала, сверлила через все межреберье в шею, под нижнюю челюсть. Страх пеплом засыпал голубизну неба, опять, второй раз, зачем? не могу! не надо!

Опять он лежал в предсмертном поту, а рядом под боком лежало ружье со взведенными курками, холодное и толстое, как здоровенная кобра, и он заставил себя нащупать ее и обезвредить. И зачем он приручил, позвал к себе эту кобру?

Райнер сдался. Он попробовал, но не смог. Он лежал и смотрел тупо в скалу-линкор, морщинистую, в потеках дождей и пятнах цветной плесени. Сверху донизу ее раскалывала трещина и уходила в черную воду. Когда ступились сумерки, из трещины, как из метро, стали вытекать разные люди. Он не звал их и не ждал. Они появлялись вразброд, неведомо зачем, вылезали, хотя он пытался загнать их в стену. Но теперь стена треснула, что поделаешь, он перестал гнать их, возмущаться: все эти эмоции стали теперь вредны. Ничто теперь не имело значения — ни голод, ни холод, ни даже надоедливые люди. Тем более что они были вроде картонных и не разговаривали. Это просто высвободившиеся воспоминания, в которых нет никакого смысла, крови нет. Он и раньше их не понимал, а теперь не понимал ничего вообще.

Кончился день, и началась вторая ночь. Он вырвал клоч моха и стал сосать горькую жижу, изредка сплевывая песчинки.

Даже руку ко рту стало поднести трудно, не то что сесть. Рука кололась об отросшую щетину. Усики щеточкой — отец. Вон идет. Маленькая головка, жилистые ручки, аккуратный, педантичный, с запахом мужского одеколона и карамелек. Лет сорок его не вспоминал. Учитель немецкого и французского в Медвениковской гимназии в Старо-Конюшенном переулке. Пятый направо от Смоленской по Арбату. Нет ни отца, ни гимназии, нет старого Арбата с трамвайной линией и вот этих — тети Аси, тети Лины, тети... — как ее? — и всех дядей, двоюродных братьев и других нет. Отец все маячит. «Может быть, ждет, когда я прощу мамину смерть? Если б он не жил с ее родной сестрой, с тетей Асей, она не умерла бы. Не помню, чтобы он сомневался в своей непогрешимости. Если б я не замахнулся тогда, то не стал бы самим собой. Он отшатнулся, как деревяшка. Фарфоровые часы разбились. Забыл — и вот оно, но все равно: теперь — все. Да, хотел ударить. Дима тоже хотел меня ударить. За что? Почему бы ему не быть моим сыном, впрочем, у меня есть сын, но Римма его не отдаст, он тоже меня возненавидит, как Дима, хотя нет, теперь не успеет, Дима боится утопленников, но им не больно, не жарко, не холодно, они спят...»

Он впал в забытье, очнулся, опять задремал, стараясь ни о чем не заботиться больше. Холод разбудил его, сильно посвежело, ветер вверху гнал, расчесывал серые пряди с норд-оста, скрипели ели на том берегу.

...Старики мерзнут, ты, бродяга, старик, иди отсюда, пока цел... Но зек, беглый (или это и не зек был?) все стоял в десяти шагах от костра и смотрел на него темно, пристально, как ненормальный. Только потом Райнер понял, что он смотрел не на него, а на котелок



с холодной кашей. Иди, иди, стрелять буду! Но тот шагнул вперед, а от выстрела сложился, как складной, и побежал проворно, по-мальчишечьи болтая локтями, скрылся (или упал) за елками. Старик. Я не старик. Почему она сказала: «Дядя, а кто этот старик Диме?»? Она — женщина, настоящая, умная, лесная, тончайшая, опаснейшая женщина, а я — мужчина, я не старик, я мог бы взять ее куда угодно с собой. Взять ее. Тогда, конечно, в той жизни...

День — третий, кажется? — начинался ветром, он прорывался и в этот колодец, и тогда морщилась гладь за скалой, трепало кустики черники, раскачивало ель на том берегу. На том берегу, на том свете, не все ли равно, все отмирает, отекает, холодеет, нет, не все, Нина, я тебя угадал, Нина, ты — как она, наконец хоть одна чем-то схожая, я ту забыл, но ощущение, неужели это ощущение возвращается, неужели?! Он закрыл глаза от волнения: все плоское, ненужное выдуло, вымело ветром, а ощущение нарастало: острого наслаждения, тоски по ней, обиды и обожания, полной самоотдачи, ощущение ее волос, руки, походки, платья, смеха, голоса, которые он забыл — так это было давно, — но искал, ждал, ощущение ее запаха, ее имени, гордого, необычного, в которое никто не поверит, потому что это отнято, и только иногда, редко, вспоминается как печаль, на Севере чаще, чем на юге, на закате перед штормом особенно, на таком закате, какой он увидел из окна вагона за Петрозаводском. Он чувствовал, что жив до краев, как наполненные слезами глазницы, он боялся моргнуть, чтобы не расплескать слезы, чтобы не завьег, как воеет эта пустыня — без смысла, в зенит, сама себе.

Он еще раз очнулся и понял, что воеет собака. Она выла с бугра выше его поляны, горлом, удлиняя и обрывая, как волчица. Он хотел крикнуть на нее, но удержался: она знает больше него. «Значит, скоро», — жестко сказал он бегущим облакам.

Теперь он не подпускал к себе больше никого. И когда услышал чавкающие шаги по болотине, то даже не повернул головы.

Они шли, не зная, что найдут: труп или не труп. Дядя Миша медленно брел впереди, а они сзади. На коротких перекурах прояснялись подробности.

— Уже обратно шел, когда след его заметил — на болоте. Нашел по собаке — выла она. А он гнать стал, не хочет жить.

Дядя Миша передел Райнера в сухое, нарубил подстилку, натянул тент, всю ночь поил его помалу чаем с сахаром. Райнер покорился, но не отвечал на вопросы, только когда дядя Миша стал уходить за людьми, попросил лайку и ружье отдать Диме.

— Мне? — удивился Дима.

— Да. Просил до Москвы довести, а если умрет — себе взять.

— Почему — мне?

— Не знаю...

Дима замолчал, задумался. Нина тоже молчала, терпеливо шагая за ними, она старалась найти выход: если у Райнера инфаркт, то они и втроем не вытащат его оттуда. Как в этой глуши вызвать людей? До моря километров сорок, да там сейчас и рыбаков нет, шторма, а до Лоухи, вверх по порогам, еще труднее и дольше. Это уже пятый день как он ушел и четвертый как не может встать. Она думала, не переставая ощущать Диму: его лицо помрачнело, он шел рассеянно, часто спотыкался.

— Осторожно, Димушка! — сказала она.

Он обернулся, грустно кивнул.

Дядя Миша шагал медленно, но как заведенный, и часа в четыре дня они стали спускаться сквозь еловый лес на поляну Райнера. Собака залаяла на них. Дима вздрогнул.

Собака лаяла на них, пока не узнала, но и тогда не подошла.

— Эй! — крикнул дядя Миша, но никто не отозвался.

Дима смотрел на поляну с морошкой, на черное кострище, на тело под натянутым тентом. Тело не шевелилось. Тело в синих брюках и шерстяных носках, на лицо надвинут капюшон штормовки. Дядя Миша откинул капюшон. Это был не Райнер, а нечто синюшное, отекавшее, заросшее серой щетиной, чернильные подглазины, закрытые веки, спекшиеся губы. Лицо беды, запах беды: мочи, пота, болотной прели. Дима сжал зубы.

— Эдуард Максимович, это мы! — крикнула Нина. (Веки дернулись, глянули тусклые щели, прикрылись.) — Жив! Дай-ка я... У него жар, без памяти он. Дядя, Дима, согрейте чай, у меня где-то норсульфазол был, может, воспаление, да не стойте вы, скорее!

— Нет... — с трудом разлепились губы, — нет, не надо, они, не надо, остальные, нет, ...онна... ..ди, — сказал Райнер.

— Дядя, помоги, он сползает. Где твой валидол?

— Весь ему отдал.

Райнер опять полуоткрыл глаза, они были молочно-мутны, как у слепого, но он слабо улыбался.

— ...онна, — сказал он так тихо, что она нагнулась над ним.

— Что?

— Ивонна...

Зрачки завело под веки, улыбка еще держалась, но он уже впадал в забытие.

— Что же делать? А?! — сказал Дима с отчаянием.

Ему было тепло, беззаботно, ничего не страшно, словно он выпил горячего глинтвейна и наконец-то может остаться в этой знакомой детской стране, которая начиналась от книжного шкафа и кончалась скалой, похожей на нос линкора. Потом пришли какие-то горбатенькие, неуклюжие, трогали, щипали, мешали досмотреть про поляну, где золотые шарики морошки и белоснежная лайка, молодая черноглазая Ракша, лежит на берегу кварцево-прозрачного ручья. Ручей бежит с гор, из-под снежников, он чист от рождения. Горбатенькие, безликие тянули так, что скала сдвинулась и нос-утюг уперся в подвздох; он просил их: «Не надо» — и не хотел глотать, но ему разжимали зубы, а от этого мутнела, распадалась поляна, но потом он услышал ее голос, и поляна вернулась, даже шкаф, даже позолоченное тиснение корешков сочинений Виктора Гюго, а ее голос упрасивал, и он выпил, чувствуя ее пальцы на губах, и тогда вспомнил ее имя и позвал ее. Он испугался: имя это нельзя произносить, он помнил об этом всю жизнь, но она не исчезала, и он еще раз позвал: «Ивонна!» Ему ничего не надо было больше, только звучание имени... «Ивонна!»

Он открыл глаза и увидел ее взгляд, напряженный от сострадания. Лицо ее было незнакомо, и слишком ярким был день. Он не понимал, почему уже день.

— День? Я думал, еще ночь, — сказал он слабо, но отчетливо и пошевелился сесть, но вспомнил, что у него нет ног — ноги ему не нужны, теперь и без ног он мог скользить где хочет.

— Ночь прошла, — сказала она, — уже утро, лежите. Хотите рыбы? (Он не понимал, что она говорит.) И каша есть. С изюмом. Пить хотите?

— Пить? — Он пытался понять, вспомнить. — Пить... А где...

Он боялся произнести это имя при дневном свете, таком жестком, бесстрастном. Может быть, это не она, обман? Ему стало неудобно, неудобно, словно весь он с муккой пролезал в узкую щель — обратно в самого себя, в них, в грубое и страшное, пролезал обратно с той поляны, где золотая морошка пахнет глинтвейном и вечными снегами.

— Кто — где? Они? Пошли площадку готовить. Для вертолета. Вон на скалах, там плато, три дыма. Видите? Я отогну тент. Видите? (Но его глаза упирались только в нее, даже не в нее, а в то место,

откуда звучал голос.) Они там. Скоро вас вывезут отсюда, скоро поправитесь.

Он слышал слова, но они были ему безразличны; он слушал только интонацию: грудную, женственную, на изломе искренней жалости. Он устал от слов. Он закрыл глаза, чтобы увидеть свою поляну.

— Пой-дем... туда... — сказал он, а на самом деле только пошевелил губами.

— Что? Что вы сказали? Говорите, я здесь. Что вы хотите?

«„Хотите“. Все хорошо, все опять так покойно, тепло, и поляна, и морошка из золотых шариков. Ее можно раздавить языком и высосать, кисловатую, прохладную. Как сказать, чего я хочу?»

Я хотел бы быть солдатом,  
Наповал убитым первой  
Пулей в первый день войны...»

— Что вы говорите?

Она вглядывалась в его губы, он ощутил ее дыхание и увидел ее: она шла через поляну, она вернулась, черноволосая, тоненькая, вся из чуткой светотени. Это было такое счастье, что он протянул руки. Этого не надо было делать...

Нина массировала ему грудь против сердца, дула в рот, она чуть не плакала, но крепилась.

Еще дважды он приходил в сознание. Первый раз, когда Дима и Нина ели уху. Дяди Миши не было — он дежурил у сигнальных костров на плато. С утра три черно-желтых дыма стояли над вершинами хребта, и в этот нежданно ясный день их было далеко видно. В десять часов самолет лесной охраны дважды облетел площадку, на которой в треугольнике костров приплясывал человек, размахивая натальной рубашкой. Самолет качнул крыльями и взял курс на море.

— У них есть рация, вызовут, будем ждать, — сказал дядя Миша.

Райнер узнал Диму и сказал:

— А, студент!

Дима подошел к нему, он многое хотел бы теперь объяснить Райнеру, но глаза у того заволокло пленкой, взгляд ускользал, тяжело вверх-вниз ходила высокая грудь. Дима вернулся к огню. Они сидели близко от больного и тихо разговаривали.

— Какие-то стихи читал в бреду, — рассказывала она. — Ты не знаешь, чьи это: «Я хотел бы быть солдатом, наповал убитым первой...»?

— Не знаю.

— Я так устала. — Она прислонилась лбом к его плечу.

Райнер все видел и слышал. Его не удивило, что они стали так близки, что прилетит вертолет, что люди теперь знают самую его суть — ведь он сам повторял ее и в забытьи и наяву: «Я хотел бы быть солдатом, наповал убитым первой...»

— Это стихи Шарля Вильдрака, французского поэта, — сказал он голосом, который был им незнаком. — Теперь его никто не помнит.

Они смотрели на него с каким-то даже страхом, словно он до этого притворялся, а сейчас воскрес. Нина опомнилась, встала.

— Вам надо поесть, хотя бы немного.

— Много чего мне надо сделать, — ответил Райнер и попытался усмехнуться. — Но теперь поздно.

— Ничего не поздно.

Он по-прежнему полуснисходительно глянул, не ответил, отвернулся. Скоро дыхание его опять отяжелело, заблестел лоб, на глаза надвинулась тень беспамятства.

— Неужели не выживет? — шептал Дима. — Неужели все?

Она сжала его запястье:

— У нас в Карелии об этом не говорят...

Второй раз Райнер очнулся, когда носилки вталкивали в санитар-

ный вертолет «Ми-4». Врач, моложавая коренастая баба, вертела в пальцах бумаги Райнера и громко говорила дяде Мише:

— Я понимаю, кто он, ясно мне, но в таких условиях мы не гарантируем. Шестой день! Удивляюсь, как еще не загнулся. Спортивное здоровье. Ну пока! — И она полезла по трапу, показывая ляжки с врезавшимися резинками чулок.

— Эх вы, романтики-психи! — крикнул пилот. — Машину чуть не угробил. Залазь, Сашка!

— Спасибо вам, ребята, спасибо, — говорил дядя Миша пилоту и бортмеханику, — без вас не донесли бы. Заходите, когда в Лоухи будете, спирт есть и рыбки найдем, спасибо вам!

— Не на чем. Отойдите от машины! — Пилот скрылся.

— Счастливо, бродяги! — крикнул механик из люка.

Сдвоенный рев винтов, смерч, клоки ягеля, как пули, по краю плато, незаметный отрыв, зависание, и вот все быстрее пузатый ящер стало боком сносить в высоту.

Прижав щеку к мутному оргстеклу, Райнер увидел каменистую площадку, чадающий костер и трех человечков, машущих руками. Он только схватил их в зрачки и сразу выпустил, чтоб все внимание собрать на белом клубочке, который рывками катился за тенью вертолета, отстал, заметался, замер на краю обрыва. Сквозь грохот и свист он словно услышал жалобный лай собаки.

Холодно и пристально смотрел он теперь на гранитные покатые вершины, на синие ельники, осенние ржаво-охристые пятна болот, на белые жилы порогов и серые лужи озер. Вся его дикая страна на прощанье развернулась под ним от моря, мгlistой стеной вырастающего на севере, до поймы Воньги на юге; страна, которой больше не будет никогда.

Они стояли и следили за уменьшающимся вертолетом, за его стихающим стрекотом, пока все не исчезло в сизой дымке на западе.

«Кто такая была Ивонна? — думала Нина. — Надо спросить у Димы, что это за имя. Нет, не надо: мужчине этого не понять». Она посмотрела на него, он все еще вглядывался в тончайшую мглу над грядами пустынных гольцов, он прикусил губу, сжал кулаки. Какой он грязный стал, похудевший и несчастный. Она тронула его за локоть.

— Повезло с погодой, — сказал дядя Миша и стал раскуривать трубочку.

— Да, — сказала она и стала спускаться к палатке.

— Поедим — и обратно, — говорил дядя Миша, осторожно ступая по камням.

Дима шел за ним, опустив голову.

— Может быть, сразу пойдём? — сказал он. — Я есть не хочу что-то...

Дядя Миша остановился и стал опять раскуривать; сквозь дым он внимательно глядел на студента.

— Ничего, захочешь к вечеру, — сказал он. — А где собака?

— Собака?

— Вега. Позови ее.

Они стали свистеть, звать, но старая лайка не появлялась.

— Сходи за ней, а то потеряется. Нет, лучше я: она тебя что-то не любит.



---

---

АНДРЕЙ ДМИТРИЕВ



## ШТИЛЬ

Рассказ

Андрей Дмитриев окончил сценарный факультет ВГИКа. Сейчас пробует свои силы в прозе. Рассказ «Штиль» — первая его публикация.

Персонажам рассказа вроде бы хорошо в их «райском саду», в этом «заповеднике человеческих душ». Но рассказ грустный. Автор, сочувствуя своим героям, полным нерастраченной любви, целомудренной нежности друг к другу, дает понять, что их идиллическое существование на берегу «мелкого и теплого» моря не только призрачно — даже для них самих, — но в чем-то и унизительно. Именно поэтому они мысленно все время возвращаются домой — туда, где проходит их жизнь, на первый взгляд мелкая, незаметная и суетная, но на самом деле, если вдуматься, самоотверженная.

Автору этого рассказа двадцать шесть лет, но в манере его письма чувствуется культура, благородная традиция русского искусства, всегда ставившего на первое место проблемы нравственности и духовности.

Владимир ОРЛОВ.

**Е**сли всерьез, это был самый никудышный сад в округе. Крыжовник и смородина осыпались, не успевая созреть. Четыре яблоньки, искромсанные садовыми ножницами, роняли плоды с крахмальным привкусом. Флоксы вяли. Посреди дорожки росло и чахло совершенно бесполезное уксусное дерево, напоминающее папоротник или пальму. Но вот чего там было вдоволь, и самого лучшего качества, так это малины, пересаженной с местного кладбища хозяином сада, инженером на пенсии.

Едва уйдя на заслуженный отдых, инженер круто разругался со своими непослушными детьми и столь же круто решил поселиться здесь, на побережье, в гордом и здоровом одиночестве... Он любил порассуждать о целебной мощи морского воздуха, о своем нешуточном намерении прожить до ста сорока лет, о выдающейся культуре быта местного населения, но охотнее всего — о неблагодарности и нахальстве послевоенной молодежи, которой, по его убеждению, все далось даром и все пошло не впрок. Но как только подходило лето, к простреленному горлу инженера подступала жаркая ненависть к мелкому морю, сонному быту, а главное — к гордому одиночеству.

Июньскими ночами инженера поедом ела бессонница. Лунный свет сочился сквозь ситцевые занавески, стекал в глаза, наполняя душу холодом и тревогой. В одном исподнем инженер выбегал в сад и, недобро скалясь на луну, кромсал садовыми ножницами яблоневые ветви. И однажды утром, наспех собравшись, уезжал в Ленинград к своим уже стареющим детям с единственной, как он уверял себя, целью: пробрать этих недоумков за неблагодарность и нахальство, — да так и оседал в их кругу до самой осени. Надо полагать,

он любил своих детей. Всегда горько предчувствуя, что застрянет у них до холодов, инженер, уезжая, сдал дом и сад двум молодым москвичкам за смешотворно низкую плату. Вдобавок он позволял объедать им все что можно объесть в саду, безвозмездно пользоваться любым домашним инвентарем, что по нынешним меркам необъяснимо широкий жест.

Приближаясь к Ленинграду, поезд ускорял ход и, казалось, сам дрожал от нетерпения. Глядя в окно на бесконечный мелкий ельник, инженер продумывал детали своей воспитательной миссии и, заранее сомневаясь в ней, больше смерти боялся, что дети не встретят его, но такого не случилось ни разу.

Каждое утро, если не было дождя, я, направляясь к почте, оставался у зеленой калитки, рвал малину, проросшую сквозь штакетник, и разглядывал полуголые, оцепеневшие под лучами солнца фигуры двух женщин, тщетно стараясь угадать выражения их лиц или дожидаться хотя бы малейшего движения. Меня завораживала их долгая, мертвая, едва ли не нарочитая неподвижность. Насколько движение, жест, тем более смех выдают характер и настроение, настолько неподвижность прячет все — но зато позволяет строить любые догадки.

...Каждое утро, если не было дождя, Тамара и Настя загорали в саду, неподвижно сидя в брезентовых складных креслах. Маленькая, кругленькая, некрасивая — это Настя. Тамара — высокая, худая в плечах, широкая в бедрах и тоже некрасивая. В отличие от Насти, готовой смириться с любым внешним изъяном, как и вообще с любой оплошностью судьбы, Тамара убеждена, что женщина хороша собой настолько, насколько сама верит в свою привлекательность. И в этом Тамара, вероятно, права. Едва взглянув на нее, любой скажет: «А ничего, даже очень ничего»; потом, конечно, приглядится и вздохнет: «Э, нет, более чем так себе»; но зато когда узнает Тамару поближе, то, устыдившись столь поверхностного пренебрежения, найдет самую подходящую оценку: «Очень хороший человек. Глаза выдают хорошего человека». Оценка точная, но глаза тут ни при чем: они ничего не выдают, ничего не выражают, кроме сонливости, они полузакрыты, неподвижны, и поначалу легко принять эту сонливость за высокомерие... Вот у Насти другие глаза. Распахнутые, они порхают с предмета на предмет и, подобно пчеле, вливаются в предмет, высасывая, вбирая в себя всю его суть.

Глаза Тамары до того устают за год, что им просто необходимо месяца два побыть в полузакрытом, сонном состоянии. Тамара — машинистка-надомница, и у нее очень много клиентов. Их круг с каждым годом становится все шире благодаря тому, что она охотно берется за самую срочную работу, то есть не спит ночами, отступившая в сумасшедшем темпе дипломные работы студентов, краснеющих, когда нужно платить, пьесы драматургов, — эти говорят ей «милочка» и, жеманясь, просят о разных странностях, будь то особый размер полей и отступов или неуместная разрядка. Многоопытная Тамара угадывает в этом не прихоть, но суеверие... А еще — бесконечные таблицы и проекты, где все написанное словами звучит как-то безграмотно и не по-русски, а цифры непонятны и скучны. Вообще-то Тамара старается не вникать в содержание того, что перепечатывает: это мешает ритмичной и быстрой работе, от которой глаза устают настолько, что кажутся чужими, а пальцы при ударах покалывает так, словно под кожу попало мелкое стеклышко, засело там и ранит. От излишка работы Тамара отказаться не в силах, питая самые добрые, даже трогательные чувства к своим клиентам, «все понимает», и оттого весь год не знает отдыха, недосыпает, умирает от головной боли.

Обычно под утро, когда принимается нестерпимо ныть спина, Тамара откидывается на жесткую спинку стула и, ненадолго расслабляясь, думает о лете. Райский сад, как светлое облако, встает перед глазами, и растет в том саду удивительное уксусное дерево, так похожее на пальму или на первобытный папоротник. С глухим стуком падают яблоки на мягкую землю. Душны и непролазны заросли малины у забора. Пахнет мокрой травой и раздавленной смородиной. Подруга Настя напевает песенку, услышанную по радио, поливает увядшие флоксы и готовит тесто для пирога.

В Москве подруги до того заняты, что встречаются лишь по праздникам, а во все прочие дни обмениваются телефонными звонками. Чаще звонит Настя, у нее нет постоянного телефона, да и дома она почти не живет. Настя работает нянкой, она хорошая нянька, добросовестная, но, на свою беду, слишком привязывается к подопечным: болезненно как-то, почти до слез и, кроме того, ревнует их к родителям, не умея этого скрыть. Поэтому все родители стремятся расчитать ее как можно скорее, не называя, понятно, главной причины, но придумывая различные доказательства того, что Настя не справляется со своими обязанностями. Она не спорит, она верит, потому что привыкла верить всем, кого уважает, и все более убеждает себя в своем несовершенстве. Меняет семьи, детей, плачет, когда выгоняют, плачет, когда устает, а устает она всегда, поскольку, подобно многим нынешним нянькам, одновременно работает в двух-трех местах. Хватало бы сил и времени — она работала бы и в четырех, лишь бы скопить побольше свободных денег. Ей очень нужны свободные деньги на лето, чтобы тратить их без оглядки, когда поедет она с Тamarой на побережье, поселится в доме, к которому так привыкла, в райском саду, который так хорошо шумит по ночам. Если ночь ясна и с моря дует тихий ветер — сад глухо бормочет, а потом вдруг заворчит и затихнет, совсем как набежавшийся за день ребенок, которому снятся пестрые, беспокойные сны. А если ночь наполнена дождем, сад звенит, как тугая струна, на одной гулкой ноте, не дает спать, но это добрая, блаженная бессонница, потому что до самого утра можно думать о хорошем: о той неведомой семье, куда она, Настя, войдет как родная, навсегда, на одних правах с родителями, или о том, как у нее самой народятся Дети, неизвестно и не важно — от кого (даже в самых доверчивых мечтах Настя не допускает, что найдется тот, кто возьмет ее, такую несовершенную, замуж). К утру дождь выдыхается и душа устает, можно заснуть до обеда, смутно слыша сквозь сон скрип половиц и мягкие, тяжкие шаги Тамары, ее кашель: подруга никак не может бросить курить, хотя и пугается собственного кашля.

Соблюдая приличия, я не простаивал у калитки подолгу, шел своей дорогой и до самого обеда совершенно не беспокоился о Тамаре и Насте, уверенный, что стоит мне захотеть — и я увижу их на пляже.

...Едва окунувшись, они опрометью выскакивали из зеленоватой мелкой воды и, согреваясь, бежали наперегонки. Настя бегала легко и дышала размеренно, а Тамара отставала, охала, захлебывалась свежим ветром и громко жаловалась на «проклятую старость». Обсохнув, они падали на одеяло и, задремывая на нежарком солнце, часами лежали без движения, изредка и безо всякого любопытства оглядывая малолюдный берег.

Когда настоявшееся за день тепло уходило в песок, а море обретало цвет раскаленного железа, на берегу, далеко-далеко, появлялась фигурка человека, шагающего вдоль линии прибоя. Воздух густел и застывал в ожидании близкого заката, фигурка неумолимо приближалась, и наступал тот миг, когда Владимир Иванович опус-

кался на песок рядом с подругами. Расшнуровывая ботинки, он спрашивал:

— Ну? Как вы жили все эти годы? — И это было каждодневным приветствием.

Владимир Иванович всегда проводил отпуск в одном из местных пансионатов. Пропустив после обеда две-три кружки пива и поборов пагубное желание вздремнуть, он совершал долгий путь по берегу, считая шаги и никогда не сбиваясь со счета... Он опускался на песок, порядком устав, проголодавшись, и, снисходительно болтая с Тамарой и Настей, терпеливо ждал приглашения вместе поужинать. Когда наступал закат, его наконец приглашали, и он соглашался, ломаясь и сетуя, что неудержимая любовь к пирогу с малиной вынуждает его быть надоедливым. Поедая пирог, он шутивно упрекал хозяек за отсутствие выпивки на столе и пил много крепкого чая... Близилась полночь, обрывались и терялись нити разговора, подруги кутались в платки — Владимир Иванович шел на последнюю электричку, засыпая на ходу, слушая ветер и думая о погоде на завтра. Вот и все. Чем живет он весь год, вдалеке от моря и покоя, там, где некогда считать шаги, где не поспишь от грохота пишущих машинок, звонков телефонов, топота ног и визга капризных детей, — этого Тамара и Настя не знали да и не пытались узнать. Поговорить Владимир Иванович любил, но говорить о себе ему было неинтересно. Благодаря именно этой столь редкой черте он никогда не раздражал подруг своим присутствием. Очевидным и достаточным для них было то, что Владимир Иванович немного циник, но добряк, ничуть не стыдится своей плешки и пристрастия к спиртному, что человек он бывалый, много поездивший и много поживший, хотя не вполне ясно было, где поездивший и как поживший. Более всего их привлекало то, что ему от них ничего не надо. Он не напрашивался даже на дружбу. О флирте, о намеках известного свойства и говорить не приходится. Владимир Иванович всегда был шутлив, печален и далек. Он был приятным собеседником, привычным завершением дня. И они для него были приятные собеседницы, вошедшие в привычку. К тому же он умел каждый раз по-новому похвалить пирог с малиной...

Однажды Тамара призналась, что мечтает завести в Москве умного зверя, овчарку или пуделя, поскольку человеку в Москве трудно без зверя, человек в Москве одинок.

— Собака в Москве давно не зверь, — возразил Владимир Иванович. — Так, нечто среднее между человеком и мебелью.

— Ну знаете ли! — возмутилась Тамара.

— Знаю, знаю, — закивал Владимир Иванович. — Нечто среднее. Вот как я для вас. Или как вы для меня. И не обижайтесь, не стоит. Это не так уж плохо.

Тамара и Настя не обиделись, но меж собой стали звать его Нечто среднее.

— Что-то Нечто среднее нынче был невесел, — говорила Тамара, укладываясь спать.

— Пиво за обедом было несвежее, — говорила Настя.

И обе смеялись...

...Чувствуя, как остывает песок, Владимир Иванович переворачивался со спины на бок и спрашивал:

— Ну и как? Будет рейс на Стокгольм или отменили?

— Посмотрим, — говорила Тамара.

— Будет, — говорила Настя.

Замолкнув, они напряженно глядели в пустое небо... Наконец в небе появлялась белая точка. Медленно и упорно она ползла в сторону моря. Стоило сощурить глаза — и точка становилась крестиком. На невидимой прозрачной нити крестик тянул за собой белый рыхлый хвост.



— Млечный Путь,— говорила Тамара.

— Инверсионная линия,— поправлял всезнающий Владимир Иванович.

— На кефир похоже,— говорила Настя.

Пересекая море, хвост подползал к горизонту.

— И на что он вам сдался, этот Стокгольм? — пожимал плечами Владимир Иванович.— Во-первых, там сухой закон...

Тамара и Настя привыкли к белой линии, привыкли следить, как расплывается она в небе, и решили однажды, что этот высокий-высокий самолет летит на Стокгольм, поскольку, по всеобщему убеждению, ближайшим населенным пунктом за морем был Стокгольм. А еще они привыкли строить догадки: кто летит этим рейсом, что разносит на обед белозубая стюардесса, какая музыка тихо наигрывается в динамиках салона... Это, наверное, очень хорошо: расслабившись в мягком кресле, отстегнув ремни и слушая тихую музыку, глазеть в иллюминатор на стальную поверхность моря, по которой скользит крошечная тень самолета. Хорошо замереть, закрыть глаза и затаять дыхание, когда самолет пойдет на посадку. Хорошо, наверное, выйдя на шумную площадь перед аэропортом, размять ноги и расправить плечи, поймать такси и поехать, глядя по сторонам и вдыхая незнакомые запахи незнакомого города... Куда поехать и зачем, этого Тамара и Настя никак не могли согласовать. Насте хотелось в кино или на фигурное катание. Обстоятельная Тамара считала, что прежде всего необходимо найти гостиницу, где можно отдохнуть с дороги, легко поужинать и освежиться в сауне и бассейне. Затем следует осмотреть достопримечательности, заскочить на рынок — просто так, из любопытства — и заглянуть в канцтовары, нет ли там хорошей копирки, после чего, пожалуй, можно и в кино... В конце концов им становилось стыдно, что догадки их столь однообразны и скучны, что фантазия их столь убога. Устыдившись, Настя думала о своем несовершенстве, а Тамара о том, о чем и вовсе не следовало думать: о работе, которая поджидает ее в Москве.

Как-то Настя прочла и пересказала Тамаре один шведский детектив, очень смешной. Там глупые, неуклюжие полицейские никак не могут поймать грабителей банка, таких же глупых и неуклюжих, которые совсем не заботятся о конспирации и прожигают жизнь в открытую, самым нелепым образом... А если так, то отчего же, взяв такси и легко поужинав в гостинице, не ограбить какой-нибудь банк? Ну а потом после всевозможных перипетий (они каждый вечер придумывали новые перипетии) купить катер, завести мотор и на полном ходу рвануть в открытое море: Тамара пытается справиться со штурвалом, а Настя стоит на корме и охапками разбрасывает деньги — радужные купюры разлетаются, как стаи чаек, парят на ветру и падают в волны на глазах у изумленных шведов... Эта финальная картинка смешила подруг более всего, обретая с каждым вечером в зависимости от настроения все новые штрихи и детали. Владимир Иванович скупал рядом, нехотя слушал, изредка вставляя какое-нибудь замечание или вышучивал подруг.

В конце концов строить догадки и фантазировать надоедало. Белый хвост, став неподвижным, расплзался и таял в небе. Небо темнело, наступал закат.

— Господи, до чего же это далеко,— печально говорила Настя.

— Глупости,— говорил Владимир Иванович.— Это совсем близко: каких-нибудь две-три сотни миль. Все в этом мире ужасно близко: и Стокгольм и Африка. Так близко, что даже неинтересно... К тому же в Стокгольме сухой закон, а в Африке стреляют почему зря и кому не лень.

— Ну и подумаешь,— говорила Тамара, вставая с холодного песка.— Вы идете с нами ужинать, зануда?

— Стоит ли? — ломался Владимир Иванович, похлопывая себя по отросшему животу, потом вздыхал и соглашался.

Бывали вечера, когда в море совсем близко от берега появлялся полосатый парус яхты. Догадок тут строить не пришлось: обладатель яхты поспешил представиться подругам, не успев стать объектом праздных фантазий. Этот свежий могучий парень показался Тамаре и Насте непроходимо тупым. Он был «в порядке» и собой доволен. Он разговаривал короткими пустыми фразами. За каждой фразой следовала многозначительная пауза, после паузы — смех, в котором преобладал звук «ы». И одевался он сообразно тому, как смеялся: плавки, кожаная куртка на голое тело, солнцезащитные очки «мак-намара», сползающие на кончик крупного, гордого носа.

Пришвартовав свой корабль к старому рыбацкому пирсу, Эвальд — наверняка его звали Эвальдом — сходил по скрипучим доскам на берег и немедленно делал стойку на руках. Мягко спрыгнув на ноги, он подбирал упавшие очки и пружинистой трусцой направлялся к Тамаре и Насте.

— Служба погоды обещает штиль, — сообщал он вместо приветствия. Выдержав паузу, покачав головой, он смеялся и говорил: — Это плохо.

Тамара и Настя не поощряли его к продолжению разговора, Эвальд не настаивал, хотя и выжидал немного, вновь заходилась счастливым смехом и трусцой возвращался к пирсу. Иногда разбегался и делал сальто. Если трюк не выходил, Эвальд тяжело поднимался с песка, потирал ушибленное место, слишком охал, слишком кряхтел, а потом вдруг срывался и легко, как олень, бежал по берегу.

Владимир Иванович был с ним разговорчивее. Увидев Эвальда впервые, он сразу же поинтересовался, где и за какие деньги можно *купить* такую бесподобную яхту с таким замечательным полосатым парусом.

— О! — сказал Эвальд. Помолчал, посмеялся и заверил: — Это недешево. — Он опять выдержал паузу. — Это не везде.

Владимир Иванович выяснил также, что отец Эвальда рыбачил в колхозе, пока не вышел на пенсию, то есть пока на месте курортной зоны был колхоз. Уже несколько лет отец ловит в одиночку, а еще у отца есть коптильня. Он коптит балтийского лосося и продает его поштучно отдыхающим в поселке и в пансионатах.

— Неплохие деньги, — пояснил Эвальд. — Потому что вкусно. — Он помолчал, посмеялся и добавил: — И нигде нет.

— Я тоже — кое-что, — заявил он после очередной паузы. — Кое-где, кое-что. — Он напрягся, подыскивая еще одно веское слово, и *нашел* его: — Помаленьку.

Белая точка поплыла над морем, и Владимир Иванович спросил Эвальда:

— На Стокгольм летит?

— Туда, — вздохнул Эвальд.

— Сплаваем в Стокгольм, — пошутил Владимир Иванович, кивнув в сторону пирса, где покачивалась мачта с поникшим парусом. Эвальд захохотал, сказал:

— Это просто. — И побежал по берегу, высоко поднимая ноги, стремительно и легко.

— Дурак, — сказала Тамара, лежа на спине и следя за тем, как крошится в небе инверсионная линия.

Праздная жизнь, такая упорядоченная и размеренная, какой может быть только праздная жизнь, теряла, казалось, свою опору, свой смысл в те, как правило, дождливые дни, когда приходилось изменять привычному лежанию на пляже, когда привычный Владимир Иванович не приходил — пережидал дождь в своем пансионате. В та-

кие дни Тамара старела на глазах, жаловалась на скуку, головную боль и давление, думала о безрадостном, много курила и спала без просыпу. Настя в такие дни тоже много думала, в том числе и о Владимире Ивановиче. Никаких видов на него она, твердо уверовавшая в свое несовершенство, не имела, как, впрочем, и Тамара. Настя бестрепетно думала о Владимире Ивановиче, и в тихих ее мыслях он переставал быть привычкой, «нечто средним» и становился неясностью, загадкой.

Самой скучной была мысль, что там, в Москве, среди снегов и гололеда, Владимир Иванович разведен, бирюк, бобыль и, быть может, ленивый бабник. Эту мысль развить было некуда, оттого она и была скучна... А если он женат? А если у него дети? У него должны быть уже взрослые дети. Грустнее всего, если у него нет детей, но он их очень хочет, в чем — такой скрытный, такой ироничный — не может признаться жене. И жена, наверное, под стать ему: скрытная, ироничная, таящая за маской умного легкомыслия самую женскую, самую музыкальную мечту... Так живут они и живут, лишённые благодати, забыв о том, что в юности хотели счастья... Но есть в мире справедливость, потому что мир совершенен. И в один внезапный вечер — о, как любила Настя представлять этот вечер во всем его свечении, во всех тенях, полутонах и шорохах — они откроются себе и друг другу. «Здравствуй!» — скажет Владимир Иванович жене, как будто увидев ее впервые. «Здравствуй!» — скажет жена Владимиру Ивановичу, радуясь и страшась того, что последует за этим «здравствуй», за обоюдным нежданым прозрением. И народятся у Владимира Ивановича дети. Сначала один ребенок, а там — как бог даст. Но даже и один ребенок сразу же потребует свое, он будет многого требовать, особенно на первых порах. А что могут неумелые руки жены Владимира Ивановича? А что может неловкий Владимир Иванович? «Как мы беспомощны!» — горько скажет жена Владимира Ивановича. «Как я недогадлив!» спохватится Владимир Иванович, вспомнив о Насте. Он ведь знал, что она нянька — эта тихая женщина из мира пляжных прогулок и пирогов с малиной...

Настя замирала, суеверно боясь придумать дальнейшее. Она слушала теплое посапывание Тамары. Она слушала дождь, который мягко бил по стеклу, подпевая ее мыслям или, наоборот, подшучивая над ними... Засыпала, но дождь не уходил, звучал в ней, охраняя сон от кошмаров.

...Дождь кончился рано, до обеда, но пляж пришлось отменить: так мокро было все вокруг — не ступить, не улечься. Подруги настроились на хандру. Однако Владимир Иванович не смог примириться с одиночеством в своей курортной зоне и — озябший, с промокшими ногами — явился без приглашения прямо в сад. Отогравшись, он расположился в складном кресле напротив Тамары и с удовольствием следил за тем, как неразговорчивая Настя собирает мокрую малину для пирога.

Владимиру Ивановичу было свойственно переносить свое настроение на предметы. Будь ему плохо, уныло — он наверняка говорил бы о том, как этот сад мал, беден и неухожен. Но ему было хорошо, и он вслух мечтал о несбыточном — уподобиться инженеру на пенсии и прожить остаток жизни в этом уютном, поистине райском саду. Тамара не соглашалась. Райский сад, говорила она, он огромный, как само небо, а этот дачный клочок хоть и мил, но все же не стоит столь громких эпитетов и восторгов. Настя молча сердилась на подругу. Она, подобно Владимиру Ивановичу, считала сад поистине райским, но сердилась больше оттого, что Тамара, не меньше ее влюбленная в сад, лукавит и скромничает, как если бы сад принадлежал ей...

Владимир Иванович вытягивал короткие ноги и морщился. С чего мы взяли, говорил он, да и кто это выдумал, что рай огромен? От чего ему быть огромным? Миллиарды лет существует планета, миллионы лет копошатся на ней, сменяя друг друга, цивилизации и поколения, но за все это время, которое немногим короче вечности, едва ли набралось на земле столько праведников, чтобы было целесообразным разбить для них хотя бы две-три сотки небесной земли.

— Ну знаете ли! — возмущалась Тамара.

— Знаю, знаю, — кивал Владимир Иванович. — И дело даже не в том, что человек не праведник. Дело в том, что праведник — не человек. Так, нечто среднее между инфузорией и вымыслом.

— Я, быть может, и не праведница, — пожимала плечами Тамара. — Грешить мне, правда, некогда, но иногда хочется согрешить, потому и не праведница... Но поглядите на Настю. Поглядите и застрелитесь. Она — самый настоящий праведник и никакое не «нечто среднее».

— Хочется, ну и грешите, — говорил Владимир Иванович, мельком оглядывая Настю, а Настя стыдилась, обижалась на Тамару и опускала глаза в таз с малиной.

— А чего же вы не грешите? — улыбалась Тамара.

— Я свое отгрешил, — смеялся Владимир Иванович. — Так отгрешил, что уже неинтересно.

— Вам, может быть, и жить неинтересно? — улыбалась Тамара.

— Может быть.

— Да, — вздыхала Тамара, полузакрыв глаза. — В этой жизни нет никаких плюсов.

— Есть один, — говорил Владимир Иванович. — Живым быть лучше, чем мертвым. Потому что там, — он, морщась, глядел на небо, — нет никакого райского сада, даже маленького. Ничего нет. А здесь... здесь, по крайней мере, пирог с малиной... Как, Настя, не подгорит?

Настя не отвечала, глотая обиду. И не за пирог она обиделась, который у нее никогда не подгорал. Ее обидел весь этот праздничный, ленивый разговор. За живую ли жизнь стало ей обидно, за этот ли мир, такой совершенный, — она не знала... Понимала, что глупо обижаться на пустые слова, тем более что Тамара явно кокетничает, а Владимир Иванович, наверное, много страдал, оттого и позволяет себе говорить такое. Его пожалеть надо, а не обижаться. Но обида разрасталась и зрела.

Настя решила вступить в разговор, перевести его на что-нибудь легкое, и она лягнула первое, что пришло в голову: какую-то отчаянную глупость... Тамара удивленно взглянула на нее и отвернулась, а Владимир Иванович — тот даже не взглянул. Уютно подобрал под себя ноги и откинул голову на спинку кресла.

Разговор тем не менее оборвался. Они молчали, не зная, о чем еще говорить, или не желая говорить в ее присутствии. И тогда Настя, как ей вдруг показалось, разгадала свою обиду. Это тягостное для нее молчание, так похожее на упрек, подсказало ей мысль о том, что она, Настя, третий лишний, что Тамара и Владимир Иванович — это одно, а она — совсем другое. Она даже не попыталась усомниться в своем открытии. И уже за столом, воровато наблюдая, как сосредоточенно ест Владимир Иванович, как рассеянно держит вилку Тамара, Настя удивлялась: отчего самое естественное и простое до сих пор не приходило ей в голову? Ну почему, в самом деле, Владимир Иванович должен одинаково относиться и к ней и к Тамаре? Ведь она такая несовершенная, а Тамара... Владимир Иванович похвалил пирог с малиной, Тамара поспешно поддакнула: это они вместе похвалили ее пирог. Это совсем не то, если бы Владимир Иванович как гость похвалил их общий пирог...

— Сбегаю за продуктами, — сказала Настя после ужина.

— Сбегай, сбегай, — сказала Тамара. — И купи мне сигарет.

— А мне папирос,— присоединился Владимир Иванович, панибратски подмигнув.

Настя купила молоко, творог, два десятка яиц. Купила сигареты и папиросы. Себе взяла триста граммов карамели: когда она грызла карамель, ей лучше думалось. Новая, неожиданная мысль настолько захватила ее, что она не торопилась возвращаться в сад: надо было послоняться в одиночестве, привыкнуть к этой мысли, настолько привыкнуть, чтобы она не пугала и не раздражала, а, напротив, стала любимой и радостной. Настя грызла карамель и растила в себе радость... Пусть скорее и без мук произойдет то, что должно произойти. Пусть не будет больше райского сада для двоих. Она, Настя, рада, что оказалась сопричастной началу той новой жизни, что настает у Тамары и Владимира Ивановича. Владимир Иванович такой изверившийся, такой бесприютный. Тамара такая замотанная, такая одинокая. Они такие беспокойные оба. Пусть они скорее успокоятся друг с другом, пусть они будут счастливы, пусть у них это получится, а она, Настя, будет тихо радоваться за них, приходить в гости, печь пирог с малиной и вспоминать лето, мелкое море, белую линию в небе, неухоженный райский сад...

Стемнело, и Настя, легкая и притихшая, вернулась в сад.

Завидев ее, Владимир Иванович неуклюже вскочил с кресла, прокашлялся, сказал:

— Боюсь, что мне пора... Обленился, засиделся...— И ушел, забыв про папиросы, обронив на прощание: — Не шалите тут без меня.

Тамара небрежно приняла у нее авоську с продуктами и прошла в дом, бросив через плечо:

— Молоко некисло? Где ты шлялась?— Она раздраженно хлопнула дверь, оставив Настю одну на крыльце.

Ложась спать, Настя ощутила холод. Окно было закрыто, ночь теплая, но Настя зябла. Она сворачивалась калачиком, грела дыханием тьму под одеялом и не согревалась. Жидкая луна текла сквозь занавески и вдруг пропала, скрытая ночными облаками. Предчувствуя бессонницу, Настя слушала скрипучие шаги Тамары за стеной и боялась, что Тамара войдет, включит свет и посмотрит ей прямо в глаза. Потом она стала бояться утра, когда станет светло и они с Тамарой окажутся лицом к лицу... Радость исчезла, она не успела окрепнуть, и бегство Владимира Ивановича и неприкрытое раздражение Тамары оказались сильнее нее. То, о чем так хорошо думалось в одиночестве, казалось невыносимым обнаружить в присутствии Тамары. Страшно будет глядеть на нее новыми глазами, когда куда-то спрятаешь глаза... Шаги за стеной стихли. Послышался щелчок: Тамара зачем-то включила настольную лампу. Настя затаила дыхание, почувствовав себя вором, проникшим в чужой дом.

А Тамара, включив настольную лампу, поморщилась от яркого света и головной боли, донимавшей ее весь день, и принялась сочинять письмо в Ленинград. Инженер требовал, чтобы хоть раз за все лето она извещала его о том, что дом не сгорел, стекла не вылетели, посуда не перебита, крыша не прохудилась, сад не зачах и воры не растащили инвентарь... Разумнее было бы улесться спать, забыться, унять головную боль, но Тамара знала, что днем до письма не дойдут руки, и не потому, что будут заняты,— просто будет лень. А еще Тамара была уверена, что раздражение, вызванное головной болью и нелепо истраченным днем, так просто не уляжется и бессонница обеспечена. Надо было дать перекипеть раздражению, отвлечься — хотя бы на такую ерунду, как письмо: механическая дань уважения человеку, который безразличен, но все же не заслуживает безразличия.

За стеной было тихо, Настя, как видно, уснула. Плохо. Плохо, что не извинилась перед нею за грубый тон — к ней он не относился, да

что поделаешь: головная боль, долгое, утомительное сидение в саду и столь же долгий, утомительный разговор с этим Владимиром Ивановичем — все это вскипело и выплеснулось на бедную Настю. Не стоило поддаваться привычке, выработанной в общении с московскими клиентами, быть или стараться быть на уровне разговора. Надо было свести на нет эту никчемную болтовню. Куда там! — поддакивала, подлаживалась, подпевала, вздыхала, прикрывала веки, как будто хотела понравиться. «В этой жизни нет никаких плюсов» — неужели она так сказала? Что за ерундовина. Мало ли что несет этот плешивый циник. Поддакивала, мучаясь давлением и головной болью, вместо того чтобы гнать его в шею; что за бестактность, в конце концов, торчать весь день у полужнакомых женщин! Так ведь не прогнала и еще разозлилась, когда Настя влезла в разговор с какой-то глупостью! Для того и влезла, чтобы ей помочь, чтобы этот болтун наконец заткнулся. Настя — чудо, тихое чудо, тихо все понимает...

Тамара заклеила конверт, погасила свет и легла. Засыпая, она услышала шорох и стук за стеной. «Не спит... Спи, милая, спи», — подумала Тамара и заснула с улыбкой.

Ей приснилось, что кто-то плачет в саду.

Отплакавшись, Настя стала зла и спокойна.

Стремительно и без боязни шла она по поселку, который в этот час был не поселком, но вязкой тьмою, наполненной сонными раздраженными звуками. Будь этот мир справедлив, ее просто не существовало бы в жизни Тамары, жила бы Тамара одна в райском саду, не зная никаких вздорных проблем. Но так устроен мир, что одним выпадает жить, а другим — мешать жить. Она, Настя, из тех, что всем мешают — уже потому, что живут сами. Так уж ей выпало.

О, она понимает теперь, отчего так много несчастных в этом совершенном мире! На пути тех, кто достоин счастья, на пути тех, кто способен к счастью, встают такие, как она, Настя, — увиваются, присасываются, вяжут по рукам и ногам. Разве не из-за нее ничего до сих пор не решилось у Владимира Ивановича и Тамары? Порадоваться за них хотела, пирогами поублажать. Радуйся на здоровье, меси свое тесто, но где-нибудь подальше, в своей норе, и не лезь ни к кому со своей радостью. Не радость твоя им нужна, им нужно, чтобы тебя вообще не было... Не понимают они этого, но зато она, Настя, понимает. А пока она есть, пока она рядом — ничего и никогда у них не будет, кроме тоски и неловкости.

Воздух посвежел, тьма подтаяла, проступили очертания окраинных заборов и сосен. Ноги вязли в песке, близилось море.

О, теперь она все понимает. Таким, как она, вообще нет места среди людей. Такие, как она, ко всем приживутся и все разрушат. Люди не догадываются об этом, они добры, лишь раздражаются по мелочам, стыдясь своего раздражения. Им бы не раздражаться, а сразу гнать.

Настя провела по лицу ладонью. Слез нет — это ветер щиплет глаза.

Все, ей подобные, должны быть мудры и сами уходить, селиться в резервациях, лепрозориях, изоляторах, каждый в своей клетке, в своем загоне, и не подпускать к себе людей, потому что люди слабы и, на свою беду, обладают способностью сочувствовать. Все зло начинается с этого сочувствия. Слишком сочувствуют ей все вокруг и оттого не могут жить счастливо.

Море, дохнув в лицо, преградило ей путь. Настя села на холодный песок и ослабела.

Как несправедливо все устроено. Живешь, как воробей, клюешь эту жизнь по крошечке, живешь бесплотно, как тень. Так почему же об тебя спотыкаются? Бедный Владимир Иванович, как мучительно ему трястись по вечерам в дрязглой электричке, возвращаясь в одиноче-

ство и пустоту! Он бы остался, остался бы давно, да Настя не позволяет. А дни идут, Тамара стареет, пусть и нет ей еще тридцати. Был у нее кто-то, рассказывала. Кто-то был, кто-то временами бывает, да все не то и все не до этого: ей нужна новая жизнь, ей бы расправить плечи — а Настя не дает... Ей, Насте, тоже нет тридцати, у нее было что-то в первый вольный год после школы. Кто же там был, от нетерпения и жадности безразличный к ее несовершенству?.. Было да сплыло, и уже не столько радостно, сколько страшно вспомнить. Ничего у нее больше не будет. Даже если когда-нибудь родится ребенок — испортит она ему жизнь, искалечит. Затискает, засюсюкает, шагу ступить не даст. Он будет жить, а она ему — мешать жить, так вот ей выпало.

Настя решила заплакать, но передумала. Больше она не имеет права себя жалеть. Потянуло назад, в сад, под одеяло, но страшно было возвращаться. Теперь она слишком все понимает. Страшно возвращаться, все понимая. И куда возвращаться, все понимая. Она встала, стряхнула с подола прилипший песок и побрела куда по темному берегу.

Ее испугал глухой стук, она прислушалась, робея, силясь угадать, кто караулит ее в пустыне. Вблизи сгустком тьмы проступил старый пирс, худая тень покачивалась на его краю. У Насти перехватило дыхание, ослабли ноги, возникло желание лечь, зарыться в песок, раствориться... Стук повторился еще раз и еще. Наконец она уловила, что чередование его созвучно пульсу моря, то есть произвольно. Осторожно, стараясь не упасть в воду, она прошла по скрипучим доскам.

Пришвартованная яхта терлась о пирс, подобно стрелке метронома покачивалась оголенная мачта. Отлегло, и Настя рассмеялась. Напряжение спало, захотелось праздника.

Его неоткуда было ждать. Ночной мир ушел в себя, и ему не было никакого дела до Насти. Самой учинить что-нибудь, но нет ни вина, ни музыки, ни цветов, нет голоса, чтобы петь, нет даже спичек, чтобы развести костер, а там — хоть скачи через огонь, хоть смотри, как пляшут на песке горячие тени, или сама пляши, пока не дотлеют угли, пока не подкосит усталость, пока мысли и память не отлетят и не наступит сон, пустота, безмятежное ничто. Ничегошеньки нет под рукой и ничего нет впереди, кроме томительных ночных часов на голом берегу... Настя поежилась от холода и сбежала с пирса.

Она узнала этот дом сразу по сложенной из камней ограде, вросшей в песок, по запаху прелых сетей, соленого дерева, кожи и копти — по тем застарелым запахам, каких не знал ни один из домов поселка. Те дома были дачного типа и пахли садом, стиркой, кухней. Запахи этого дома напоминали о том, что он здесь — особняком, что он здесь еще с тех пор, когда берег не знал дач, пансионатов, купальных кабин, хрипа транзисторных приемников и отдаленного шума электричек.

Ликуя, залаял цепной пес... Метался за оградой злобной тенью, бил лапами в железную сетку калитки, и калитка звенела. Из дома вышел старик с фонарем, босой, в кальсонах; он осветил Насте в лицо, ничего не спросил, сплонул, отогнал пса, открыл калитку и вернулся в дом, жуя на ходу короткие недовольные фразы, похожие на бульканье.

Вскоре вышел Эвальд в плавках и кожаной куртке, наброшенной на голые плечи. Посветил Насте в лицо, пригляделся и узнал.

— А! — сказал он, погасил фонарь, потом зевнул. — Сколько время?

— Ночь, — сказала Настя. — Поплыли в Стокгольм.

— В Стокгольм? — переспросил Эвальд, помолчал, засмеялся на «ы» и кивнул. — Ага.

— Не забудь парус, — напомнила Настя.

— Парус? — озадаченно протянул Эвальд, но Настя, не желая возражений, решительно направилась к пирсу.

Эвальд с трудом ее догнал.

— Не беги, — сказал он. — Это много весит. Между прочим.

— Помочь? — не глядя на него, спросила Настя.

— Если можешь, — хмыкнул Эвальд.

Настя взвалила себе на плечи половину свернутого паруса. Другая половина осталась на плечах Эвальда. Так они и шли плечо к плечу. Рукав кожаной куртки Эвальда больно тер локоть Насти, ноги вязли в сыром песке. Эвальд насвистывал и тихо смеялся.

— Теперь посидим, — сказал он, сбрасывая парус на песок. — Ты, конечно, хочешь посидеть.

— Ни капли не хочу, — ответила Настя, но Эвальд все-таки сел и потянул ее за руку.

— Посидим. — Он помолчал. — Сейчас плохо видно. Темно. Надо ждать.

Настя вырвала руку и взбежала на пирс. Эвальд тяжело поднялся и, бормоча непонятные булькающие фразы, раскатал парус.

— Ты! — крикнул он Насте.

Настя обернулась. Ее глаза уже привыкли к темноте. Эвальд блаженно упал на парус и растянулся на спине. — Хорошо, да?

— Что хорошо? — нетерпеливо отозвалась Настя.

— Тут хорошо. Это не одеяло. Это лучше.

Взвизгнули доски — это Настя топнула ногой.

— Ты чего разлегся, олух! Ставь свой парус!

Эвальд встал, вздохнул, сказал: «Это интересно» — и послушно потащил парус к яхте. Долго, на ощупь прилаживал его, изредка выплевывая резкие булькающие звуки — очевидно, ругательства. Он балансировал, стараясь не упасть в воду, а Настя, стоя на коленях на краю пирса, изо всех сил цеплялась руками за борт яхты, думая, что этим помогает... Наконец спросил:

— Поплыли?

— Поплыли, — сказала Настя, решительно шагнув на борт.

— В Стокгольм, — добавил Эвальд и захлебнулся смехом.

Настя опустила за борт ладонь и ощутила ладонью теплый ток моря, стремительный и упругий. Они плыли.

Эвальд, замерев, сидел на корме. Говорить было не о чем. И не было у Насти желания говорить с этим человеком. Он все еще не существовал, его присутствие было иллюзорным, он был тенью, ничем и, казалось, сам создавал это. Он молчал и даже не смеялся. Она вдруг поняла, что молчать им придется слишком долго, потому что в ту самую секунду, когда берег и пирс исчезли, слившись с глухой тьмой, время остановилось. Как долго, куда и зачем им плыть, она старалась не думать. Ниже опущенной в воду руки не было ничего. За сгорбленным силуэтом Эвальда не было ничего. И ничего не было выше бледной громады паруса. Пространство несло их куда-то, зажав в кулак, как божьих коровок. Настя почти физически ощутила эту давящую мощь пространства, и ей стало страшно...

— Страшно? — Негромкий голос Эвальда возник невысказанно близко. — Это бывает, ты так не сиди. Тебе хорошо лечь и немножко спать. — Эвальд вдруг хмыкнул, подыскивая нужное слово, и нашел его: — Чуточку.

Лечь, закрыть глаза, свернуться калачиком — и сразу наступит покой, дремота, да не свернешься здесь, пожалуй, на тесном дне маленькой яхты.... Больно ударившись плечом, Настя вытянулась на бок. Лежать было жестко. Рука, бедро, колено сразу заныли, и это ее обрадовало, потому что мир наконец обрел реальность, стал осязаем, как нора. Настя принялась по-хозяйски осваивать этот подробный мир: подогнула колено, изменила положение локтя, старательно при-



строила на нем щеку, но осталась недовольна и попробовала устроиться на спине. Открыла глаза и впервые за эту ночь увидела звезды.

Небо кое-где прояснилось, и там, где оно прояснилось, выпали звезды — редкие, одинокие, неподвижные. И Насте показалось, что яхта стоит... А потом их закрыло стремительное облако — оно надвинулось тяжелой тенью и обрело черты Эвальда. Яхту качнуло. Эвальд осторожно навалился на Настю. Чтобы в случае сопротивления не оказаться в воде, он одной рукой накрепко вцепился в борт, другой попытался удостовериться, что предмет, на который он навалился, действительно живая женщина. Шарил, будил — и не удостоверился. Настя, казалось, окаменела.

— Ну! — укоризненно выдохнул Эвальд.

Настя не шелохнулась. Она лишь тихо отвернула лицо, чтобы не видеть тупой силы, вдавившей ее в дно яхты, не слышать живого дыхания человека, который не был для нее живым. Она не испытывала ничего, кроме усталости и безразличия к тому, что может произойти. Ее увлекла резкая боль в спине. Боль росла, густела, какая-то деревянная переборка грозила раскрошить позвоночник. «Сейчас я умру», — подумала Настя, и это была легкая мысль. «Еще чуть-чуть — и умру», — снова подумала она, чтобы убедиться в отсутствии страха и воли. Печальная, безвольная мысль о смерти одурманила ее. Она улыбнулась.

Эвальд увидел эту улыбку и окончательно понял, что ничего не выйдет. Помимо тесноты, помимо боязни оказаться за бортом и сгнать в ночи, главным было полное отсутствие желания. То есть он нисколько не желал эту кургузую, вздорную, полужнакомую женщину, а навалился лишь потому, что не представлял себе, как можно не навалиться. В конце концов, он привык быть самим собой и не мог быть никем иным. Сопротивление с ее стороны, страх, борьба или, напротив, бурная отзывчивость пробудили бы в нем желание, он на это и рассчитывал. Но ничего этого не случилось. Была улыбка, адресованная не ему. Он не смог понять, но сумел оценить эту улыбку.

Яхту качнуло, и сразу отпустила боль в спине. Открылось небо, прояснившееся настолько, что звезды наконец смогли собраться в созвездия. Показалась луна, и свет ее, рыхлый, неяркий, убыточный, выдавал близость рассвета. Эвальд сидел на корме и, подергивая шнур, правил, не глядя на Настю. Настя приподнялась. Яхта шла к берегу, к смутному отростку пирса. Все было на своих местах, высвеченное луною, звездами и почти незримым излучением близкого рассвета. Ветер был слаб, неслышен, яхта шла тихо.

Эвальд сплюнул в воду и громко заговорил сам с собой.

Он говорил зло и отрывисто, зная, что Настя не понимает его, или же просто забыв о ее присутствии. Его булькающая речь, на этот раз лишенная пауз и смеха, состояла из непрерывных ругательств, междометий, и в этих бессвязных ругательствах никто, даже соплеменники Эвальда, оказались бы рядом, не уловили бы главного: укора ненавистой судьбе, породившей его таким слабым и таким зависимым от собственной слабости...

Почему он настолько слаб, что, не утруждая себя сомнениями, готов подчиниться любому дуновению ветра, любому указателю, зову, нисколько не задумываясь над тем, что обещает или чем грозит этот зов? Почему, потакая этой рыхлой истеричке, он поплелся невесте куда и зачем, да еще похмыкивал, воображая себя хозяином положения? Почему навалился на нее, не испытывая ничего, кроме массы неудобств? Почему позволил ей измываться — ей, никому не нужной, жалкой дуре, над собой — молодым, сильным и гордым мужчиной? Почему он не удостоился даже сопротивления? Как она посмела не сопротивляться? Как посмела она явиться среди ночи, подняться с постели, как посмела помыкать им по своей бабьей прихоти? Вмазать бы ей по курносой роже, швырнуть за борт и поглядеть, как пускает пу-

зыри, да разве в ней дело? Оттого и посмеда, оттого и разбудила, оттого и не сопротивлялась — тряпку в нем угадала, портянку, заводную игрушку, кусок мяса, не вызывающий даже страха...

Ругательства становились все немислимее и бессвязнее, в них зрел плач по самому себе, и слезы не замедлили явиться. Эвальд был унижен. Отцом, попрекающим его своей кормежкой. Морем, которое презирает его, так как знает, что яхта, предмет его гордости, на самом деле — жалкая самоделка, сооруженная без умения и знаний, на глазок, готовая развалиться от удара любой волны, перевернуться при резком порыве ветра. Всеми, кто не удостоил его, Эвальда, даже разговором. Всей своей бездумной, суетной жизнью, которая, глумясь и подмигивая, отсчитывает ему мелкие замусоленные купюры. Другим и деньги другие, основательные, и девицы аховые и вдобавок преданные, готовые на все — хоть в огонь, хоть в воду. Других никто не посмеет будить среди ночи, а если отважится, посмеет — полжизни будет потом извиняться и каяться. И уж если кого другого закрутит, занесет в ночное море с поманившей его женщиной, то это будет такая женщина, что хоть спейся потом, хоть погибни — никто не вздумает презирать и смеяться: завидовать будут, вздыхать и завидовать...

Бессонная ночь, постыдное положение, пустынное море и одиночество — всего этого оказалось достаточно. Нервы Эвальда были огорены. Он ругался и плакал.

Нечто похожее на стыд шевельнулось в Насте. «Да он же мальчик совсем», — подумала она, неожиданно для себя угадывая то живое, что страдает не в силах выразить себя под ледяной кожаной курткой. «Обидела мальчика». Она поджала губы, придвинулась к нему, потрогала, заговорила:

— Да перестань, ну вот еще, зачем ты...

Тут он вздрогнул, словно проснувшись; отшвырнул ее руку и холодно сказал:

— Ты! — Он помолчал, подбирая слова. — Ты зачем здесь приехала? — Он отвернулся. Слезы высохли, и он забыл о них. Спокойно и неторопливо, стараясь вновь обрести уверенность в себе, направил яхту к пирсу, причалил и, зевнув, сказал: — Приехали. Стокгольм. Можешь идти. Спать.

За минуту до этого начало светать.

Настя торопилась. Она глотала кислый предутренний воздух, и его не хватало. Она в голос ругала свои ноги, которые ныли от усталости, вязли в песке и не хотели бежать...

Настя вспомнила о Тамаре, когда ощутила реальность времени, то есть в ту самую минуту, когда рваная линия прибора, щербатые доски пирса, деревья и кустарник в дюнах обрели свои привычные подробные очертания. Это был все тот же мир, где пляж, знакомый до каждой вымоины, тянется к курортной зоне, мир, где дощатая дорожка ведет через дюны к заасфальтированной улице, знакомой каждым поворотом, а это значит, что где-то рядом спит влажный от росы сад, знакомый каждой веткой, а в саду, точнее в доме, спит подруга Тамара, знакомая и близкая каждым движением души. И если Тамара вдруг проснется — а она имеет несчастливую привычку просыпаться по ночам, — если Тамара обнаружит, что она, Настя, исчезла... Успеть бы только, добежав до дорожки, миновав дюны, чужие сады и заборы, влезть в окно, нырнуть под одеяло и заснуть. Заснуть и спать, пока ворчливая Тамара не разбудит, пока не спросит, как спалось, что снилось. «Ничего не снилось. На этот раз ничего».

Всего несколько шагов оставалось до дощатой дорожки, связующей берег с поселком, когда Настя ясно ощутила, что она не одна на пустынном пляже. Она обернулась и похолодела, узнав Тамару, идущую к ней издали, из красного рассветного марева. Тамара не кри-

чала, не бежала — плелась, обессилев, и слабо махала ей рукой. Настя, робея, махнула в ответ и столь же медленно побрела навстречу...

Потом они шли рука об руку по спящему поселку, шли и разговаривали без всяких эмоций. Переживания прошедшей ночи догорели, и переживать встречу не осталось сил. Тамара коротко рассказала, как она проснулась в темноте, совсем одна, ужасно перепугалась и бросилась искать подругу, полагая, что та на что-то обиделась и решила сбежать в Москву. Тамара искала ее на станции, где было тихо, пусто и провода не звенели, потому что ночью электрички не ходят. Искала в поселке, шарахаясь от лая цепных собак. Потом искала на берегу, но везде было темно и найти можно было разве что на ощупь, то есть невозможно было найти. Искала и кляла себя за давешнюю резкость, мучалась, пытаясь вспомнить, чем и когда она могла еще обидеть Настю.

— Что ты, что ты! — сказала Настя.

Она и не думала обижаться, просто ей вдруг захотелось искупаться в ночном море, и вышла она, как надеялась, ненадолго, да тут подвернулся Эвальд со своей дурацкой яхтой, повез кататься, пристаивал, обезумел совсем (Настя показала синяки), до того обезумел, что жениться обещал, яхту подарить обещал, нес такое, чего не передать словами, еле-еле от него отделалась.

— Ну, мать, ты даешь,— хрипло сказала Тамара, когда они подошли наконец к саду.

Едва открыв любимую калитку, Настя прошептала:

— Том, а Том...

— Ладно тебе.— Тамара ласково потрепала ее за ухо в знак того, что инцидент исчерпан.

— Да нет же, Том,— зашептала Настя, прижимаясь щекой к плечу подруги.— Здесь кто-то дышит...

На крыльце, скользком от росы, полулежа, зябко поджав колени и скрестив полные руки на раскрытой волосатой груди, удивленно открыв рот и мучительно дыша, спал Владимир Иванович.

Настя ошалело хихикнула и, нагнувшись, провела ладонью по его небритой щеке. Он заворчал. Тогда Настя легонько щелкнула его по носу. Владимир Иванович охнул, вскинулся, попытался встать и снова сел.

— Это ужасно,— сказал он, ежась от холода и тупо глядя перед собой.— Который час?

— Пять,— насмешливо сказала Тамара.— Или полшестого. Простите, что потревожили.

— Это ужасно,— снова сказал Владимир Иванович.— Это даже интересно. Сперва соседи мои спать не давали. Потом приснилось нечто несообразное... Продрал глаза — везде ночь, ни звука. И до того пакотно — хоть вой. Что же это, думаю, смерть пришла? Прислушался — да нет, сердце на месте, не барахлит. Э, думаю, что-то у девочек моих неладно, что-то нехорошо с моими девочками...— Владимир Иванович с трудом подавил зевок.— По шпалам пришел. А дверь закрыта.

Подошла осень; из садов, пансионатов, дач потянулись загорелые отдыхающие с чемоданами, детьми, букетами, корзинами, собаками; подобно птичьим стаям они скапливались на станциях, штурмовали вагоны электричек, переправлялись в город и там рассеивались по разным поездкам, разлетались по всей стране, цепенеющей в ожидании зимы... Электрички, шедшие из города, были почти пусты, и в последний из солнечных дней на нашей станции вышел всего один пассажир с легким, выдавшим виды чемоданчиком в руке. Я не мог не заметить прибывшему, как он посвежел, помолодел за лето, как разгладились его морщины, прояснились глаза и выпрямилась спина. В ответ инже-

нер махнул рукой и сказал, что ежели б не дети, которые неисправимы, он был бы сейчас настолько бодр, что вполне бы мог принести ощутимую пользу обществу, а не гнить в этом идиотском саду, на этом идиотском побережье.

Рискуя показаться бестактным, я все же поинтересовался, чем же провинились перед ним его взрослые дети. Инженер закашлялся так, что на горле его побагровел старый шрам, и стал рассказывать мне историю самостоятельной жизни своих детей.. Я не нашел в этом рассказе и намека на то, что дети живут бесчестно, ведут себя nepядочно и бездушно относятся к отцу. Обыкновенная жизнь обыкновенных детей конца века... Я глядел на него и видел, что придет июнь — и его вновь потянет в живой, непонятный ему и потому кажущийся неблагоприятным мир.

Год от году холоднее становится лето, теплее зима, и оттого мне порой кажется, что все катится под гору. Это тяжелое, тревожное и, вероятно, случайное чувство. Не будь беспомощен, не поддавайся ему. Вцепись в землю, если земля уходит из-под ног, или пройди по ней с фонарем или под солнцем, пройди и убедись, что все на своих местах: не запустел сад, не обмелело море, не отменен рейс на Стокгольм, здоровья близкие тебе люди, не сгнули, оставшись без присмотра, персонажи твоих и чужих историй.

...Я ощипываю ягоды малины, проросшей сквозь штакетник, и разглядываю украдкой силуэты пока еще незнакомых мне людей. Это дети хозяина сада. Они грозно покрикивают на своих малышей, чтобы те не шумели и не мешали спать старому инженеру.

Сад не узнать. Теперь это лучший сад в округе. В нем посажены яблони четырех сортов, жагарская вишня, черешня, цветы — все, чего душа пожелает. Укусное дерево срублено. На его месте стоит невысокий столик для чаепитий, целесообразно стоит, в тени. Я чужой, но мне жаль немного старого уродца, который так походил и на папоротник и на пальму...

Каждое утро, если только нет дождя, Тамара, Настя и Владимир Иванович приходят пешком из курортной зоны, где они вместе отдыхают в пансионате, на старое, привычное место. Здесь, рядом с осевшим дощатым пирсом, они часами пролеживают на песке и большей частью молчат. Они настолько хорошо знают друг друга, что говорить им почти не о чем. Любимое занятие каждого — ревностно и подчас навязчиво печься о здоровье друг друга, а также делиться ценными советами. Настя советует, как лучше воспитывать детей, если бог их даст. Тамара советует, как следует жениться и выходить замуж, если у кого возникнут такие планы, Владимир Иванович советует, как нужно вести себя в путешествиях, если случится кому путешествовать. В Москве у каждого из них все по-прежнему, а как — тут можно строить любые догадки.

В строго определенный час белая точка появляется над морем, медленно ползет к горизонту. На море полный штиль. Безжизненно висит полосатый парус самодельной яхты. Встав во весь рост, опершись рукой о мачту, Эвальд гордо оглядывает равнину моря и старается не думать о близости берега за спиной. Стоя спиной к берегу и постепенно забывая о нем, он ощущает себя покорителем и полноправным властелином пространства. Я часто застаю его за этим в хорошую погоду. Когда штормит, Эвальд в море не выходит.



---

---

## ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ



ВАСИЛИЙ КАЗАНЦЕВ

\* \* \*

Луга половодье.  
Забреду в траву.  
Опущу поводья.  
Вольно поплыву...  
«Но нельзя, нельзя же,—  
Голоса травин,—  
Забываться даже  
И на миг один!»  
А куда же мчаться,  
Нетерпенье несть,

Коль вот это счастье  
Жизни всей и есть?  
Но крылатый ветер  
Не молчит — зовет.  
И густые ветви  
Шелестят: вперед!  
Но грохочут кони!  
И поет весна!  
И дрожит в ладони  
Повод. Как струна!

### Дерево, расщепленное молнией

Что было туманом зеленым,  
То копотью стало сухой.  
Что было рассеянным звоном,  
То лиственной стало трухой.  
Кольцом окруженное пестрым,  
Столбом напряженным стоит.  
Огнем обожженное острым —  
Само, будто пламя, блестит.

И счастья у мира не просит.  
И взгляд свой из темных лесов  
Все выше, все выше возносит.  
...И в слабый, немолкнущий зов  
Горящим впивается слухом.  
Вздымается, трудно дрожа.  
...Не словом, не делом, но духом  
Немеркнувшей правде служа.

\* \* \*

— Весна, смотри, похорошела.  
Зазеленела. Зацвела.  
Зашелестела. Зазвенела!  
— Но ранее... милей была.

Когда цвести и не пыталась.  
И не шумела среди ветвей.

...И тенью только  
Намечалась.  
...И сердце —  
Ведало  
О ней!

\* \* \*

Среди зеленой темноты,  
Настороженно отражая  
Настороженные кусты,  
Не шелохнется гладь живая.

Завороженно средь ветвей,  
Светясь, глядит. И неизменно,  
И глубоко. И сокровенно —  
И горячо.

Одновременно  
В меня — и в глубь души с в о е й.

### Река времени

Нельзя поторопить.  
Волну быстрее погнать.  
Нельзя остановить.  
Нельзя напор сдержать.

Нельзя с дороги —  
Сбить.  
Идти заставить —  
Вспять.

Лишь можно —  
Вместе  
Плыть!

...Иль —  
Насмерть  
Встать!

## ВАСИЛИЙ ОГЛОБЛИН

### Годы

Годы отпечатались следами  
На безбрежной снежной целине...  
Молодость уходит не с годами,  
Молодость умрет не в седине.  
Молодость лишь с тем счастливым ладит,  
Кто, не зная устали в пути,  
Радость удивления во взгляде  
До конца умеет донести.

### Признание

И все неутолимей жажда жить,  
С годами жить полней и откровенней,  
Учась секундой каждой дорожить,  
Вмещающая вечность целую в мгновенье.

## МАРК КАБАКОВ

## Первогодку

Труднее всего подчиняться,  
 Всей жизни устав не вберет...  
 Ты только успел размечтаться,  
 Как слышишь команду:  
 — Вперед!

Душе не поется, хоть тресни,  
 Нет писем, и вовсе не май...  
 Но время настало для песни —  
 Кричит старшина:  
 — Запевай!

Но если сумел ты осилить  
 Минутную слабость свою,  
 Прошел океанские мили  
 С друзьями в походном строю,  
 Тогда ты одержишь победу,  
 Какой бы циклон ни кружил!

Я это не просто поведал,  
 Я тоже на флоте служил...

\* \* \*

У нас ни подвигов, ни шторма,  
 В отсеке тишь да благодать.  
 И море движется покорно  
 По магистралям БЧ-5<sup>1</sup>.  
 И даже гребень океана  
 Для нас давно неразличим...  
 И на мерцающих экранах  
 Показан заданный режим.  
 Но что-то с каждым днем

труднее  
 Уснуть на койках подвесных...

Внизу, где бездна цепенеет,  
 Неуставные снятся сны.  
 Но лодка движется, наверно,  
 По той причине, что тогда  
 В кулак сжимаем наши нервы  
 Покрепче пакового льда!  
 Нет ни аварий, ни поломок.  
 Есть только «норма» на табло!

О, сколько снега от черемух  
 К твоим ступеням намело...

## ВЛАДИМИР ФЕДОРОВ

## Бетховен

Вспыльчив и добр,  
 Как дети,  
 Совсем не по моде одет.  
 Нет невезучей  
 На свете  
 И везучее нет.

Снежной вершиной маячит

И холодеет кровь.  
 Оглох,  
 В сердце осталась  
 Музыка да любовь.

Грохочет гроза  
 Над весенним садом,  
 Сияет вдали синева.  
 Дивные звуки!  
 И слов не надо,  
 Не выскажут душу слова.

Притихли горы.  
 Притихли люди.  
 У ветра нет больше сил.  
 Письмо бессмертной  
 возлюбленной

Людвиг  
 Только-только сложил.

Кто же она?  
 Вся окутана тайной,  
 Как трепет звезды во мгле.  
 Не схожа со всеми,  
 Необычайна.  
 Да есть ли она на земле?

Он так всемогущ  
 И так беззащитен!  
 А где же ее следы?  
 Наивные!  
 На земле не ищите  
 Его незакатной звезды.

<sup>1</sup> БЧ-5 — электромеханическая боевая часть.





Плотней зарывшись в ватник, с головою,  
Тесней к друзьям-студентам прислонясь,  
Ты думаешь: вот с этой целиною  
Моя судьба и вправду началась.

Не важно, что погнуть пришлось мне спину,  
Не важно — потруднее будет впредь:  
Есть что сказать мне будущему сыну,  
Есть с чем в глаза мне встречные смотреть.

\* \* \*

Целина, безлюдье... Вот ведь странно:  
Там, где был студенческий отряд,  
Высохшие степи Казахстана  
Вспоминаю я, как райский сад.

Временами нам бывало тошно...  
Несмотря на непомерный труд,  
Тяготы, оставшиеся в прошлом,  
В памяти как радости живут.



---

СЕРГЕЙ МИХАЛКОВ

★

## НОВЫЕ БАСНИ

### В нашем доме

Где лопнула труба, где прохудился кран —  
Там помощь оказать всегда готов Иван:  
Здесь вентиль подтянуть, там заменить прокладку —  
Урвать себе тройк, а то и всю десятку...  
Дом без сантехника — как человек без рук.  
Но тут случилась вдруг  
Авария. Как раз под воскресенье!  
Не просто где-то течь, а будто в наводнение  
Позатопило этажи.  
— А ну, теперь Иван, на деле докажи,  
Что слесарь ты высокого разряда! —  
Иван сказал: — Раз надо, значит, надо!..  
И я не прочь  
Вам и на этот раз помочь,  
Но лучше б вам пойти всем миром на затраты  
И все узлы худые поменять,  
Чем так-то тратиться на латки и заплаты!..  
Как тут Ивана не понять?  
В иных больших делах, там, где не смотрят вглубь,  
Теряют ты ся чи, чтоб сэкономить рупь!

### Мяч и Клюшка

Хоккей с футболом с некоторых пор  
Заревновали к публике друг дружку...  
Футбольный Мяч увидел как-то Клюшку,  
И между ними вышел разговор.  
— Смотрю я на тебя — и мне смешно! —  
Сказала Клюшка.— В чем твоя забота?  
Тебе бы голько залететь в ворота —  
Кто победит, тебе ведь все равно —  
Ты вряд ли сам болеешь за кого-то.  
Уж если я служу, к примеру, «Спартаку»,  
Я в руки не даюсь другому игроку!..  
— Тебя, как и меня, ведет чужая воля,—  
Ответил Клюшке Мяч.— Мы оба ни при чем:  
Команда, что на льду, что на футбольном поле,  
Победу достает где клюшкой, где мячом,  
Но нам с тобою знать необходимо,  
Что, так же как и я, ты тоже... заменима!

### Портрет

Художник, чей талант исыяк давным-давно  
 (Сыграло в этом роль игрисное вино!),  
 Не соблюдая самодисциплины,  
 Стал подходить к созданию картины,  
 На творчество больших не тратя сил:  
 Сперва на полотно из подмастерьев кто-то,  
 Используя оригинала фото,  
 Необходимый контур наносил,  
 А уж затем, спросонья щуря глазки,  
 Наш мастер по нему клал самолично краски,  
 Конечно, метод свой скрывая от огласки,  
 Поскольку критики, как все, не выносил...  
 Заказчик в мастерской. Он смотрит на портрет.  
 Тот глух и нем. В нем искры божьей нет!  
 Порвалась цепь: разрозненные звенья  
 Нарушили союз Труда и Вдохновенья!

### Тюльпаны

В девятый майский день пришли ребята  
 К могиле Неизвестного солдата,  
 Чтоб молча положить тюльпаны на гранит...  
 Вот тут один Тюльпан другим и говорит:  
 — Зачем нас только утром дети рвали?  
 Чтоб мы на солнце к вечеру увяли?..  
 — Ты не жалея себя,— сказал Тюльпан-собрат,—  
 Как не жалел себя лежащий здесь солдат!  
 Твоя судьба в руках тебя растивших,  
 И если ты уже попал в букет,  
 Достойней пасть к ногам в боях погибших,  
 Чем украшать собой сомнительный банкет..

### Бессонница

Сон потерял Степан Степаныч —  
 Не может спать, не в силах глаз сомкнуть.  
 Что только он не принимает на ночь,  
 Чтоб до утра хоть как-нибудь соснуть!  
 В бессоннице он ночи коротает:  
 То примется ходить, то пробует читать,  
 С лица осунулся и телом тает, тает...  
 Но отчего, никак не угадать!  
 Врачи не знают, в чем и где причина,  
 Что человек не спит уже какую ночь.  
 В семье порядок. Два женатых сына.  
 Не курит и не пьет... Что делать? Как помочь?..  
 А я диагноз выставлю суровый,  
 Имея предстоящий суд в виду:  
 Причина в «камушках», что в банке пол-литровой  
 Он закопал под яблоней в саду,  
 И в той, другой, уже побольше банке,  
 В которой раньше находился клей  
 И где он прячет золотой чеканки  
 Две с половиной тысячи рублей.

Не зря в народе говорится:  
 В ком совесть не чиста, тому некрепко спится!

---

---

*К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ*

ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ

★

МОЙ СТИХ

Пою. Но разве я «пою»?  
Мой голос огрубел в бою,  
И стих мой... блеску нет в его простом наряде.  
Не на сверкающей эстраде  
Пред «чистой публикой», восторженно-немой,  
И не под скрипок стон чарующе-напевный  
Я возвышаю голос мой —  
Глухой, надтреснутый, насмешливый и гневный.  
Наследья тяжкого неся проклятый груз,  
Я не служитель муз:  
Мой твердый, четкий стих — мой подвиг ежедневный.  
Родной народ, страдалец трудовой,  
Мне важен суд лишь твой,  
Ты мне один судья прямой, нелицемерный,  
Ты, чьих надежд и дум я — выразитель верный,  
Ты, темных чьих углов я — «пес сторожевой»!

Сентябрь 1917 г.

---

---

---

# О ЧЕ Р К И    И А Ш И Х    Д Н Е Й

ЮРИЙ ВИГОРЬ



## У САМОГО БЕЛОГО МОРЯ

**Т**ретий день иду я вдоль берега Белого моря тундрой, зыбким кочкарником, чем-то напоминающим холмики густо укрытых травой могил. Шагаю неторопливо, то и дело приходится обходить чаруса-трясины. Словно предупреждая о чем-то, всю дорогу преследует меня унылый стенающий крик золотистых ржанок, которые гнездятся на болотных выплавках, поросших бледно зеленеющим мхом. Ничто не бросается в глаза, все обыденно, бесприютно. Безлесая ширь до самого горизонта, от века не знавшая ни бремени дорог, ни плуга, какая-то первозданная дикость, и кажется, не земля под ногами, а корка земли, плесневелая, рыхлая, в темно-бурых гнилостных пятнах, упругая и податливая под тяжестью шагов.

Если ковырнуть носком ботинка — блестит, проступает снизу черная жижа, точно сукровица из пораненного места. Изредка встретится холмик, выпяченный метра на два над равниной. словно для того, чтобы взойти на него, оглядеться кругом, поразишься бесчисленности мертвых мелких озер в оторочке жирно чернеющего торфяника и, содрогнувшись от однообразно-печальной картины и безлюдья, пасть духом усталому, свернувшему от побережья путнику и, зарекаясь ходить дальше вглубь, поспешить назад к морю.

Низкое, грязно-серых тонов небо затянато на востоке огромными войлочными облаками, непроницаемыми для солнца, и кажется, что изнемогающий под их тяжестью свод там, вдали, провис и касается кромки земли. Кругом стоит пронзительная, тревожная, оглушающая тишина, и словно слышишь шорох задевающих горизонт облаков.

Путь мой томителен, чувства иступились от однообразия окружающего, сосредоточиться на какой-то мысли невозможно, всю дорогу ищешь глазами перед собой: «Тут надо бы взять левее, вроде земля посуше, потверже. Эту веселенькую нарядно-зеленую полянку лучше обойти, под ней определено трясина». И, забирая то влево, то вправо, я петляю как заяц, заметывающий следы. Я потерял уже всякую надежду встретить ненцев, решил выйти к морю, дойти до тони и отдохнуть у рыбаков.

У самого побережья гундра кончается обрывистыми изрезанными распадками, исхлестанными шквальными ветрами угорами. Песчаный с частыми валунами берег завален побелевшими от моря, от соленых ветров бревнами, что носило по волнам от самого Архангельска от устья Двины. И наконец выбросило в прибывлую воду, нагромодило беспорядочно чуть не в человеческий рост Кладбище строевого леса тянется насколько хватает глаз — огромные ели и сосны, из которых в пору поставить здесь не один десяток деревень...

В море на песчаных кошках где матово поблескивают под скупым солнцем залитые зыбко валуны, лежат в окаменелой неподвижности морские зайцы, а по обнаженной отливом светлой влажной оборочке, где медленно высыхают оставленные ушедшей водой водоросли, перебегают, копошатся, что-то хлопотливо ищут в рыхлом песке франтовато-нарядные, в черном оперении и белых манишках кулики-сороки, которых здесь, на побережье, бесчисленное множество.

Давно собирался я отправиться в поездку в Поморье, которую откладывал по не зависящим от меня обстоятельствам из года в год. Минувшей зимой, показавшейся мне в Москве бесконечно долгой и томительной, я не раз утешал себя мыслью: как только настанет лето, обязательно махнуть в эти заповедные края. И тут как нельзя более кстати предложение командировки от одной из газет на север, в Архангельскую область.

На пассажирском пароходе «Татария», когда я плыл от Архангельска, рыбак тралового флота, ехавший в отпуск в приморскую деревню, говорил мне, как-то особенно ласково и явственно произнося слова:

— Зря ты, паря, один пойдешь в тундру. Рискованно по этим местам. Мало ли чего... По берегу пески зыбучие. Ступишь — не выберешься. Кричи не кричи — все без толку. Тундрой ежели — тоже не малина. Хотя и местный я, а без парника не рискнул бы...

Через час мы расстались. Подошедшая к борту «Дора» забрала трех пассажиров, почту, и мы направились к берегу, вошли в устье малой речушки, там я пересел на карбас с мелкой осадкой, рыбак довез меня до поемного заливчика, где у него поставлены были рюжи, а я направился вдоль побережья, но потом, сокращая путь, свернул в тундру, чтобы не огибать мыс, выдававшийся далеко в море.

...И вот теперь здесь, в абсолютно безлюдной прибрежной тундре, где тишина безмерно и гнетуще огромна, мне не до возвышенных рассуждений. Я озабочен простыми земными помыслами и прежде всего тем, где бы напиться, как пробраться по этому бездорожью и отыскать хоть какое-то жилье. Мои уши, привыкшие к городскому шуму, изнемогают от тишины. Я пробую петь, но голос вязнет в пустыне, не знающей эха. Хотя путешествие длится только третий день, кажется, что я не разговаривал с людьми целую вечность. Язык мой вспух от молчания. Да, нет высшей ценности, чем общение с человеком!..

Впереди виднеется тоня, там предстоит встретиться с людьми, и я невольно утрапливаю шаг. Песок влажен и податлив под ногами, идешь почти бесшумно, каждый шаг впечатывается глубоко и отчетливо. Робкого, слабого плеска прибоя почти не слышно, отмельный берег отступил далеко, и оттуда долетает едва уловимый шорох, легкое дыхание. Кажется, море притихло в изнеможении, и не верится, что через несколько часов оно начнет двигаться на сушу, тихо, крадучись, почти незаметно затопляя пядь за пядью.

Еще издали я приметил у края сети два странных, чем-то напоминающих звериные туши силуэта, — темные, грузные тела, оттягивающие внизу невод, повисшие в трагической обреченности. То, что это не рыбы, не вызвало сомнения. На морских зверей они по своим очертаниям не походили, обитателям же суши, по моему разумению, нечего было делать здесь, на пустынном берегу возле рыбацких сетей. Не отрывая взгляда от этих странных туш, всецело поглотивших мое внимание, шел я к тоне и был немало удивлен, когда увидел двух мертвых оленей, которые запутались рогами в сетях и утонули, по всей вероятности, во время последнего прилива. Что было делать оленям здесь на берегу? Что заставило их запутаться в рыбацких сетях?..

Вскоре я различил на побережье телегу, в которую была впряжена лошадь, и темнеющую у дальней тони человеческую фигурку, копошившуюся у сетей. На высоком склоне виднелась изба с потемневшими от времени венцами бревен, зеленевшим мхом у самой земли. И с какой отрадой застучало мое сердце при виде скромной этой обители и хозяина ее, спустившегося к морю. Как позже узнал я, звали тонщика Афиногеном, был он из деревни Майда. Высокий и хмурый мужик лет сорока, сросшиеся на переносе густые черные брови, точно наклеенные, выделялись на его бледном лице, развитые надбровные дуги странно выдавались вперед, образуя нечто вроде козырька над глубоко запавшими глазами, что придавало обличью вид мрачной и скорбной задумчивости. Держался он спокойно. Резкими и точными ударами короткой толстой палки Афиноген чекушил обезумевшую от страха, трепетно замиравшую в его крепких и белых, точно коренья, пальцах, семгу, тут же отбрасывал ее, не глядя, в сторону, оглушенную, исходившую мелкой дрожью, и недавно стремительные, бойкие рыбины, только что бившие с разгона в сеть, так что вся она ходила ходоуном, падали, завалиясь на бок, на мелкое дно, и море у ног тонщика окрашивалось кровью.

Я остановился у входа в невод, куда вела узкая, на вершок не достигшая дна горловина, не решаясь войти внутрь, и молча дожидался, когда тонщик поднимет ко мне раскрасневшееся от работы лицо, но он словно и не замечал меня, поглощенный своими занятиями, торопясь управиться, пока не начался прилив.

Все же я не утерпел, решил войти внутрь невода, несмотря на останавливающее меня предчувствие, острое желание рассмотреть поближе живых еще рыб подтолкнуло меня. Я сделал два шага в горловину, ступая осторожно по сети, которая прогибалась и ложилась на дно под моими ногами, и тогда тонщик, по-прежнему не глядя в мою сторону, отрывисто и коротко бросил не прерывая работы:

— Посередке иди. Да на канат-то не стань, перешагивай.

Ободренный этим наставлением, я увереннее двинулся дальше, вошел в невод и остановился на сухом месте шагах в десяти от Афиногена. Он же с прежней деловитостью и привычной размеренностью движений все чекушил и чекушил рыбу, наконец выпрямился, отер лицо тыльной стороной ладони, хозяйским взглядом окинул невод. Вдохнул устало и облегченно оглянулся на море, чуть задержал на нем пристальный взгляд, будто молча благодаря его, и направился к пустым мешкам, что лежали на песке неподалеку.

Тут бы, казалось, и приспело время обмолвиться нам друг с другом словом, и, не желая растягивать эту минуту, я сказал:

— Улов что надо.

Афиноген ничего не ответил, молча стал укладывать рыбу в мешок.

Странная молчаливость тонщика вызвала у меня некую стеснительность, неловкость. Я решил не произносить больше ни слова и дожидаться, когда наконец он сам заговорит со мной.

Взяв на песке один из пустых мешков, я стал помогать Афиногену собирать семгу, что лежала на сухом, прибитая к берегу мелкой волной.

Мы вынесли из невода мешки, уложили их в телегу, в которую была запряжена какого-то неопределенного серо-лилового линялого цвета кобыла, точно неоднократно побывавшая в химчистке. Афиноген придирчиво оглядел сбрую, поправил чуть сбишующую набок шлею, потом неторопливо взобрался на козлы, разобрал вожжи, и кобыла без понукания тронула ленивым шагом. Отъехав от меня уже метров десять, Афиноген словно тут только вспомнил обо мне, придержал вожжи, с неохотой обернулся в мою сторону, то ли раздумывая о чем-то, то ли дожидаясь от меня каких-то слов. С ленивым участием в голосе спросил:

— А тебе-то, парень, куда?

Мне показалось, что в его унылой интонации была слабая надежда, что нам с ним не по пути.

— Да мне бы где-нибудь отдохнуть, чайку попить, а потом я дальше пойду,— протянул я безразличным тоном, стараясь всем своим видом показать, что не собираюсь навязывать ему свое общество и утруждать его старую лошадь.

— Ну садись, что ли.— буркнул он, неохотно подвигаясь на козлах.— Лошадь у меня, сам видишь, цвет потеряла от старости. Сама себя едва носит... Сперва на другую тоню заедем, а уж потом ко двору.

Он чуть тронул вожжи, смачно причмокнул губами, словно посылая в пространство воздушный поцелуй, лошадь двинулась шагом, колеса утопали в песке, с трудом прорезая в нем глубокую колею. Мы ехали долго в молчании, колеса телеги пластали медуз, вдавливали в рыхлый песок бурые водоросли, которые в изобилии устилали наш путь. С тех пор как я вышел из тундры, в небе развиднелось, верховой ветерок разогнал низкие облака, их отнесло куда-то в сторону, проглянуло долгожданное солнце, и весь берег разом, казалось, преобразился, заблестал, заискрился влажным песком, множеством мелких луж, точно пляж после недавно прошедшего ливня. Даже жарковато стало.

Я распахнул куртку, снял кепку и, решив разрядить нашу молчаливую ездку, рассказал Афиногену о виденных мной на тоне мертвых оленях, полагая, что это хоть как-то расшевелит его, но он не выказал ни малейшего удивления: чуть скосил в мою сторону глаза и с невозмутимым выражением на бесстрастном лице ответил:

— Бывает и такое. Комар гонит олешек из тундры. Прошлый год тут у тони лось утонул. Лето, шкура линяет, а как выйдут на берег, на ветерок, ищут, обо что бы потереться, деревьев-то нет, вот и трутся боками о колья у сети. А сеть нынче — нейлон. Лось и тому не порвать, не то что олешкам.

— Это дикие олени? — полюбопытствовал я, стараясь не дать оборваться зыбкой нити завязавшегося у нас разговора.

— А вот приедем, дак увидим. Ежели на ушах метки, значит, отбились от стада, ненцы недоглядели.

И он испытующе посмотрел на меня, стараясь понять, зачем я расспрашиваю его об этом, какой у меня интерес? Наверное, мысленно Афиноген задался вопросом, что я за личность, для чего завялился к нему на тоню и куда собираюсь двигаться дальше, но ни о чем у меня не допытывался.

Да и разве только слово — истинное средство общения между людьми? Почему мы так торопимся нарушить молчание, оставшись один на один с малознакомым человеком, будто спешим заполнить словами, как правило малозначащими, еще разделяющую нас пропасть, точно испытываем к разговору какое-то властное понуждение. А может, наши повадки, движения мускулов лица, выражение глаз, особенности одежды говорят о нас точнее и подробнее, нежели наша речь?

Кто знает, может быть, Афиноген не расспрашивал меня ни о чем, больше доверяя своим глазам, нежели тому, что мог бы услышать в ответ на заданный мне вопрос, ведь он был вправе предположить, что я легко могу и соврать. Может быть, то, что я объяснял его равнодушием и отсутствием любопытства ко мне, — в действительности некая мудрая линия поведения, и во всем этом своя манера, подсказанная жизненным опытом?

Мы подъехали к тоне, и, прежде чем Афиноген отправился осматривать невод, высвободили из сети утонувших оленей, оттащили туши под самые обрывы, куда не должен был достигнуть прилив.

— Олешки-то колхозные, — заметил Афиноген, показав мне отметины на ушах. — Приеду в избу, свяжусь по радию с ненцами, — кивнул он в сторону тундры. — Пусть сами и сообщат в колхоз. Акт надо составить, чтоб списали...

Не оглядываясь на меня, Афиноген направился к неводу. Широкая сугорбая спина его покачивалась, шел он, широко расставляя ноги, точно в качку по палубе судна, руки энергично двигались вдоль туловища. Он заметно поторапливался. Вот-вот должен был начаться прилив.

Афиноген чекушил в неводе рыбу, работа его подходила к концу. Я направился к нему, мы уложили рыбу в мешки, погрузили их на телегу и тронулись к избушке. Справа от нас, заслоняя обрывистый берег, по-прежнему тянулись завалы леса. Я спросил тонщика:

— А что, этот лес никто не вывозит? Неужели его нельзя использовать в дело? Ведь здесь же миллионы кубометров.

— Как же, пытался вывезти, — прерывисто вздохнул он. — Годов шесть тому назад приволок буксир из Архангельска две баржи, поставили на якорях, плавил лес катерами по большой воде. Грузили, грузили, а к вечеру потянул сам-север. Парко потянул, волна поднялась. Шторминушка пал. Им бы сразу с якорей-то сняться да от берега отринуть подале. Ан маленько замешкались, одну баржу и выбросило на кошку. Весь лес, что погрузили, покидало обратно на берег. Насилу потом стащила ту затопленную баржу буксир. С тех пор зареклись, видать, ходить за лесом сюда, плынуть на эту затею. Так-от.

Под угором против избушки Афиноген распряг лошадь и повел ее в тундру, где оставил пастись до вечера, пока не приспеет время снова осматривать тони. Вернувшись, он достал из мешка две семги и стал разделять их на песке рядом с небольшой лагуной. Извлек внутренности, вырезал из них длинные матово-сизые пупки, остальное отбросил в сторону. Тотчас набросились кружившие с истошными криками над самыми нашими головами чайки, драчливо, с голоном оттесняя друг дружку, мигом растащили с жадным проворством кто что успел.

— А пупки зачем вырезал? — спросил я.

— В пупках самый смак, — ответил, ухмыльнувшись, Афиноген. — Вкус ухе придают особенный. Без пупков семужья уха — не уха. Они вроде как специя. Ну ладно, пойдем в избу, что ли. — сказал он, промыв рыбу в лагуне.

По узкой песчаной тропочке мы поднялись на угор. Рядом с избой был вкопан в землю иззелена-сизый от древности крест, высокий, массивный, чуть похилившийся, со скошенными нижней и поперечной перекладинами. На нижней перекладине были глубоко вырезаны ножом буквы: ГТАГ. На верхней — ИНЦИ, а на ноге креста сверху вниз парные буквы: КИ, КА, КТ, МА, РБ. В этой криптограмме, невольно дававшей простор воображению, таилось какое-то загадочное очарование.

— Это чья же могила? — спросил я.

— А кто его знает, давно ставлен крест, более ста лет, — неохотно ответил Афиноген. — Старики не помнят, а где уж мне знать. Может, знамение, чтоб отводить беду от рыбаков, может, знак мореходный. Поперечина-то, что характерно, в точности направлена с севера на юг. Прежде говорили — с ночи на летник. Я про-



верял по компасу как-то. Невзначай приметил. А ты в избу-то проходи, разболакивайся,— сказал он,— а я тут на озерцо неподалеку за водой...

Афиноген достал из-под навеса два пустых ведра, но все не уходил. Хотя вид у него был сосредоточенный и в лице была какая-то отстраненность, но по тону его голоса, по тому, как он отводил от меня глаза, мешкая уходить, с чрезмерной придирчивостью скреб ногтем дно и один раз, как бы исподволь, бросил в мою сторону взгляд, я понял: он ждет, не предложу ли я пойти с ним по воду.

— Пойдем на озерцо вместе,— предложил я.

— Ну, ежели тебе охота, дак пойдем,— ухмыльнулся он, протягивая мне пустое ведро.

Озерцо лежало во впадине метрах в ста пятидесяти от угора, где стояла избушка тонщика. С воды поднялась стайка уток, потянула низко над землей, опустилась на соседнее озерцо. Вдоль торфянистого берега, поросшего низким осотом, перебежала и затаилась в траве золотистая ржанка. С берега озерцо казалось чистым, прозрачным, но стоило Афиногену ступить в него — со дна клубами поднялся ил, вода будто закипела от множества лопавшихся и оставлявших белые пенистые кружки пузырьков...

Мы поднялись нетороной извилистой тропочкой к избе, оставили ведра с водой под навесом. Афиноген растопил печь, водрузил на огонь казан для ухи.

Изда у Афиногена чистая, просторная, с одним чуть перекошенным окошком на море. Вдоль стен в два яруса нары, задернутые занавесками из цветастого ситца. Рядом с печью полки с припасами чая, сахара, соли, которых и для четверых хватило бы на несколько месяцев. У окна, на выскобленном до белизны столе, транзистор, на гвозде — морской бинокль и портативная рация в кожаном чехле.

Афиноген опустил в казан крупно нарезанные куски семги, из-под крышки выбивался сладко дурманящий густой парок, распространившийся по избе крепкий запах будораживший уже томившееся предчувствием чрево и призывно щекочущий ноздри.

Афиноген сел на лавку против меня и уставил пристальный взгляд в окно. Короткие редкие ресницы его чуть приметно вздрагивали, в темных глазах отражался крест оконного переплета.

Я представил себе, как сидит Афиноген вот так в избушке один, напарник его уже месяц на сенокосе, и в его одинокой жизни незаметно проходят дни, недели, месяцы. От тонщика вроде бы ничего не зависит, все зависит от погоды, от того, какой ветер подует, какое будет течение.

О чем он думает, лежа на нарах и дожидаясь отлива, о чем мечтает, отгороженный от всего мира этим пустынным берегом? Глаза у Афиногена сейчас какие-то напряженные, страдальческие. Он долго смотрел в окно, словно бы меня здесь рядом с ним и не было, словно он целиком погрузился в думы. Эта сдержанность его, погруженность в некое летаргическое состояние — разумно выработанный психикой настрой, защитная реакция человека на вынужденное длительное одиночество. Будь он по натуре жив и весел, будь говорун и шутником — ему одному здесь не вытерпеть, его не прельстили бы никакие заработки. Северные характеры вырабатываются годами, и люди волею судеб привычны к долготерпению.

Но вот уха готова. Наваристая, с золотистыми блестками жира на чуть мутноватой, ломающейся под черпаком густой пленке. Крупные розовые куски семги вязки и сочны, с пряным и нежным вкусом. Кажется, ничего вкуснее мне прежде пробовать не доводилось. Мы молча, неторопливо едим, словно совершаем важную работу, и теперь молчание, воцарившееся между нами, кажется мне оправданным.

Афиноген принес и поставил на стол закипевший чайник, подвинул ко мне печенье, кулек с конфетами...

— Угостить мне тебя больше нечем. Уха да чай, чай да уха — вот и вся наша рыбацкая пища. Картошки у меня нет, а хорошо бы поесть отварной картошечки. Однообразная тут у нас пища. Сегодня семгу едим, завтра семгу, кажинный день семга и семга. Хоть бы какие пакеты суповые завезли к нам в магазин. Может, где в городах семга в диковинку, а нам на тонях она приелась во как, — сделал он выразительный жест рукой чиркнув ладонью по горлу. — Казан ухи семужьей отдал бы за вермишелевый супчик. Переводим дорогую рыбу, а пакетики суповые с концентратами никто не заботится к нам завезти. Мы с напарником моим на уху за сезон расходу-

ем не меньше полтонны рыбы... В городах семгу продают по девятнадцать рублей за килограмм. Это ж сколько мы изведем за сезон дорогой рыбы?

— Примерно на десять тысяч рублей.

— Так. А сколько тонн по всему побережью? И ведь все рыбаки кажинный день варят уху, хоть она и осточертела здесь каждому. А нам бы сюда копеечные пакетики суповые с концентратами — вот тебе и государству экономия. Так? Да только никто об этом мозгами не раскидывает. — Он потер тыльной стороной ладони щеку и угрюмо посмотрел на меня, словно я имел какую-то причастность к вопросам снабжения.

— Ты часом не знаешь, как там, в больших городах, есть сейчас такие суповые пакетики или нет?

— Навалом, — заверил я его. — И в любом гастрономе, бери — не хочу.

Он иронически усмехнулся и покачал головой.

— Вот в Ленинград выберись в отпуск зимой, поеду к сестре двуродной, уж я там накоплю суповых пакетов!..

— Как думаешь, пойдет по вечерней воде семга?

— Кто ж его знает? Может, пойдет, а может, и нет.

— Выходит, в работе твоей от тебя ничего не зависит, сплошная неопределенность?

— Это как же не зависит? — вскинул брови Афиноген и сделал строгое лицо. — Очень даже зависит. Тоню поставить — тоже соображение надо иметь. У одного тонщика, глядишь, ловится, а на другой тоне зайдет в невод пяток рыб и все. Тю-тю. В одном море вроде ловим, а у всех по-разному. Во всяком деле перво-наперво от человека, от сноровки зависит, а море, оно ко всем одинаково, только сумей взять у него, соображение на то имей.

— Ты что же, в траловом флоте плавал? — полюбопытствовала я.

— Дак пять лет ходил. Последние два года помощником тралмейстера, — со значительным видом ответил он.

— А почему же на берег сошел?

— Надо было. Ушел, и все тут... История со мной такая вышла, товарищ дорогой. Неприятная, сказать тебе, историйка. — Он глянул на меня, словно прикидывая в уме, стоит ли мне рассказывать про историю эту, стоит ли откровенничать со мной. Помолчал, передвинул на столе кружку с недопитым чаем, вылеснул его на пол и, поставив кружку вверх дном, повел речь неторопливо и со степенцем: — Ловили мы, парень, в Атлантике. Дело осенью было. Шторма затяжные, ветра приемистые. Мотало нас недели две без перерыву. Оба кошелька — снасть так зовется — попортило, поободрало об камни. Чиним на палубе, руки леденеют на ветру. Заскочишь в каюту, когда совсем уж неможешь, обогреешься чуток — и снова на ют за работу. Авось утихнет да рыба пойдет. План-то давать надо, снасть должна быть в полной готовности. Ну, работаю я, чиню снасть, а тут волна ударила порато большая, и слизнуло меня за борт, как кутенка. Я скажу тебе по совести, дорогой товарищ, минуту ту и не помню.

Видать, ошалел с перепугу, вышибло меня враз из сознания, а про все это мне уж на другой день сказывали. Бросило, значит, меня тем взводнем за борт, и кто видел это — думали, каюк мне. А только не судьба была мне сгинуть в чужих водах, подхватило вдругорядь встречным взводнем и доставило в аккурат обратно на судно, опустило ровнехонько на ростры, на верхнюю шлюпочную палубу позади капитанского мостика, значит. Полежал я маленько, обратался и диву даюся, зачем забрался сюда, когда меня внизу работа ждет. Только чувствую — сосет внутри. жрать охота — смерть, и вроде обессилел я маленько. Спускаюсь себе неспешно на камбуз, подхожу к коку. «Дай мне пожрать, мил человек, — прошу — не обедал я сегодня, упустил из виду за работой». А он мне грубо так: «Не мути мозги. Афиноген, скажи попросту, аппетит на свежем воздухе разыгрался, а то — не обедал. Я тебе еще добавочную порцию супа насыпал». Рассерчал я на него, обругал почем зря. стою на своем — не обедал и все тут: дело принципа. Он обиделся, сует мне в окошко холодную порцию второго и отворачивается. Я съел. Еще требую. Вдруг старпом входит, сел за стол со мной рядом, потребовал у кока для себя порцию. Тот, конечно, подает но удивляется, встревожился парень. Ест старпом и вроде невзначай мне говорит: «Что,

проголодался, Афиноген?» «Да, ослаб что-то, совсем живот подвело от голода,— отвечаю,— не обедал я сегодня». «Да,— говорит,— я и сам, вишь, проголодался, а за компанию все веселей, за компанию и черт повесился. Ешь, ешь»,— подбадривает меня, велит коку разогреть какао. Тот засуетился, пичкает меня, даже пирожки какие-то подсунул. «Может, еще, Афиноген, порцию второго?» — ухмыляется кок. «Нет,— говорю,— премного благодарен, заморил червячка, пойду опять чинить кошель». А старпом меня за руку удерживает: «Там сейчас, Афиноген, и без тебя ребята управятся. иди к себе и чуток поспи, а потом тебя разбудят, я позабочусь». А меня и вправду какая-то сонливость одолела. Пошел я в каюту, стянул с себя рокан и буксы, завалился на койку и враз как отрубился. Очухался аж на другой день. Проснулся, на ручные часы смотрю — стоят. В кубрике никого. Я по скорому оделся и выхожу на палубу. Тут молодой матрос, шкерщик, навстречу мне вывернулся, улыбается чему-то ехидно, подмигивает. Гугнивый такой шустрец. «Что,— говорит,— выпался, утопленничек? Определенно в рубахе ты, Афиноген, родился, завидую я твоему необыкновенному счастью. Я, чтоб испытать такое, ящик коньяку б не пожалел. Мы уж с ребятами вчера думали — кормить тебе акул в чужом океане». Рассказал мне про все, что вчера было, и как смыло меня, и как забросило обратно на ростры, и как три порции второго я умял, на кока накричал зря. Про три порции и разговор с коком я и сам помнил, а вот про то, что за борт меня смыло, за шутку дурную принял. Таки ми вещами во флоте не шутят. Обиделся я даже на него, за грудки было взял. А он мне: «Пусти, чокнутый, чего на людей кидаешься, не веришь словам моим — поди у кого хошь сам спроси». Отпустил я его. К одному, к другому с расспросами. Оторопь меня взяла. «Что, братцы,— спрашиваю,— неужто и вправду меня за борт вчера смыло?» Отворачиваются, отмалчиваются все, кого ни спрошу. Один говорит: «Да брось ты думать об этом, не было ничего, подиутил над тобой этот дурак, я вот ему по шеям накастыляю». Но я уж по лицам понял, что правду тот матрос сказывал, коть все остальные и скрывали от меня. А это старпом, значит, наказал всем, чтоб ничего мне про то не сболтнуть, нельзя про такие вещи говорить человеку в рейсе: до берега далеко ведь, море кругом, свихнуться можно очень даже просто, не говоря уж про то, что после этого человек работать на палубе не сможет.

Вот и я как-то враз сломался. Ушел в каюту, заперся там, двое суток никому не открывал, все силился припомнить, как вышло со мной такое приключение, до мелочей день тот восстанавливал. Все помню, а ту минуту страшную как вырезал кто из памяти. Представляю себе картину эту — холодный пот прошибает, ноги становятся ватными. Мне вспомнить бы, так может. оно и полегчало маленько. Ан как отрубил. Наваждение какое-то. Усомнился я в своем уме, веру в себя потерял. Поставили меня до конца рейса подменять рулевого матроса. Незаметно доглядали за мной, как бы я чего не выкинул, не сделал с собой чего худого...

Афиноген протяжно вздохнул, встал с лавки, прошелся по избе, попросил у меня закурить. У печи он присел на корточки, сунул в потухающие угли лучинку. Вспыхнувший огонек задрожал слабыми отблесками на его впалых, с трехдневной щетиной щеках. Он сощурился, покачал головой, как бы прислушиваясь к чему-то в себе. Внешне Афиноген по-прежнему был спокоен и невозмутим, но по тому, как часто делал затяжки, тщательно сбивая ногтем пепел с кончика сигареты, можно было догадаться, что он разбередил душу этим рассказом.

— Но это еще полбеды,— продолжал Афиноген погода.— Главное — стал меня с того дня голос преследовать, шептун какой-то в голове моей объявился. Стою я ночью у руля, а он меня охмуряет: «Прыгай, Афиноген, за борт и иди на берег пешком, нельзя тебе никак оставаться на судне. Останешься — не дойти судну до берега, все через тебя погибнут. А море тебя не примет. не потонешь, дойдешь до берега пешком». Ну прямо-таки какая-то колдовская сила тянула прыгнуть за борт, и что удивительно — верил я тому голосу, что и вправду не потону, дойду пешком до берега. Помутнение в мозгах, видать, вышло. Вцеплюсь в штурвал и стою, обливаясь холодным потом. отгоняю от себя тот голос. стараюсь думать о жене, о детях, а он свое бубнит и бубнит: «Прыгай». Я, конечно, никому про то ни слова. Засмеют ведь потом мужики, придурком сочтут... Ну ладно, дотерпел я до конца рейса, а как на берег сошел, в управлении тралфлота расчет взял и сюда, домой. Капитан сразу заявление подписал — не стал ни о чем расспрашивать. На прощание говорит: «Ждем тебя, Афиноген, ты должен вернуться к нам. Верю, что определенно вернешься». Я еще недельку ошивался в Архангельске. Как на берег ступил — сгинул тот окаанный голос.

Стал я нормально спать по ночам. Может, думаю, вернуться обратно на судно? А все же сомнение меня брало. Вдруг, думаю, как выйдем в море, опять во мне эта порча объявится. Слажу ли с собой? Рейс-то не маленький — шесть месяцев. Не шутка. А у меня ведь дома двое детей, жена одна не прокормит. Не за себя одного опасался.

Афиноген затушил сигарету и бросил ее в зияющий чернотой зев печи. Лицо его было строго, он помолчал, почесал скулу и долго, пристально смотрел в окно. Смотрел он как-то странно, словно взор его обращен был внутрь, а зрачки темных, возбужденно блестящих глаз сузились и мерцали из глубин набрякших влагой пегих роговиц.

— Полтора года уже прошло, а веришь ли — не могу до сих пор вспомнить, как тогда очутился я за бортом, — словно не досказав мне еще самое важное, что особенно тревожило и заботило его, продолжал Афиноген, будто размышляя вслух. — Бывает, лежу тут ночью на нарах и все думаю, точно вижу себя на судне, дружков вспоминаю. Душа тоскует. Зовет меня море, зовет. Иной раз ой как тянет. Хоть завтра же ушел бы в рейс.

Он резким жестом дернул ворот рубахи, словно отгоняя какое-то видение, отер ладонью лицо от лба к подбородку и посмотрел на меня с решимостью:

— Осенью, как снимем сети и уйдем с тони, подам заявление, поеду в Архангельск. Главное бы на свой сейнер снова попасть. Там от всех этих дум проклятых избавление. Дружки-то мои, небось, решили: уволился Афиноген, перетрухал. А я вот он, объявляюсь к ним неожиданно-негаданно. Скажу: справил дела дома, порыбачил на тоне и снова к вам!..

Афиноген глянул на часы и, спохватившись, торопливо снял со стены радиопередатчик.

— Полтретьего, а ненцы с двух до трех выходят в эфир.

Он щелкнул тумблером. В избу хлынул, будто внезапно пробили брешь в стене, плещущий шум эфира, покатались тягучие шорохи, сквозь которые долбило с унылым упорством какое-то попискивание. В этой сложной, загадочной какофонии изредка прорезались далекие голоса, кто-то кого-то вызывал на прием, но безуспешно, и было в этом нечто тревожное, что заставляло невольно прислушиваться, сосредотачивать внимание.

— Вершок Четыре, Вершок Четыре, я Вершок Восемь, как слышите меня? Прием, — раз пять повторил Афиноген, пока наконец из эфира не выплыл в ответ чей-то резкий и бодрый, чистивший скороговоркой голос:

— Я Вершок Четыре, я Вершок Четыре. Это ты, Афиноген? Как живешь-можешь, как рыба ловится? Зачем звал?

«Зачем звал?» — мысленно усмехнулся я. — Совсем как золотая рыбка, которую с трудом докличешься выплыть на берег моря.

— Живем — не тужим, — перекрывая шум эфира, гудел мягкий баритон Афиногена. — Тут дело такое приключилось... Два оленка вышли из тундры к тоне, загугтались рогами в сетях. Накрыло их в прилив. Я сперва-то не заметил. Потопли. Приедете посмотреть али нет? Думаю, ваши олени, на ушах метки есть. Как понял меня? Прием.

— Понял, понял. Спасибо, что сообщил. Приедем, приедем. К вечеру приедем, когда стадо пригоним из тундры. Как понял меня, Афиноген?

— Понял. До малой воды постарайтесь приехать, а то уйду осматривать тони. У меня все. Будь здоров.

Афиноген выключил передатчик, повесил бережно на стену и, поглядев на меня, усмехнулся.

Распарившись от ухи, разомлев и обмякнув, я ощутил во всем теле какую-то сонливую тяжесть, отупляющую, пьянящую сытость. Хотелось тотчас завалиться на нары и уснуть. Успокаивающе, баюкающе потрескивали в печи отгоревшие поленья. Казалось, и пламя пресытилось, утомилось от жаркой работы и медленно затихло, обессиленно роняя в поддувало изредка выпадавшие на пол пощелкивавшие сухо легкие угольки.

— Что, в сон тянет? После ухи семужьей завсегда в сон тянет, такое у нее свойство особенное. Видать, ты, парень, приморился в дороге. Да ты ложись на нары. Спи.

Я разулся и, последовав его совету, завалился на широкие нары. Кровь гудела ртутью в отяжелевших ногах, отдавала мягкими ватными ударами в висках. Веки, точно намагниченные, сами собой наплывали на глаза, и не было сил удержать их...

Разбудил меня звук хлопнувшей двери. Не открывая глаз, ленясь вернуться к действительности и словно зажимая в сознании щель, через которую просочился этот слабый будоражащий звук, потусторонний и точно фальшивая нота вызывающий неудовольствие, я подсознательно стянул куртку с головы, чтобы открыть ухо, но все еще не разлеплял век.

— Здорово живем! — сказал кто-то. — Афиногеша-то где?

Я поднялся с нар и свесил ноги. Передо мной стоял низкорослый человек со смуглым, глубоко исхлестанным морщинами лицом. На ногах его были кожаные чулки, от пояса ниспадала какого-то неопределенного цвета юбка, перепоясанная по кострецам засаленным, потемневшим от времени узким сыромятным ремешком. С лысеющей птичьей головы в перьях длинных седоватых волос, уцелевших только над ушами, на плечи был откинут черный ситцевый кашпошон, схваченный спереди у подбородка грубыми тесемками. Всем своим необычным видом и обликом незнакомец чем-то напоминал героя романов Фенимора Купера.

Человек в нерешительности потоптался, лукаво и настороженно оглядел меня и, очевидно оставшись доволен моим миролюбивым видом, подпернул одной рукой свою затасканную юбку и полез в карман оказавшихся под ней брюк, заправленных в чулки, за сигаретами. Он сел на лавку, поглядел в окно и благодушно замурлыкал под нос какую-то песню. Курил он «Дымок», вставив сигарету в обугленный маленький, совсем почерневший мундштук, размером с карандашный огрызок, которым, по всей видимости, чрезвычайно дорожил и хранил на груди под одеждой в каком-то потайном кармашке. Незнакомец уставился на меня рьяно и ядовито дымя, а я в свою очередь с выжиданием смотрел на него, не сразу сообразив, что это ненец, приехавший из тундры за утонувшими оленями.

— Ты кто? — не моргая, щуря от густого дыма глаза, в упор спросил он.

Я несколько опешил от его простодушного, заданного в лоб вопроса. Было в этих словах детски непосредственное любопытство, но такая неприкрытая откровенность невольно вызвала у меня улыбку, и я лукаво ответил:

— Странник.

— Странник? — недоверчиво повел он головой, отряхнул пепел и едко усмехнулся. При этом брови и губы его исказились в иронической гримасе морщинистого обличья с перешибленным носом.

— Так, так, — протянул он, точно размышляя над моим ответом и причмокивая перемятыми губами. — А путь куда держишь, странник?

— Куда придется, — ответил я. — Где пустят в избу — заночую, а не пустят — дальше иду. Хожу вот, смотрю, как люди живут.

— Совсем как Иисус Христос, — затрясся он от мелкого смеха, обнажая прокуренные мелкие зубы, закашлялся, замахал перед лицом рукой, разгоняя дым от чадившей сигареты. От смеха лицо его сделалось чрезвычайно добродушным, в глазах погас лукавый недоверчивый огонек. Смеялся он заразительно, открыто, и во мне тотчас растворилась образовавшаяся в первую минуту неловкость перед незнакомым человеком. Право же, в его поведении было что-то подкупающее, невольно располагавшее к нему.

— Будет врать-то, — откашлявшись, сказал он. — Какие тут странники, тут кругом одна тундра. Наверно, ты журналиста, раз умеешь ловко завирать. Небось, про утонувших олешек писать будешь?

— А что, разве нельзя?

— Пиши, пиши. бумага все терпит. Ежели будешь про нас писать — про тундру пиши. Пиши, как пасем олешков, напиши, что нам домики разборные все обещают да никак не завезут, движками для освещения во время полярной ночи не снабжают.

— Послушай, — сказал я. — возьми меня с собой, как поедешь назад в стойбище. Поживу у вас с недельку, познакомимся поближе. тогда мне будет о чем писать, а то ты сразу берешь быка за рога — разборные домики, движки для освещения... Пустись меня в свой чум переночевать?

— У нас теперь нет чумов, — твердо, со значимостью в голосе поправил он меня и с достоинством повел подбородком. — У нас теперь палатки. Есть летние палатки, есть зимние — те обтягиваем шкурами изнутри.

— Так возьми меня в тундру! — наседал я на него.

— Далеко, очень далеко отсюда до стойбища; олешки пристали быстро, — сомнительно покрутил он головой и скорбно причмокнул губами. — Большой ты быстро. Килограммов сто весишь. Если б отдохнули олешки, покормились, тогда, может, и довезли б нас двоих. — он направился к печке, словно уходя от заданного мной вопроса, развел огонь, взял пустой чайник, вышел из избы за водой и, вернувшись, поставил его греться.

— Да неужто так устали твои олешки? — поинтересовался я.

— Выйди, сам посмотри.

Я вышел из избы, он неторопливо направился за мной, остановился на пороге с вялым видом и какой-то виноватой улыбкой.

На траве метрах в двадцати от избы лежали выпряженные из нарт пять оленей. Рога их, обтянутые летом тонкой меховой кожицей, — моры — казались издали какогото странного кораллового цвета. Тучи комаров вились над животными, облепляли морды, теснились на набрякших веках, но олени лежали с безучастным видом, терпя их с усталым спокойствием, как нечто само собой разумеющееся, чего никак не избежать, чему бесполезно противиться, и только изредка смаргивали, косили встревоженно в мою сторону огромными голубыми зрачками в агатовой радужной оболочке огромных печальных глаз. Показавшийся мне странным цвет их рогов объяснялся набрякшими от крови, раздувшимися до алости комарами, которые глубоко впились в кожную пленку и рдели брюшками, как зерна граната, покрывая рога животных сплошным шевелящимся покровом.

Олени линяли, шкура их была неприглядно комкастая, вытертая местами до синеватых проплешин на шеях и боках. Прежде в моем представлении северные олени рисовались гордыми и сильными животными, а передо мной были покорные и доверчивые, как телята, создания ростом с пони, вызывающие сочувствие.

Рядом с упряжкой на траве лежали нарты, легкие, длинные, из тонких еловых планок, напоминающие каркас недостроенного летательного аппарата. Сработанные без единого гвоздя, они были скреплены при помощи колышков и шпунтов.

— Да, — разочарованно протянул я, — столько был наслышан про выносливость ваших северных оленей... Неужели не довезут? Их пятеро, а нас двое.

— Может, довезут, а может, и нет, — покачал головой ненец. — Может, станут на полпути, тогда придется тебе пешком идти, запутаешь чего доброго в тундре, а мне потом за тебя отвечать. Зимой приезжай, зимой другое дело. По снегу ехать легко, тогда и трое олешек потянут. А сейчас по траве да по камням — какая ж езда? Тяжко тащить нарты, ремни олешкам грудь режут, шкура-то слабая: линяют.

Я закурил, глянул с сочувствием на оленей и отошел в сторону. Семен, так звали ненца, вернулся в избу. Уходя, он с порога позвал меня благодушным голосом: «Пойдем чай пить». Я отрешенно покачал головой и направился к берегу. Мне хотелось побыть одному, настроение у меня было подавленное, невзсть с чего наплывала грусть. Я вдруг остро почувствовал свое неприкаянное одиночество и затерянность под равниной этого низко стелющегося, немеркнувшего, безотрадно холодного неба...

Я побродил по берегу, вернулся в избу, завалился на нары и лежал, задумчиво глядя в потолок. Охватившая меня грусть, как ни странно, сообщила моему духу некую внутреннюю умиротворенность.

За окном послышались голоса, дверь открылась, и в избу вошел Афиноген, а следом за ним Семен.

— Проснулся? — глянул в мою сторону Афиноген. — Значит, говоришь, странник? — улыбался он, подмигивая Семену.

— Странник, странник он, — кивал с лукавым видом Семен. Он прошелся кошачьей походкой по избе, женственно покачивая бедрами, потом сел на лавку и замурлыкал песенку. Настроение у него было благодушное, вид вызывающе-беспечный. Он с безобидной насмешливостью поглядывал на меня, не чувствуя за собой никакой вины, словно его и не заботило то, что придется отвечать за утонувших оленей.

— Что с оленями делать будешь? — спросил я Семена

— Что тут поделаешь? Спишут, — махнул он лениво рукой. — На то и предусмотрены три процента на стадо.

Мы поужинали оставшейся от обеда ухой, выкурили по сигарете. Я поднялся с лавки и стал собираться в дорогу.

— Куда дальше пойдешь? — поглядел на меня с любопытством Семен.

— Вдоль берега пойду. На восток. Думаю, часа через два доберусь до маяка. Ты ведь не берешь меня с собой.

Афиноген достал из-под нар пару болотников, порядком заношенных, но целых, без единой заплаты.

— Надень, — бросил он их к моим ногам. — Все лучше, чем в ботинках. А ботиночки свои в рюкзак положь. Доберешься до деревни — в любой избе отдашь, скажешь, Афиногеновы, мне после мужики передадут. Лапа у меня здоровая, тебе, должно, подойдут. На вот портянки подмотай, а то в носках натрешь ноги, — протянул он мне портянки.

— Значит, дальше в дорогу? — поднялся с лавки Семен. — Небось обиделся на меня, плохо думать обо мне будешь? — Он теребил тесемки шлема и улыбался смущенно, почти виновато. — Ладно уж. — вздохнул он, — раз тебе хочется к нам в тундру, возьму тебя с собой, только, паря, дорогой кой-где слазить будешь, бежать будешь, когда скажу. Трава-то не всюду есть, местами нарты плохо пойдут, подсобить придется олешкам. — Он направился к выходу, мягко ступая по полу. Я, взяв рюкзак, последовал за ним. Афиноген пошел проводить нас. Семен уже ладил упряжку, поднимал оленей, беззлобно цокрикивал на них, цокал языком...

Что заставляло их, случайно встретившихся на моем пути людей, отнестись ко мне с участием: одного отдать свои сапоги, а другого потесниться на маленьких нартах, не жалея своих оленей, обременять себя в долгой дороге? Желание показать гостеприимство и радушие северян? Так оба навряд ли были честолюбивы, и разве была для них какая-то корысть в том, что я буду после думать о них, какой след останется во мне от этой встречи? Нет, тут было другое чувство... Перед лицом природы все мы острее сознаем зависимость друг от друга. То же чувство заставляет охотника, уходящего с займки где-нибудь в лесу, оставить на полке четвертушку чая, буханку хлеба, спички, наколоть и положить у остывающей печи охапку поленьев. Неважно кто после тебя придет в эту избушку и обогреется наколотыми поленьями. Тот, кто придет, тоже, уходя, наколет дров, зальет огонь в печи, и это маленькое реальное воплощение доброты связывает людей больше всяких высоких слов...

И вот, распроставшись с Афиногеном, я стою на угоре, а кругом меня звенят, точно колеблемая ветром плотная металлическая паутина, тучи комаров. Гляжу сквозь эту живую завесу на густо-лиловую, тронутую глянцем равнину моря, на мягкие, бархатистые контуры берега в свете закатного неба, окрашенного в неровные тона. Воздух над морем переливается стеклянными голубоватыми струями, искажая и причудливо ломая горизонт. Тороплю нетерпеливыми взглядами Семена, и вот наконец упряжка тронулась, мягкими тупыми ударами бьют в землю оленьи копыта, с жалобным шелестом никнут под полозьями влажные травы.

— Хоп, — поравнявшись со мной, скомандовал Семен.

Я припустился наравне с нартами, приравливаясь к их скорости, прыгнул, повалился боком на посланную шкуру. Толчок, и вот я еду. Только слышен свист полозьев в пронзительной тишине, чавкают, проваливаясь в перемякшую почву, оленьи копыта, угрожающе покачивается, изредка опускается на вздрагивающие спины, на ветвистые рога длинный еловый хорей.

— Кысса, кысса, — издает Семен низкий угрожающий возглас, ощеривая рот, и олени бегут еще шибче, мчimsя под уклон. Высокая до пояса осока набегает волнами на нарты из-под оленьих копыт, плещет с боков, тотчас смыкаясь за нами упругой стеной буйного травостоя, в котором едва можно угадать след полозьев.

Наконец низина кончается, упряжка выскакивает на угор с разбросанными там и сям огромными серо-зелеными от мха валунами, напоминающими по виду древние внушительные надгробья. Под реденькой травкой слышен дерущий полозья каменистый грунт.

— Спрыгивай! — зыкнул Семен, обернувшись ко мне, и блеснул глазами с хмельным весельем. Я спрыгнул, побежал, лавируя среди тугорослого, хватавшего за отвороты бродней кустарника, бряцая гремевшими в кармане ключами от московской квартиры, мелочью, складным ножом. Упряжка облегченно дернулась вперед, нарты

вихляли, кренились набок, полозья жалобно драли по камням. Под уклон нарты пошли мягче, быстрее, отрываясь, убегая от меня далеко вперед. Мне пришлось надавать ходу, я неся, высоко задирая ноги, чтобы не задеть за часто выступавшие из травы камни. Бежавшая впереди, чуть справа от меня лайка Семена подняла из кустарника стайку куропаток, они с треском взметнулись и, блеснув крыльями на солнце, потянули к зарослям вереска.

— Хоп! — скомандовал, не оборачиваясь, Семен. Я сделал несколько длинных скачков, настиг нарты и прыгнул, но едва не промахнулся, уцепился руками за перекладину, лег ничком, подтянул правую ногу, волочившуюся по земле.

— Ноги-то не свешивай, — предостерег меня Семен, — о камень заденешь на ходу — враз сломаешь. Боком сядь, ноги, как я, держи...

Упряжка с ходу влетела на россыпь мелких камней, понеслась под уклон. Семен легко соскочил, побежал рядом, прикрикнул на жоака, направляя его вправо, в просвет между частым ерником. Я, следуя его примеру, тоже соскочил, пустые нарты подпрыгивали, набегали на ноги оленей, копыта били в передок, жоак косил назад окровавленным зрачком.

— Придерживай, — крикнул Семен и указал взглядом на волочившуюся за нартами короткую веревку, назначение которой только теперь мне стало понятно. Я поймал в траве конец; рывок — и кажется, земля стала ускользать из-под ног. Я упирался, пытаюсь удержать нарты, скользил на пятках, и ощущение было такое, словно я мчусь на водных лыжах.

— Хоп! — обернулся Семен. Я едва успел упасть на нарты. Олени прыгнули, меня обдало фейерверком обжигающе-студеных брызг, и мы с ходу вылетели вверх по склону. Я хохотал как безумевший, испуг сломался, восторг от бешеной гонки колотился в висках. Я невольно возвысился в собственных глазах, вид у меня, надо полагать, был идиотски счастливый. Семен озадаченно тарачил на меня глаза, потом усмехнулся, остановил упряжку и полез в карман за сигаретами.

— А ты прыткий, — лукаво щурил он глаза, — думал — журналиста, за столом сидеть привык, намучаюсь с тобой в дороге, а ты ничего, бегаешь как охотник...

Солнце давно отсверкало, какое-то поблекшее, оно светит устало, стоит в раздумье низко, низко над горизонтом слева от нас, точно отражение выплывшей справа огромной меднорыжей луны, удивительно близкой, с четко различимыми контурами морей и впадин, точно наглядное географическое пособие, в которое можно ткнуть указкой.

Мы снова тронулись в путь, нарты мягко плывут по заболоченной равнине. Впереди невысокий холм, на макушке два валуна и воткнутый в землю шест.

— Матери могила, — кивнул в сторону холма Семен. — Давно приглянулся ей этот холм; как умру, говорила, здесь меня положите, рядом с вами буду, все видеть отсюда буду, все слышать. Мы и похоронили, как велела. Место высокое, сухое. Валуны я уж после двумя упряжками привез. Теперь зовется «Ольгин холм» — Ольгой мать звали. У нас, к примеру, так говорят: убила волка в двух верстах на восток от Ольгина холма. Придет время помирать — и себе холм присмотрю. Всю жизнь прожил в тундре, умирать тоже в тундре надо... Олешки рядом пасутся, ненцы кочуют...

В одинокой могиле старухи, покоящейся на вершине холма, есть что-то возвышенно-поэтическое, трогательное, какая-то слепая преданность этому суровому простору. Валуны вместо надгробий, воткнутый в землю шест — от всего этого веет чем-то исконно древним, языческим, могила эта никогда не сотрется с лица земли, не затеряется в обычной кладбищенской тесноте; теперь она служит своего рода ориентиром в безликой пустыне и, возможно, со временем будет нанесена на карту, она словно приобщилась к вечности.

Тихо. Высоко в небе парит орел. Завидев его, умолкли золотистые ржанки, затаились в траве, стих томительный их крик, наводящий тоску.

Всё чаще попадаются на нашем пути крупные озера, отороченные по краям бахромой невысокой зеленой осоки. Чуть подернутая рябью гладь жирно черна. Редко, редко заметишь под берегом сиротливо чернеющую стайку уток.

Семен придержал упряжку, чуть подался вперед, напряженно всматриваясь во что-то вдали, приложил ко рту ладонь и издал неожиданно высокий гортанный крик. В резком крике его было столько силы и первозданной волнующей дикости, что я вздрогнул, с тревогой уставился в лицо Семена. Расстилавшаяся перед нами равнина была абсолютно безлюдна, не угадывалось ни малейшего намека на какое-либо дви-



жение. Крик тотчас замер, не породив даже эха, не в силах разогнать устоявшуюся тишину, которая, казалось, сомкнулась еще плотнее, еще непроницаемее. Лайка чутко топорщила уши, нюхала воздух, с выжидающей готовностью смотрела на хозяина, а он все медлил, ждал какого-то ответа, глаза его были многозначительно сужены, лицо пристально, остро выступающие на нем скулы обозначились еще резче. И вот вдали, в безмерности стелющегося над землей тумана, родился слабый ответный звук, вязнувший в сыром воздухе, невнятный, зыбкое «О-у-а-а...».

— Кому ты кричал?

— Разве не видишь? — с удивлением посмотрел он на меня и простер руку, указывая вперед. — Наши гонят отбившихся от стада оленей. Пётра это, брат мой, с племянником Алешкой.

— А-оу-о-у,— уже явственнее долетело из тундры. Семен чуть привстал на нартах и издал ответный возглас. Вскоре я различил впереди, чуть справа, несколько движущихся точек, они то исчезали в ложбинах, то появлялись вновь, расстояние между нами быстро сокращалось.

Одна упряжка остановилась поодаль, человек прикрикнул на собак, носившихся вокруг заарканенных оленей, один из которых, сивый от старости самец, пригнул голову, угрожающе выставляя перед лайками рога. Вторая упряжка направилась к нам, пожилой ненец круто осадил оленей, оглядел меня со сдержанным любопытством, перекинул ноги через привязанную к нартам трехлинейку со щербатым прикладом, потянулся, разминая затекшие члены, косо улыбнулся, пошевелил взлохмаченными бровями и вопросительно кивнул Семену, дескать, кого привез? Голову он держал высоко, чуть приопущенные веки выдавали надменность, узкие монголоидные глаза блестели холодно и смело, весь вид обличал в нем искущенного в жизни человека, которого ничто уже не в силах удивить. Было тихо, и только слышалось, как уробно рехали олени, глухо покашливали, окуная ноздри в прохладный, мерцающий бисером росы мох.

— Вот, гостя к нам везу,— с мягкой усмешкой, с игривостью в голосе сказал Семен.— Думаю, у себя его оставить, думаю, оленшков пасти со мной будет. На тоню к Афиногену пешком пришел, бегаёт шибко, помогал мне дорогой. Пускай поживет у нас, потом мы в гости к нему поедем.

— Пусть живет,— со снисходительным благодушием кивнул Пётра и стал спрашивать Семена об утонувших оленях. Говорили они недолго, выкурили по сигарете, и мы снова тронулись в путь.

— Эвон наши зимние палатки,— указал рукой Семен на несколько тюков у подножия невысокого холма.— Как дело к зиме повернет, приедем, бросим здесь летние, а эти возьмем.

Тут же у тюков стояли три железные печки, темнели в траве бурые колена труб, лежала гора хвороста, припасенного впрок Семен равнодушно скользнул взглядом по оставленному под открытым небом домашнему скарбу, словно нисколько не сомневался что найдет его здесь и через полгода в полной целостности и сохранности. Я понял, что для ненцев в этом необъятном просторе все объединено простым понятием: дом, и как человек проснувшийся среди ночи в своей квартире, без опасения двигается в темноте так они даже в полярную ночь передвигаются здесь без компаса. Представлявшееся мне однообразие тундры имеет в их глазах четко выраженное лицо, и наверное у каждого из сотен озер есть свое название, каждая лощина, каждая рошица карликовых березок связаны в памяти с каким-нибудь событием охоты или былой стоянкой. В их воображении тундра рисуется чем-то цельным, каждое место наделено своим значением, пастбища охотничьи и рыбные угодья, холмы-могилы, возвышения выполняющие роль кладовых, где под открытым небом хранится скарб до поры, когда понадобится вновь...

...Нас встретил залихватый лай собак они кинулись нам навстречу, виляя хвостами повизгивая от радости заискивая. Из-под полога крайней палатки выглянуло смуглое, темнобровое женское лицо и прежде чем оно скрылось, я успел заметить на нем радостное выражение, сдержанное и озабоченное радение хозяйки, верно заторопившейся разогреть ужин пока мужчины будут распрягать оленей и выкуривать по последней сигарете, поглядывая на небо и перекидываясь скудными словами, прежде чем расстаться до завтрашнего дня.

— Пойдем в мою палатку ужинать,— сказал, обращаясь ко мне, Пётра.— Сегод-

ня у моего младшего день рождения. Пять лет! — Темное костистое лицо Пётры тронула радушная улыбка, он жестом указал мне на свою палатку, остановился рядом со мной, терпеливо ждал, пока я отвяжу притороченный к нартам рюкзак. Семен куда-то исчез, я поглядывал, выискивая его по сторонам. Присутствие Семена все же как-то ободряло, дорога нас чем-то сблизила, и теперь было неловко, что я окажусь один среди незнакомых людей на семейном торжестве. Но неожиданно он вынырнул из-за соседней палатки, прикрикнул на собаку: «Пынь!» (пошла прочь) — и направился к нам.

В палатке стоял крепкий пряный запах, исходивший от березовой пакулы, вяло чадившей на краю печки, — старое испытанное средство от комаров. На меня с любопытством смотрели три пары детских глаз, две молодые женщины стыдливо потупились, пожилая ненка, Калиста, жена Пётры, протянула мне короткие липты, предложив переобуться. Мужчины неторопливо стягивали через головы летние маллицы, называвшиеся худниками в отличие от зимних.

Пол был устлан чистыми оленьими шкурами; сквозь верх палатки, прожженной летевшими из прохуdivшегося колена дымника искрами, смотрело светлое небо, наполняя палатку призрачным светом. На приземистом походном столе дымилась миска с олениной, стояла огромная сковородка с жареной пелядью, тарелка с моченой морошкой, крупно нарезанный домашней выпечки хлеб...

— А где же именинник? — спросил я.

— Да вот он наш именинник, Яшка, — ласково потрепал Пётра по смоляным вихрам мальчика, который стоял, уверенно расставив ноги, и в упор разглядывал меня. — Подойди к дяде, поздоровайся, — подтолкнул его ко мне Пётра, но тот ловко выскользнул из-под руки, отбежал в глубь палатки, заблестел глазами.

— Да что боишься-то, ведь не увезет он тебя...

— Меня нельзя увозить, мамка будет плакать, — предостерег меня именинник; все засмеялись, и он сам расплылся в улыбке, польщенный тем, что вызвал всеобщее оживление, подошел и хлопнул ладонью по голеницу моего сапога. Все сели за стол, мы вышли за здоровье именинника, потом Семен провозгласил тост в честь меня как гостя и заявил, что ночевать уведет в свою палатку. Я в свою очередь предложил поднять стаканы в честь ненецких женщин, приготовивших этот отменный ужин, терпеливых и мужественных подруг кочевников, не утративших обаяния и нежной матовости смуглых щек в этом царстве сырости и комаров. Ненки приснули от смеха: мое собственное лицо распухло от укусов, и набрякшие щеки подпирали нижние веки, оставляя узкие щелочки мучительно обузившихся глаз, так что впору было разлеплять мешавшие смотреть ресницы.

— Почто мало ешь-то? — все подкладывала мне на тарелку угощение Калиста. — Рыба-то свежа, не брожена. Такой крупный мужчина, а ешь, как мой Яшка. Семен тебе до плеча, а эвон кака рядом с ним уже гора костей. Хоть сколько ни старайся, Семен, а все одно теперь уже таким, как он, не вырастешь.

— А я не для роста, — осклабился Семен, — для весу, чтоб зимой с нарт не сдуло. Как говорится, — продолжал он, — по работе и едок. Ежели б я, к примеру, пером с утра до вечера водил, и только, может, и мне хватило на ужин рыбьего хвостика... А я на ветру да на холоде...

— У нас, — сказала Калиста, — кто к тундре привык — олешков пасет, а из молодых многие в деревне оседло живут, кто рыбу на тонях ловит, кто на молочно-товарной ферме работает. Думаю, когда внуки мои вырастут, не в тундре, в деревне станут жить. Пять дочек у меня, три в техникуме учатся, в Архангельске, их уже сюда не заманишь, одна — в восьмом, другая, последняя, — в седьмом классе, тоже учиться дальше нацелилась. Вот и попробуй жени парня, если он пасет оленей да в палатке живет. У нас оленеводу шибко тяжело найти невесту, ни одна девка из деревни идти за него не хочет, берут хоть вдовую, у которой детей трое...

— Выходит, в деревне лучше жить?

— Лучше-то лучше, — ответил Семен, — да все как смотреть. Конечно, там и клуб, и танцы, и магазины рядом, да не всякому человеку весело жить в густоте, не всякий умеет приноровиться к чужому характеру. Здесь мне никто не указчик, здесь я сам себе хозяин, если не считать, конечно, Пётры, — подмигнул он. — Пётра у нас бригадир. И потом рыбалка, охота, крутом раздолье... Нет, Калиста, — обратился он к ней лукаво обузившиеся глаза, — думаю, и внуки наши будут еще олешек пасты. Может, не на нартах ездить будут — на вертолетах: прилетят, перегонят стадо на другое место,

переночуют и назад в деревню или к другому стаду полетят... Разве могла бы ты навсегда уйти из тундры, могла б ее забыть?..

— Ну я! Я почти старуха, всю жизнь прожила... А дочки мои... Я в точности знаю, не станут здесь жить... И по семь, восемь детей, как я и сестры мои рожали, не станут рожать...

— Дак никто тебя и не заставлял десятерых рожать,— засмеялся Пётра,— родила б мне сразу сыновей, а то поперву все дочки и дочки — пятерых родила. А я думаю — нет, добыюсь своего, должен быть сын обязательно. Я человек упорный... Мы все, Вылки, такие...

Я завел разговор о легендарном Тыко Вылке, родившемся в конце прошлого века на Новой Земле, и спросил, не родственник ли он им.

— Может, и сродственник,— с задумчивым видом ответил Пётра.— Меня еще мальчиком увезли с Новой Земли, Семен уже здесь родился; отец рано помер, шел мне тогда пятнадцатый год. А о Тыко Вылке я уж потом услышал, был как-то в Архангельске, на выставку картин его зашел. Потом дневник увидел в краеведческом музее. Попросил — достали из-под стекла, в комнату усадили за стол. Часа три читал, как он жил и охотился там на острове, карту составлял для Географического общества, за которую потом медаль золотую дали... Всю жизнь вел дневник человек, для себя вел, не надеялся, что дневник тот будет храниться в музее. После, уж когда он президентом острова стал, часто писали о нем в газетах, только что удивительно — где назовут Тыка Вылка, где Тыко Вылко... Осталось еще Тыкай Вилкой назвать. А правильно будет Тыко — это значит олень маленький, а взрослый олень — ты. Окромя нас здесь ненцев с фамилией Вылка больше нет, и на Канином Носу нет. Говорят, на острове Вайгач есть еще такая фамилия, вроде сын Тыко Вылки там живет с семьей, да только мы никогда не виделись. Кто его знает, может, сродственники, а может, и просто однофамильцы...

— Пётра, а сколько же оленей в колхозном стаде?

— Пятнадцать с половиной тысяч голов. Стадо небольшое, так ведь и нас мало: пятеро пастухов. Справляемся. Всего в Малоземельской тундре двенадцать миллионов гектаров пастбищ.

— Почти четыре Италии,— присвистнул я.— Раздолье для оленей!

— Так еще мало для наших оленеводов,— покачал головой Пётра.— Для нормального выпаса одного оленка надо на год десять квадратных километров пастбищ. Ягель растет медленно, а окромя ягеля только ерник олень ест, тот, правда, побыстрее растет. Думаешь, мы пасем где придется? Вся тундра разбита на районы, у каждой оленеводческой бригады карта, где обозначен ее участок. Поголовье стад уже нельзя увеличивать, иначе пастбищ не хватит. Беречь тундру надо, зря не ездить тракторами. Там, где гусеницы прошли, ягель уже не растет, голая земля. А голая земля высыхает быстрее да выветривается. Пустыня будет тогда...

Ночевать Семен ведет меня в свою палатку. На полу уже расставлены войлочные маты; поверх — шкуры, одеяла. Над ложем натянута конусом ситцевый полог от комаров. К утру, когда выветрится запах пакулы, их через щели и дыры от искр в палатку набьются тысячи. Мне отводят место с краю, поближе к печке. Ложусь, скинув с себя верхнюю одежду, и только теперь, расслабив тело, ощущаю с особенной отчетливостью, как ноют бока, поясница, ягодицы от тряской езды на нартах по кочкарнику. Икроножные мышцы зудят, сотни клеточек тела изливают тупым ноющим покалыванием жалобы, заглушают дремотные мысли...

— Э, слыш-ко, странничек,— тряс меня утром за плечо Семен.— Вставай чай пить. Алешка собирается на озеро ехать рюжи смотреть. Подсобишь ли?

— Как не подсобить,— поднялся я.— Нужно подсобить. Самому интересно посмотреть, что попало в рюжи.

Алешке двадцать три года, ростом он на голову выше Семена, но узок в плечах, по-девичьи хрупок, задумчив, мечтателен. На губах какая-то благостная улыбка; по лицу, в лучиках чуть прищуренных глаз разлита мудрая умиротворенность, и кажется, о чем ни попроси Алешку, он ни в чем не откажет, огорчить другого для него сушая мука.

Мы выходим с Алешкой из палатки на вольный воздух, исподволь любуюсь его тонко вылепленным лицом с огромными раскосыми глазами, длинными девичьими ресницами. Он возится с собаками, что-то приговаривает ласковым голосом, окуная паль-

цы в их густую блестящую шерсть. У него вид человека, который живет сегодняшним днем, точно этот день последний в его жизни, и нужно сделать, запомнить как можно больше, всех обласкать, каждого одарить добрым словом, и все это с чувством, без суесть, со спокойной внутренней сосредоточенностью.

Сколько ни пытался отец, работающий трактористом в колхозе, пристрастить Алешу к технике, но дальше освоения механизма «Бурана», на котором Алешка зимой носится по тундре, проверяя расставленные на песца капканы, дело не пошло. С детства тянуло в тундру, томилась Алешкина душа в деревне, соблазнял простор, где можно вольготно закатиться на какое-нибудь глухое озеро порыбачить.

Когда едет Алешка на оленях тундрой, зеленеющей мхами да травами, обязательно поет. Поет тягучим, грудным, неожиданно низким для его тщедушного вида голосом. Песни его незатейливы, нескончаемы, песни без слов. Да и что слова, не слова в песне главное, важно настроение, чувство, которое рождает желание петь и ведет песню. А язык мелодии всем понятен, даже олешкам. Когда Алешка поет, олени шибче, веселей бегут. Алешкины песни подбадривают оленей лучше любого хорья.

Мальчишкой ставил капканы в нескольких километрах за деревней, сдавал в колхоз песцов и лис, собрал деньги, отец купил ружье. Во время каникул уходил из деревни в тундру, помогал дядьям пасти олешков, а в семнадцать, после окончания десятилетки, стал полномочным членом оленеводческой бригады. Теперь у него в стане своя палатка, на нем семья — жена и двое детей. Правда, дети не его, женился он на молодой вдове, у которой муж-рыбак погиб на Канином Носу в путине. Женился Алешка в один день, влюбился, как говорится, с первого взгляда, приехал в Сояны в марте прошлого года на отчетно-выборное собрание оленеводов. Раз в год ранней весной собрание, съезжаются ненцы со всего побережья Белого моря. Тут на собрании и с родственниками свидишься, тут тебе и смотрины, и сватовство, и гонки на оленях, игры всякие. За неделю, пока идет собрание, сколько холостых парней надумает жениться, сколько сердец расстрожат жаркие взгляды, сколько судеб решится в считанные дни...

— Я так думаю,— откровенничал дорогой на озеро Алешка,— понравилась девушка — жениться надо. Когда мне кавалериться за ней? Три месяца встречаться будем, а все одно не узнаешь по-настоящему, пока не женишься. А баловства да озорства с девками я не люблю...

Впереди и чуть справа от нас в распадке уже виднеется озеро, где поставлены Алешкины рюжи. Слева заросли вереска, тугие черные ягоды, как смоляные капли, облепили их игольчатые веточки. День солнечный, ветренный, комары не донимают нас. Настроение у меня приподнятое, вчерашнюю усталость как рукой сняло.

Подъезжаем к озеру. Вода прозрачная, студеная. Дно круто убегает в призывно колеблющую водорослями глубину. Маленькая лодчонка, выдолбленная из бревна, вздрагивает при каждом ударе короткого весла. Алеша гребет, стоя на одном колене, как на каноз. По временам он перестает грести и, точно отягощенный какой-то тревогой, вслушивается в затопившую все кругом тишину, высоко задирает голову и, чуть склонив ее набок от бьющего в глаза солнца, поглядывает на небо, чертя по воде расступаящуюся с журчанием под веслом борозду.

Достаёт рюжу. В ней с десяток щук, несколько крупных, увесистых, точно слитки олова, сигов, крупные окуни, пелядь.

Богатый улов, впрочем, не вызывает у Алешки особого восторга, для него это обычный повседневный труд, необременительный, но требующий определенной сноровки. Скорее радуется он не улову, а выдавшийся сегодня солнечный день, и едва мы заканчиваем осматривать последнюю рюжу, он затягивает песню, в которой явно угадывается настроение, лицо его так и светится какой-то кроткой, сдержанной радостью.

...Солнце медленно движется над тундрой с востока на запад, достигнет горизонта, устало обопрется о кромку земли, чуть надломит ее своей тяжестью, чуть скроется и, словно раздумав покидать небосклон, отдохнув, остудив жар в прохладных мхах и травах до густой закатной багряности, снова неторопливо взбирается по уступам облаков.

Тундра огромна, кажется бесконечной, в ней легко заблудиться, пропасть, но все же сколько бы ни бродил, ни плутал по ней путник, всегда будет в его душе надежда встретить людей, и выйдет ли он к побережью, где на редких тонях сидят рыбаки,

или встретит ненцев — всюду он окажется желанным гостем, всюду впустят его в дом или палатку, накормят, оставят переночевать, и, расставаясь с этими людьми, всегда испытываешь сожаление и оборачиваешься, машешь им рукой, а они машут тебе в ответ издали, стоят на холме, глядят вслед, и далеко слышен растекающийся по тундре прощальный окрик: «Попадай опять! Не забывай нас!»

Какая-нибудь сотня километров вдоль берега моря в сущности пустыя; если смотреть на карту — промежуток между двух лежащих по соседству приморских деревень, но сколь долгод из-за бездорожья путь по суше и как заметна разница в жизни, как меняется характер промысла.

Если идти от Воронова маяка дальше на восток, на побережье уже не встретишь тоней, которые ставят поморы на протяженности от Майды до Койды. В деревнях покрупнее, где много жителей, налажено хозяйство и держится молодежь, — в отдалении от моря, на берегах рек, где в верховьях есть уже и лесок, где климат заметно теплее, нет частых ураганных ветров и не так высоко затопляет пойменные луга в часы приливов.

Я шел вдоль побережья весь день и всю ночь, перебирался вброд через быстрые мелководные речушки со студеной водой, разжигал костры из плавника, сушил одежду, готовил нехитрый обед из тушенки, разогревая ее прямо в банках. Где-то впереди, у самого моря, должна была встретиться мне на пути деревенька Нижя, обозначенная на моей карте. И вот за чахлой рощицей узловатых рахитичных березок, имевших вид мученический и приниженный, показался слабый дымок, относимый ветром мне навстречу; был он почти прозрачен, едва различим на фоне бледного неба.

Весь день дул норд-ост и по морю гнало крутые волны; каким отрадным показался тогда мне этот зыбкий дымок, сколько сулил он надежду, как подстегнул воображение!

...За околицей тянутся нетронутые, несмотря на конец июля, покосы, ветер мотает стебли высокого тучного травостоя, свистит на улицах в оборванных проводах, хлопают ставнями покосившихся домов, сиротливо уставившихся на реку пустыми окнами. У берега, за излучиной реки, стоят на якоре пять карбасов, разлтых к носам, с обуженными кормами. На жердях колышатся сети, вывешенные на просушку. Жилых домов в деревушке всего несколько. Рядом с сараями белеют торцами костры нарубленных, аккуратно уложенных дров. Из дымника крайней избы курится, стелясь по ветру, сизоватая струйка.

Стучусь в дверь, но никто не выходит. На улицах ни души.

— Есть кто живой? — громко говорю я и, пригнувшись, ступаю в просторные, объятые полумраком сени.

В этой половине избы, где треть занимает большая русская печь, где вдоль стен тюфяки да кровати, все окошки закрыты. Воздух буквально звенит от множества набившихся сюда, в тепло, насекомых. Над каждым ложем сооружен полог из простыней, растянутых на веревочках.

В первую минуту я застыл от растерянности и недоумения: людей не видно, хотя явственно слышны голоса; да из продушин, специально оставленных в белых матерчатых саркофагах, курятся, поднимаются к потолку избы струи табачного дыма. Справа от меня, на печи, послышался шорох, из-под приподнятого одеяла глянуло бледное лицо с запухшими от сна глазами.

— Штормит дак который день подряд, — зевнул сладко мужик до мучительного хруста в скулах. — Эх, погоды, — вздохнул он и поскреб под рубахой грудь. Потом нехотя выбрался из-под одеяла, сел, свесив обутые в меховые липты длинные ноги, и улыбнулся добродушно и немного смущенно.

— Штормишко привалит, тут уж когда день, а когда и два поотдохнешь не своей охотой, в море-то не выйдешь проверить ставники на селедку. Тут уж мы, как говорится, по монтажу — где лежу, а где сижу. — Он крякнул, потянулся, выпятив худую грудь, и мягко спрыгнул на пол.

— Заспался, так и моторки вашей не услышал, — проговорил он и глянул в окно. — Вы с кем, извиняюсь, прибыли?

Я рассказал, что пришел пешком, объяснил, что путешествую вдоль побережья.

— Что ж, милости просим. Да вы проходите в избу-то, присаживайтесь, — словно обрадовавшись чему-то, ухмыльнулся он.

— Да-да, редко в наши края москвичи жалуют... Так, так. Значит, жизнью нашей рыбацкой интересуетесь? Это приятно. Я сейчас самовар налажу, чайку испьете с дороги,— сказал он и вышел в сени.

Вскоре из соседней избы пришел бригадир — кряжистый, степенный рыбак лет пятидесяти с обветренным лицом, узкими, пронзительной голубизны глазами.

— Семен Александрович Шувалов,— протянул он мне руку и долгим оценивающим взглядом посмотрел в лицо.

Я спросил, почему безлюдна их деревенька и так много пустых домов, оборваны провода, точно недавно здесь прошел ураган.

— Да-да деревня-то умирающая, нынешню зиму всего три жителя здесь останутся — старухи... — протянул он. — Я избу свою разобрал, а как притякнут морозы — отволоку трактором в Долгощелье, где центральная усадьба, опять по бревнушку соберу. Там. Прежние года здесь, в Ниже, колхозное отделение было, да решили в районе, что неперспективна деревушка наша.

И он стал с проникновенностью и грустью в голос рассказывать, сколь хороши здесь покосы и как обидно мужикам, родившимся и выросшим в Ниже, покидать деревушку. В прежние года содержалась тут треть колхозного стада, места хорошие для ловли в зимнюю и весеннюю путину наваги, а вот как забогател колхоз, купил на суду, взятую у государства, три рыболовецких сейнера, что ходят в Атлантику за мойвой,— и похерили прибрежный лов, сочли, что ни к чему колхозу это отделение на побережье в тридцати километрах от центральной усадьбы. Теперь приходят они сюда бригадой на карбасах из Долгощелья в июне, ставят в море дрейфтерные сети и ждут, проверяют раз в день во время прилива. Но если накатит шторм — иной раз приходится выжидать неделю и больше, а заняться на берегу мужикам теперь нечем, хозяйства ведь никакого, даже сено на пожнях косить ни к чему — не резон плавить его отсюда морем.

— Я тебе, милый товарищ, так скажу, пришлось перекинуться в Долгощелье. Теперь живем не своим домашним молочком — на магазин надеемся... Своим-то хозяйством веселей жить было. Вот обстроюсь там, дом, сараюшек поставлю — может, и заведу опять коровенку. Обретаемся здесь, почитай, второй месяц, а из-за штормов без дела тоскливо сидеть... Слабовато идет селедка сей год в наши берега. Весна была поздняя. Да и белухи развелось нонче много, столь развелось, что сил нет, рвет наши сети. А чтоб промышлять ее, белуху, никто, вишь, из начальства мозгами не раскидывает. Зря, зря. Сало ее по пятьдесят копеек за килограмм, да мясо, да шкура тоже чего-то стоит. Тонна в ней одного сала, почитай, на полтыщи. В нашем в Мезенском районе ни один колхоз не шевелится, чтоб ее промышлять.

Слева от меня дернулся полог над кроватью, кто-то кхекнул, показалась нога в шерстяном носке грубой вязки. Кряжистый, зарумянившийся со сна рыбак вылез из-под полога, сел рядом со мной на лавку, закурил.

— Я тебе, товарищ путешественник, прямо в лоб скажу — по старинке промышляем мы на береговом лове, той же методой, что деды и прадеды наши. Только в прежние года нитяны сети были, а у нас — капрон. Да-да белуху-то старики что ни год били, а мы не бьем. По двадцать пять карбасов — слышь, ходили за ней под Конушию из Долгощелья. А теперь ни единого. Теперь не то что в Архангельске да в Мезени — у нас в Долгощелье не купишь в магазине рыбку свежую. Мало, мало заботятся о береговом лове, считают, мороки с ним много. Это в прежние времена, когда были только елы да шхунки деревянные, промыслили у берегов, а теперь корабли железны, в океан ходят. Морозят в трюмах рыбу. Теперь всей деревней не выйдут с сетями на карбасах, ежели прет в берега вешней порой белуха.

— Вот наш колхоз «Север» — миллионер, — раздался за моей спиной бодрый молодой голос, из-под полога вылез невысокий моложавый рыбак. — А откуда у нас миллионные доходы? От сейнеров СРТ, что ловят мойву у далеких островов. Порт приписки у сейнеров — Мурманск, команда почитай вся наемная, вербуют ее конторские из Рыбакколхозсоюза, к которому мы относимся. Вот и выходит, что куплены суда на колхозные деньги, да имеют отношение к колхозу, как пришей кобыле хвост. Вон в колхозе «Прилив» в Ручьях — два СРТ, а в команде всего один мужик деревенский. Теперь подумай, ежели дают СРТ из трех миллионов дохода нашего колхоза два с половиной в год, так зачем председателю чесаться о береговом лове? На черта ему эта морока с белухой? Купим мы на будущий год еще один СРТ, наберут конторские в Мурманске команду из бичей, оформят их колхозниками — а те охотно идут,

потому колхознику подоходный налог платить не надо,— и будет у колхоза доход не три миллиона, а четыре. Во! Сразу перевыполнение плана. Мы вроде как держатели акций.

— Почему же ваши, деревенские, неохотно идут плавать на сейнеры? — полюбопытствовал я и рассказал им о моем знакомстве с Афиногеном из деревни Майды.

— Дак кое-кто и сходит в рейс-другой,— говорил, отмакиваясь от комаров, парень,— да только рейсы уж больно долги — по шесть-семь месяцев, а у многих хозяйство свое: у кого коровенка, у кого овцы. Да и семью подолгу оставлять нельзя без мужицкой руки в доме: сено заготовить, дрова на зиму — все ведь плавить по реке карбасом надо, женщине одной не с руки. Вот ежели б на месяц-два уйти в рейс — это дело другое, особенно в пору после сенокоса. Выходит, никак не обойтись колхозу без наемной команды на сейнерах...

Вскоре из-под пологов вылезли и остальные рыбаки, завязался оживленный разговор. Все горячились, перебивая друг друга, стараясь подоходчивей растолковать мне суть колхозных дел.

— Поглядите, что получается,— снова повел речь бригадир, голос у него был простуженный, сиплый, но сдержанная медлительность придавала особенную вескость словам. Мужики почитительно умолкли.— Там, у далеких островов, сейнеры обеспечивают колхозу план, оно и удобно для председателя. Белухой, прибрежным, озерным ловом заниматься морочливей... В районе двести сорок крупных озер, некоторые в поперечке до десяти километров, а только на Варзенских озерах ловит соседний колхоз, потому совсем уж под боком. Морока лишняя для руководства нашего — доставлять на озера мужиков, рыбу вывозить из тундры, самим время от времени наведываться... Рыба там — окунь, ерш, щука, пелядь... Ежели б выловить сорны породы да оставить пелядь, частичка, сига — куда выгоднее было б. Да коптильни там поставить, а в деревне консервный цех. Самим обрабатывать надо — и выгода, и занятие для женщин, и меньше рыбы пропадает в летнюю пору.

— Д-да,— вздохнул он прерывисто и смял крепкими, побуревшими от табака пальцами окурок.— Край у нас богатый, сколь добра под боком... В деревне, почитай, у каждого третьего моторка, и у многих рыба на столе. Для колхоза прибрежный лов — мелкий интерес, а для браконьера, что ловит семушку да сига,— не мелкий, потому что надо-то обласкать мужику брюхо.

Была неподалеку отсюда деревня Сёмжа — само название за себя говорит: семга в реку Семжу испокон шла на нерест, порой селедку вершей хорошо брали. А началось укрупнение, выселили народ, и умерла деревня, никто там не проживает, зато браконьеров теперь полным-полно на реке, промышленяют безнаказанно, рыбинспекции туда морем-то добираться из Мезени не очень ловко. Вот тебе и береговой лов.

Рыбачья деревня у нас девятьсот жителей, а на береговом промысле всего тридцать восемь человек занято. Мужики еще найдется дело — плотничать, в гараже по механической части, на тракторе работать, а девушкам так вообще заняться нечем, они после окончания десятилетки уезжают в район. Невесты в наших краях большой дефицит. Парни после армии возвращаются домой, для них всегда есть занятие, а молодой много ли радости сидеть дома? Председатель который год обещает построить промкомбинат — шкуры выделывать овечьи да шить полушубки. Сколь овец в деревне, почитай, в каждом дворе по пять-шесть голов держат, а забьют на мясо — шкуру девать некуда, так и пылятся, гниют на повети. Ну, состригут шерсть на носки бабы, а кожа-то сама да подшерсток пропадает, в землю опосля, слышь, закапываем, а за тулурами в Архангельск на базар мужики ездят, втридорога платят... Только обещаниям этим конца не видно. Ждали, ждали, да уж все жданки съели...

— И то верно говоришь, Семен Александрович,— поддержал бригадира пожилой рыбак. — Вот в соседней деревне Койде, так у них и цех по выделке морзверя и мастерская по пошиву шапок, пим из шкур белька. Там и для женщин занятие есть. Строительство ведется: то новые ясли, то АТС. Сейчас вышку ставят — через спутник телепередачи будут. Дак они и в Майде отделение сохранили, не переселили народ, у них и рыбаки сидят на тонях да озерах, рыба в магазине всегда...

Мне вспомнился недавний разговор на пароходе с моряком тралового флота, который рассказывал, что северное отделение института ПИНРО дает ежегодно лимит на отлов тысячи трехсот белух, но, к сожалению, не разрабатывает новых способов лова, стрелять же ее карабинами в открытом море бесполезно — она тотчас затонет, погибнет зря. Только и удается за сезон взять голов сто в Тарханове, где мелковод-

ная бухта и белуха в погоне за семгой сама заходит на мелководье. Тогда перегораживают горловину бухты, спускают на воду шлюпку и, запутавшуюся в сетях, ее бьют из карабина.

— Можно бы миллионные доходы иметь, а сколько селедки, сколько семги она зря изводит,— говорил мой попутчик.

Сидя в прокуренной избушке рыбаков, слушая их разговоры, я размышлял о том, как много написано очерков, рассказов и элгий, романтизирующих поморскую жизнь, такую нелегкую и сложную, а вот подумать о том, чтобы удержать сельскую молодежь на местах, никто не озаботился, и если не побеспокоиться сейчас, то, может быть, со временем обезлюдеет то же Долгощелье, потому что колхозный флот со всего побережья стоит в Мурманске, плавают на нем в Атлантике бичи из тралового флота, и кто знает, не резоннее ли со временем передать рыболовецкие суда под централизованное управление «Северьбе» в том же Мурманске, что выгоднее для государства. Можно сотни раз поражаться «какой-то нездешности и уродливой красоте» белухи, но от этого промысел ее не улучшится, не станет ее меньше, и она все так же будет истреблять семгу и сельдь в Белом и Баренцевом морях, рвать ставниковые дрейферные неводы, оставляя поморов без рыбы. Сам факт, что колхозы обогащают,— отрадный, но развитие их зачастую однобоко. В Архангельской области тысяча пятьсот озер, но никто не занимается озерным ловом, не культивирует, не разводит в них более ценные породы, не вылавливает ту рыбу, которой и сейчас полным-полно.

Однажды я был в эстонском рыболовецком колхозе имени Кирова, где все хозяйство организовано на прибрежном промысле в Балтийском море. Копченая, соленая и консервированная рыба идет не только в магазины деревень и городов, но и на экспорт. Нет отбоя от желающих со стороны вступить в этот колхоз, где и для рыбаков и для молодежи, остающейся на берегу, всегда находится дело.

Нужно отдавать дань северной романтике, воспевать этот суровый край, но надо и болеть за то, чтобы «морушки-поморушки» не разъехались с побережья.

\* \* \*

Дожидаюсь катера, который пойдет по колхозным делам в Мезень, я второй день живу в высокой просторной избе, стоящей на острове, в устье небольшой речушки. Летом речушка мелеет, и ее можно перейти вброд, не отворачивая голенищ сапог, но весной и осенью, когда споро заряжают дожди, она полнит и разливается так, что затопливает ветхий с осклизлыми и позеленевшими бревнами мосточек. Тогда хозяйка избы, старуха Августы, на некоторое время остается на острове.

Дом ее древен, сложен из гладких, потемневших от времени огромных сосновых бревен, состоит из двух половин — летней и зимней избы, которые разделены между собой стеной. Большая половина — так называемая изба с говбцем, а меньшая — горница с лежанкой. В прежние времена не всякой семье было под силу построить такую избу, и крепкий обширный пятистенок для крестьянина средней руки служил идеалом, к которому он стремился всю жизнь.

Ставлен пятистенок еще прадедом старухи Августы, потомственным помором. Сколько родилось здесь людей, сколько справлялось свадеб в этом доме, сколько было праздничных застолий. В первый год супружества молодые поселялись на вышке, маленькой комнатке о два окошка, куда ведет узкая лесенка с повети. Через окошки, глазающие из-под самой кровли, открывается прекрасный вид на реку, на протянувшуюся вдоль берега деревню с возвышающейся посредине на угоре колокольной, чистый и высокий звон колоколов которой в туманные и ненастные дни был далеко слышен поморам, идущим на карбасах с промысла.

Изяввший, усталый, но возвратившийся в деревню с добычей, ступал хозяин через высокий истершийся порог этой избы, и его встречали улыбками, скупыми слезами радости, горница наполнялась шумными голосами. И пока закипал самовар, он стягивал бахилы, отсыревшую, густо пропахшую ворванью одежду, проникаясь избынным теплом, отрадным сознанием домашнего уюта, оглядывал привычно эти увешанные лубками стены, окрашенные охрой лавки, высокобленный до тусклого блеска, крепкий с разлатами крест-накрест ножками стол. Попарившись в бане, надев чистую замошную рубаху, хозяин усаживался ужинать со всей семьей, и снова шли разговоры, неторопливые рассказы о промысле. А потом, уже полупшепотом, чтобы не разбудить уснувших детей, за пологом светлицы женщина, принякая к нему, говорила что-то ласковое, а перед глазами его все еще стояли крутые горбы и провалы зелено-



ватых волн. Жаркое дыхание отогревало его обветренные щеки, потрескавшиеся губы, ощущавшие солоноватый привкус слез.

Я лежу на широкой дощатой лежанке, так называемом говбце, пристроенном вдоль русской печи, и тихую гулкую порожность избы изредка нарушает поскрипывание стен и балок, словно дом живет какой-то своей, сложной и недоступной моему пониманию жизнью, невнятно жалуется приглушенными шорохами на свою сиротливую пустоту.

Мне чудится, что я слышу голоса живших тут многих людей, в сознании всплывают смутные мужские и женские обличья, теснятся в горнице, подступают все ближе и ближе... И вот уже возникает какая-то неуловимая слитность с ними; то, что недавно казалось призраками, облекается в плоть...

За окошками стоит призрачная белая ночь — или это уже подступил рассвет? Чуть слезятся, чуть замутились стекла от дымчатой сизой хмари, которую нагнало со стороны моря и обволокло деревню, реку, бурую полосу упирающегося щербатыми обводами в низкое небо леса. И, кажется, время растворилось в этой дымке, дни и ночи сплелись в неуловимую протяженность, чтобы заставить острее ощутить, что всяким лишним часом забывая мы отворачиваемся от мира и обделяем себя.

В соседней комнате спит старуха Августа, она часто вздыхает, ворочается во сне. Может быть, по ночам к ней возвращаются в грезах те годы, когда она была еще молодой, встретила со зверобойного промысла мужа, уходившего с артелью в торосы на три долгих зимних месяца, и бежала на берег с замирающим и опадающим сердцем. Или, может быть, видится ей, как сама она, впрягшись в ляжку, тащит вместе с товарками лодку-ледянку, удаляясь все дальше и дальше в зимнее море по заснеженным полям, перемежающимся разводьями, на промысел тюленя в сорок первом, когда в деревне из мужчин остались одни старики. Как проваливалась она в полыньи, а выбравшись, только и оставалось сушить одежду тем, что побегаешь по льдине да обоьешь с себя стынущими руками мгновенно твердеющую на ветру корку, звенящую оскретками, и забываешься за работой, не чувствуешь холода, юркая тяжелые тюленьи туши. Или, может быть, вспоминается ей то время, когда пришла похоронка на мужа, а вскорости и на двух ее сыновей. Как вопила она, как причитала тогда и рвала на себе пробитые первой сединой волосы, как томительны были дни и ночи от иссушившей намертво сердце тоски.

На стене против меня фотографии, где она совсем еще молоденькая рядом с мужем. Скупыми словами объяснила мне Августа при нашем знакомстве, когда я расспрашивал ее:

— Да-к фотография-то составлена, уж недавно делана. Все времени недоставало по тем годам съездить вместе в Архангельск. Отдельно съездились. Он уж военну карточку прислал, в пилотке был, волосья на фотографии рисованы. Просила я в мастерской фотографа, чтоб вместе нас составили, он уж уважил, сделал не худо,— говорила она с северным характерным растягом.

Очень ей хотелось иметь семейный портрет, а только и осталось от мужа, что маленькая фотокарточка, снятая фронтовым корреспондентом. Хоть теперь, по прошествии стольких лет, соединили их на семейном портрете вместе.

Научил ее муж и с карбасом управляться и из карабина зверя стрелять. И я вспоминаю, как она говорила мне:

— Никогда у нас бабы на промысле не заленивались, робили наравне с мужиками, не я одна в море на веслах да с юрком горбатилась. Ты уж ежели горазд писать — не про меня одну, про всех пиши. Почто меня приметил-то?

Я вышел из избы, начиналось утро, от воды тянуло одымью, влажно мерцавшей в косых лучах низкого пурпурного солнца. Лилово-сизая, подернутая твердым блеском река была почти недвижима, мелкие зыбульки вызванивали с едва уловимым плеском у самого берега. И казалось, что островок пльвет к морю и вскоре раскинувшаяся на угоре деревня останется позади. Оттуда слышались какие-то мерные звоны, глухое постукивание молотка о днище карбаса, прерывистые голоса... Блеклое небо над головой было непроницаемо серым, но на востоке уже начинало расчищаться и за макушками леса сквозило стилой голубизной.

После обеда маленький катерок увозил меня из этих мест, и когда миновали мы остров, старуха Августа стояла на берегу, приземистая, сужоньяя, в старом платье и котях на босу ногу, закидывала переметы на камбалу, а рядом бродила, пощипывала траву ее грязно-белая коза.

Море охватило нас крепким соленым дыханием. Прорезая мелкую зыбь длинной пенистой полосой, на западе кипел сувой. Там схлестывались холодное течение с севера и теплое со стороны реки. Я стоял на корме, жадно курил папиросу, глядя на истончавшийся, все дальше и дальше уходивший берег, и было такое чувство, словно там я оставил кого-то, ставшего мне, городскому человеку, близким в этой деревеньке, на долгом и пустынном побережье, которое прежде, когда глядел на карту, представлялось мне холодным краем земли; и раньше думалось, что если пройду его, то чем-то возвышусь в собственных глазах, но никак не предполагал я в себе этой трусти и боли, которые теперь охватили меня.

И многие лица по сей день встают в моей памяти, и мне хотелось бы сказать о северных людях гораздо больше, и не только словом, но и делом помочь чем-то им, приобщиться к их нелегкому бытию.

Вечерами, когда ноябрьские сумерки наползают на город и заморозки прихватывают пожелтую листву на ветках клена, растущего под моим окном, я невольно думаю, каково сейчас там, на Белом море. Тундра, наверное, уже заметена снегами, небо робко цедит мутный свет в короткие полярные дни, а выжатый стужей воздух обжигающе-сух, и далеко слышен под порывами ветра гул еще туже натянутых морозом проводов.

Ненцы сменили летние палатки на зимние, обтянутые изнутри шкурами. Олени движутся от замерзшего моря вглубь суши, отыскивают под снегом все еще зеленый ягель, окуная в него обметанные инеем ноздри.

Рыбак Афиноген давно убрал сети с тоней, выкопал колья на побережье, чтобы их не изломало льдами; живет в деревне, готовится к зимней путине, когда приспееет время ехать на промысел наваги на Канин Нос. Или, может быть, решение вернуться на флот созрело в нем окончательно и корабль его бороздит воды Атлантики где-нибудь возле экватора под палящими лучами солнца, а в лицо ему дуют южные ветры, теплые и влажные в отличие от студеных Полуночника, Обеденника, Шалонника на его родных берегах.

А старуха Августа, наверно, сидит в своей избе и тихо напевает над пряльцами, прислушиваясь к беснующейся за окном метели, к вою ветра в печной трубе, к грохоту ломающегося под берегом в штормовую ночь льда. И сколько терпеливости, сколько любви к своему краю и дому надо иметь, чтобы жить одной на этом крохотном островке и не соглашаться переехать в город к дочери, которая давно зовет ее к себе в удобную и теплую квартиру.

Когда я вспоминаю встречавшихся на моем пути людей, задумываюсь над их нелегкими судьбами, я забываю о всех своих мелких невзгодах и неудачах, потому что им во сто крат тяжелей, чем мне.

Придет время, и я снова вернусь туда, в эти тихие деревушки, приютившиеся на краю земли.



---

---

# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

В. АРХАНГЕЛЬСКИЙ



## СВЕТ НАД ДОРОЙ

**П**исать я не собирался. Как отважиться повествовать о живой легенде, о человеке, имя которого знакомо полмиру! О жизни и подвигах которого создана целая литература, и она продолжает пополняться. Поставлены художественные фильмы, и их смотрели миллионы. Собственная книжка которого, едва увидев свет, стала бестселлером и выдержала массу изданий на 23 языках, в том числе на русском.

Имя легенды — Шандор Радо. Да, да, тот самый — «швейцарский».

Идя на встречу с ним в Будапеште, я пытался представить себе, каков он, феномен. Мысленно набрасывал собирательный образ, но получалось нечто нежизненное. В этом убедился сразу, переступив порог заветного домика. Радо ни на кого не похож. Не похож ни в чем. И прежде всего своей удивительной, неповторимой судьбой, вместившей в себя такой мощный жизненный пласт, что хватило бы на целое поколение.

Родился и вырос в империи Габсбургов, был в юные годы свидетелем ее блеска и могущества, а затем наблюдал сокрушительный распад громоздкого лоскутного государства, раздираемого национальными и классовыми противоречиями; прошел через окопную грязь первой мировой войны и с неизбежностью убедился в ее бессмысленности, враждебности интересам народов; в дни Октября поднял в своей части красное знамя и подвергся за это заключению — первому в жизни, в возрасте семнадцати лет; стал очевидцем рождения Венгерской советской республики и с оружием в руках сражался на ее баррикадах, а после ее падения оказался в изгнании в Австрии, затем в революционных отрядах Германии; в муках, урывками начинал и бросал учебу, чтобы снова братья за оружие, или, спасаясь от преследований, а нередко и верной виселицы, пускался в очередной вояж по Европе в поисках нового вида на жительство, слал одно и принимал другое чужеземное гражданство, застревая на долгие годы там, где не хотелось оставаться и одного дня; через десятки кордонов, с чужим паспортом и под чужой фамилией — сколько их было на веку! — пробрался в революционную Россию, оказался в эпицентре великой социальной бури, пронесшейся над планетой, был на всемирном форуме коммунистов — конгрессе Коминтерна; и снова — Запад, снова борьба, организация всевозможных агентств, фирм, бюро, изготовление карт и атласов чуть ли не для всех европейских стран, для республиканской Испании в том числе; вечная тоска по милой родине, беспрестанные разлуки с женой и детьми, опасность за их жизнь и благополучие; словом, через невыносимую круговерть, наконец вплотную приблизился к осуществлению своей мечты — полностью отдаться любимой науке (картографии), утвердил свое имя среди ее светил и совершил самый главный и неожиданный перелом в своей судьбе, причем совершил сознательно, из идейных убеждений, исключительно по собственной воле и желанию, — стал разведчиком.

В 30-х годах, когда в Германии набирал силу фашизм, Радо понял, какая опасность нависает над человечеством. Он избрал оружие, которым, оставаясь невидимым, можно разить врага с колоссальной силой. Оружие, о котором еще недавно не имел никакого понятия.

— Товарищ Радо, ваша жизнь уникальна и неповторима. Что же особенно памятно и дорого?

— Называйте меня Александром Гавриловичем, я привык, и вам удобнее, — улынулся он. — Так зовут меня советские друзья. Шандор в переводе с венгерского — Александр, а Габор, имя отца, — Гавриил.

— Хорошо, Александр Гаврилович. Так вернемся к моему вопросу: самое памятное событие?

— Встреча с Лениным.

Уйпешт — пригород Будапешта. Здесь на рубеже двух веков, в ноябре 1899 года, родился Радо.

Гимназия, офицерская школа, затем артиллерийский полк, служба в бюро секретных приказов (впоследствии очень пригодятся ему приобретенные навыки). Прямым начальником Радо был некий майор Аладар Кунфи, возглавлявший бюро секретных приказов. Через его руки проходило все тайное тайных полковой жизни. Именно ему Радо обязан приобщением к марксистским идеям. Сам Кунфи был родным братом Жигмонда Кунфи — знаменитого публициста, профессора, лидера центристской социал-демократической партии, в то время рьяного сторонника Ленина. Радо стал с ним накоротке. «Крамзола» переступила порог бюро секретных приказов.

Служа в армии, Радо одновременно учился в Будапештском университете.

Когда до Венгрии дошли вести о Февральской революции в России, Радо не был еще ни социалистом, ни коммунистом. Служил в австрийской армии, ненавидя ее всей душой за отупляющий казарменный дух и прусскую муштру, чуждые ему, венгру, великодержавные интересы ее политики. В Венгерскую коммунистическую партию он вступил в декабре 1918 года.

Вскоре Шандор демобилизовался, снял мундир, начал готовиться к экзаменам на юридическом факультете. Но произошли исторические события, которые круто повернули всю его жизнь, Радо рассказывает о них в своей книге «Dora jelenti...».

«В то время компартия вынуждена была уйти в подполье, и я поддерживал связь с райкомом не в Уйпеште, где меня слишком хорошо знали, а в другом районе Будапешта, в Йожефвароше, центральном. Когда же коммунисты вышли из подполья и, к моему немалому удивлению, пришли к власти 21 марта, получив большинство мест в правительстве, жизнь моя сделала крутой поворот и оказалась отныне навсегда связанной с политическими событиями эпохи.

Венгерские коммунисты, как это известно из истории, в начале 1919 года пришли к власти при действительно необычных обстоятельствах: партия из нелегального положения сразу стала правительственной. Но к радости по этому поводу с самого начала примешивался и привкус горечи: по решению руководства весьма немногочисленная тогда Коммунистическая партия объединилась с партией социал-демократов.

Число членов компартии не превышало нескольких тысяч, в то время как социал-демократов было около миллиона. Дело в том, что каждый трудящийся, вступая в профсоюз, автоматически зачислялся в ряды социал-демократов. Мы, молодые коммунисты, с чувством тревоги восприняли весть об объединении двух партий, пришедших, таким образом, к власти, опасаясь, как бы молодая компартия не растворилась в огромной социал-демократической массе, насквозь пропитанной мелкобуржуазной идеологией.

...Через несколько недель армии близлежащих буржуазных государств выступили в поход против Венгерской советской республики: началась интервенция.

В Будапеште спешно создавались интернациональные полки, в которые входили и жившие на территории Венгрии словаки, закарпатские украинцы, румыны, югославы, болгары, австрийцы, а также русские военнопленные. Старший брат моего друга Романа Янчи, назначенный политическим комиссаром 4-го интернационального полка, обратился ко мне, бывшему офицеру, с просьбой помочь ему, и я без долгих размышлений записался добровольцем в полк в первые же дни его формирования.

Вскоре по приказу комиссара дивизии товарища Ференца Мюнниха я был назначен комиссаром 51-го пехотного полка.

Приказ поверг меня в смущение: в девятнадцать лет — комиссар полка! Я не считал себя способным на это, но привел лишь одно возражение:

— Я не пехотинец, а артиллерист.

— Прекрасно,— сказал Мюнних.— Тогда я назначаю вас комиссаром дивизионной артиллерии.

Пришлось смириться из опасения, как бы меня не назначили на еще более высокий пост.

Начались ожесточенные бои. Венгерская Красная армия перешла в наступление и освободила от интервентов почти всю территорию Словакии, где народ провозгласил Словацкую советскую республику.

Вскоре, однако, обстановка резко изменилась. Премьер-министр Франции Клемансо предложил следующий компромисс: Венгерская советская республика отводит свои войска с освобожденной части Словакии и возвращает ее чехословацкому государству, а взамен получает всю территорию Венгрии к востоку от реки Тисы, которую к тому времени захватили румынские королевские войска.

Многие из нас сомневались, следует ли идти на предложенную Клемансо подзрительную сделку. В. И. Ленин в телеграмме правительству Венгерской советской республики прямо предостерегал против коварства посулов империалистов. Но, к сожалению, республиканское правительство, в котором к тому времени большинство составляли социал-демократы, пошло на предложение Антанты...

Дальнейшее хорошо известно. 31 июля пришло известие, что республиканское правительство подало в отставку. Никогда не забыть мне той летней ночи, когда мы, коммунисты Уйпешта, в последний раз патрулировали по его улицам, охраняя рабочую власть с оружием в руках.

События развивались бурно. В столицу нагрянули контрреволюционеры Мижлоша Хорти, этого «сухопутного адмирала на белом коне» (так его презрительно называли рабочие). Начались аресты и казни.

Куда теперь? Вблизи границы с Австрией, в городке Капувар, что в области Шопрон, жил мой родной дядюшка, областной главный врач. С великими трудностями я добрался до него, а 1 сентября 1919 года бежал в Австрию. Мог ли я думать тогда, что это ясное утро станет началом моей многолетней эмиграции. Мы, венгерские политические эмигранты, в те дни были твердо уверены, что наше вынужденное пребывание за границей продолжится всего лишь несколько месяцев, что вскоре нам удастся вновь возродить и восстановить нашу венгерскую рабоче-крестьянскую республику. Ведь наша общая надежда и оплот мечтаний — советская Россия, советская власть продолжали существовать».

Молодость есть молодость. Пора надежд и безоглядной веры, особенно когда служишь революции. Шандор быстро свыкся с новым положением и включился в борьбу. В австрийской столице он основал первое в своей жизни агентство, РОСТА-Вин (РОСТА-Вена), ставившее задачей распространение на Западе правды о Советской России. Средство общения — радио. Ежедневно в эфир несло «Все! Все! Все!» — это Москва передавала заявления Советского правительства, знаменитые ноты Чичерина, которыми он бомбардировал западный мир, сообщения с фронтов гражданской войны, о социальных преобразованиях в стране. Аудитория у радио, конечно, огромная, но хорошо бы присоединить и печать...

Радо пошел советоваться к своему новому другу Косте Уманскому. Он знал, что восемнадцатилетний Костя у себя на родине слыл хорошим искусствоведам, прекрасно владел немецким, что, по-видимому, и дало повод наркому Луначарскому направить его на Запад для пропаганды новых форм революционного искусства. В 1920 году юный пропагандист появился в Вене, устроился переводчиком в австрийское министерство иностранных дел.

Уманский получал радиосообщения, переводил на немецкий язык и представлял в австрийский МИД для информации. Он и предложил Радо переводить материалы на европейские языки и размножать для левой прессы.

Так возникло нечто вроде венского отделения Российского телеграфного агентства. Радо именовался руководителем, Костя — секретарем. Ответственным редактором издания упростили стать... графа Ксавера Шаффгоча, потомка одной из самых аристократических семей Германии. Этот симпатичный долговязый мальч в годы войны попал в плен, без предвзятости наблюдал происходящее в России и заразился либерально-демократическими взглядами. Но граф, разумеется, лишь крыша (он предпочитал проводить время на охоте в своих родовых имениях в Верхней Силезии), всеми делами заправляли Радо с Уманским. «Молодые старики» — называли их.

Каждое утро в 10.00 к роскошному зданию австрийского министерства иностранных дел, где после поражения Наполеона заседал Венский конгресс, чинно и важно подходил молодой эфип. Невозмутимые швейцары, получившие от начальника отдела печати Шварца указание беспрепятственно пропускать дипломата, вежливо приветствовали гостя, не без внутренней усмешки разглядывая посланца экзотической африканской страны и недоумевая, должно быть, по поводу отсутствия экипажа у столь высо-

кой особы. Чужестранец же скалил в улыбке зубы, страшно сверкал и вращал выпуклыми глазами, топорщил огромные усищи.

Юный министерский клерк выходил навстречу и, пряча лицо в низком поклоне, придерживал дверь, а когда оба, торжественно прошествовав по длинному коридору, оказывались в его маленькой служебной комнатке, бросались друг другу в объятия и хохотали до упаду. Всю эту комедию придумал, конечно же, он, Уманский, мастак на всевозможные импровизации.

«Дипломат» забирал материалы и столь же торжественно покидал министерство.

— Собирайся, Шандор, поедешь в Москву на конгресс Коминтерна,— сказал ему Уманский.— Поедешь по чужому паспорту. Завтра узнаешь свою новую фамилию, имя и все прочее. Советую хорошенько изучить родословную, не забудь про бабушек и дедушек. Пригодится. Понял?

— Понял,— проговорил ошеломленный Радо, ничего не понимая. Костя пояснил, что он приглашен на конгресс как представитель РОСТА-Вин.

Итак, впервые он перестал быть самим собой, то есть Шандором Радо. Для конспирации решили отправить его с партией русских военнопленных. Выправили советский паспорт.

Ветхий паровозик, доживавший положенный срок, надсадно гудя и тархтя, медленно полз по весенним лесам Померании, Западной и Восточной Пруссии. Бесконечные остановки, пересадки, вокзальная толчея и суета, проверки багажа и документов. Чем ближе к русской границе, тем чаще. Советский паспорт вызывал переполох. Полицейский или таможенный чиновник опасливо брал в руки документ, с испугом, ненавистью в глазах. Чего только с Шандором не вытворяли. Снимали с поезда, отводили в участки, допрашивали, перетряхивали содержимое чемодана, грозили тюрьмой и даже расстрелом, если не откроется, кто он и с каким секретным заданием едет к большевикам. На одной станции раздели догола, посадили в ванну с горячей водой и долго скребли, пытаясь обнаружить на теле «большевистского агента» тайнопись.

И вот наконец Себеж — русская пограничная станция.

— Здравствуйтесь, дорогие товарищи,— прозвучали первые приветственные слова,— с прибытием вас в советскую Россию.

Не было конца радостному ликованию, объятиям, поцелуям. Кто-то запел «Интернационал», пели впервые без опаски, смело.

В Москве Радо не терял времени попусту. На конгрессе выходила газета «Москва», по-нынешнему — многотиражка, он стал ее сотрудником.

Судя по Биографической хронике, Владимир Ильич просматривал «Москву», ссылаясь на ее материалы в своих выступлениях на конгрессе. Думается, он придирчиво пробегал глазами изложение своих собственных речей, ибо знал за газетной братией грешок — допускать вольности, отсебятину, а иногда и прямое искажение сути сказанного, не скрывал неудовольствия и вообще весьма неодобрительно относился к печатным переложениям своих речей. (В письме Ене Варге от 8 марта 1922 года Ленин советует ему: «...никогда не цитировать моих речей (текст их всегда плох, всегда неточно передан); цитировать только мои произведения».)

Шандор превосходно знал языки, и это облегчало работу. Он просиживал в редакции ночи, забывал про еду и сон, обкладывался словарями, справочной литературой, заглядывал в сочинения классиков, чтоб точно, сохраняя стиль, манеру, образное лексическое богатство, перевести на французский и английский речь Ленина.

Конгресс открылся 22 июня 1921 года. Все памятно, будто происходило вчера. В зале грянул «Интернационал», потом пели революционные песни разных народов, в том числе венгерский марш Ракоци.

Но вот огромный многоярусный зал Большого театра, заполненный снизу доверху, замер в минуту молчания перед памятью павших и замученных борцов. Затем процедурные вопросы. Вносится предложение — избрать почетным председателем конгресса товарища Ленина. Так и называли — товарища Ленина, как всех остальных, просто, без титулов и званий. Но кто в театре не знал товарища Ленина! В едином порыве поднялись все...

Кому не знакома картина: Ленин, ссутулившись, сидит на ступеньке лестницы с карандашом в руках, низко склонившись над листками бумаги. Так вот Радо наблюдал эту картину собственными глазами.

Он со своей землячкой Самуэли сидел в первых рядах сбоку, слева, где стоял стол для прессы, накрытый красным сукном. Вдруг поблизости тихонько приоткрылась дверь и, осторожно ступая, вошел Ленин. С краю поднялись, предлагая ему пройти в президиум, но Владимир Ильич взглядом поблагодарил товарищей и приложил палец к губам: тише, мол, не будем мешать оратору. И опустился прямо на ступеньку. Так первые Шандор Радо увидел Ленина.

— Какую черту в облике Владимира Ильича вы поставили бы на первый план?— спросил я Александра Гавриловича.

— Простоту.

— Как манеру общения и поведения?

— Не только. Можно, оставаясь далеким от народа и не любя его, искусно валять такого ваньку-простофилю, посмотрите на американских деятелей, особенно когда они хотят пролезть в президенты. Милейшие парни: душа нараспашку, лучезарные улыбки, как у кинозвезд, выдавшие виды джинсы, как у ковбоев. Объятия с докерами в порту, обед в простой шахтерской столовой, да еще так, чтобы непременно попасть на телеэкран. Ленинская простота,— продолжал Радо,— предстает как высокая нравственная категория, неотъемлемая черта облика политического деятеля нового типа. Простота во всем — в образе жизни, мышлении, характере, речи, внешнем облике, поведении. Поистине Ленин был прост, как правда. Что добавить к этим крылатым горьковским словам!

В Москве в голове юного картографа Радо родилась идея: создать и напечатать карту советской России. Первую на Западе карту социалистического государства! Но чтобы ее сделать, нужно много других, и притом самых разнообразных, карт. Где их взять? Молодость не ведает запретов и границ. Приметил Шандор в кулуарах Склянского, он служил в Реввоенсовете республики. Вот кто поможет! У кого же и просить карты, как не у военного ведомства. Подошел, представился. Склянский слушал, но понимал плохо.

— Чувствую, без переводчика не обойтись,— вдруг послышался голос рядом.

Обернулся — Ленин. Стоит и улыбается, поглядывает на них,

— Итак, в чем дело, товарищ? — обратился он к Радо по-немецки.

Конфузаясь и краснея, Шандор изложил просьбу.

— А зачем, позвольте полюбопытствовать, вам понадобились карты России? — спросил Владимир Ильич.

— Я, товарищ Ленин, занимаюсь... простите... учусь на картографа. Хочу попытаться сделать для Европы карту советских республик.

— Для Европы! О, это уже интересно,— оживился Владимир Ильич.— Весьма интересно, товарищ... гм...

— Радо моя фамилия, Шандор Радо.

— Вы венгр?

— Да, товарищ Ленин. Правда, сейчас живу в Вене, в эмиграции.

Ленин взял его за руку выше локтя и неторопливо прошелся с ним по залу. Забрал вопросы. Сколько лет? Есть ли семья? Где родители? Кто они, чем занимаются, каких взглядов? Как относятся к его революционной «греховности»? Как живет на чужбине?

— Эмиграция не мать родная,— сказал задумчиво, вспомнив, должно быть, свои годы изгнания, Владимир Ильич.— Немалого мужества и выдержки требует от человека.

— Ничего, товарищ Ленин,— отвечал Радо,— это ненадолго. Вот накостылаем по шее буржуям, сметем с нашей земли и вернемся домой. Знамя мировой революции, товарищ Ленин, снова взвевается над венгерской землей.

Робость как рукой сняло.

— Чем занимаетесь в Вене, товарищ Радо? — снова вопрос.

— Перевожу на европейские языки бюллетени РОСТА и распространяю в левой прессе.

— Бюллетени? Георгий Васильевич что-то говорил про них. У вас там агентство?

— Да, товарищ Ленин, агентство, РОСТА-Вин называется.

— Вспомнил. Чичерин обещал прислать два-три бюллетеня. С удовольствием полистаю. Но вернемся к картам, товарищ Радо. Ответьте мне на такой вопрос: можно ли, а если можно, то каким образом отобразить в картах хищническую сущность и политику империализма?

- Затрудняюсь ответить, товарищ Ленин. Этим еще никто не занимался.
- Знаю, товарищ Радо, знаю. Ну а если попробовать?
- Наверное, можно.

— Посмотрите, каким был мир до четырнадцатого года. Сравните с тем, каким стал после семнадцатого. Произошла истребительная, развязанная кучкой международных бандитов империалистическая война, унесшая в могилу жизни миллионы людей. Революции в России, Германии, Венгрии, Словакии, Баварии, классовые сражения во многих других странах. Крах трех древнейших европейских династий, образование новых государств. Создание Коммунистического Интернационала. И вместе с тем непрекращающаяся грызня капиталистов за новые рынки сбыта, передел колоний, рост противоречий и неизбежность новых захватнических войн. Теперь скажите мне, товарищ Радо, может ли картография как наука стоять в стороне от всех этих исторических процессов?

- Не может, товарищ Ленин! — убежденно воскликнул он.

— И я говорю: не может. Не должна. Надо решительно и бескомпромиссно вносить классовое содержание в науку. Вы согласны со мной, товарищ Радо?

- Совершенно согласен, товарищ Ленин!

— Ну вот мы и договорились,— заключил удовлетворенно Владимир Ильич и вдруг, взглянув в сторону Склянского своими карими, с добрым прищуром глазами, предложил:— А может, останетесь у нас в России, товарищ Радо? Нам сейчас позарез нужны толковые специалисты-картографы. Задумали мы тут одно большое дело, а людей стоящих не хватает. Ну-с, решайтесь.

Радо растерянно молчал.

— Хорошо, пусть будет так, товарищ Радо,— Владимир Ильич дружелюбно потрепал молодого венгра по плечу.— Желаю успеха. Вернетесь в Вену — передайте мой привет и благодарность коллегам по агентству. Что до карт, думаю, товарищ Склянский поможет, я присоединяюсь к вашей просьбе...

Вот так получилось, что у истоков научной деятельности Радо встал Ленин.

— И я горжусь этим, постоянно подчеркиваю,— говорил мне старый профессор.— Вернулся я в Австрию после конгресса,— продолжал он,— и, как-то само собой получилось, взялся за изучение работ Ленина. Привез из Москвы целый чемодан: «Материализм и эмпириокритицизм», «Детская болезнь «левизны» в коммунизме», «Империализм, как высшая стадия капитализма», «Государство и революция».

Мысль Ленина всегда смелая и новаторская, всегда доказательная и глубоко аргументированная, всегда побуждающая к проникновению в суть, сердцевину явления, события, факта, к раздумью, о чем бы ни велась речь; всегда гибкая, пластичная мысль — логическое, самоназревшее руководство к действию.

Между прочим, я сообщил Радо не лишенный значимости факт.

- Вы говорите, в беседе Владимир Ильич назвал ваше агентство?

— Именно так. Даже пообещал посмотреть выпуски наших бюллетеней.

— И знаете, Ленин сдержал слово — просмотрел один бюллетень.

— Что вы говорите?! Нет ли пометки какой?

— И пометка имеется, ленинской рукой начертана. Бюллетень за двадцать шестое июня двадцать первого года, номер 270, в руки Ленина попал в конце месяца, еще продолжалась работа конгресса Коминтерна.

— А что за помета на нем?

— На обложке написано «в архив» и трижды подчеркнуто это слово синим карандашом, что обычно означало: прочел с интересом — важно, нужно, запомнить.

— Где сейчас тот ленинский экземпляр?

— Долгое время находился в кремлевской библиотеке Владимира Ильича. Ныне хранится в Центральном партийном архиве... Александр Гаврилович, — поинтересовался я, — а карты-то вы получили, что просили тогда в Кремле?

— Могло ли быть иначе! Пухлый сверток доставили прямо в отель. Даже фамилия сотрудника ВЦИК, вручавшего его, сохранилась в памяти — Егоров. Так и сказал: от товарища Ленина. Там была полная серия топографических карт европейской России масштаба 1:426000, карты Российской империи, новых административных единиц. Скромяне картографические золушки, бледенькие, на грубой, шершавой бумаге, они не поражали ни гланцем, ни красками, как, например, их богатые сестры в Венском и Лейпцигском университетах, где я проходил курс, но ведь — от Ленина! Увы, в ту пору я не смог приступить к работе над атласом — все время отнимало РОСТА-Вин. Правда



о советской России на Западе «по милости Антанты» тщательно скрывалась. У нас же было одно средство общения — радио. Как я уже говорил, и оно усердно служило делу. Ежедневно в эфир несло «Всем! Всем! Всем!». Ежедневно шла информация о жизни в советской России, и ежедневно за дело принимались переводчики. И вот уже бюллетени со свежими московскими новостями заполняли стол: немецкий, английский, французский тексты. Они рассылались по всему миру — в левые газеты и организации. Иногда поступали радиogramмы со статьями «Правды» и «Известий» по вопросам международного рабочего движения и мировой политики. Однажды произошло чудо. В помещении агентства зазвучал голос Ленина! Вместе с ним в нашу полуголодную духовную жизнь как бы ворвались свежие ветры из советской России. Просто и доступно Ленин говорил о том, что такое советская власть, чем отличается от власти помещиков и капиталистов, какие цели ставит перед собой, как и кем осуществляется. Затем прозвучали речи о крестьянах-середняках, Третьем Интернационале, Красной Армии, памяти Свердлова и другие. И вдруг слышим имя Бела Куна! Нашего наркома и дорогого товарища. Ленин рассказывает о переговорах с ним по радио. «Товарищ Бела Кун,— слушали мы, притихшие, безмолвные, взволнованные,— хорошо знаком был мне еще тогда, когда он был военнопленным в России и не раз приходил ко мне беседовать на темы о коммунизме и коммунистической революции. Поэтому когда пришло сообщение о венгерской коммунистической революции, и притом сообщение, подписанное товарищем Белой Куном, нам захотелось поговорить с ним и выяснить точнее, как обстояло дело с этой революцией. Первые сообщения о ней заставляли несколько опасаться, не было ли обмана со стороны так называемых социалистов или социал-предателей, не обошли ли они коммунистов, тем более что те сидели в тюрьме. И вот на другой день после первого сообщения о венгерской революции я послал радиотелеграмму в Будапешт, прося Бела Куна прийти к аппарату, и задавал ему вопросы такого рода, чтобы проверить, он ли там присутствует, и спрашивал его, какие реальные гарантии имеются относительно характера правительства, его действительной политики. Ответ, который дал товарищ Бела Кун, был вполне удовлетворителен и рассеял все наши сомнения». Далее шла речь о первых успехах Венгерской советской республики, социализации промышленности...

По лицам моих товарищей текли слезы, и они не стеснялись их. Они впервые слышали Ленина, впервые узнавали о том, как русская революция, сама истекавшая кровью, протянула издалека нам руку братской помощи. Вдохновляла, ободряла, поддерживала. Ленин говорил с Белой Куном! И по горячим следам, в разгар венгерских событий, счел нужным поведать о них — пластинки были наговорены в марте девятнадцатого года — русским рабочим и крестьянам. Ленин обращался и к нам, принесся в Вену свое страстное, правдивое слово. Бог мой, да ведь это редчайшая пропагандистская возможность! Голос Ленина должны услышать как можно больше трудящихся австрийской столицы. Сказано — сделано. Повсюду на площадях и улицах города появились плакаты: приходите в зал Дрехера, услышите подлинные речи Ленина и их перевод. Что тут началось! Настоящее паломничество! Через зал Дрехера прошли и все венгры-эмигранты, в этом был особый расчет. Дело в том, что в дни венгерской революции в австрийской печати появились злонамеренные сообщения, будто Ленин недоволен Венгерской советской республикой, критикует ее. Клевету подхватила пресса других стран. Бела Кун просил Москву опровергнуть слухи. И меры последовали незамедлительные. Чичерин направил австрийскому правительству ноту, в которой указывалось, что ни Ленин, ни какой-либо другой член российского Советского правительства никогда не высказывался в смысле порицания ни в манифестах, ни каким-либо образом по поводу Венгерской республики или Бела Куна, как это приписывают Ленину венские рептилии. Советская Россия, говорилось в ноте, смотрит с величайшей братской привязанностью на советскую Венгрию и с изумлением — на достигнутые ею результаты. Товарищ Бела Кун глубоко уважается и ценится Лениным и всей советской Россией, и его блестящая работа признается ими по достоинству. Нота была опубликована в «Правде», но мои соотечественники не знали об этом. И вот мы воспользовались подходящим случаем и сопроводили речь Ленина о переговорах с Белой Куном своим комментарием.

С установлением прочных дипломатических отношений между двумя странами отдел печати советского посольства стал восприимчивым агентству. Радо начал сотрудничать в журнале — органе Коминтерна для стран Юго-Восточной Европы. Постоянно

ными агентами его были немцы, австрийцы, болгары, чехи, венгры-эмигранты, югославы, румыны. Как бывшему военному Радо поручили вести обзоры, в том числе с театров гражданской войны в России. Легко сказать — вести обзоры, но как это делать, находясь за тысячи километров от буденновских конармейцев? Приходилось ежедневно перелопачивать горы материалов из буржуазной прессы, чтобы, отбросив девяносто девять процентов плевел, наскрести микроскопический процент — но зато убойной силой — истины.

Иногда выручали советские газеты. Путь их был длинен, опасен и ненадежен. Из Мурманска на рыбацкой лодке, под покровом ночи, тайком в норвежский порт Вардё, оттуда пароходиком, тоже, естественно, нелегально, в Тронхейм, далее железной дорогой в Христианию (нынешний Осло). И уж после этого по европейским городам и весям — до столицы альпийской республики. Газеты фотографировали и рассылали, как и бюллетень РОСТА-Вин, в левые организации.

Однажды Радо вызвал к себе редактор журнала Лео Ланя, австрийский коммунист, впоследствии известный левобуржуазный писатель.

— Слушай, Шандор, тебя похвалил Ленин,— сказал он.

— Меня? Ленин?

— Именно тебя. Ему понравилась твоя статья о британской интервенции в Персии.

Поздравляю.

Молодой человек ходил в тот день сам не свой, окрыленный неожиданной новостью. Ленин читал его статьи!

...Итак, атлас. Известен первый ленинский документ об атласе — записка от 10 августа 1920 года в Петроградский Совет. В ней говорилось:

«Прошу издать атлас. *погобный* книге «Железные дороги России» (издание картографического заведения А. Ильина, Петроград, 1 сентября 1918 года),

- 1) т. е. в одной книжке малого формата;
- 2) карты на 2 страницах книги по возможности *без загибания* листов;
- 3) на каждой карте *новые* границы губерний (с такими же цветами для *каждых* губерний, как у Ильина). *Все* уездные города вставить;
- 4) железные дороги с указанием *каждой* станции;
- 5) *новые* государственные границы;
- 6) особо: области и территории, отошедшие от бывшей Российской империи (на особой карте);
- 7) приложить *несколько* исторических карт, с указанием *линии фронтов* (гражданской войны) в разные периоды 1917—1920 годов».

— Бог ты мой,— воскликнул Радо,— да это же целая программа! Не указание политического деятеля, а задание ученого-специалиста. Интересно, как далее развивались события?

По-ленински: любое дело доводить до конца, каким бы оно ни казалось в масштабах революции. Не проходит и десяти дней, как в Петроград направляется вторая записка. Владимир Ильич уже загорелся, живет атласом.

23 апреля (сразу после дня рождения) следующего, двадцать первого года Ленин знакомится с пробным экземпляром «Атласа России», с неудовольствием обнаруживает массу недостатков и ошибок. Немедля садится за обстоятельное рецензирование атласа и 24 апреля отправляет в Петроград свой отзыв. Еще через день создается Особая научная комиссия по выпуску атласа под председательством военного инженера В. Кайсарова с включением в нее академика Д. Анучина, профессоров А. Борзова, Ю. Шокальского и других. *Предписывается: отчеты* о работе комиссии е ж е м е с я ч н о присылать в Совнарком Ленину.

Дело затягивалось, возникли неувязки. Засевшие за работу ученые не поняли до конца грандиозности дела. А тут Владимир Ильич тяжело заболел. После его смерти издание стало именоваться в печати «Ленинским географическим атласом», или «Географическим атласом Ильича».

Радо окончил университет, и все эти годы мысль об атласе по империализму стучала в его сердце, как пепел Клааса в сердце Тила Уленшпигеля. Она не казалась ему более несбыточной и фантастической.

Миновали годы напряженной работы, настал срок, и Радо мысленно доложил Ленину: атлас по империализму готов. Он был выпущен издательством «Ферлаг фюр литератур унд политик» в 1930 году в Берлине, затем в Токио, Лондоне. Тиражи расходились моментально. Атлас пошел по странам мира. Недавно коллеги из ГДР решили преподнести сюрприз к 80-летию Радо — переиздали атлас факсимильным способом. Он написал предисловие, поведал о помощи Ленина.

«Идея издания такого, составленного с материалистических позиций, «Атласа» принадлежит не кому-нибудь, а Ленину. Таким образом, эта работа с полным основанием и правом может быть названа марксистско-ленинским атласом.

Летом 1921 года мне представилась возможность участвовать в историческом третьем конгрессе Коммунистического Интернационала. Пребывание в Москве я использовал не только для выполнения своих политических и журналистских задач, но и, будучи начинающим географом и картографом, для сбора материалов к первой политической карте и схеме дорог советской России.

Необходимый материал в виде карт достать было не так уж легко... Карты всех видов находились в ведении Народного комиссариата обороны. Во время перерыва на конгрессе, который заседал в Большом Кремлевском дворце, я попытался в одном из коридоров высказать народному комиссару обороны (здесь неточность, имеется в виду Э. М. Склянский, заместитель председателя Реввоенсовета Советской республики.— В. А.) свои пожелания относительно картографического материала. Однако мои познания в русском языке простирались не так далеко, а знание языков у комиссара было еще меньше, так что наше собеседование не могло сдвинуться с места.

Выход нашелся. Проходивший мимо человек небольшого роста, с острой бородкой и весело посматривающими глазами предложил нам, бурно жестикулирующим руками, но тем не менее абсолютно не понимающим друг друга, свою помощь переводчика. Конечно же, мы с радостью приняли эту помощь товарища Ленина, а это был именно он... Ленин поинтересовался моими картографическими планами и намерениями. В коротком разговоре, который на всю мою жизнь стал основополагающим, он рассказал, чего ожидает от картографии, наполненной духом классовой борьбы.

Прошли годы бурной жизни, прежде чем я смог воплотить эту мысль в картографической форме. Моей потаенной мечтой было, чтобы Ленин написал предисловие к этой работе. Но его уже не было, когда это картографическое собрание вышло в 1930 году в Берлине и в 1931 году в Японии. Предисловие написал его соратник, историк английского рабочего движения Федор Ротштейн. Известный ориенталист, он был в свое время первым советским послом в Персии (Иране). Атлас должен был издаваться в трех томах: первый, который перед вами,— об империализме, второй — о рабочем движении, третий — о Советском Союзе. Национал-фашизм перечеркнул этот план.

Полностью переработанное издание «Атласа» появилось в Лондоне в 1938 году под названием «Атлас от сегодняшнего до завтрашнего дня». На его содержание уже тогда легла тень второй мировой войны. Чешское издание должно было выйти в свет в марте 1939 года, в тот день, когда нацистские войска вступили в Прагу и уничтожили все материалы.

И вот теперь я могу держать в руках самый прекрасный подарок к своему 80-летию — новое рождение своего труда, созданного простыми средствами, но с боевой страстью. Еще раз спасибо всем, кто работал над ним».

Но первой ласточкой были карты. Радо понимал, что борьба с мировым империализмом и фашизмом не может быть успешной без решительной защиты Советского Союза — единственного в то время социалистического государства, оплота и надежды международного рабочего класса. Запомнились строки из резолюции конгресса Коминтерна: советская Россия остается первой и важнейшей твердыней мировой революции, безоговорочная поддержка советской России была и есть первейшая обязанность коммунистов всех стран.

Шандор Радо сделал выбор, навсегда связал свою судьбу со Страной Советов. В ней он нашел свою вторую родину. Часто приезжал в Москву, подолгу жил здесь и работал. Он готовил карты и путеводители по СССР, писал статьи для всевозможных сборников, альманахов, энциклопедий, выходящих на Западе, выступал с лекциями и докладами. В 1924 году в память о великом вожде Радо изготовил политическую карту

советских республик. Следующим был путеводитель на немецком и английском языках, изданный в 1925 году в Москве. Имя Радо становится широко известным в картографическом мире. Заказы поступали со всех сторон. Для немецкой энциклопедии «Мейер» он написал все содержащиеся в ней статьи по Советскому Союзу, сделал карты нашей страны для всех больших атласов, издаваемых в Германии. В Париже вышла подготовленная им карта первого пятилетнего плана, в Германии — европейской части нашей страны, в Женеве — карта СССР на французском, немецком и английском языках. В редакции «Большого советского атласа» он участвует в подготовке тома по иностранным государствам. Другим направлением научной деятельности Радо становится география и картография рабочего движения.

Приведу еще отрывок из рассказа Шандора Радо:

«Сближение правящих кругов Англии и Франции с фашистскими державами вынуждало меня хотя и с тяжелым сердцем, но всерьез подумывать о свертывании деятельности агентства Инпресс (Независимое агентство печати), о том, чтобы целиком посвятить себя научной работе как географа и картографа. Ведь за все время пребывания в Париже я не прекращал заниматься научными вопросами, стал сотрудником журнала парижского географического общества, готовил актуальные карты для французской прессы, а также редактировал том «Большого советского атласа мира», содержащий географические карты иностранных государств. С этой последней работой была связана и моя поездка в Москву в октябре 1935 года.

На этот раз, прибыв в Москву, я тотчас направился к старинному зданию на улице Разина, где помещалась редакция «Большого советского атласа мира». Там работал превосходный коллектив молодых картографов и географов, принявших меня с радостью. Встретился я и с моим старым другом Николаем Николаевичем Баранским, известным советским географом, который в то время возглавлял географическую редакцию Большой Советской Энциклопедии. По его предложению в разное время я написал несколько статей для Энциклопедии, в том числе о Венгрии (политическую часть этой статьи писал Бела Кун). Далее я имел встречи с венгерскими и немецкими товарищами, с которыми хотел посоветоваться относительно Инпресса. Однако дела мои приобрели совсем иной и неожиданный для меня поворот.

Скоре после моего прибытия в Москву мне в гостиницу позвонил один венгерский товарищ. Мы встретились. В ходе нашей беседы он сказал, что у него есть некоторые связи с Генштабом Красной Армии и он там уже говорил о трудном положении, в котором находился Инпресс. Впрочем, я сам за день до этого жаловался по этому поводу своим венгерским друзьям. Товарищ сказал, что, по мнению работников Генштаба, в борьбе против фашизма я принес бы гораздо большую пользу, если бы, оставив обреченный на увядание Инпресс, перешел на другое поприще. И если я не возражаю, он мог бы представить меня соответствующим лицам.

Так началась новая глава в моей жизни.

В условленный час мой венгерский знакомый привел меня на квартиру, где мы встретились с Артузовым, одним из руководителей разведывательного управления Красной Армии в то время. Артузов сообщил мне, что Семен Петрович Урицкий, начальник разведывательного управления, хотел бы побеседовать со мной лично. Он рассказал мне об Урицком, о том, что тот еще до революции стал членом партии и имеет большой опыт нелегальной работы, в период гражданской войны на Царицынском фронте был начальником штаба и руководителем оперативного отдела 14-й армии. Артузов отзывался о нем как о выдающемся военачальнике, смелом и образованном.

В комнату вошел крепкого сложения, моложавый, лет сорока военный с небольшими усиками. На его гимнастерке сверкали два ордена Красного Знамени. Урицкий в учтивых словах осведомился о том, как я доехал, как устроился в гостинице, а затем прямо перешел к делу, не тратя времени на предварительное знакомство. По-видимому, у него были точные сведения обо мне.

— Я слышал, — сказал Урицкий, — у вас немалые трудности с агентством?

— Да, в настоящее время стало очень трудно работать, — признался я. — А если вспыхнет война, то, по всей вероятности, придется ликвидировать Инпресс окончательно.

Затем я подробно познакомил его с положением, в котором находилось агентство. Урицкий пристально смотрел на меня, о чем-то размышляя. На его лбу появилась глубокая морщина, глаза чуть прищурились.

— Я все понял,— сказал он, словно подводя итог.— Меня уже информировали, что вы согласны помочь нам. В таком случае, пожалуй, вам следует выбрать другую страну для постоянного местожительства. Давайте-ка вместе подумаем, где бы вы могли обосноваться на случай войны.

Урицкий встал, закурил, прошелся по комнате.

— Я хотел бы, чтобы вы хорошо представляли себе цели и задачи нашей работы. Нам известно, что вы не новичок в конспиративной деятельности, поэтому-то мы и пригласили вас. Однако для советского разведчика хорошая конспирация — это еще далеко не все. Надо уметь быстро ориентироваться в меняющейся политической ситуации, ведь разведка — это работа политическая. Прежде всего необходимо определить на данный период наиболее вероятных военных противников и только после этого привести в действие всю систему органов разведки. Вы сами хорошо знаете, что в Европе есть немало потенциальных противников Советского Союза. Но в первую очередь это Германия и Италия. Исходя из этих объективных обстоятельств, мы определяем и строим стратегию нашей разведки в капиталистических странах. В общих чертах это, пожалуй, и все.— Урицкий сел в кресло подле меня.— Давайте теперь решим, куда вас следовало бы перебазировать. Вы хорошо говорите на нескольких европейских языках, это я знаю. Итак, куда бы вы хотели поехать и каким образом прикрыть свою деятельность?

— Мне думается,— ответил я,— наилучшим вариантом было бы открыть где-либо картографическое агентство. Я с успехом уже возглавлял подобное агентство в Германии, потом во Франции. Оно называлось сначала Прессегеографии, а во Франции — Геопресс. Что касается страны, то проще всего обосноваться либо в Бельгии, либо в Швейцарии. По моему мнению, Швейцария едва ли вступит в войну, но для открытия агентства разрешение властей легче получить в Бельгии, а оттуда уже проще будет перебраться в Швейцарию..

Таким образом, из беседы с Урицким и Артузовым мне стало ясно, что в будущем для Советского Союза, как они считали, наибольшую опасность представляют нацистская Германия и фашистская Италия. Оба государства лихорадочно вооружаются, воскрешают и раздувают среди населения дух реваншизма, ведут оголтелую антикоммунистическую и милитаристскую пропаганду. Поэтому вполне возможно, что в случае войны именно эти агрессивные державы будут главными военными противниками Советского Союза. Значит, нам необходимо пристально наблюдать за их деятельностью на международной арене и своевременно раскрывать тайные планы фашистских главарей в отношении Советского Союза. В этом-то и состоит конкретная цель советской разведки».

Началась война. Из Женевы в Центр поступила радиограмма: «23.VI.41. Директору. В этот исторический час с неизменной верностью, с удвоенной энергией будем стоять на передовом посту. Дора».

Позже станет известно: днем раньше в Центр пришла радиограмма из Токио — от Рамзая. В обоих посланиях заверение в верности революционному долгу, мобилизационная готовность к подвигу. Разделенные многими тысячами километров, два легендарных советских разведчика, коммунисты-интернационалисты Радо и Зорге поняли, какая опасность нависла над Отечеством пролетариев всего мира.

Радиограммы, радиограммы, радиограммы. 6 тысяч! Столько послала Дора за время войны. Но не только количество — удивляет их поразительная достоверность. Когда донесения Радо из перехваченных гитлеровской контрразведкой и хранящихся в гестаповских архивах после войны начали проникать в западную печать, первой реакцией было удивление. Невероятно! Знать секретнейшие приказы верховного главнокомандования вермахта, стратегические и оперативные планы, содержание конфиденциальных бесед фашистских бонз, дипломатических переговоров, дислокацию и перемещение воинских подразделений от армейских группировок до дивизий и полков! Непостижимо! Неслыханно! Удивление сменилось недоумением, недоумение — яростью. Оголтелые неонацисты и реваншисты подняли вой об «ударе ножом в спину», «измене века», «национальном предательстве», погубившем «доверчивого» фюрера, зывали к отмщению.

День за днем, вернее ночь за ночью, над городами и весями, равнинами и горами, озерами и реками, фронтами кровопролитных сражений неслось: «Дора! Дора! Дора!» Придет время, и гитлеровская военная разведка, сев на хвост советских передатчиков, поломает голову над этим таинственным словом. Что это такое, бодрствующая

ночи напролет дьявольская Дора,— женское имя? подпольная кличка? закодированное название группы? символическое обозначение места?

Началась охота. Дело взял в свои руки центр радиотехнической разведки на Магейкирхплац в Берлине, во главе которого стоял генерал Эрих Фельгибель. Рапорты направлялись на самый верх — шефу абвера адмиралу Вильгельму Канарису.

Над группой Радо нависла серьезная опасность.

Представим его жизнь в Швейцарии. Для властей, заказчиков, соседей по дому № 113 по улице Лозанны на окраине Женевы, в мелкобуржуазном квартале Сешерон, для собственных детей и тещи — респектабельный ученый, глава фирмы современной картографии, нежный отец и приветливый зять (к вечеру без цветов в доме не появлялся). Заказы на карты и атласы, связи и контакты чуть ли не с пол-Европой. Почтовый ящик в отделе печати Лиги Наций — центра мировой политической жизни. Огромное здание ее располагалось в нескольких минутах ходьбы от дома. Официальные встречи, приемы, пресс-конференции, рауты и т. д. И все это, в том числе любимые карты, атласы, альманахи, — лишь ширма другой, настоящей, подпольной деятельности. Полная риска и опасностей, она протекала рядом, параллельно, часто пересекаясь с мнимой, ибо выполняли ее одни и те же люди, прежде всего сам Радо — ученый, бизнесмен, разведчик, отец семейства.

Его часто спрашивали — как? Как он, сутубо мирный человек, географ, привыкший к постоянному окружению своих неизменных широт и координат, циклонов и тайфунов, океанов и заливов, вулканов и гор, смог в течение многих лет, оставаясь неуязвимым, руководить разведывательной группой из 70 человек (феномен в истории разведки!), не имея за плечами специальной подготовки.

«Мне никогда и в голову не приходила мысль, — писал Александр Гаврилович в предисловии к своим мемуарам, — что я стану разведчиком. Разведка — сложное поприще, она требует особой подготовки. Люди, которые этим занимаются, проходят обучение в специальных школах. Я же никогда не оканчивал подобных школ. Меня всегда влекла наука, в частности картография и география. Но кроме научной деятельности у меня было еще одно страстное стремление — желание участвовать в борьбе за свободу и демократию, против фашизма и войны».

Часто вспоминались встречи с Урицким и Артузовым. Они тоже не были профессиональными разведчиками, считали себя прежде всего партийцами, направленными на особо опасный фронт — на борьбу с контрреволюцией. Ни специальных школ, ни курсов, ни училищ и академий у советской родины тогда еще не имелось. Из царской охраны кадры не возьмешь. Приходилось расти, закаляться, набираться ума-разума буквально на ходу, в схватках с коварным и хитрым врагом.

Однажды на глаза мне попала памятка сотрудникам ЧК. Дата — июль восемнадцатого. Время, когда ни обширного свода законов, ни четко разработанных присяг, уставов, циркуляров у новой России еще не могло появиться. А вот чекисты имели свои правила. Памятка требовала: чекист, будь всегда корректным, вежливым, скромным, находчивым; не кричи, будь мягким; прежде чем говорить, подумай; на обысках будь предусмотрительным, умело предостерегай несчастья, будь точным до пунктуальности; всегда помни — ты призван охранять советский революционный порядок и не допускать нарушения его...

Канарис был уверен: в Швейцарии действует отборный отряд фанатиков, обученных и выдрессированных в лучших советских разведшколах. Была создана специальная зондеркоманда. Немецкие пеленгаторы с французского берега Женевского озера, а также со стороны итальянской и германской границ начали прощупывать наперехлест всю территорию Швейцарии. Цель состояла в том, чтобы установить местонахождение радиоквартир с точностью до квартала и дома. Для внедрения в группу засылали провокаторов и агентов гестапо. Контролировали часть переписки с Центром, затем на какое-то время фашистская разведка получила возможность посылать в Центр по каналам Радо дезинформационные телеграммы. Кольцо слежки сжималось. Последовали первые аресты.

И они немало озадачили. Никакого «отборного отряда». Таинственная, всезнающая Дора, нагнавшая столько страха, не дьявольский код, а всего лишь фамилия навыворот — Радо. Руководителя, венгра по национальности. В группе не было ни одного кадрового советского разведчика. Никто, кроме Радо и его жены (она скрывалась под подпольной кличкой Мария), не бывал в Советском Союзе.

Всю войну гимmlеровское гестапо билось над вопросом — кто? Кто те люди в рейхе, что поставляют Радо секретную информацию? Шаг за шагом контрразведка подбиралась к «Красной тройке» (такое кодовое название было дано группе Радо). Запеленговать удалось, в код проникнуть смогли, завести игру с Центром (разгаданную Москвой и потому с самого начала обреченную на провал) попытались, адреса и явки многих членов группы установили, агентов внедрили, передатчики обезвредили, собрать материалы на Радо — собрали. Оставалось сделать последний шаг — выследить и нанести удар по источникам в Берлине.

Но решающий шаг сделать не удалось. Тайна поразительного информирования швейцарской разведгруппы осталась неразгаданной. И поныне западные историки, писатели, журналисты, охочие до сенсаций и вымыслов, изощряются кто во что горазд. Кого только не подозревают в шпионаже! Даже партайгеноссе Бормана, правую руку Гитлера по партии, чуть ли не зачисляют в осведомители советской разведки.

Клубок противоречивых легенд сложился вокруг одного из самых удивительных сотрудников Радо — Люци. Одни называют загадочного Люци, Рудольфа Рёсслера, лучшим разведчиком второй мировой войны, подлинным патриотом Германии, другие, неонацисты, реваншисты и их духовные пастыри, — шпионом, предателем немецкого народа, продавшимся красным. Но это ложь. Радо не покупал ни Люци, ни кого-либо другого из своих сотрудников. Рёсслер сотрудничал с ним как идейный противник нацизма, не требуя никакой платы за свои ценнейшие сведения. Собственно, Радо и не смог бы «отблагодарить» его, если б даже захотел, ибо ни разу не встречался с ним, не знал подлинного имени. Люци категорически отказывался от личных контактов. Лишь после войны, когда о Рёсслере были написаны бесчисленные статьи и вышли книги, стала известна его биография.

В Венгрии выпущена книга Бернда Руланда «Глаза Москвы», которую Радо считает, и написал об этом в предисловии, прямым дополнением своих мемуаров. Руланд, бывший офицер войск связи, проходивший в годы войны службу в телетайпном центре верховного главнокомандования вермахта, проливает свет на загадочных информаторов Рёсслера. «Ответ на вопрос, — пишет он, — откуда черпал свои сведения Рудольф Рёсслер, — очень прост и в то же время потрясающ. И хотя в этом усомнятся историки, военные специалисты и профессионалы от шпионажа, им не опровергнуть доказанные факты».

«Однажды во время дежурства... — начинает Руланд свое повествование. — Эта ночь была похожей на все другие. В субботу 14 июня 1941 года в 7 часов вечера я принял дежурство от своего коллеги, которого сменил, и получил для передачи несколько секретных документов командования. Офицеров связи было трое. Мы поочередно дежурили на берлинской Бендлерштрассе.

Я отметил данные по связи, потом отнес эти телеграммы в помещение, откуда они передавались адресатам. Со штатской сердечностью я поприветствовал 10 девушек-связисток в серых халатах, сидевших у телетайпных аппаратов. Телетайпы были чудесными: при передаче они в таком совершенстве шифровали текст, что никогда никакая неприятельская разведка не могла бы расшифровать систему кодов. Принимающие аппараты — в главной ставке командования, или в какой-либо армии, или в каком-либо высоком учреждении рейха, или в командованиях вермахта в Париже, Белграде или Бухаресте — за доли секунды автоматически воспроизводили истинный текст. Секретные телеграммы в зависимости от адресатов и срочности я распределял между аппаратчицами. В тот вечер я особо сердечно приветствовал Анжелику фон Пархим, обаяние и быстрота в работе которой оставляли очень хорошее впечатление. К моему удивлению, Анжелика приходила в замешательство, когда я оказывался возле нее. Такой я еще ее никогда не видел. Когда она сняла пальцы с клавишей аппарата, я заметил, что пальцы ее дрожали. И только тогда я заметил узкую белую телеграфную ленту, которая лежала на коленях у девушки... Можно сказать, без всякого намерения, механически я прочел несколько слов на этой ленте. Это была копия телеграммы генерал-полковнику Фромму...

— Почему вы сняли копию с этой секретной телеграммы? Она ведь предназначена одному адресату?

Анжелика хотела что-то сказать, но с ее уст не срывается ни звука. Здесь что-то не в порядке, мелькнула у меня мысль.

— Вы что-то скрываете от меня. Прошу следовать за мной. Я жду объяснения, почему вы сняли копию с телеграммы...

В мгновение ока замешательство Анжелики исчезло. Она спокойно передала мне эту копию. Я смял ее и положил в карман шинели. Анжелика фон Пархим следует за мной. Прежде чем мы дошли до двери моего служебного кабинета, она обратилась ко мне:

— Я очень прошу вас, не здесь. Нельзя ли об этом поговорить завтра утром, после дежурства? Тогда я все объясню.

Я не сразу ответил, ибо не знал, как вести себя. Мозг несколько секунд лихорадочно работал. Нарушая все правила, убираю из моего лексикона слово «долг» и отвечаю Анжелике:

— Ладно, но только я хочу знать всю правду.

— Можете на это рассчитывать.— Голос девушки говорит о том, что с ее сердца как бы упал камень.

После обеда мы встретились с Анжеликой в зале ожидания вокзала у зоопарка. Оба в штатском. Сидя за столом в углу зала, мы могли спокойно говорить. Официант подает эрзац-кофе. Мы закуриваем и первые минуты в легком замешательстве смотрим на не совсем чистую скатерть.

В зале шум, солдаты, возвращающиеся из отпусков в свои части... В этой типично вокзальной обстановке передо мной открылась тайна, знание которой было чревато опасностью для меня.

То, что я узнал в тот день — 15 июня 1941 года,— является только малой частью тайны, подробности которой я узнал после окончания войны.

Анжелика фон Пархим рассказала мне, что она имеет дружеские связи с одним дипломатом швейцарского посольства в Берлине, который желает поражения третьему рейху. Она уже несколько раз передавала ему «совершенно безвредную информацию»... (Только после войны я узнал от Анжелики, что человек, которому она передавала копии важных телеграмм, был не швейцарским дипломатом, а немецким офицером.)

— Анжелика! Вы вообще понимаете, что натворили? Это попросту называется шпионажем. И вы безусловно знаете, как это называется. Если я не доложу, то рискую головой, как ваш соучастник.

Мы снова закурили и молча смотрели на пустые чашки. Официант снова подал кофе. Анжелика вновь заговорила:

— Я клянусь вам всем, что является святым для меня, что я вас не предаю, если попадусь.

— Рассчитывайте и вы на меня. Я вас не выдам.

— Спасибо.

Мой взгляд, наверное, говорил Анжелике, что я действительно ничего плохого ей не сделаю.

Анжелика фон Пархим могла быть спокойна. После нашего разговора я вернулся в свою квартиру, достал из кармана смятую копию телеграммы и с помощью спички превратил ее в ничто.

На следующей неделе, когда я дежурил и вошел в помещение передачи секретных документов, то не остановился возле аппарата Анжелики. Мы только вежливо приветствовали друг друга».

После войны Руланд разыскал Анжелику (имя это вымышлено автором, чтобы обезопасить мужественную антифашистку от возможной мести в Западной Германии). Старые друзья обрадовались встрече. Анжелика, теперь пожилая почтенная дама, привела с собой приятельницу Марию Калуши (имя и фамилия тоже вымышленные), свою бывшую напарницу по телетайпному бюро. Вдвоем они передавали секретную информацию офицеру общего управления вермахта (в книге — майор фон Кемпер), а уж он переправлял ее в Люцерн Рёсслеру. Опасаясь расправы, женщины взяли с Руланда слово, что он назовет их подлинные фамилии только после их смерти. Но автор книги «Глаза Москвы» вскоре после выхода ее в свет погиб в «случайной» автомобильной катастрофе, как сообщалось в западногерманской прессе. В предисловии Руланд писал, что наверняка наживет себе врагов среди бывших офицеров вермахта и абвера и они могут попытаться расправиться с ним. Предчувствие его не обмануло.

Суровые испытания легли на группу Радо, когда последовали первые провалы и аресты, были захвачены радики. Полиция разыскивала его по всей стране.

Сам Вальтер Шелленберг, любимый выученик Гимmlера, бригадефюрер СС,



начальник политической разведки рейха, управляющий из своей резиденции на Беркештрассе в Берлине огромной агентурной сетью, раскинутой по всему миру, зачастил в Швейцарию с конспиративными миссиями. Перед секретными службами этой страны он поставил категорическое требование: схватить Радо и выдать гестапо. В охоту за группой бросили всю здешнюю нацистскую резидентуру, а она была довольно многочисленной. Риббентроп в пятый раз направил в швейцарский департамент иностранных дел ноту с требованием арестовать Радо, причем он прямо назывался советским разведчиком.

Чтобы до конца понять, какой источник питал поразительное мужество и стойкость Радо, ссылаюсь на один эпизод. Однажды во время выступления Радо по телевидению ведущий задал ему вопрос: «В какие периоды своей жизни вы мысленно обращались к личности Ленина?» Он ответил: «В двадцатые годы, когда вернулся в Вену из Москвы. В тридцатые, когда вышел атлас по империализму. В период швейцарской жизни...— И заключил:— Впрочем, не было «периодов» — всю свою сознательную жизнь я не разлучался с Лениным. А порой эти встречи носили почти осязаемый характер. Так было однажды в Швейцарии».

...Радо с облегчением прикрыл за собой дверь. Постоял, переводя дыхание. Оглядевшись. В просторном зале кафе за простыми деревянными столами сидели редкие в этот утренний час посетители. Кто просматривал газету, кто безмятежно потягивал пиво из больших глиняных кружек, кто закусывал. Радо не хотелось быть на людях. Где же старина Фридрих? Поискал глазами в зале. А вот и он — высокий, согбенный, белый как лунь. Приблизился, тихо проговорил: «Давненько не заглядывали в «Ландольт», товарищ профессор» — и скупым жестом поманил за собой. Они прошли в небольшую квадратную комнату справа от входа. Здесь никого не было.

— Что с вами, товарищ профессор? — встревоженно спросил официант.— На вас, прошу прощения, лица нет. И почему — общий зал?

— Потом, Фридрих, потом,— ответил Радо.— Сейчас мне надо побыть одному.

Официант ушел. Радо заглянул в окно, прощупал взглядом прилегающую к кафе площадь, плотно задернул белую полотняную штору. В изнеможении опустился на стул.

Не далее часа назад, насмерть измотавшись, он едва свалил с себя осатанелого хлыща. Вцепился, точно колючая проволока,— наглый, хитрый, ловкий, не то гестаповец, не то из швейцарской охраны, скорее все же, судя по хватке, из команды Шелленберга. Сегодня ушел, но кто поручится, что завтра капкан не захлопнется. Положение более чем критическое. Деятельность организации практически парализована. Без передатчиков, радистов, шифров разведчик — ноль. И это в то время, когда Красная Армия ведет решительное наступление. Как нужна Центру его помощь! Что делать?

Как бы в поисках ответа Радо обводит взглядом комнату, деревянные столы, широкое окно, высокий, с лепным карнизом потолок, бра на голых стенах.

Этот серый дом в университетском квартале, угловой, между улицами Кандоль и Консей Женераль, выходящий фасадом на небольшую площадь в центре Женевы, с нависшим на уровне четвертого этажа миниатюрным балкончиком, он хорошо знал.

Радо любил бывать здесь. Приходил, устраивался за столом, всегда одним и тем же, крайним слева от двери из зала, раскладывал карты, книги, бумагу и углублялся в работу. Фридрих приносил неизменную рюмку коньяка и двойную порцию кофе. Когда он удалялся, Александр Гаврилович просовывал руку под стол, извлекал оттуда бумажный лоскуток, скрученный в трубочку наподобие папироски. Пробегал глазами текст, совал под стол другую крученую бумажку — либо приносил ее, либо тут же писал. В столе под крышкой был тайник, пользовались им в самом крайнем случае, знали о нем двое — сам Радо и Пакбо, член группы.

Содержание записок — сама невинность. Некая Сюзанна приглашала своего дружка Мишеля погулять в парке Мон Репо или пойти в кино, на танцы. Карл объяснялся в любви Шарлотте. Отец наказывал сыну купить соли или мыла в таких-то магазинах, выгулять фокса (сенбернара, дога) на набережной Арвы или навестить заболевшую тетушку. Конечно, Сюзанны и Мишеля — не более чем подпольные клички его товарищей, «фокс» — ценные сведения, «сенбернар» — приглашение на встречу, «магазин» — будь осторожен, «болезнь» — арест. Нередко, раскрутив папироску, Радо сгребал свои бумаги и, не притронувшись к коньяку и кофе, был таков.

Однажды случилось невероятное. Кабинетик, как всегда, пустовал. Радо домовито разложил на столе свой пасьянс. Фридрих поставил коньяк и кофе, но уходить не соби-  
рался. Александр Гаврилович недоуменно поднял глаза: что с ним? И почувствовал —  
бледнеет: старик держал в руках «папироску».

— Прошу прощения, господин профессор, не ваша ли это бумажка?

— Как она у тебя оказалась? — стараясь казаться спокойным, спросил Радо.

— Вчера делали уборку — и вот выпала из стола.

Провокация? Нет?

— Если скажу: не моя,— Радо снизу вверх глядел в глаза официанта (тот спокой-  
но выдержал взгляд),— ты поверишь, Фридрих?

— Не обижайте старика, господин профессор. Отчего не поверю.

— И как поступишь?

— Никак. Разорву и выброшу... подальше от греха. Только мне показалось, прошу  
прощения, вы всегда сидите за этим столом... гм... гм... может, обронили ненароком.  
Что ж, извините, потревожил напрасно.

Старик сделал движение, намереваясь порвать рулончик. Радо остановил его  
рукой.

— А если — моя?

— Тогда возьмите — и делу конец.— Фридрих положил бумажку на кончик стола  
под салфетку.— И пусть господин профессор не сомневается: никто не заметил. Она  
лежала под столом, я поднял и сунул в карман. Теперь, с вашего позволения, я сам  
буду убирать в этой комнате. Верьте мне, товарищ профессор, я состою в социалисти-  
ческой партии, ненавижу эту проклятую войну, молю бога дать силы и победу русским.

Радо поднялся из-за стола, крепко пожал руку старика. Заметил: тот впервые  
назвал его товарищем. Официант стоял растроганный, на глаза навернулись слезы.

— Осмелюсь я еще кое-что поведать товарищу профессору?

— Конечно, Фридрих, я слушаю.

— Ведомо ли вам, что «Ландольт» — не как все женевские кафе? В некотором роде  
историческое?

— В том нет секрета, Фридрих,— кафе открыто в прошлом веке.

— Прошу прощения, товарищ профессор, старых кафе в Женеве столько же,  
сколько старых людей. У «Ландольта» особая примета.

— Какая же?

— Наше кафе посещал Ленин! — притихшим голосом произнес Фридрих. Он  
выпрямился, поднял седую, с гладким пробором голову.

— Но я давно хожу в «Ландольт», и вот только сегодня ты открыл мне свою  
гайну — почему?

— Так получилось. Бумажка... и вообще. Мне казалось, товарищ профессор не  
случайно выделяет этот стол.

— Тоже примета?

— За этим столом предпочитал сидеть Ленин.

— Этим самым?

— Этим самым. Столы дубовые, старые, не менялись с тех пор. А я в «Ландольте»,  
считайте, пятьдесят лет, имел честь лично обслуживать товарища Ленина, воспомина-  
ние о нем — самое дорогое, что осталось у меня. Ну а когда произошла в России рево-  
люция, глянул я на портрет в газете и дара речи лишился — он! Ульянов, мой ува-  
жаемый клиент! Господи, что происходит на свете: глава новой российской власти —  
из народа. И жена его, Крупская, душевная и благородная была женщина, ребятам  
моим подарки все приносила, теперь жена премьер-министра! Не замедлил, вырезал  
я портрет, наклеил на картонку и повесил дома на стену. Пусть все видят, с каким я  
человеком имел честь быть знакомым. Там и ныне висит — только другой, красочный,  
дипломат один советский подарил. И сына своего младшего Владимиром назвал... Вот  
как оно получается, товарищ профессор, а вы усомнились в старом Фридрихе...

Жан Жак Руссо как-то сказал: жить — это не значит дышать, это значит действо-  
вать. Не тот человек больше всего жил, который может насчитать больше лет, а тот,  
кто больше всех чувствовал жизнь. Убежден, что это и про него, Радо. Не жизнь сама  
по себе, не жизнь ради жизни, а жизнь, озаренная благородной и возвышенной целью,  
служения народу, дает ему ощущение подлинного счастья...

Ведь как произошло второе рождение Доры?

На кафедру в Будапештском университете легко всходил молодежавый профессор. Читал лекции, вел семинары. Все знали — это Радо. Никто не знал — это Дора. Ни друзья, ни коллеги, ни студенты. Он не имел права разглашать тайну. Между тем к скромному профессору кралась слава. Она обрушилась внезапно, оглушительная, как взрыв бомбы. На Западе вышла книжка с сенсационным названием «Война была выиграна в Швейцарии». Выиграна им, Радо, вернее благодаря деятельности руководимой им разведывательной группы. Затем другая, еще книжка. И пошло, покатилося по миру — Дора, Дора, Дора...

Он сразу стал знаменитостью. Его фотографии замелькали в газетах и журналах. Он улыбался с экранов телевизоров. Его узнавали на улицах, в метро, в театрах. Его квартиру захлестнул вихрь писем — со всех концов света. Телефон надрывался от звонков. Студенты на лекциях форменным образом сошли с ума: ни о какой географии и экономике, курсы которых он вел, слышать не хотели, требовали от своего, венгерского Джеймса Бонда рассказа о невероятных подвигах.

Да, это была слава. Шумная, стремительная, она захлестнула славу кинозвезд и популярных футбольных форвардов. Ее подхватили все. Кроме одного человека. Кроме Радо. В хмельной шумихе на Западе вокруг его имени была неправда. Сознательная, злонамеренная, преследующая далеко идущие цели.

Разведчик способен на многое. Но выиграть войну — не смешно ли!

Долг повелел сказать правду. Долг и чистая совесть коммуниста. Прежде всего надо было показать советского разведчика таким, каким он был в действительности. Радо должен был выступить против... Радо. Живой, настоящий, идейный борец, которому никогда не были безразличны такие понятия, как «человечность», «свобода», «мир», по собственной воле избравший свой нелегкий, но доблестный путь против идейного перевертыша, безнравственного политика, человека без стыда и совести, каким изображали его на Западе. Радо должен был развенчать культ Радо — сверхчеловека.

Профессор засел за книгу. Никто не принуждал, не понуждал его. Исключительно веление честного, беспокойного сердца. Сознание долга. Не случайно воспоминания «Под псевдонимом Дора» начинаются и кончаются словами о долге...

...Тихо и плавно, как теплый июльский вечер, текла беседа с дорогим моим гостем — Шандором Радо. Сын, Тимур, нес вахту у магнитофона. Я решил сделать запись. Предупредил гостя, просил не стесняться. Если встретятся затруднения в русском, пусть говорит на английском или испанском, сын переведет, изучает языки в институте.

На следующее утро я спозаранку заехал в гостиницу. Радо не любил казенные буфеты, и мы перекусили в номере домашней едой, жена снабдила, выпили по пиале чая. И не спеша направились в Мавзолей В. И. Ленина. Он сказал, что впервые побывал там в 20-х годах, вскоре после открытия доступа для трудящихся. Потом еще не однажды, всякий раз как приезжал в Москву. Теперь попросил пойти вместе. Я предложил автомобиль, но Александр Гаврилович категорически отказался: «К Ленину на машине? Да вы что, в самом деле?»

Радо снял берет, притих, ушел в себя. Придерживаясь за мою руку, шагком за шагком, оглябая саркофаг полукольцом, продвигался вместе со всеми. Я украдкой наблюдал за ним. Хотелось уловить малейшее движение на лице, каждый жест, взгляд, звук голоса, хотя, знаю, в Мавзолее не говорят. Казалось, Александр Гаврилович совсем забыл, где он, кто с ним, зачем здесь все эти люди. Почему печальны их лица и почему так громко стучат их сердца? О чем думал он, восьмидесятилетний венгерский коммунист, старейший из всех, кто пришел сегодня в Мавзолей, и, без сомнения, единственный из них, кто видел Ленина в жизни? О чем вспоминал? Что хотел бы сказать тому, кто лежал в саркофаге в вечном сне? О чем спросить? На лицо Радо легла печать душевной боли и печали.

Вспомнились его слова: «Ленин для меня — исток всех истоков, начало всех начал. Ленину я обязан тем, что живу. Философия Ленина — мое мировоззрение. Его революционное учение — мои убеждения. Этика Ленина — мой личный моральный кодекс. Дело Ленина — мое жизненное дело. Без Ленина я не состоялся бы ни как человек, ни как ученый, ни как коммунист».

Теперь он пришел в Мавзолей снова повидаться с Лениным.

Оказалось, прощался с ним.

Навсегда.

В августе 1981 года его не стало...

Я встаю до зари. Включаю магнитофон. Мягким наплывом в комнату вливается знакомый голос. Будто и не расставались мы, сидим на диване рядышком, говорим. Русский у Радо дай бог каждому, изучать начал в двадцатом году в Вене именно потому, что «им разговаривал Ленин». Однако ж отсутствие практики чувствуется, нет-нет да и притормозится речь вибрирующим «э-э-э...» — Радо подыскивает в памяти нужное слово. Запись отличная, Тимур не подвел, молодец.

— Александр Гаврилович, как вы расцениваете столь знаменательный факт своей биографии — встречу с Лениным?

Молчание, хотя пленка крутится. Так и было, ответил не сразу. Ушел в себя, взгляд затуманился, впечатление такое, будто пытается сквозь толщу времени заглянуть в безвозвратно ушедшую молодость, в те неповторимые кремлевские минуты... Смежил веки. В комнате тишина.

— На мою долю выпало ни с чем не сравнимое счастье,— говорит Радо.— Встреча с Лениным, по существу мимолетная, полчаса, не более, никогда не оставляла меня. Век мой долог. Соткан из множества событий, встреч, дат, имен, фамилий, как яркая домотканая рядина у доброй ткачихи из старого Уйпешта. Многое из памяти ушло, но Ленин — он всегда во мне, как биение сердца. Давайте представим изначально, так сказать, ситуацию. Собрался конгресс Коминтерна. В Москву съехались выдающиеся революционеры. Куда ни бросишь взгляд в огромном кремлевском зале, куда была перенесена работа конгресса, всюду красная гвардия планеты: лидеры коммунистических, социалистических и рабочих партий, демократического движения, вожаки профсоюзов, КИМа. Что ни оратор на трибуне, то партия или страна за плечами. А кто был я?— ни заслуг, ни чинов, ни званий. Из всех достоинств — одна молодость, она предательски выпирала наружу. И вдруг — Ленин! Первый и главный человек в Кремле, в советской России, на всей земле! Ласково говорит со мной, смотрит на меня, жмет мою руку. Почетный председатель и фактический руководитель конгресса нашел минуту для молоденького безвестного венгерского коммуниста. Можете представить мое состояние. С тех пор мы неразлучны — Ленин и я, Шандор Радо. Теперь я старше моего Ленина — а я убежден: у каждого он свой — почти на тридцать лет. Но чем глубже уходил в историю двадцать первый год, тем явственнее становился след от памятной встречи. Пока не превратился в путь всей моей жизни.

— Александр Гаврилович, в ком во всемирной истории вы видите идеальное воплощение личности пролетарского революционера?

— Без сомнения, в личности Владимира Ильича Ленина.

— А что вам наиболее близко в этике и характере Ленина?

— Ленин — явление чрезвычайно многомерное. Непросто вот так, с ходу определить облик гения, как непросто проникнуть в тайны мироздания. Однако на первый план я поставил бы ленинскую целеустремленность и граждански-нравственную личную ответственность за судьбы человечества. Маркс говорил, что у каждого перед глазами есть определенная цель, такая цель, которая по крайней мере ему самому кажется великой и которая действительно такова, если ее признает великой самое широкое убеждение, проникновеннейший голос сердца. Голос ленинского сердца с юных лет подсказал ему цель — освобождение человека от эксплуатации и угнетения. Мир признал эту цель великой. Далее я выделил бы ленинскую логику и трезвость мышления. Вот, на мой взгляд, фундамент, на котором выросло и развилось стройное революционное учение, известное под названием ленинизм. Что до характера, то он представляется мне неким драгоценным сосудом, куда природа щедро вложила лучшее из того, что создано ею за тысячелетнюю эволюцию человеческого рода. От каждого народа взяла по крупнице — алмазу. Но Ленин есть Ленин. К дарам природы он добавил путем железного самовоспитания прекрасные черты народного вождя, революционера, ученого. Сплав тех и других составляет, на мой взгляд, ленинскую личность. Черпать же из этого сосуда — не вычерпать. Земляне щедро одарены от рождения. Они получили в наследство не только ленинское учение, но и ленинский облик, ленинскую любовь к людям, ленинскую мудрость и простоту, ленинскую непримиримость ко всякой фальши и лжи, трудолюбие, упорство, ответственность за дела человеческие, ленинскую веру в лучшее будущее. Граней ленинского стиля — что капель в океане. Но из множества я хочу выделить одну — это искусство полемики. О, тут Ленин был непревзойденный мастер! Он не довлел над оппонентом силой своего громадного авторитета — я сказал! я думаю! я убежден! В то время такие, модные ныне, голые, бездоказательные утверждения не ценились. Ленин чужд был командования, начальнического пренебрежения к мнению противника. Натура сильная и цельная, он любил себе равных,

отстаивая истину, не унижал и не подавлял противника, а уважал его как личность, возвышал в нем человеческое достоинство. Словом, это был полемист блестящий, увлекающийся, удачливый.

— Какие черты Ленина-человека, Ленина-революционера вы хотели бы видеть в современном поколении коммунистов?

— Частично я уже ответил на этот вопрос. Но дополню еще. Прежде всего — ленинскую человечность. Помните у Маяковского: самый человечный человек. Удивительно верно! Я как-то говорил о своем юношеском удивлении при виде Ленина, сидящего на ступеньках. Совсем привел в расстройство жилет. Жилет на Ленине! Точь-в-точь как у моего университетского профессора. Да и весь ленинский, сугубо гражданский, интеллигентский облик резко контрастировал со строгими гимнастерками и френчами защитного цвета, перетянутыми на груди крест-накрест хрустящими ремнями, длинными, до полу, шинелями, буденовками со звездой. Такой вид мне казался более революционным, чем «буржуазные» белые рубашки, галстучки, воротнички, манжеты, жилеты, ботиночки со шнурками... Владимир Ильич пробыл на трибуне самую малость. Живехонько этак, быстрыми своими шагами устремился на край помоста, к залу, к людям. То одна, то другая рука — в броске, в замахе, тело — в движении. Глаза — в глаза, взгляд — во взгляд, лицо — в лицо. К одному, другому слушателю: а понятно ли я говорю? а вы согласны со мной?

...Радо часто звонил в Москву. Обычно раним утром. Помнится, недели не прошло как он улетел — звонок.

— Здравствуйте, это я, Радо,— слышу знакомый голос.

— Александр Гаврилович — вы?

— Конечно, я. Не разбудил? Я из Будапешта. Как дела? Как работа движется? Кстати, гулял я тут в воскресенье с внуком в парке и вспомнил прелюбопытный случай из моей женеvской жизни. Хотите, расскажу, может, пригодится вам?

В другой раз:

— Прочтите еще раз то место, где описана встреча с Лениным в Кремле.

— Там все, как вы рассказали. Я не прибавил ни слова.

— И все же вдруг...

Звонил и на следующий день, присылал мне книги и письма. Почерк у Радо крупный, вихревой, размашистый — писал, видно, второпях, в редкие досужие минуты между бесчисленными занятиями.

«12.2.1980.

Дорогой товарищ... При сем посылаю Вам ответы на вопросы (52 тетрадных листа! — В. А.). К сожалению, наша русская машинистка заболела и я не мог вовремя найти кого-нибудь другого вместо нее поэтому и также из-за других обстоятельств, связанных с празднованием моего восьмидесятилетия. Никогда не думал бы, что человек из-за праздников неделями не может работать. Мои ответы, во всяком случае некоторые из них немножко резковаты (ничего подобного я не обнаружил.— В. А.), поэтому я Вам даю всю свободу перестилизовать их (я ни разу не воспользовался этим правом: не было нужды.— В. А.)...»

«4.5.1980.

...После возвращения в Венгрию и проведения первомайских праздников первым долгом считаю поблагодарить Вас за возможность поехать (через 55 лет) в Узбекистан. Это путешествие мне дало огромное удовлетворение увидеть восточный народ (при моей предыдущей поездке еще отсталый и темный) в полном расцвете творческих начинаний и созидания благодаря разрешению национального вопроса на социалистических началах справедливости и равенства, завещанных нам великим Лениным. А что я увидел в Самарканде и Бухаре?! — колоссальные и одновременно изящные реставрации знаменитых старинных памятников. Ташкентские новые городские ансамбли, с прекрасным вкусом соединяющие восточные и современные архитектурные стили, останутся навсегда в моей памяти. Все это я мог посмотреть благодаря Вашей любезности. Сердечный привет передайте при случае товарищу Рашидову. Я написал ему благодарственное письмо.

С лучшим дружеским приветом. Ваш Шандор Радо».

«Дорогой товарищ... При сем посылаю через моего друга Раимбекова (дипломат, работал в советском посольстве в Венгрии.— В.А.) книгу Бернда Руланда «Глаза Москвы». На просмотр. Книга (немецкий оригинал, переиздана в Венгрии) очень редка, нигде уже нельзя достать, единственный мой экземпляр. Прошу при первой возможности ее возвратить, тов. Каменкович (давний друг Радо, бакинский журналист.— В. А.) имеет русский перевод, можете у него его попросить. Посылаю Вам еще одну миниатюрную книжку, изданную к моему восьмидесятилетию Венгерским военно-историческим музеем, также последний экземпляр — на память Вам.

Обнимаю, Ваш Шандор Радо.

Будапешт, 9 мая 1980 г. День Победы!»

«10.5.1980.

Посылаю ответы на ваши дополнительные вопросы.

- Ваш девиз?
- Быть верным коммунистическому идеалу. Никогда не терять надежды.
- Ваш любимый писатель?
- Генрих Гейне. «Я сын революции,— писал Гейне о себе.— Я весь — радость и песня, весь — меч и пламя!..»

Сверкать я молнией умею,  
Так вы решили: я не гром.  
Как вы ошиблись! Я владею  
И громовержца языком.

И только нужный день настанет,—  
Я должен вас предостеречь,—  
Раскатом грома голос грянет,  
Ударом грозным станет речь.

Неистовому Гейне не суждено было увидеть «нужный день» родного народа. Умирая, он завещал возложить на свою могилу меч, ибо, говорил он о себе, «я был храбрым солдатом в войне за освобождение человечества». Безумству храбрых поем мы песню!

- Ваш любимый герой?
- Лайош Кошут.
- Ваше представление о счастье?
- Борьба во имя людей. Труд по любимой специальности. А также — прожить остаток дней вместе со своими сыновьями и внуками.
- Ваша мечта?
- Победа социализма и мира на земле.
- Ваша привязанность?
- Классическая музыка.
- Ваш любимый композитор?
- Бетховен.
- Какие из человеческих качеств более всего цените?
- Искренность, откровенность, прямоту.
- Какие не любите?
- Карьеризм, интриганство, бюрократизм.
- Что считаете наиболее характерным в духовном облике советского человека?
- Коммунистическую убежденность. Миролюбие. Оптимизм. Нравственную чистоту.

Примите дружеские пожелания от Шандора Радо».

Обязательность адресата умиляла. Не успевало отправиться в Венгрию письмо, как поступал незамедлительный ответ. Плюс постоянное утреннее общение по телефону. Необычное внимание в наш рациональный век, когда обыкновенное человеческое участие превратилось в дефицит.

..Вот она, на моей ладони, изящная книжная миниатюра, со спичечный коробок, упомянутая в письме. На светлой обложке — Радо, на обороте — дарственная надпись. Дата та же, что на письме,— «9.5.1980», в скобках — «День победы!». Оба слова с большой буквы и с восклицанием в конце.

Открывается книжица статьей о жизни и деятельности юбиляра. За ней следует список трудов — карты, атласы, путеводители, справочники, альманахи, учебники. На венгерском, английском, немецком, французском языках. Далее идут ордена, медали, почетные знаки отличия, каждый нарисован на отдельной странице — всего тридцать восемь. Затем рассказ в картинках о триумфальном «завоевании» мира книгой «Дога jelenti...» («Дора сообщает...»). Воспроизведены обложки и указаны адреса изданий — Будапешт, Париж, Штутгарт, Риека, Милан, Мальмё, Братислава, София, Прага, Москва, Бухарест, Барселона, Буэнос-Айрес, Мехико, Варшава, Таллин, Ужгород, Берлин, Лондон, Батуми... Общий тираж — полтора миллиона! Это книга самого Радо. А книги о Радо? Кто подсчитывал их тиражи? А статьи в печати? А теле- и радиопередачи?

Имя Радо — одно из самых уважаемых в научном мире. Перечень его титулов и званий занимает в моем блокноте несколько страниц. Назову лишь некоторые из них: профессор, доктор географических наук, доктор экономических наук, почетный доктор Московского государственного университета, почетный член географических обществ Венгрии, СССР, Болгарии, ГДР, а также парижского, Лондонского королевского, американского, итальянского, лауреат национальной премии первой степени, премии имени Кошута, председатель или член руководящих коллегий множества региональных, национальных, ведомственных ассоциаций, агентств, комиссий, коллегий, союзов, отделов по картографии, географии, экономике, геодезии. И так далее и тому подобное.

Так что славы и почестей более чем достаточно.

Чего же Радо не хватало?

Старый человек почувствовал, что приблизился к предельной черте. Пытался осмыслить прожитое, вглядывался в истоки.

А там был — Ленин.

Завершить земные дела без слова о Ленине он не мог.

Я понял это, наверное, еще в Мавзолее в то самое мгновение, когда почти физически ощутил до боли пронзительный взгляд Радо, устремленный на лицо Ильича.

— Александр Гаврилович, — спросил я Радо, когда мы возвращались из Мавзолея, — если бы случилось чудо и вам довелось бы вновь встретиться с живым Лениным, что бы вы сказали ему?

— Увы, таких чудес не бывает, — не сразу ответил он, опять надолго замолчал, затем вполне серьезно добавил: — И все же — вдруг бы? Ленин — целый мир, а о мире любое слово мало. Поэтому я сказал бы: «Спасибо!» — и поклонился.



---

---

# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ВЛАДИМИР УСПЕНСКИЙ

★

## ТРЕТЬЯ МОНГОЛЬСКАЯ

1

**Е**сть у монголов поговорка, которая по смыслу соответствует нашему выражению «тесен мир» или «гора с горой не сходится...». Действительно, я вот прожил немало лет, прежде чем встретился с людьми, которых мог увидеть гораздо раньше. И вообще можно только удивляться, сколь сложные пути вели меня в неведомый мне ранее Улан-Батор.

Первый шаг по этой дороге (о чем я, разумеется, тогда не догадывался) был сделан еще в 1941 году, в глубине российских просторов, в городе Одоеве Тульской области. Во второй половине декабря началось отступление фашистов, оккупировавших наши края полтора месяца. Мне той осенью исполнилось четырнадцать лет, парень я был рослый, и гитлеровцы, схватив меня на улице, определили в рабочую команду, в обоз.

Колонна уходила на запад по разбитой, обледеневшей дороге. Буксовали машины; немцы сталкивали их в кювет, взрывали моторы. Батальон самокатчиков побросал на обочине все велосипеды. Тяжелые зеленые фуры на высоких колесах тащились медленно, кони скользя. А наши нажимали на хвост колонны. Воспользовавшись суматохой и сумерками, я сбежал.

В Одоев вернулся глубокой ночью. Вокруг города гремел бой, было светло от пожаров, от взлетающих ракет. Пробравшись садами и задворками до своего дома, с трудом переступил порог — настолько был утомлен, измучен. Свалился на пол в простенке между окнами — хоть какая-то защита от пуль и осколков — и сразу заснул.

Гулкие взрывы авиабомб, сотрясавшие мерзлую землю, разбудили меня утром. Бросился к окну и увидел картину, которая никогда не потускнеет в памяти. Под холодными лучами солнца ослепительно блестел снег. По нашей всегда тихой и пустой улице в колонне по двое ехали кавалеристы. Мелькали панки, малиновые кубанки, казацкие башлыки. Рысью обгоняли колонну командиры в черных бурках. Проносились сани-розвальни с пулеметами, бойцы кутались в полушубки — только пар над воротниками. Сильные артиллерийские кони легко влекли выкрашенные в белое пушки. Во всем чувствовался напор, энергия, устремленность. В город ворвались эскадроны 1-го гвардейского кавалерийского корпуса генерала П. А. Белова.

В доме у нас разместился штаб 160-го гвардейского Камышинского кавалерийского полка. Звучали громкие, веселые голоса, звенели шпоры. У меня сразу появилось среди конников несколько приятелей. Вместе ездили за сеном, попадали под бомбежки. В хозяйственном звезде зачислили на довольствие, и я с большой охотой выполнял свои обязанности. Сани, веревка, вилы, трофейный карабин и две низкорослые косматые лошадки, очень неприхотливые и выносливые, — вот мое хозяйство. В корпусе имелось порядочно таких большеголовых невысоких лошадок, присланных из Монголии, чем-то похожих на коньков-горбунков.

Конечно, какие уж заслуги — сено возил, но, значит, и от этого была польза: е особой гордостью ношу я почетный знак 1-го гвардейского кавалерийского корпуса, врученный ветеранам корпуса в связи с сорокалетием присвоения гвардейского звания, полученного в боях под Москвой. Славная история у этого корпуса. Он вступил в сражение с гитлеровцами на границе в первый же день войны, затем организовано от рубежа к рубежу отходил в глубь страны, нанося фашистам ощутимые



контрудары. Конница генерала Белова начала теснить гитлеровцев от столицы раньше общего контрнаступления советских армий, отбросив от Каширы части Гудериана. Два месяца гнали кавалеристы врага на запад, прорвались в тыл противника и почти полгода рейдировали там, освободив большую территорию. Но это потом, после Одоева...

Генерал Белов приехал в штаб полка в середине дня. Худощавый, моложавый, с небольшими усами. Он быстро прошел через двор, отвечая на приветствия бойцов. На генерале поношенная, стянутая ремнями шинель, шапка-кубанка и белые валенки. Он пообедал с командиром полка подполковником Князевым. Остался в комнате один. Я несколько раз заходил к нему. Он сидел в кресле, брал с этажерки книги, разглядывал иллюстрации. А на столе справа лежала большая военная карта.

Вечером он отправился дальше. Ему подвели широкогрудого, с точеными ногами коня. Генерал легко вскочил в седло, поправил на плечах бурку.

Так я увидел Павла Алексеевича Белова первый раз. С той поры минуло много времени, много событий. И вот через пятнадцать лет меня, журналиста, послали взять интервью у председателя Центрального комитета ДОСААФ. К моему удивлению и к большой радости, им оказался генерал-полковник Белов.

Он не очень изменился за пролетевшие годы, только пополнел да голова и усы стали седыми. В кабинете было холодно, он не закрывал форточки — ему не хватало воздуха: сердце.

Закончив служебный разговор, я спросил, помнит ли он бой за Одоев. Генерал оживился. Еще бы не помнить, как захватил корпус этот узел дорог! Павел Алексеевич достал из ящика стола тетрадь с записями военных лет и прочитал вслух несколько страниц. Я узнал некоторые подробности освобождения родного города.

Долго продолжался наш разговор. Первый из многих. Мы часто виделись потом в течение шести лет, иногда несколько раз в неделю. Несмотря на разницу в возрасте, стали друзьями. Он всегда находил возможность ответить на интересовавшие меня вопросы.

Скончался Павел Алексеевич 3 декабря 1962 года, оставив мне значительную часть своего личного архива: он знал, что я собираюсь написать повесть о людях 1-го гвардейского кавкорпуса.

Печаталась повесть в одном из толстых журналов, затем вышла в Воениздате под названием «Поход без привала». Начав рассказ с событий 1917 года, я довел его до лета 1942-го, когда Белов, совершив беспрецедентный в истории рейд по фашистским тылам, вывел свои войска на Большую землю. Заканчивается книга так: кавкорпус переформируется перед новыми боями, у командования много дел и забот, к гвардейцам приехал маршал Чойбалсан, а Белова в этот момент вызвали в Москву. Старый друг Георгий Константинович Жуков говорит ему: «Ты уже отказался однажды от командования армией, геперь не выйдет. Принимай 61-ю армию, на этом участке готовится наше наступление».

Таков финал. Ветераны-беловцы советовали писать дальше, рассказать о том, как Белов победно провел свои полки и дивизии через болота и леса Брянщины и Полесья, как освобождал Брест и Варшаву и закончил войну севернее Берлина. Я постепенно продолжал работу. Однажды, разбирая фронтовые фотографии Павла Алексеевича, обратил внимание на несколько снимков, сделанных весной 1943 года. Солнечный день. Проталины. Голые деревья. Крестьянские избы на заднем плане. А впереди на высоком коне генерал Белов в необъятной бурке с острыми плечами, в черной кубанке. Этаким храбрым кавалерийский начальник, отчаянный рубака. Трудно представить, что это высокообразованный генерал, не только практик, но и теоретик военного дела, интеллигентный человек, побеждавший врага прежде всего умом, а потом уж на поле боя, не знавший серьезных поражений всю свою жизнь.

Рядом с Беловым на столь же высоких конях двое всадников в знакомой форме. Без погон, с петлицами на воротниках шинелей, с нашивками на рукавах. Один в каракулевой папахе, перехвачен портупеей. На другом обычная солдатская ушанка. На обороте карточки надпись, сделанная Павлом Алексеевичем и свидетельствующая о том, что на фото вместе с ним запечатлены армейский комиссар Ю. Цеденбал и командующий погранвойсками МНР комкор Дорж. А сделан снимок возле деревни Новая Величя, которая находится между Мценском и железнодорожной станцией Горбачево (опять же мои родные места).

Вот другая фотография, сделанная там же и тогда же. Большая группа всадников. Белов, Цеденбал, Дорж и еще шестеро конников. Названы лишь двое: комиссар мотобронебригады Монгольской народной армии С. Батаа и знатный скотовод Абирмэд в национальном монгольском халате — дэли, в большой лисьей шапке. А остальные кто?

Еще фотографии, еще — и вот выделяющаяся среди них, изготовленная профессионалом, на хорошей плотной бумаге. Умное сосредоточенное лицо, гладкое, чистое, с большим лбом, с резко очерченными губами. Аккуратно подстриженные черные волосы зачесаны назад. На обратной стороне фотографии надпись по-русски: «Глубокоуважаемому Павлу Алексеевичу Белову. В память о пребывании в 61-й армии шлю вам эту карточку (она была снята в апреле 1943 года в Москве вскоре после нашего пребывания в 61-й и 20-й армиях). Ю. Цеденбал. Март 1959 года».

Я, конечно, и раньше знал, что монгольские друзья приезжали в армию Белова — об этом есть запись в его дневнике. Но лишь разглядывая снимки, невольно задумался: почему, именно у Белова, а не в других войсках, они побывали? и что увидели, узнали, прочувствовали эти товарищи, впервые, наверное, оказавшиеся на фронте? какое впечатление произвел на них Павел Алексеевич? Ну и не на экскурсию же прибыли представители монгольского народа...

Ветеранам дорога память о боевом прошлом и уж тем более дороги фотоснимки, запечатлевшие события давних лет. Зная это, я решил отправить несколько карточек товарищу Цеденбалу. Вряд ли они у него есть, любительские ведь фотографии. Тут как раз вышла моя повесть о Белове. Пакет получился увесистый.

Прошел месяц-другой, ответа не было. А мне не давали покоя те снимки. Теперь я просто не мог ограничиться известными мне фактами. Расспрашивал сослуживцев Белова, старался найти какие-нибудь письменные свидетельства. И обратил внимание вот на что. В нашей литературе, художественной и мемуарной, достаточно подробно освещены события тридцать девятого года на Халхин-Голе. Можно вспомнить произведения, повествующие о боях завершающего этапа второй мировой войны, когда мощным ударом раздроблена была Квантунская армия самураев, и опять рядом плечо к плечу сражались наши солдаты и монгольские цырики. Ну и книга генерала И. Плиева «Через Гоби и Хинган», по которой, кстати, снят теперь советско-монгольский фильм! Участие же Монгольской Народной Республики в борьбе с гитлеровскими захватчиками практически не получило еще отражения в нашей литературе. Немногочисленный монгольский народ (полтора миллиона человек!) в меру своих возможностей старался всячески помочь Советской Армии. Монголия была тогда единственным нашим союзником, строившим социализм, она полностью разделила с Советским Союзом все трудности борьбы и радость победы. Вот несколько фактов и цифр. Одних лишь коней Монголия отправила нам на фронт более 400 тысяч. Среди них 30 тысяч так называемых подарочных. Это когда араты отбирали самых крепких, самых красивых, самых дорогих сердцу скажунов и посылали их в подарок лучшим бойцам-кавалеристам Красной Армии. На средства, собранные монгольскими трудящимися, была создана танковая бригада «Революционная Монголия». Полсотни бронированных машин этой бригады с боями прошли трудный путь от Подмосковья до Берлина. А эскадрилья «Монгольский арат», начав боевые действия на Украине, завершила их возле Праги. Причем монгольский народ принял на себя заботу о полном обеспечении этих воинских частей всем необходимым на все дни войны.

Постепенно, шаг за шагом собирая материал, сопоставляя сведения из различных источников, я узнал, что всего на советско-германском фронте побывало четыре монгольских делегации. Первая — в конце 1941 года, в состав ее входила С. Янжима, двоюродный сын Монголии Сухэ-Батора. Вторую делегацию возглавлял премьер-министр, главнокомандующий Монгольской народной армии маршал Х. Чойбалсан. Третью — Генеральный секретарь ЦК МНРП, начальник Политуправления Монгольской народной армии Ю. Цеденбал. Именно эта делегация особенно интересовала меня. Она была наиболее представительной, много времени провела в войсках на передовой. Некоторые члены этой делегации запечатлены на оказавшихся у меня снимках. Но папка, в которую я складывал материалы, все еще оставалась тощей. Можно было написать очерк или главу для будущей книги, однако мне хотелось большего. Разглядывая фотоснимки, я думал: хорошо бы встретиться с этими людьми, услышать их воспоминания.

И вдруг — письмо из Улан-Батора:

«Уважаемый Владимир Дмитриевич!

Вернувшись на Родину после поездки за границу, я познакомился в ноябре с. г. с Вашим дружественным письмом.

Выражаю Вам искреннюю благодарность за книгу «Поход без привала» и фотографии, отражающие пребывание нашей делегации на Западном фронте в 1943 году.

Ваше письмо всколыхнуло во мне воспоминания о пребывании в 61-й армии Западного фронта, которой командовал генерал Белов Павел Алексеевич. Это был замечательный военачальник, с которым после войны мне довелось встречаться не раз.

От души желаю Вам новых творческих успехов в Вашей благородной деятельности.

Ю. Цеденбал,  
Первый секретарь ЦК МНРП,  
Председатель Президиума  
Великого Народного Хурала МНР

30 ноября 1979 года».

Приятно, конечно, получить такое послание, тем более что для меня оно имело особое значение, я укрепился в мысли: тема, которая не дает покоя, важна и существенна. Ведь речь идет о боевом товариществе наших воинов, о советско-монгольской дружбе. И понял — надо ехать в Монголию, искать там участников событий, собрать и сохранить то, что еще не забыто.

## 2

Улан-Батор раскинулся в просторной речной долине, южную сторону которой прикрывает горный хребет, поросший лесом. Гостеприимные хозяева в первый же день отвезли нас, советских писателей, на вершину сопки, к величественному памятнику советским воинам. Отсюда просматривается весь город. И хорошо спланированная, просторная, застроенная современными зданиями центральная часть, и уцелевшие еще окраины, так называемые районы юрт. Очень удачное место выбрано для монумента. Издалека, за много километров виден он людям.

Через несколько дней нам предложили поехать в Тэрэлж, в красивую горную местность северо-восточнее Улан-Батора. Я сперва усомнился: целесообразно ли, имеет ли это отношение к тому делу, ради которого оказался в Монголии? Ведь я еще не побеседовал ни с одним участником третьей делегации. Конечно, не сразу их и разыщешь. Коллеги из монгольского Союза писателей делали что могли: уточняли фамилии, договаривались о свиданиях. Мне оставалось лишь ждать, смиряя нетерпение. Но и не только ждать: каждый час, каждый день пребывания в Монголии обогащали меня, давали возможность лучше понять тех людей, о которых намеревался писать. Я имел уже представление о характере монголов, об их сдержанности, даже замкнутости, за которыми при близком знакомстве проявлялись вдруг доброта и откровенность, обязательность и доверчивость, терпеливость и любовь к шутке...

Шоссе, по которому мы выехали из Улан-Батора, — это та самая дорога, по которой когда-то шли среди выжженной солнцем степи колонны бойцов, направлявшихся к Халхин-Голу. Громыкали танки, тряслись на ухабах грузовики, походные кухни. Обогнали мы взвод цыриков, шагавших, вероятно, на стрельбище. Солдаты в шинелях, таких же, как наши, в шапках-ушанках — и аж сердце захолонуло: ясно представился мне этот путь в самом начале мирового пожара, когда лишь первые сполохи предвещали приближение войны. Еще никто не знал, какой она будет долгой, губительной, страшной. И шли к Халхин-Голу наши красноармейцы и командиры, и пели они полную оптимизма песню:

Спокойно, дружище, спокойно —  
И пить нам, и весело петь.  
Еще в предстоящие войны  
Тебе предстоит уцелеть.  
Уже и рассветы проснулись,  
Что к жизни тебя возвратят.  
Уже изготовлены пули,  
Что мимо тебя провистят!

Увы, не всегда эти пули пролетали мимо. А японских милитаристов, опрокинутых, но не добытых тогда на Халхин-Голе, пришлось добывать воинам нового поколения. И мне, моряку-тихоокеанцу, в том числе. Дважды довелось высаживаться с ра-

диостанцией в тылу японских войск в портах Северной Кореи. Там навсегда остались многие боевые товарищи, и моя кровь запеклась где-то на каменной вершине сопки. Об этом вспоминаю я по торжественным дням, прикрепляя к пиджаку медаль «Адмирал Ушаков», а рядом с ней монгольскую юбилейную медаль в честь разгрома японских захватчиков.

Сурина дорога, что ведет от Улан-Батора к Халхин-Голу. Она ушла от нас вправо. Мы свернули на север, к горам, а та дорога осталась южнее. И вскоре я очень пожалел, что проходит она по однообразной равнине, что наши красноармейцы, шагавшие когда-то по ней, не увидели, не могли увидеть удивительной красоты и многообразия, которые открылись нам за нагромождением скал в широкой долине.

Веками, тысячелетиями жара и морозы, дожди и ураганы разрушали, размывали, выветривали поверхность древних гор. Там, где прежде были их вершины, остались фантастические каменные глыбы разных размеров и форм. Много раз видел я испанские туристами скалы и утесы Кавказа. Бывал на знаменитых красноярских Столбах. Десятки километров прошел вдоль Лены-реки, где над самой водой двухметровыми отвесами поднимаются знаменитые ленские щеки. Воспринял и оценил их величавость. Но в местности Тэрэлж пейзаж совершенно особый, неповторимый. Представьте себе эту долину, окруженную горами с такими вот причудливыми выветрившимися вершинами. И в самой долине то там, то тут вырастают средневековые замки, башни, словно бы застыли гигантские чудовища: черепахи, динозавры, птеродактили. А вот будто великан забавлялся: на огромной глыбе установлена глыба поменьше, потом еще и еще — целая пирамида. Каким чудом они держатся — уму непостижимо. А вокруг по склонам лес. Над рекой тополя, заросли багульника. И над всем этим — белоснежные вершины гор, до блеска отполированная синева небес и глубокая-глубокая тишина. И несколько строений, не разрушающих очарование пейзажа.

За редким исключением каждый человек любит свою родину, с детства милые места. Многие патриоты жизнь готовы отдать за несколько квадратных метров земли своего государства. Но далеко не у всех любовь к родной земле активно проявляется не только в критической ситуации, но и всегда, в обычные дни. Далеко не все люди могут сказать, что они постоянно заботятся о природе, стараются не брать от нее лишнего, стремятся сохранить, приумножить ее красоту, ее богатства. А у монголов это, пожалуй, национальная черта. Ни стар, ни млад ветку зря не ломает, траву не потопчет, мусор на лужайке после себя не оставит. С детских лет как-то само собой прививается забота о растительном и животном мире. Еще триста лет назад гора Богдо, которая возвышается над Улан-Батором, была объявлена заповедной. На ее склонах, вокруг нее, прямо на окраине города спокойно пасутся олени.

### 3

Утром мы побрились особенно тщательно и покрасовались перед зеркалом: женщину шли поздравлять. Среди других поручений было у нас и такое весьма приятное. Вместе с председателем Союза монгольских писателей Д. Цэдэвом отправились к известной писательнице Сономын Удвал, награжденной орденом Сухэ-Батора и нашим орденом Дружбы Народов. Приближалось 8 Марта. К тому же Удвал отмечала свой юбилей. Вот сколько причин и поводов для поздравлений. С удовольствием вручили ей приветственный адрес правления Союза писателей СССР, пожелали всего самого наилучшего. Она член ЦК МНРП, депутат Великого Народного Хурала. Деятельность Удвал, направленная на защиту человечества от угрозы новой войны, отмечена Золотой медалью Всемирного совета мира. Многие произведения писательницы посвящены дружбе советского и монгольского народов. Это, например, рассказы «Не забыть», «Катя-монголка». Но особое внимание привлекает повесть «Первые тринадцать». Тут вот какое дело. Еще совсем недавно монголы почти не выращивали хлеб. Его и сейчас иногда забывают подавать в столовой или в ресторане. Но вообще-то люди уже приобщились к этому питательному и вкусному продукту. И монгольские товарищи, используя наш опыт, подняли свою целину, распахали степь, не ведавшую плуга, и теперь полностью обеспечивают страну зерном.

О покорителях целины как раз и рассказывает С. Удвал в своей повести. И особенно символично, что зерно произрастает на берегах реки Халхин-Гол, на священной земле, политей кровью монгольских и советских воинов, защитивших ее от агрессора.

И вот наконец встречи с товарищами, которые запечатлены на старых фотографиях. Вечером в гостинице записывал услышанное.

Прежде всего: как формировалась делегация?

«На фронт поедет тот, кто лучше других поработает, своим трудом внесет вклад в борьбу с фашистами», — говорил тогда Генеральный секретарь ЦК МНРП, начальник Политуправления Монгольской народной армии Юмжагийн Цеденбал. И люди старались заслужить столь высокую честь. Много мяса сверх плана заготовил для советских бойцов знатный скотовод Авирмэд, его стадо было одним из самых больших и тучных в Западной Монголии. Этот пожилой, спокойный, неторопливый арат словно бы олицетворял народные истоки партии, к нему охотно обращались товарищи по делегации, и он всегда давал простые и дельные советы. Жаль, что Авирмэд не дожил до наших дней и не удалось мне увидеть его. Однако те, с кем он ездил, до сих пор хорошо помнят скромного животновода, с большой теплотой говорят о нем. И в первую очередь — Санжийн Батаа, тогда заведующий отделом ЦК партии, принявший меня в своем кабинете в Доме правительства, который возвышается на центральной площади Улан-Батора.

Время, конечно, меняет облик людей, но я сразу узнал товарища Батаа по фотографии, настолько сохранилась в нем молодость, подтянутость, энергичность. Человечек он, судя по всему, впечатлительный, эмоциональный, с острой памятью. Именно от него узнал я много интересных и важных подробностей. С. Батаа в те годы был армейским политработником. И не просто политработником: ему, участнику событий на Халхин-Голе, доверили стать комиссаром моторизованной бронеприкрытия — самой первой в вооруженных силах Монголии. Ведь почти все войска ее составляла тогда конница, и бронеприкрытие стало началом современной механизированной, технически оснащенной армии МНР. Партия придавала бронеприкрытию особое значение, она имела высокую боевую готовность: подними по тревоге — и сразу на марш, в бой. И такое напряжение не на один день, а неделя за неделей, месяц за месяцем. Наверно, поэтому и включили комиссара в состав делегации. Чтобы к фронтовому опыту присмотрелся.

Познакомиться с боевым опытом очень хотел и начальник Управления пограничных войск республики комкор Дорж. У него-то как раз имела особая причина оказаться в составе делегации. Несмотря на очень хлопотливую должность, он выкроил время для заготовки подарков советским бойцам. Он возглавил бригаду охотников для добычи джейранов: это и питательное мясо, и шкуры для различных изделий. Вот любопытный документ, датированный 30 января 1943 года:

«Успешно проводится работа по заготовке джейранов и кабанов в подарок для Красной Армии. В этой работе активное участие принимают служащие с охотничьим стажем местных и центральных организаций, а также опытные местные охотники. По данным вчерашнего дня, охотничьи бригады отстреляли всего 5153 джейрана и отправили их на перевалочные пункты. Кроме того, отстреляно и отправлено 174 кабана и 3403 штуки дичи...

Бригада начальника Управления пограничных войск Министерства внутренних дел товарища Доржа отстреляла 700 джейранов...»

Если перевести это в килограммы да на армейские нормы — сколько же бойцов можно обеспечить мясным довольствием!

Оба они, и Батаа и Дорж (с грустью узнал, что не дожили они до наших дней), были военными, но даже одинаковая форма не делала похожим одного на другого, а со временем внешнее различие проявилось еще больше. Батаа, несмотря на груз годов, так и остался худощавым, быстрым, подвижным. А Дорж широк в кости, осанист, грузноват. Был он военным министром Монголии, дипломатом. Потом возглавлял Комитет ветеранов революции и войны. Батаа и Дорж, оказавшись в делегации, быстро сдружились и пронесли дружбу через всю жизнь.

В Монголии тогда еще не было железной дороги. Делегация, насчитывавшая более двадцати человек, выехала из Улан-Батора на автомашинах, рассчитывая за сутки добраться до ближайшей советской станции Наушки. До перевала, традиционного места расставаний перед дальним путем, комкора Доржа провожала жена Цэрэндонгор, красивая, в шинели и армейской шапке. Форма очень шла ей. И дети, сыновья трех и пяти лет, тоже были обмундированы по-военному. Само собой это получилось. Жили

в военных городках, где и одежду-то детскую не разыщешь, а портному гораздо легче, привычнее сшить гимнастерку, чем рубашонку.

Санжийна Батаа не провожал никто. Незадолго до отъезда он побывал в родном худоне (сельской местности), проведая семью. Восьмидесятилетний отец чувствовал себя плохо, совсем плохо... Там осталась с ним мать, осталась молодая жена Батаа, а сам он отправился в далекий путь...

На станции Наушки работа шла полным ходом. С прибывавших грузовиков переваливали в вагоны замороженные мясные туши, ящики с маслом и колбасой, мешки, набитые теплыми рукавицами, связки ватников, меховых телогреек, отдельно — унты для летчиков. 10 тысяч полушубков, 12 тысяч пар сапог и столько же пар валенок, 17 тысяч заботливо упакованных индивидуальных подарков и пачки писем с самыми сердечными пожеланиями советским бойцам.

Невелика пограничная станция Наушки, все пути ее в те дни были забиты до предела. 127 вагонов загрузила монгольская делегация. Радовались делегаты: не с пустыми руками ехали к сражающимся друзьям.

Эшелон двигался медленно, задерживаясь на разъездах великой сибирской дороги, пропуская спешившие к фронту составы с танками, самолетами, артиллерией. В крупных промышленных центрах члены делегации бывали на фабриках, на заводах. Беседовали с рабочими, своими глазами видели, как самоотверженно трудятся в цехах женщины, старики, дети. Санжийн Батаа старался спать поменьше, не терять времени: до поздней ночи просиживал у окна, глядя на проносящиеся мимо просторы, на санитарные поезда, на теплушки с бойцами, на очереди за водой возле высоких кирпичных башен, на строгих дежурных в красных фуражках, — ощущал напряженный военный ритм.

Товарищ Цеденбал посоветовал: дорога длинная, надо наладить быт, хорошо бы стенную газету выпускать. Вот Батаа — армейский политработник, он, конечно, стенной печатью занимался, может, ему и поручим?.. И поручили. Эта обязанность отнимала немало времени, но, в общем-то, была интересной. Члены делегации, переполненные впечатлениями, охотно писали заметки о том, что увидели, перечувствовали в последние дни. А сам редактор неожиданно для себя даже стихотворение сочинил. Сидел ночью возле окна, и как-то незаметно под стук колес родились проникновенные строки о великой советской стране, о русском народе, принявшем на себя главный удар фашизма ради спасения всего человечества... Эти стихи появились в очередном номере стенгазеты и привлекли внимание делегатов. Батаа с волнением наблюдал, как их читают. И не подозревал тогда, что сделал первый шаг в поэзию, создал самую первую из своих многочисленных песен...

Лишь 17 марта, проведя в пути без малого три недели, монгольская делегация прибыла в Москву. Торжественно встреченная на вокзале, она разместилась в гостинице «Метрополь». И сразу — знакомство с советской столицей.

## 5

В Москве делегация разделилась на две группы. Одна, возглавляемая заместителем командующего МНА комкором Ж. Лхагвасурэнгом, должна была отправиться в район Курска. Основной же группе, которой руководил Ю. Цеденбал, предстояло побывать в 61-й и 20-й армиях. При всем желании я не смог выяснить, почему именно в них. Вероятно, товарищи, составлявшие программу, рассуждали так: вот генерал Белов — завязтый кавалерист, а это близко монголам. Он отличился под Москвой. В его войска приезжал маршал Чойбалсан, в его корпус направляли коней из Монголии. Да, но Белов вот уж месяцев восемь командует общевойсковой армией...

Я отчетливо представляю себе, как встретил Павел Алексеевич известие о прибытии делегации. Тронул большим и указательным пальцами усы: «Ну, друзьям всегда рады». Вызвал любимца своего, начальника разведки Александра Кононенко, человека смекалистого, напористого, для которого не существовало слов «не могу» (добровольцем сражался в Испании, в начале Отечественной войны — старший лейтенант, в конце — полковник, прошел с Беловым все трудные перепутья). Сказал ему: «Садись, Александр Константинович, подумаем, как лучше принять монгольских товарищей». У Кононенко в отличие от генерала усы пышные, висячие, запорожские, в карих глазах веселый

блеск: «Чем встретить — это ясно. А вот чтобы увидели побольше, над этим надо помозговать»...

Между тем 23 марта группа Ю. Цеденбала прибыла в Тулу, где ее принял секретарь обкома партии. После дружеской беседы — отдых до наступления темноты. Погода держалась ясная, в светлое время на прифронтовых дорогах лучше не появляться. Лишь ночью отправились дальше, к городу Белеву, где располагался штаб-61. Короткую оставку сделали в Одоеве после крутого подъема от реки Упы, который с трудом одолели буксовавшие «эмки». Напились вкусной воды из колодца, дождались отставших и двинулись по тихим темным улицам родного мне городка, мимо разбитой церкви, мимо артиллерийского орудия на высоких колесах, брошенного у перекрестка. О многочисленных подробностях этой поездки я постараюсь рассказать в новой книге. А сейчас несколько эпизодов, особенно запомнившихся монгольским товарищам.

...В тот день, когда приехали в штаб армии, к ним привели фашистов, попавших в плен. Семнадцать гитлеровцев разного возраста, разных званий, разных родов войск. Монголы впервые видели этих «прославленных» завоевателей, имевших теперь, впрочем, не самый воинственный вид. Волна любопытства, вызванная их появлением, быстро спала, внимание сосредоточилось на двух пленных. Особенно на крепком, плечистом офицере-летчике лет двадцати трех. Он держался спокойно и самоуверенно. Насмешливо поглядывая на азиатов, ровным голосом отвечал на вопросы Цеденбала.

— Вас сбили, когда вы бросали бомбы на районный центр. Вы знали, что там нет военных объектов? Только женщины, дети!

— Там проходит шоссе.

— Но на шоссе днем пусто.

— Бомбы убивают не только тело, — сказал гитлеровец и глянул с любопытством: поймут ли его?

— Вам знакомы такие понятия, как мораль, нравственность? — едва заметно усмехнулся Цеденбал. — Скажите, вы сознательно бросали бомбы на мирных жителей?

— Я выполнял приказ. Я солдат.

— А если вам прикажут резать, душить малолетних детей? Родную мать, сестру, брата?

Летчик недоуменно повел плечами. В голове его просто не укладывалось, видимо, чего добивается этот начальник.

— Бесполезно, товарищ Цеденбал, — негромко произнес Павел Алексеевич. — Молодчик из гитлерюгенда, воспитанный в духе слепого повиновения и обожания фюрера.

— Я и стараюсь понять, насколько глубоко это зашло и насколько опасно для человечества. Отравленное поколение. Их мало победить, их придется еще и переубеждать.

Разговор был прерван яростной вспышкой гнева в другом конце комнаты, где комкор Дорж разговаривал с пленным танкистом, дюжим, рыжеволосым и туповатым на вид. В его машине найден был чехмодан со скатертями, занавесками, женским бельем, даже платье с пятнами крови оказалось там. Танкист объяснил: им разрешают раз в месяц отправлять посылку домой, но теперь, когда нет наступления, не завоевывается новое пространство, собирать посылки стало труднее, приходится брать то, что осталось. А платье это с погибшей женщины вполне хорошее, из прочной ткани. Его нужно лишь постирать.

Тут и взорвался добродушный пограничник комкор Дорж, побагровело его лицо, заметней проступили многочисленные рябинки. Вскочил, крикнул:

— За мной, бандит!

— Подождите, куда вы? — остановил Белов.

— На улицу! — ответил Дорж. — Поговорю с глазу на глаз!

— Он пленный, — сказал Павел Алексеевич. — Он без оружия.

— Я тоже оставляю здесь пистолет.

— Не надо, — мягко, успокаивающе произнес Белов. — Я понимаю вас. Нам первое время тоже очень трудно было сдерживаться.

Крепко запомнился тогда комкору Доржу этот танкист. А Санжийну Батаа врезалось в память, как выступал товарищ Цеденбал перед батальоном, уходившим в бой. Они приехали в этот батальон верхом, человек шесть. Кони русские, высокие, непривычные. И садиться трудно, и в седле не очень уверенно себя чувствуешь; земля далеко.

Но ничего, держались. И уверенней всех — скотовод Авирмэд. К его дэли, к его мохнатой шапке были прикованы взгляды выстроившихся бойцов. Но вот заговорил Цеденбал, и головы как по команде повернулись к нему. Из всей делегации он один хорошо владел русским, говорил почти без акцента. К тому же прекрасный оратор, голос его звучал громко и чисто, скупыми жестами, интонацией он выделял то, что считал особенно важным. Цеденбал сказал бойцам: вы идете сражаться за свободу и счастье не только своего отечества, но за избавление всего мира от коричневой чумы, братский привет и спасибо вам от монгольского народа, который с волнением и гордостью следит за героической борьбой, за подвигами советских людей. Светлели лица бойцов, улыбки появились на них.

А утром, когда вдали еще грохотало, затихая, сражение, монгольские делегаты приехали в полевой госпиталь. Тяжелая картина: молодые искалеченные парни, еще вчера полные сил, теперь находились между жизнью и смертью. Как облегчить мучения раненых? Пожилой скотовод Авирмэд и здесь оказался не лишним. Когда принесли раненого и обмороженного бойца, всю ночь пролежавшего на снегу, принялся помогать санитарам. А потом, приподняв голову солдата, достал откуда-то из-под просторного дэли бутылочку, влил в рот красноармейца несколько капель.

В конце дня делегация направилась в батальон связи, значительную часть которого составляли девушки. Был митинг в сельском бревенчатом клубе, потом общий ужин и даже танцы. Внимание Доржа привлекла связистка лет двадцати, рослая и красивая, как его жена Цэрэндонгор. Даже что-то монгольское было в ней; скулы, узкий разрез глаз. Он спросил, русская ли она. Девушка ответила: да, казачка с реки Урал. И имя самое русское — Настя. Интересно и весело было говорить с ней. Почти не знали слов, а понимали друг друга.

На следующий день, когда делегаты уезжали из этой части, связистки пришли проводить их. А Настя не было. Дорж попросил передать ей привет и был удивлен воцарившимся вдруг молчанием. Что случилось? Женщина с погонами старшего лейтенанта объяснила. С полуночи Настя дежурила на линии. Прервалась связь. Девушка пошла, обнаружила обрыв. Линия действовала, а Настя долго не возвращалась. Слишком долго. Забеспокоились, отправились искать. Увидели ее в свежей воронке. Раненая Настя соединила концы провода, но двигаться уже не могла. Скончалась, зажав провод в руке.

Очень хотелось тогда комкору отомстить за погибшую девушку, самому выпустить по врагам пулеметную очередь. Но на передовую линию гостей не пускали. Заботились об их безопасности. Единственно что мог сделать Дорж — поднести к артиллерийскому орудью большой, 152-миллиметровый снаряд, тяжелый, блестящий, гладкий, с двумя поперечными кольцами.

С наблюдательного пункта хорошо просматривались в бинокль позиции противника, хотя расстояние было немалое. Артиллерийская батарея приготовилась к залпу. Прозвучала команда:

— В честь наших монгольских друзей по гитлеровским захватчикам — огонь!

Дорж увидел разрывы над вражескими траншеями, что-то летело там вверх, какие-то доски, мешки.

Артиллерия фашистов начала бить в ответ. Снаряды грохнули за наблюдательным пунктом. Но в этот момент, оставляя огненно-дымные хвосты, понеслись в сторону неприятеля сотни ракет: ударили легендарные «катюши». И комкор Дорж испытал удовлетворение: это за погибшую девушку, за молодую связистку...

В самом конце марта выдалось несколько очень теплых дней. Дожди и ночные туманы съели снег. Запенились ручьи, вспушили реки, раскисли дороги, пришла распутица, не проехать ни полозом, ни колесом. Застряли «эмки», вездеходы. Монгольскую делегацию увозили с фронта на гусеницах: в трофейных танках, перекрашенных в зеленый цвет. Но это лишь для дорогих гостей такой транспорт, всех желающих подобным комфортом не обеспечишь, а война продолжалась, не считаясь с погодой. Подоткнув за ремень полы шинелей, шагали мокрые, облепленные грязью бойцы. Измученные, охрипшие от ругани люди буквально на руках тащили вперед грузовики с боеприпасами и продовольствием. Бились, рвали постромки лошади, стараясь вытянуть застрявшие пушки, повозки.

Посреди обширного ровного поля — единственный сухой островок, поросший кустарником холм. Там можно было обогреться у костра, поесть, подремать. Люди



стремились туда как к самой желанной цели, много скопилось на холме бойцов, повозок, машин. И танкисты остановились передохнуть, им тоже досталось в трудном пути. Но едва лишь уселись возле костра, открыли банки с консервами, отовсюду понеслись тревожные крики: «Воздух! Воздух! Летят!» В разрывах туч мелькнули черные силуэты. Санжийну Батаа почудилось, будто прямо на него снижается, распластав двухметровые крылья и выставив клюв, гриф-ягнятник, хищная птица ёл, живущая в монгольских горах. А укрыться от хищника нигде. Люди ложились на спину, выставляя вверх стволы винтовок, автоматов, пистолетов. Торопливо забили зенитки, затрещали выстрелы, но все звуки поглотил жуткий, нарастающий вой бомб, а затем — раздирающий уши грохот. Холм словно бы сдвинулся с места. Падали комья земли, расплозлся едкий дым. Даже тому, кто находился за броней, под днищами танков, казалось, что это конец, смерть. А каково же тем, кто на открытом, незащищенном месте...

Исчезли черные самолеты, гонимые истребителями, прекратился грохот, и установилась тишина, нарушаемая лишь криками да стонами раненых. Весь холм был изрыт дымящимися воронками, осыпан черной земляной крошкой. Уцелевшие бойцы помогали пострадавшим товарищам, осматривали машины и повозки, стараясь починить, собрать что возможно.

## 6

Три месяца не были они дома, а когда вернулись, в Монголии стояли уже пол-летнему теплые дни, ярко зеленели склоны гор, пестрым многоцветьем украсилась степь. В сорока километрах от города, на перевале встретила комкора Доржа жена с сыновьями. Глаза ребят сверкали от радости и восторга. Особенно когда отец подарил им пистолеты, очень похожие на настоящие. Эту игрушку нашел Дорж в Москве.

Один лишь день провел комкор в семье. А утром выехал на границу проверять заставы, рассказывать цирикам, как сражаются с гитлеровцами русские воины.

Санжийна Батаа никто не встречал. Произошло худшее: пока он был далеко, скончался отец. Поклонившись его могиле, комиссар возвратился в свою моторизованную бронеприцепную бригаду. Однако прослужил в ней недолго. Однажды пригласили комиссара в ЦК партии.

— Товарищ подполковник, мы хотим направить вас в Советский Союз. Учиться в Военно-политической академии.

— Ближайшие важные события, хотелось бы остаться в бригаде для боевой работы.

— Учеба, товарищ Батаа, это тоже боевая работа, — сказали ему.

Снова комиссар оказался в Москве, и теперь уж надолго. В столице Советского Союза узнал о капитуляции гитлеровской Германии. Очень хотелось побывать ему на празднике Победы, слить свою радость с радостью советских людей, своими глазами увидеть на Мавзолее руководителей партии и правительства, которые возглавляли борьбу. Рано утром ушел Батаа из общежития академии, на одной из улиц примкнул к колонне демонстрантов Свердловского района столицы...

Сколько же времени пролетело с тех пор! Не то что дети—внуки выросли у ветеранов! Мой приезд, наши разговоры всколыхнули воспоминания о далеком прошлом. Седоголовый генерал Дорж сам разволновался, показывая мне старые альбомы с фотографиями, говоря о фашистском танкисте-грабители, о погибшей девушке-связистке.

А в жизни Санжийна Батаа поездка на фронт оставила еще один своеобразный след. Начав когда-то выпускать в вагоне стенную газету, он постепенно настолько приобщился к печатному слову, что просто не мог не писать. Прощаясь со мной, подарил на память книгу своих произведений.

Батаа не стал профессиональным поэтом, однако стихи его, главным образом на патриотическую тему, широко известны в Монголии. А его песня о Ленине, песня об Улан-Баторе весьма популярны в республике, часто звучат по радио и в концертах:

От знойных далей Гоби до северных лесов  
Свободна и прекрасна земля моих отцов!  
Я воспеваю радость спокойных, мирных дней,  
И воспеваю мудрость я партии моей.  
Привольная Монголия, как ты мне дорога,  
И степи, и озера, и горы, и тайга...

Да, особенно приятно мне было познакомиться с ним, видным партийным работником, фронтовиком и поэтом. Долгим и интересным был наш разговор. Батаа пригласил съездить в его родной худон, побывать в Гоби. Я с радостью согласился. Вернувшись в Москву, получил от Санжийна Батаа письмо, в котором он напоминал о нашей беседе, обещал помощь в работе.

И вдруг — печальная новость: Батаа скорострительно скончался от тяжелой болезни. Что ж поделаешь, возраст и пережитые трудности дают о себе знать. Стремительное, безжалостное время забирает от нас ветеранов, участников войны. И как важно успеть расспросить их, записать воспоминания.

## 7

Прошлое всегда неразрывно связано с настоящим и будущим. Собирая материалы военных лет, я дважды побывал в Монголии, узнал и увидел много интересного, важного, но особенно, пожалуй, запомнился тот мартовский день, когда пришло сообщение, что на околоземной орбите находится первый монгольский космонавт. Вершины гор, окружающих Улан-Батор, были покрыты свежим снегом и сияли чистой белизной на фоне высокого ясного неба. А небо в Монголии необычное: просторное, почти всегда безоблачное. Тучам с морей-океанов далеко ползти сюда, в Центральную Азию, а если они и добираются, то ослабевшие, истратившие заряд влаги. Почти не бывает пасмурных дней, почти круглый год сияет над страной яркое солнце, а по ночам таинственно и призывно блещут крупные звезды. Воздух прозрачен, сух, чист, поэтому краски на вечерних и утренних зорях яркие, разнообразные, самых невероятных тонов и оттенков. Такие можно видеть лишь здесь да еще, наверное, в космосе.

Как все народы издавна стремятся проникнуть в таинственные глубины мироздания, побывать на неизведанных планетах, так и монголы своими чаяниями и помыслами устремлялись в космические дали. И вот Жугдэрдэмидийн Гуррагча оказался там вместе со своими советскими товарищами. Можно представить, с каким волнением разом охватил он взглядом с огромной высоты всю свою просторную родину!

Монгольским Гагариным величают теперь Ж. Гуррагчу. Он поднялся в космос через двадцать лет после прорыва человека за пределы земного притяжения. Юрий Гагарин был первым. А Жугдэрдэмидийн Гуррагча стал сто первым, открыл счет второй сотне покорителей дальних просторов.

Совместный труд за пределами земного притяжения — символический итог нашей многолетней и верной дружбы, итог совместной борьбы. И начало новых путей, старт к новым общим успехам!

Улан-Батор — Москва.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. КАМЯНОВ

★

## СЮЖЕТ И ВОКРУГ

*Из опыта дебютантов 60—70-х годов*

Я понять тебя хочу,  
Смысла я в тебе ищу.

*Пушкин.*

**П**орядок это или нет, когда приходится разыскивать автора? Днем с огнем разыскивать по всему тексту романа, повести, новеллы? Персонажи — вот они, все на виду; подробности места и действия прописаны. Что же до самого прозаика, то, по отзывам некоторых рецензентов и обозревателей текущей прозы, он как бы отодвинулся в тень. Или уклоняется от прямых контактов с критикой.

И озадаченная критика объявляет розыск. Недавняя дискуссия на тему «Современный герой: позиция автора и логика жизни» («Литературная газета», 1982, №№ 5—29) тому наглядный пример. С газетных полос, занятых дискуссионными материалами, не раз звучали настойчивые призывы: «Автора! Пусть выйдет к рампе!» И, по впечатлению ряда выступавших, слабей других откликаются на такой клич позавчерашние дебютанты, прозаики одного либо смежных поколений, обозначаемые суммарно и невнятно то по возрастному признаку — «сорокалетние» (вариант — представители «полусреднего поколения»), то по территориальному — «реалисты московской школы». Эти весьма зыбкие аттестации, способные сбить читателя с толку, формируют образ «полусредних», единый и слитный, как на старинных изображениях дружин, где воин с воином словно сращены телами, стройно сдвинуты в своих островерхих шлемах.

А лица писательские? Их выражение? В самом ли деле так трудно различимы? И отчего возникли толки о трудной различимости или авторском «объективизме»?..

**Жанр — лаборатория или жанр — ловушка?**

Сомкнутого строя «полусредних», однако, нет. Если есть, то рассыпанный, да еще и по формальному признаку неоднородный: то голосом «сорокалетнего» прозаика заговорит кто-то из литературных ветеранов, а то и вовсе новичок. Так что намного вернее, преодолев обаяние метрик и анкет (возраст, место прописки), отказавшись от членения текущей прозы на школки и землячества, вести речь о существовании дела — о необычной «скрытности» современного автора, которого мы привыкли наблюдать при ярком свете рампы и без всяких оптических помех.

Исходный тезис Руслана Киреева «возможны варианты»<sup>1</sup>, давший толчок газетной полемике, возник перед участниками спора как досадная преграда на ровном месте, которую приходится брать без разбега: разные попадались препятствия, а такого, кажется, не ждали.

Между тем тезис о желательных и возможных вариантах совсем не случаен и вырастает из художественного опыта, очень слабо освоенного теорией. Почти не замечена, к примеру, тяга прозаиков 70-х—начала 80-х к социальному портретированию, заведомо «объективному» первооткрытию и живописанию типов, при котором авторские пыл и жар как бы не предусмотрены жанровой задачей, а преду-

<sup>1</sup> Напомню, что в статье, открывавшей дискуссию на страницах «Литературной газеты», Р. Киреев обосновывал право романиста решать художественную задачу «вариативно», предлагая читателю вникнуть в соревнование субъективных правд персонажей, притом вникнуть без явных подсказок автора.

смотрена, если угодно, холодноватая аналитическая корректность.

«Повесть-портрет», — определяет главный герой одного из недавних романов В. Маканина жанр задуманной им литературной работы, подобной тем, какие он и прежде «делал не раз и не два». А определив, стал накапливать черточки, штрихи биографии, магнитофонные кассеты с записью разговоров некоего киношного деятеля, избранного им для портретирования. Форменное дознание, социопсихологический розыск учинен героем-повествователем для выявления нравственной сути киношника. Сам же романист ведет уже двойной розыск, приглядываясь и к киношнику и к пытливому герою-рассказчику, взявшемуся его разгадать. Два круга дознания: один внутри другого. Отсюда и своеобразная структура этого романа («Портрет и вокруг»).

А прежде В. Маканин-портретист, действуя прямее и проще, разматывая одну нить розыска, успел создать портреты книжной барышни («Старые книги»), подзаголовок — «Портрет молодой женщины»), бескорыстной, почти святой грешницы («Валечка Чекина», подзаголовок — «Провинциалка»), юного Вертера эпохи НТР («На первом дыхании», подзаголовок — «Портрет молодого человека»)... Чуть позднее В. Маканина развернул галерею социальных портретов и Р. Киреев, ставя в центр повествования то заведующего пивным павильоном («Приговор»), то пожилого таксиста («Посещение»). Одну следом за другой повесть-портреты публикует и ленинградский прозаик М. Чулаки — первая об участковом враче, в которого вселились демоны графоманства («Прекрасная земля»), вторая о ресторанном поваре, подлинном магистре кулинарного искусства («Вечный хлеб»)...

В каждом повествовании этого ряда мы найдем «более или менее меткую наблюдательность и более или менее верный взгляд на предмет», говоря словами Белинского, относящимися к физиологическому очерку 40-х годов — отдаленному прообразу нынешней портретной прозы.

Появление сборника «Физиология Петербурга» (1845) пришлось на ту историческую полосу, когда, по Белинскому, в сфере общественной мысли резко возросла тяга к строгому и трезвому анализу. «Дух анализа и исследования — дух нашего времени» — так начинается его обширная статья «Речь о критике».

Повесть-портрет можно считать пробным жанровым оттиском «духа анализа и исследования», который напоминает о сво-

их правах и льготах в искусстве, переждав или пропустив мимо волну горячего просветительства, веяния элегической исповедальности, мечтательного романтизма и т. п.

Натуральным очерком, а равно повестью-портретом «дух анализа» присягает на верность факту, надежно укореняясь на почве эмпирики и не спеша отлетать к эмпириям. Облюбовав социальную типажность как предмет ближайшего интереса и отдельную тему, избрав ненапряженную ситуацию, он и сам чересчур не напрягается. Так спортсмен, выйдя на разминку, не выкладывает сверх меры, экономя силы для острых минут состязания.

Повесть-портрет и есть разминка аналитического духа, которая, кстати, проходит без большого стечения публики. Жанр этот редко будоражит умы, оставаясь на периферии читательских интересов и литературных дебатов. Удивляться тут ничему: атмосфера борьбы, состязания, накал конфликта для нас гораздо притягательней методических обследований и тщательных обмеров.

Портреты мы вежливо разглядываем — в конфликты вовлекаемся. На портрете обычно изображен кто-то другой; участники же конфликта если не мы сами, то наша родня по крови, разогретой азартом борьбы, по духу, смущенному острыми вопросами.

Глядя во все глаза на арену конфликта, мы примерно с тем же пристрастием следим за автором, как болельщики на трибунах за действиями арбитра: справедливо ли судит? А прозаик-портретист для нас скорее демонстратор, экскурсовод, чем участник действия. И там, где все соки художественной системы вбирает в себя типаж, откуда взяться вариантам, в пользу которых выступает Р. Киреев: вариативность — спутница конфликтности.

Естественный рисунок поливариантности — веер, сноп расходящихся лучей. В портретной же прозе любой веер, даже ненароком раскрывшись, сам собою складывается, сноп лучей гаснет... Острая борьба или соревнование вероятностей тут не предусмотрены.

Выходит, что повесть-портрет одновременно и лаборатория и жанр-ловушка для аналитической мысли, которой здесь удобно оттачивать свой инструмент, присягать на верность факту, но неудобно выбирать на волю с запасом отточенных инструментов: выходы тесны.

Есть хитроумный способ охоты на обезьян. Зарывают в землю кувшин с лакомствами — орехами, например, — обезьяна просовывает внутрь пятерню, захватывает

полную горсть, а извлечь добычу узкое горло не позволяет. Так она и возится с кувшином, пока охотник не подойдет.

Повесть-портрет подобна такому охотничьему кувшину; хочешь свободы — разжимай кулак.

И в нынешней портретной прозе заметен порыв к свободе от жанровых стеснений, преодолению типажной эмпирики.

У А. Курчаткина в одном из его рассказов-портретов читаем о рабочей-сезоннице: «Она оглядывалась по сторонам вокруг себя, пытаясь понять жизнь, которой приехала учиться, и душа у нее не просилась наружу, а хотела насытиться окружающей, незнакомой ей правдой и отяжелеть ею». У В. Маканина о книжной барышнице, особе предприимчивой, хваткой и как будто безнадежно прозаичной, сказано: «Картинки семейной и счастливой жизни, которые она себе нарисовала, — рассыпались, их уже нет. Приходится подумывать о новых картинках».

Авторский интерес к сердечным капризам, мечтаниям, странностям и алогизмам душевной жизни не предусматривает условиями портретного жанра, правилами «игрь», где выигрышем должно стать наше знание среды, а не тайных струн сердца. Но авторам словно бы ни к чему внутренние запросы жанра, в пределах которого они выполняют ряд подготовительных работ, не собираясь задерживаться здесь надолго. Жанр удобен как временное пристанище. Мастерская, где оттачивается писательская зоркость. Главное, что авторы-портретисты передают читателю из рук в руки, — не суждение, а свидетельство. И тут мы особенно не ропщем: хорошо, пусть будут свидетельства, раз такой уж избран жанр — повесть-портрет...

#### Ствол и крона

Когда критика отчитывает кого-то из современных повествователей за неясность нравственных акцентов, у нее наготове еще один попутный упрек: этой прозе не хватает строгого сюжета. Напоминания о важности крепкой сюжетной канвы — по сути, тот же, только слегка переименованный призыв: «автор, объявись!». Ибо авторам привычнее всего искать на пересечениях сюжетных линий или на прямой, которую мы мысленно прочерчиваем от завязки к развязке.

Но вот послушаем одного из вдумчивых наших критиков, В. Курбатова: «Повествование как рассказ о событии замесилось дробным анализом событий и

рефлексией самого рассказчика». И дальше: «Литератор реже стал записывать завершившуюся и отстоявшуюся реальность и увлекся процессом, оттенками сиюминутного творения смысла».

Для «сиюминутного творения смысла» прозаикам удобней всего брать текущие состояния душ, отходя подалеже от эстетики делового очерка, в рамках которого подробности внутренней жизни теснятся возле весомого, четкого факта или стайкой следуют за ним.

Имея в виду завоевания романтической школы, Герцен писал: «Постигнув свою бесконечность, свое превосходство над природою, человек хотел пренебрегать ею, и индивидуальность, затерянная в древнем мире, получила беспредельные права, раскрылись богатства души, о которых тот мир и не подозревал».

Разумеется, открытие человеком «своей бесконечности», сделанное однажды, уже неотменимо. Но судьба его в искусстве переменчива. То оно на ярком свету и в почете, то в тени. Выпадают периоды, когда индивидуальность забывает настаивать на «беспредельных правах», с головой уходит в неотложное дело и самоопределяясь в его строгих границах. Центром образных систем становится в такую пору первоочередная деловая задача (пуск шахты или домны, вывод предприятия из прорыва, внедрение прогрессивной агрокультуры и т. д.), к которой как к узловой станции сбегаются пути и линии характеров, судеб, человеческих интересов, простых или запутанных отношений, включая сюда интимные... Складывается и крепнет повествовательный канон. Набирает силу эстетическая инерция, как бы и не очень заметная до определенного срока.

Но приходит срок — и приходит необходимость вновь присмотреться к индивидуальности, постигающей «свою бесконечность». А значит, нужен стиль (в широком смысле), отвечающий теме. Тут-то и выясняется, что стилевая традиция ослаблена и оживить ее непросто. Особенно же трудно разработать язык сюжетных, фабульных, композиционных построений, пригодный для передачи внутренней правды, или правды «внутреннего человека».

И «бесконечность» души пробует найти прибежище в границах злободневного очерка, морального поучения, хроники делового конфликта. Причем мысль о «бесконечности», проникая в эти пределы, сообщает некую шаткость очерково-моралистическому сюжету, и тот начинает проседать, как дощатый настил над вьюжиной.

Вступив на литературные подмостки, дебютанты 60—70-х годов сразу же ощутили некоторую неустойчивость очеркового кано́на в прозе. Ощутили, что вновь открытая «бесконечность» охотно заявляет о себе вставными монологами, философической рефлексией (опять же — «поминутное творение смысла»), сновидческими, мифологическими, лирико-патетическими фрагментами, но затрудняется продолжить свои рефлексии языком сюжета и архитектоники.

Позавчерашние дебютанты попали в тот эстетический промежуток, когда очерковому сюжету все чаще доставалась внешняя или вспомогательная роль, а текучие, тонко инструментованные «смыслы» жили укромной жизнью, не слишком влияя на сюжетную логику и планировку целого.

Оказавшись в таком эстетическом промежутке, наши авторы не спешили из него выбираться, склоняясь к неоднозначности сюжетных решений и невольно подзадоривая критику к призывам: «Автора на видное место!»

Сказанное, впрочем, относится не только к дебютантам 60—70-х годов.

...Открываем типичное, казалось бы, производственное повествование — об освоении природных богатств советского Заполярья. Берем отсюда два небольших фрагмента:

«Он теперь часто, как бы возвращаясь к себе двенадцатилетнему, останавливался вот так: и все эти тучи, рассветы, закаты становились для него событиями жизни, а не лишь признаками погоды. Ему казалось, он улавливает ритм дыхания колоссально-го и сложного организма, в котором он автономная клетка. И эта клетка немислимо далека от жалкого стремления выделиться как особь, проявить свою клеточную суть. Она счастлива своей причастностью к какому-то великому бессмертному общему смыслу, которого ей на клеточном уровне не уловить»; «Он и всегда любил море как свободное, расковывающее душу пространство; бешеную энергию штормов как бодрящий фактор; лес как массу освежающе рвущейся по ветру листвы. Теперь же все как бы приблизилось к его глазам».

Попробуйте по этим извлечениям из текста определить род занятий персонажа, который с такой пытливостью постигает секреты вселенской гармонии. Кто он? Человек искусства? Очарованный странник? Ученый-естественник в часы отпускного уединения? Ничего похожего. Перед нами энергичный руководитель, чья деловитость подчеркнута фамилией — Молотков, сирота и голодный оборвыш военной поры, в мо-

лодые годы бравый армейский старшина, поздней — шофер на трудных северных трассах. В общем, по обычным житейским меркам Молотков — способный, остро нацеленный выдвиженец. И откуда в его лексиконе «клеточная суть», «автономная клетка», «особь»? В юннатах он вроде не ходил, на биофаке не учился... А «бодрящий фактор» (о ветрах и штормах) каким ветром занесло в молотковскую речь?.. Нет, натур-философские «смыслы» тут и впрямь творятся сиоминутно. Не персонажем, а прозаиком Г. Балуевым, поставившим Феликса Молоткова в центр своего первого романа «Срок давности» («Звезда», 1982, №№ 1—3).

Прозаик не хочет и не может обделить делового героя радостями вольных созерцаний, приобщений к «бессмертному» смыслу и т. п., ибо на дворе 80-е годы и чистая деловитость ищет союза с бескорыстной пытливостью духа. По крайней мере на страницах книг. И автор «Срока давности» возводит у нас на глаза ажурную надстройку над крепкой основой волевого характера, пользуясь таким материалом, как живописная параллель, лирическая патетика, открытое, с научно-популярным уклоном комментирование чувств. Писатель словно бы нетверд в выборе: высказаться ли ему прямо, «от себя» или имитировать внутреннюю речь героя?

Молоткову между тем доверено ответственное дело — строительство дороги через тундру к месторождению нефти. Как вести трассу? Какой из проектов предпочесть — новаторский и дерзкий или благополучно-рутинный? С чего начать?.. Вопросы, которые обычно вырываются вперед, сообщая динамику и ускорение производственному конфликту. Но у Г. Балуева они произносятся вполголоса. Звучат и работают слабей, чем тревоги и сомнения волевого героя, мало связанные с прокладкой трассы.

Выясняется: совесть Феликса Молоткова отягощена преступлением, совершенным почти двадцать лет назад. Отправляться ему с повинной к прокурору, когда машина ударного строительства уже на ходу, или обождать?..

Итак, набирает разгон дело строителей и проектировщиков, а параллельно напрягается коллизия нравственного выбора. Что же важнее в этой повествовательной системе? Определенно борения совести. И недаром роману дано название «Срок давности». Во второй его половине производственная линия истончается в пунктир. Зато крепнет мотив очистительной явки с

повинной. Похоже, что в оболочке производственного романа нам предложена очередная вариация на тему «не покаешься — не спасешься»...

Но из-за чего, собственно, вся тревога? Ведь из воспоминаний и рефлексий Молоткова следует, что он и преступник-то не настоящий. А настоящих уже и на евете нет, как нет их жертвы — нетрезвого велосипедиста, сбитого грузовиком, шедшим далеко впереди машины Феликса (шоферы, повинные в наезде, уговорили Молоткова молчать, а тот по молодости подчинился).

Разматывая нить криминально-воспитательной истории, автор не позволяет ни одной подробности запятнать репутацию героя. И когда в последней главе близится час покаяния, от вины Молоткова уже осталась смутный мираж. Условность литературная осталась. Что же в итоге?..

В итоге совсем не просто взять в толк художественную логику повествования, которое держится на сюжетных и жанровых экспромтах. Наладился было производственный конфликт, но раньше срока иссяк; драма обремененной совестью хоть и пришла к успокоительному финалу, но драма ли это? Скорей типовой чертеж драмы, дань драматическим приличиям. А в зазорах между рассказом о строителях и моралистической притчей притаились очень интересные сюжеты, готовые вот-вот занять центр действия. Тут и роман героя с очаровательной беглянкой от постылого мужа на просторы Крайнего Севера, и история отношений с сыном-подростком, и дружба-борьба с правдоискателем-забулдыгой Севой Дроздовым...

Так что же за постройку возвел автор? Контуры ее расплываются. А материал для постройки добротный. Вернее, та часть материала, которая идет на выделку фрагментов и мало что решает в планировке целого...

По дружному признанию критики конца 60—70-х годов, лидирующее место среди эпических жанров стала занимать среднеформатная повесть, потеснившая в своем победном шествии многоплановый роман, а заодно компактную новеллу. Заколебалась субординация жанров.

К этому феномену долго подбирали ключи. Речь, в частности, велась о завидной оперативности средних новеллистических форм, их соответствии напряженным ритмам века, счастливой способности заменить пухлый роман сжатым «конспектом»... Но, помнится, в этом ряду не нашлось места такому соображению: повесть — жанр промежуточный, эластичный и к не-

му охотно тянутся, пробуя здесь как-то самоопределиваться, найти пристанище, беллетристические замыслы, полувывревшие сюжеты, в которых нет ни новеллистических, ни романских задатков, а есть даже некий страх перед завершенностью формы. И в самом деле, разве мало было за последнее двадцатилетие опубликовано (наряду, разумеется, с отличными повестями или им в подражание) повестей водянистых, замешенных на монотонной но-стальгии, элегической исповедальности, навивном, хоть и взволнованном просветительстве?

Кажется, крупной эпической форме удалось избежать такой участи. Удастся ли впредь?..

А теперь снова вернемся к роману «Срок давности». Какие его странные интересные всего читать? Те, где энергичный и умный Молотков размышляет о душе, космосе, тайных порывах сердец, предается расслабляющим, но сладким рефлексиям, открывая в себе сразу двух Молотковых — «внешнего» и «внутреннего, чуткого» (даже на такое почти цитатное сближение Молоткова с Пьером Безуховым идет прозаик, пробуя постичь тайное тайных своего героя и внушая читателю дерзкую догадку, что наконец-то найден рецепт, как совместить в одном лице черты извечных антиподов — Гамлета и Лаэрта, Фауста и Валентина, Обломова и Штольца...).

Психологический комментарий к действию тут намного важнее самого действия. А правда текучих состояний, умственных озарений героя важнее, чем внутренняя логика характера. Среди живей природы вряд ли встретишь такое — пышную крону над неокрепшим тонким стволом. Конечно, человек способен прибавить к природе и что-то от себя, подпорки изготовить там, где ствол слабо держит... Вот о том и приходится сейчас толковать, что для поддержки психологической, эсенстской и т. п. «кроны» сплошь и рядом идут в ход очерковость, производственная конкретика, этические построения. При условии, конечно, что именно в «кроне» главная красота.

Мы уже привыкли к тому, что немалая часть новейших повестей красна своей «кроной», строится таинственно и воздушно. К похожим образцам романов, кажется, придется привыкать.

Сюжеты нашей прозы 20—40-х годов, напитанные атмосферой бурь и тревог, были отражением суровых обстоятельств. Повествование достигало пика формы при наивысших драматических напряжениях.

Теперь же мы нередко наблюдаем колебание между крутой прямой сюжетного мышления и мягким, подчас женственным психологизмом; обычаем выводить героя на острый рубеж, где либо пан, либо пропад, и новым знанием о человеке, которому важно прикоснуться душой к «великому бессмертному общему смыслу».

За прозаиком, который колеблется в эстетическом промежутке, и критика устает туда-сюда глазами водить. А усталость ее чревата вопросом: не размыта ли у прозаика граница между злом и добродетелью? Вообще беды и несовершенства поэтики мы нередко оцениваем по соседней, этической шкале, где все как-то ясней и привычней.

### Во власти предчувствий

В недавнем рассказе В. Распутина «Наташа» есть примечательное наблюдение героя-повествователя: «Мы снова с детской непосредственностью и необремененностью потянулись к предчувствиям и ко всему тому, что к ним близко». Быть может, распутинский персонаж, доверившись своему узкому опыту, слыхком заторопился с обобщениями? Но в таком случае заодно с ним заторопилась немалая часть прозаиков, драматургов, деятелей кино, не говоря уже о поэтах.

Область предчувствий и всего близкого к ним сегодня под особым наблюдением искусства, в частности, потому, что здесь пересеклись две линии пытливости современного героя: интерес к широкому миру и заинтригованный взгляд на себя — автономную, как мы слышали, клетку. А еще есть стимулятор того и другого интереса — усталость от всего повторного.

Значит, «с детской непосредственностью потянулись». В часы самоуглубления, вероятно? И в тихой, камерной обстановке?

Но можно ли считать камерной, к примеру, обстановку тундры, где тысячи людей под грохот техники ведут вперед автотрассу? По наблюдению героя «Срока давности» Молоткова, сюда, на Север, устремились интеллигентные мальчишки из больших городов. «Они разительно отличались от привычной Молоткову резкой, настырной, матерящейся шоферни, полярных волкодавов... риска не искали вовсе»; царил среди них «новая для Севера атмосфера тонкости отношений и взаимной приязни».

«Отлично!» — думаем мы, затрудняясь сразу освоить эту информацию, ибо сдвинут с места опорный стереотип. Ведь речь о ком? О молодых романтиках. О роман-

тиках, но без вкуса к риску?.. Стереотип, однако, сдвинут, и нас, наверно, не просто новизной интригуют, но намерены и объяснением порадовать? Верно. По догадке Молоткова, городские эти мальчишки мечтают «именно здесь, среди грязи и снега, подняться выше презренной пользы, найти нечто возвышенное и смутное».

Молотков, конечно, не социолог; анкетированием приезжих не занимался и сбором данных по всему Союзу тоже. Открыт ли им новый тип молодых романтиков, о котором завтра расскажут и языком поэзии и языком статистики? Или стройучастку Молоткова просто повезло с пополнением, а романтиков нового типа пока нет? А может, и в кругу интеллигентных мальчишек не все так безоблачно, как представил Молотков? Гадать вряд ли стоит, а для определенных ответов нет опоры в тексте. Зато определен угол зрения на этих ребят, пристальный, даже фиксированный интерес к тому из мотивов их жизненного выбора, который особенно трудно заключить в готовую форму.

Напомним: «риска не искали вовсе», за «презренной пользой» не гнались, предпочитая тому и другому «нечто возвышенное и смутное». Аналитический фильтр поставлен так, что на нем оседает... то ли греза, то ли мечта, то ли мысль ускользающая. Весомое (решительный шаг, поступок) выводится из невесомого — из духовной озадаченности, «смутного» вопроса к миру. А может, из тех же предчувствий или того, что к ним близко? И это в современном романе о прокладчиках северных трасс.

Место действия новой повести Л. Жуховицкого «Кольчигин ключ», увидевшей свет почти одновременно с публикацией «Срока давности», тоже стройка. Молодежная. Среди ребят-строителей немало интеллигентных, под стать балуевским. Работой они увлечены. Расценками довольны. С алкоголизмом борются не без успеха, введя у себя сухой закон. Борьба, да еще коллективная, — занятие духоподъемное. И хорошо отвлекает... от предчувствий, например. Или от поисков чего-то «смутного».

Но вот навевается сюда, на стройку, некий сердцевед-любитель, паломник с тощим рюкзачком, — и заметно стихает будничная гомон. Образуются людские водовороты возле захожего чудака. Чего-то ждут от него звонкие ясноглазые ребята. Фокусов со спичками, которые тот вроде бы способен передвигать одним усилием



воли? Фокусов тоже. Причем в ответ на скептические реплики (шарлатанство, мол, телекинез этот) раздается девичий голос: «Хочется, чтобы было, и все. И телепатия, и морской змей, и снежный человек, и летающие тарелки»...

Однако настоящую популярность приносят захожему человеку разговоры о капризах и странностях людских сердец, о путях самопознания и достоверности его результатов.

Весомым сюжетным обстоятельством опять же становится нечто невесомое — безотчетная тяга деловых, крепких ребят заглянуть за грань очевидностей, дав работу тем силам души, которые ни поддерживают сухого закона, ни даже производственной горячкой не займешь.

В одной из последних своих статей Блок писал, что человек «с проснувшимся социальным инстинктом — еще не целый человек», поскольку «в составе его души есть еще сонные, неразбуженные или омертвевшие, а потому — легко уязвимые части». В наши дни человек не согласен оставаться «неразбуженным». Хочет бодрствовать — целиком.

И не случайно у Л. Жуховицкого в действии вступают разбуженные силы душ, потребовавшие простора, точной камертонной настройки, подкасок со стороны зрелого опыта. В повести образуется некое подобие автономного «застрочного» сюжета, который, как выяснилось, гораздо легче завязать, чем развязать.

Кто он, собственно, такой, загадочный прохожий, мастер бередить и привораживать сердца? Тунеадец, сообразивший, на каких струнах выгодней всего играть? «Сирена», которая «поет ложь из жалости» (так отозвался однажды Горький о страннике Луке)? Беспокойный искатель истины? Ни то, ни другое, ни третье. И всю странность (а равно странничество) персонажа вовсе не обязательно рассматривать в свете большой литературной традиции. Если привлекать к делу традицию, то скорее беллетристическую.

Жил-был, оказывается, пилот. Ас гражданской авиации. Попал в аварию, а поднявшись с боковой койки, выслушал приговор медиков: к любимой профессии непригоден. И, гонимый тоской, пустился странствовать, беседуя на привалах и перепутьях с кем бог приведет все больше о материях текучих, холодной логике неподвластных. А потом на молодежной стройке встретился с хорошей девушкой. И горести его пошли на убыль, а дела на поправку. Такова схема. По сути, безраз-

личная к тому живому и несерийному содержанию, которое ей доверено как-то объять. Если содержанием считать самое интересное, что есть в повести — ряд душевных встреч, диалогов, совместных предчувствий, — то оно как бы не в форме и, не умея выразить себя языком сюжета, общих повествовательных планов, вынуждено искать серийную упаковку.

Слово о душе, ее запросах, тяге к самопознанию ударяется о рамки готовых повествовательных форм, включая сюда и маловосприимчивые к оттенкам живого чувства: натуральный очерк, повесть-портрет с социологическим уклоном, притча с разбитым, но затем исцеленным сердцем и т. п. И такова одна из примет нынешнего движения жанров, что новым вином наполняются старые мехи.

Легко понять тех критиков, которые, взяв пробу из знакомых мехов, недовольно морщатся, ибо их ожидания обмануты. Как именно обмануты, о том можно судить и по нашим примерам: рассказ о прокладке северных трасс неожиданно сбивается на рефлексию о «клеточной сути»; из очерка рыночных нравов глядит в мир правонарушительница, занятая поисками свежих иллюзий, ибо прежние «рассыпались»; на панораму молодежной стройки наплывают вдруг психологические, даже парапсихологические туманности... Как тут не воззвать к автору: обьявись, дай получше разглядеть твое лицо! А он не сразу и откликается на зов, заинтригованный «бесконечностью» своих персонажей, то есть феноменом, с которым заново знакомится наше искусство.

И, знакомясь заново, оно вынуждено как-то привыкать к собственному открытию.

#### Слово об интеллигенте-учредителе

На первых порах открытие «бесконечности» подействовало возбуждающе. И на литературных персонажей, и на повествователей, и на критику.

Критика ввела в обиход горделивый термин «духовная суверенность» (варианты — «неповторимость», «автономность»). Литературному персонажу стало казаться зазорным в чем-то походить на соседа. Слово «стереотип» сделалось почти бранным. Зато возросла популярность слова «вариант», за которым вставала перспектива вольного выбора каждым путей и форм самораскрытия в обход стеснительных «стереотипов». Герой психологической прозы стремительно отдалялся от границ

делового очерка, не желая присутствовать в искусстве своей типажностью, наглядным совпадением с профессией, должностью, любовью, даже заманчивой ролью.

Рольные рамки ему тесны, и совпадать он согласен только с самим собой.

Тут-то как раз и начинаются главные затруднения героя, оказавшегося лицом к лицу с собственной суверенностью. Легко ли ею править? Не грозит ли ей участь глубоководной рыбы, выброшенной на поверхность?.. Азарт и хмель самоутверждения поначалу мешали герою сосредоточиться на таких вопросах. Но в свой срок они приходили.

Центральное лицо романа Анатолия Афанасьева «Привет, Афиноген», молодой сотрудник НИИ, признается: «Иногда в голове моей начинается путаница. стрелка компаса прыгает и скачет, как полоумная, и я забываю, где какие страны света». Надо, значит, как-то укротить скачущую стрелку, чтобы она исправно показывала, где север, где юг. Задача эта хлопотная и сопряжена с упорным трудом самовоспитания. Афиноген к такому труду не готов и выбирает способ попроще — лицедейство. Веселое, разухабистое, подчас наглое лицедейство, позволяющее, однако, не плутать в трех соснах, даже если «компас» неисправен.

Облюбованные им роли — ловеласа, циника, рубахи-парня, ироничного интеллектуала — не очень сложны в исполнении, а главное, вписывают его разбухшую «самобытность» в какой-то контур, позволяя герою чувствовать себя «в форме».

Таков парадокс: от чего бежал, приблизительно к тому же и вернулся. Выйдя за черту деловой или профессиональной роли, оставшись наедине с собственной «беспредельностью», срочно занялся примеркой других, самодеятельных ролей.

Перефразируя известный афоризм из «Братьев Карамазовых», скажем так: до того широк этот молодой человек, что самому не терпится себя сунуть.

И роман об Афиногене тоже широк, рыхловат композиционно, перенаселен проходными фигурами. На первый взгляд центр повествования совпадает с традиционной борьбой в среде сотрудников НИИ: одним дороже всего дело, интересы науки, другим — декорум, плавное движение бумаг по институтским каналам и дальше. Но едва мы отведем взгляд от привычной схемы, перед нами — приключения души все того же Афиногена, его перелеты от эксцентрики к рефлексии, от

внешней бравады к самопознанию. А институтские события, изложенные наскоро, словно бы с оттенком неловкости перед начитанной публикой, — сюжетный доводок к парадоксам Афиногеновой души и, кроме того, приподнятая над бытом площадка, где герой поближе к финалу выступает горячим поборником истины.

Снова знакомая картина: ртутно-подвижное содержание, не найдя собственной сюжетной формы, бросается в объятия испытанных схем, словно споткнувшееся дитя в протянутые нянькой руки.

И не в том ли кроется разгадка (одна из разгадок!) нового интереса прозаиков к жанру повести-портрета, что традиционная форма здесь обладает большим запасом прочности, строго дисциплинируя весьма капризную «бесконечность» персонажей?..

Упомянутой «бесконечности» уже наскучило из-за дня в день быть именинницей, салютовать самой себе и всячески охорашиваться. Настали будни. И как ей найти собственный центр, вписаться в масштабы будничных дел, если они повторны, а она уникальна и брезгает повторностью?..

Молодежной повести 60-х годов с ее звонкими призывами к «духовности» такие вопросы редко приходили на ум. Нынешняя проза — и прежде всего проза тех, кто дебютировал в 60—70-е годы, — занялась ими вплотную: время заставило.

У ленинградского прозаика Валерия Попова об одном из персонажей сказано: «Конечно, в трудную минуту он не поведет, но в легкую с ним тяжело!» Вот именно! Уроки трудных минут у этого персонажа в крови, восаны с молоком матери. Что же до минут легких, то в такие минуты не только окружению с ним тяжело, но и ему с самим собой.

Под грузом духовных первооткрытий он идет зигзагами, выискивая, на что бы опереться. А опорой для этих новобранцев «духовности» может оказаться готовое ампула — допустим, неуязвимо циника-интеллектуала (Афиноген), Гамлета без шпаги (есть такой в повести А. Курчаткина «Гамлет из поселка Уш») или Печорина (Виктор Семенов центральное лицо недавнего романа А. Афанасьева «Командировка»).

Подобный персонаж — идеальная мишень для сурового моралиста: несовершенства его как на ладони, а многие еще и нарочно выставлены напоказ. Удивительно ли, что на критику он подчас дей-

ствует как сильный раздражитель, поощряя ее к темпераментным обличениям?

За последние два-три года появилось немало горячих инвектив и против самого персонажа, и против авторов, которые почему-то не спешат его заклеить. Но недаром сказано: на всякого мудреца довольно простоты. Например, критик Д. Иванов, чья статья о «сорокалетних» озаглавлена с суровой прямоотой — «Бег на месте» («Огонек», 1982, №№ 21, 22), резко осудив Рябова из романа Р. Киреева «Победитель» (а заодно уж и автора), тут же признавался: «На поступки этого героя смотришь часто без радости, как в зеркало».

Никто, разумеется, не ждал от критика подобных признаний и, но раз уж слово вылетело, подумаем и о прозанке, чьи свидетельства действуют с такой неотразимостью. А в зоркости Р. Кирееву никак не откажешь и в чувстве формы. Одно с другим тесно связано.

Герой, распираемый собственной «бесконечностью», увиден Р. Киреевым словно бы на цирковой трапеции: мах в одну сторону — и его подхватывают чуткие руки сослуживцев, обступают дела: мах в другую — и он в одиноком вольном полете.

Иннокентий Мальгинов (роман «Аполония») и Виктор Карманов (роман «Подготовительная тетрадь») — большие искусники работать «под куполом». Будничная проза, «ролевые» обязанности для них — приготовление, подступ к главному, необходимый разгон, без которого не вспарить И на стадии разгона своя ноша не тянет. Когда же приходит срок, оттолкнувшись от служебных лн, домашних обуз, вознестись душою к далекому тут и вовсе наступает эйфория. А дальше все делается само: мах в одну сторону завершен — гарантировано скольжение обратно... Найдено динамическое равновесие (любимое, кстати, слово Карманова). И фотограф-полиглот Мальгинов упрявляает подалее от глаз диплом филолога, а сотрудник областной газеты Карманов держит под спудом свои писательские опыты: филология, писательство им нужны для одинокого полета, роль пляжного фотографа или оперативного очеркиста — для обеспечения полетов. И ей, то есть роли, приличествует скромность, незаметность. В таком случае можно раскачиваться дальше.

До каких пор?..

Вопрос в сюжетном и композиционном отношении — ключевой.

Сбалансированность служебных забот и

келейных озарений ненадежна. В «Подготовительной тетради», к примеру, ненадежность «равновесия» удостоверена оборотистым Свечкиным, который легко проникает из редакционного в келейный мир Карманова, мешая журналисту ровно раскачиваться между тем и другим. И как раз противоборство, психологическая дуэль Карманов — Свечкин соединяет все участки романного действия в одну подвижную систему.

Традиционный раздор между правдоискателем и прагматиком здесь, как легко убедиться, не столь и традиционен. Во всяком случае, страдательная роль делового, цепкого Свечкина в этом конфликте никакой традицией не предусмотрена. И задиристость книжника-правдоискателя тоже.

«Роль» — слово в нашем случае важное. Спросим так: лежит ли на облике Виктора Карманова печать его репортажа, газетной запарки и т. п.? Лежит. В присутственные дни и часы. От и до. Истекло урочное время — никакой печати нет. По улицам областного города прямым курсом к раскладушке движется кум королю. Уединенный мыслитель. Запойный читатель-писатель. Заочный собеседник целой когорты философов разных эпох и народов.

Деловая роль для Карманова — нечто вроде прозодежды, наброшенной на плечи. А на Свечкине она — в обтяжку. И Карманову тошно глядеть на румяного, тугощекого бодрячка, для которого мир — подобен вроде огромной конторе по обмену дефицита на дефицит. Такая слепота и бескрылость человеческой души приводят Карманова в тихую ярость.

Хорошо. Сочувствуем... Но его изобретательные выпады против Свечкина говорят не об одной лишь несовместимости с оборотистым дельцом. Они говорят и о желании Карманова по-бойцовски расправить плечи, арену отыскать для застоявшихся сил...

Прямой наследник тех литературных героев, кто долго и радостно открывал собственную «беспредельность», обрел антагониста. Уже дело! Но его издевки над свечкинской предельностью — перебор в уже надоевшей раскатке (часы присутственные — часы уединенные), соскок на арену для темпераментных действий и заявлений: «А вот что я думаю о высоком предназначении человека».

В центр романа поставлен интеллигент-учредитель: неспешный, въедливо-кропотливый учредитель союза «Я и остальной

Мир», занятый уточнением исходных позиций, преамбул и предчувствий. Но не из-за лени или безволия у него задержка на учредительной стадии. Скорее из-за душевной шири, которой так же трудно войти в берега, отыскать собственную форму, как кармановским черновикам под названием «Подготовительная тетрадь» сделаться тетрадью подготовленной (к отправке в редакцию для начала).

Сам же Р. Киреев лучше всего угадывается именно в организации романа, подчиненной динамике вопросов к многоумному герою, который на малое не согласен, к великому не готов: как преломились в нем приметы бегущего дня и виден ли завтрашний?

Озадаченность в вопросах — структурная черта этого романа, где нет следов «типового проектирования» и где само построение сюжета призвано выявить внутренние позиции персонажей. С помощью структуры повествования автор выведывает у духовной «бесконечности» ее, скажем так, ближайшие планы. И не оттого ли книги Р. Киреева так часто оказываются в центре дебатов о прозе дебютантов 60—70-х годов, что одно из ведущих ее свойств — примат вопросов над ответами — у него выражено с особенной наглядностью?..

Это свойство далеко не каждому критику по душе. Поймите! — такой призыв к читателю расслышал в одном из романов Р. Киреева молодой критик В. Куницын. А расслышав, не удержался от вопроса: «Всякого ли я должен понимать, а значит, частично и оправдывать?» («До Светополя и обратно...» — «Литературная учеба», 1982, № 3).

Нечто похожее иногда прочитывается между строк и у авторов постарше. А тут в строке — прямое требование льгот или пусть одной профессиональной льготы: не перетруждать себя пониманием «всякого» (а может, и вообще предмета, о котором судить взялся?). Ведь неровен час поймешь, да и простишь; в точности по афоризму выйдет...

Но имеет ли распорядительную силу в искусстве правило это — понять значит простить? Если бы имело, то, взяв в руки, предположим, «Карателей» А. Адамовича, где автор показал нам самые дальние загоулки черных палацеских душ, мы обнаружили бы — что? Попытку писателя «частично оправдывать» палачей? Фантастическая догадка, не так ли? А фигура провокатора Азефа, показанного опять же «изнутри», в романе Ю. Давыдова «Две

связки писем» (ссылаюсь лишь на самые свежие примеры) как освещена? В согласии с тем же правилом «понять — простить»?..

Нет, вторая часть вопроса, заданного молодым критиком, — обыкновенный промах мысли, перепугавшейся собственной тени. Первая часть намного интересней...

Значит, кого попало понимать не надо? А если через одного? Опять не выход. Тогда конкурс, что ли, объявить среди претендентов на наше внимание: стальных-то, дескать, пойму, прочие не вызщите...

Поймите! — обращается прозаик к своей аудитории. А понять-то надо — кого? Тех, видимо, кто пока не признан искусством и не понят, но способен не только о себе рассказать — о нас тоже. Не оттого ли автору с его призывом дан в статье В. Куницына отпор, что понимать непонятое хлопотней, чем оставаться при готовом вчерашнем понимании?

В отказе молодого критика понимать «всякого» — жест досады и ранней усталости: путь к автору с его нетиповыми задачами крут и длинен. А не крутизной ли пути рожден памятный нам мотив: «Пусть автор подойдет поближе и отрекомендуется!»? Или как минимум поощрена его настойчивость?

Если же автор не сразу откликнулся, начинаются догадки: не путаник ли он, позабывший, куда идет и зачем?..

В пику таким догадкам критик В. Ковский недавно выдвинул ряд веских резонов. «Но ведь это почти аксиома, — напоминает он тем, кто в повестях и романах Р. Киреева, В. Маканина, А. Афанасьева не находит позиции автора, — произведение без авторской позиции — все равно что произведение, не отображающее никакой реальности: оно должно быть написано никем» («В масштабе целого» — «Вопросы литературы», 1982, № 10).

Оппонентам В. Ковского удобней подзывать прозаика к себе для отчетов и пояснений. В. Ковский же советует им подойти поближе к художнику, старается поощрить их отзывчивость на образное слово. И тут ему понадобился достаточно сильный рычаг — ссыла на аксиомы, опорные положения эстетики, о которых вроде и напоминать неловко.

Восприимчивость к эстетическим аргументам, вообще к чужим резонам — величина в критической практике не постоянная. Подчас убывающая. Особенно в тех случаях, когда свою позицию критик постарался оборудовать как неприступный

бастион и чуток лишь к собственным доводам и пристрастиям.

С одним из таких «бастионов» мы знакомимся, читая пространную статью М. Лобанова «Освобождение» («Волга», 1982, № 10). О критической методологии М. Лобанова уже писал на страницах «Литературной газеты» П. А. Николаев («Освобождение'... От чего?»—1983, № 1). Он, в частности, отметил пристрастие автора «Освобождения» к «лихим» и предвзятым оценкам крупных литературных явлений, «критический нигилизм по отношению не только к большой литературе, но и к истории, а заодно к теории искусства», агрессивность и безапелляционность тона.

Эти особенности критической методологии М. Лобанова легко обнаружить и в том месте статьи, где критик ведет речь о произведениях группы дебютантов 60—70-х годов, для которых он подобрал колкое обозначение «почти пятидесятилетние». Услышал М. Лобанов разговоры о творчестве этих писателей и подивился наивности собратьев по перу, отыскавших тут предмет для споров. «А спорить-то не о чем», — вразумляет он коллег. М. Лобанову все ясно и без углубления в предмет — книги не угодивших ему авторов критик разом списывает на макулатуру, не взглянув, что называется, на обложки, не удосужившись даже намекнуть, что ему знаком хоть один из сюжетов Р. Киреева или В. Маканина, Л. Бежина или А. Афанасьева... Согласно его размашистому заключению прозаики, причисляемые критикой к московской школе, находясь «вне национального», заняты привнесением в литературу «под всякими громкими словами... бездуховности и моральной беспринципности». Эти характеристики прежде всего выдают степень раздражения критика, которого вроде бы выманивают из его теоретического бастиона, отрывая от освоенных им эталонов высокой и светлой прозы.

В тексте «Освобождения» легко обнаружить опорные для автора слова и сочетания: «твердыня народной морали», «почва», «народность», «национальное», «осознание... на народном уровне»... Притом «народное» трактуется здесь как «традиционно крестьянское». Терминология весьма ответственная, но употребляемая без поправки на время, характер и глубину социальных савигов, резко переменивших дореволюционное соотношение деревня — город, то есть употребляемая, мягко говоря, некорректно, «на глазок».

При утечке смысловой ясности эти термины легко вбирают в себя дух, или можно помягче — душок, авторской запальчивости, нетерпимости к чужому слову, если оно звучит в иной, не столь приподнятой тональности, как, допустим, «твердыня». Тональность искусства, тяготеющего к исследованию и анализу, обычно иная. И совсем не случайно наряду с прозой недавних дебютантов резкое недовольство автора «Освобождения» вызывает творчество С. Залыгина, аттестуемое в статье как «беллетризованная литературная полемика». Причем задача «развенчания» популярного писателя опять же решена сокращенным способом — без намека на доказательство.

В этой критической системе, как и в упомянутой работе В. Куницына, действует «лимит на понимание» — своего рода контрольно-пропускная предосторожность, призванная оберегать «систему» от воздействий извне. И уж если анализизм С. Залыгина, отдавшего десятки лет работы именно сельской теме, не понят, отвергнут критиком с порога, то нетрудно предположить, каких милостей могут дожидаться от него молодые прозаики, обостренно внимательные к внутреннему укладу интеллигента. Они и дождались...

Конечно, услышав от прозаика: «Пойми-те! Разберитесь со мною вместе!» — мы в свою очередь вправе подать реплику: разобратесь, мол, готовы, но твоей пыливости нам все равно мало; хотелось бы и гневом вместе с тобой загореться и поэтическим восторгом, попереживать поострей за героев... Подобные пожелания могли бы и действие свое возыметь. Но тут важна обоюдность. Если авторские призывы мы пропустили мимо ушей и заранее не согласны понимать «всякого», то и наши реплики-сигналы вряд ли дойдут до цели.

Впрочем, пора вернуться к прерванным наблюдениям.

### На испытаниях

Современный интеллигент-учредитель, становясь литературным героем, подвергается целому ряду испытательных процедур, упорядоченность которых (не говоря уж об итогах) сама по себе примечательна. Регулярней всего он испытывается любовью. Взятой к тому же в пламенном ее варианте. То есть особенно часто в пламенном.

«Я даже не знал, что так бывает, — признается москвич Виктор Семенов («Командировка» А. Афанасьева) в разгар своего

романа с участковым врачом Натальей Олеговной.— Три недели божественного спяния, когда время вытянулось в ровную линию и потеряло всякий счет и смысл».

Будет ли и дальше «вытягиваться» время? Вопрос, который приходит на ум не менее разгоряченному ленинградцу из рассказа В. Попова «Две поездки в Москву». «Я боюсь,— тревожится он,— что не продержаться нам с ней на таком высоком уровне, не суметь». А уровень обоюдной страсти и впрямь высок. Оба, он и она, в горячке, кружении, вихре. Но ненадолго. И первой из этого яростного клубка выпадает женщина. Ее ждут муж, ребенок, дела. И вообще с нее довольно. А он... «Я в отчаянии,— признается после ухода подруги герой В. Попова,— но... и счастлив — жизнь наконец-то коснулась меня». А раньше разве не касалась? Касалась, да не так, чтобы каждая в нем клеточка пела в унисон остальным. Для него любовь — избавительница от внутренней смуты, властный сигнал: «Встряхни! Не кисни!» Он, конечно, всегда готов не киснуть и собрать свои разрозненные «клетки» воедино. При условии, что ему будут чутко ассистировать.

Такова, собственно, роль подруги — быть умелой ассистенткой. И подруга, следя за эволюциями избранника, могла бы уловить в его поведении тревожный оттенок: каждая встреча с нею для избранника — сеанс душевной терапии. Даря и принимая ласки, он прислушивается к себе: уже подействовало или требуется повторить?

Особенно резко обозначен рисунок таких отношений у А. Курчаткина в рассказе «В гостинице». Некто Тугунин зазвал к себе в гостиничный номер молодую особу, сильно занимавшую его воображение. Влечение оказалось обоюдным. И потекли для Тугунина «бесплатные мгновенья слияния с чужой душой, растворившейся в нем и растворившей в себе его». Эротический мотив тактично приглушен. Намного внятней звучит тема интимного союза двух душ, укрывающих одна другую от дискомфорта и будничной маелы. Тем не менее когда все гостиничные сроки истекли, выяснилось, что пылкий влюбленный очень мало знает о даме своего сердца, даже фамилию не догадался спросить.

А она в чьи объятия упала? Своего разьединственного? Неповторимого? «Мне всегда такой тип нравился,— исповедуетесь заплаканная героиня.— Светлые. их белообрсыми называют, ну блондины, и глаза при этом — явно монгольская кровь намешалась»... Ну наконец-то свершилось — при-

знали тугунинскую уникальность. Оценили По оптовому счету!

Но и он тем же грешен перед подругой («В юности ему всегда нравились высокоскулые, с раскосыми глазами, восточного типа женщины» — вот с чего у них все началось). Перед нами парадокс обезличенной, внеперсональной интимности. И формулу «слияние с чужой душой» приходится уточнять. Тут не слияние, а скорей втягивание, вбирание в себя чужой души как снадобья против собственной нездоровой полноты (душевной опять же) и анархии разрозненных клеток.

Налицо — простейшая кооперация двух капризных сердец. И когда мы, критики то есть, в порыве праведного гнева потрясаем изъятными из текстов бюстгальтерами, колготками, комбинашками с кружевной отделкой, то невольно выдаем избирательность своего зрения.

Эрос у наших авторов не хозяин положения, а вассал, поставщик обычного антуража для необычной любви, где есть горячность, но нет тепла, где нежно обласкан тип, но плохо угадана личность и где влечение к другому — вывернутая форма заботы о себе самом.

Непременный этап продвижения интеллигента-учредителя по ступеням сюжета — проверка служебными буднями. И что же открывается? Двойственность. Если угодно — лед и пламень...

С одной стороны, служба для него не отчий дом и не арена самоутверждения, во всяком случае не главная из арен. В должностной колее он подтянут и корректен. Сдержанно профессионален. Но с другой стороны... Когда мы поставили рядом сдержанность и профессионализм, то сразу же вступили в зону конфликтов, ибо профессионализму сплошь и рядом противостоит нахрапистая некомпетентность или, допустим, изворотливое свечкиство («Подготовительная тетрадь»). И, сохраняя себя, профессионализм, даже прохладный, вынужден воспламениться.

Кроме того, если уж самому Молоткову из «Срока давности» требовались «бодрящие факторы», то обойдутся ли без них афиногены или кармановы? Не обходятся.

К примеру, сотрудник НИИ Виктор Семенов из романа А. Афанасьева «Командировка» со всей готовностью принял на себя роль «московского сыщика», нагнав с проверкой на базовый завод. Да еще в горячие дни квартального отчета, когда дотошность проверяющего для местных нерадивцев и виртуозов парадной отчетности

означает одно — прощай, премия, здравствуйте, оргвыводы!

В качестве приезжего ревизора Семенов неуступчив, даже самоотвержен и мог бы стяжать лавры героя без страха и упрёка, если бы не гаерствовал по ходу дела, не развлекал себя горячим сюжетцем «один против многих», не превращал служебные кабинеты и лаборатории в площадку для азартных игр.

Деловой конфликт, как и ситуация «на рандеву», для этих персонажей в немалой степени допинг, «бодрящий фактор», шанс уплотнить дух, не расходуясь на внутреннюю работу.

Разумеется, не только дела служебные или сердечные чреватые для афиногенов и семеновых внезапными встрясками. Всякое случается в жизни. Обрушился, допустим, недуг. И уложил героя на больничную койку. Тут начинается действие «я и хворь моя». Кто кого! Экстремальная все же ситуация. А одновременно и с п ы т а т е л ь н а я не раскиснет ли герой-учредитель? Нет, держится молодцом. Афиноген, например, даже сбежал на волю из послеоперационной палаты, словно пробуя вжиться в давние сюжеты, взять пример с персонажей военной прозы, которые редко дожидались законной выписки из лазаретов: тянуло на фронт.

Если разобраться, для Афиногена и его соседей по литературному ряду внезапный недуг — увольнение от будней и допуск в неизвестное, на тот полигон, где жизнь и смерть — в прямой и открытой схватке а значит, есть что-то сходное с патетическим временем, когда прочекала юность отцов.

«Я ведь понятия не имею, честен я или нет, труслив или смел, добр или скотина последняя», — признается закадычный друг Виктора Семенова из «Командировки». К той же теме, но с другого конца подходит герой Михаила Чулаки («Вечный хлеб»), пробуя вообразить, «чего бы мы все достигли, если бы... жили хоть вполжизни того напряжения» и разумея напряжение отдалившихся грозных лет.

В бесконечно разросшемся внутреннем хозяйстве интеллигента-учредителя минувшая война — собирательница его сил и в немалой степени вторая, духовная, родина. И на людей фронтового поколения взгляд у него особый, уважительно-завистливый: они выходцы оттуда, где каждый вмиг определял, честен он или нет, труслив или смел, где душу обжигали труднейшие вопросы, но вопрос «как сладить с собственной „бесконечностью“?» не вставал. Теперь встает...

Разглядывая интеллигента-учредителя почти в упор, мы вовсе не поворачивались спиной к авторам, а, по сути, вели речь о форме их присутствия в сюжете. В частности, о том, как у наших авторов сюжеты растут. Именно растут, пробиваясь наружу из того психологического грунта, который зондирует писатель.

Заяжному и явному конфликту Карманов — Свечкин предшествовал, скажем так, инкубационный период, когда конфликт готовился, зрел в глубине... кармановского сознания. Отсюда, из этой подпочвы, и вытянулся внешний сюжет.

Хроника служебной командировки (роман А. Афанасьева) вдруг оборачивается странным репортажем о самоиспытаниях героя-повествователя, которому подвернулась подходящая для такого дела полоса препятствий.

История короткой гостиничной интрижки (рассказ А. Курчаткина) построена так, что оказывается уловительницей тончайших форм и веяний современного потребительства...

В центре сюжетной задачи здесь неизвестное, а не тот или иной заранее найденный ответ. И удивительно ли, что к автору озадаченному критика находит путь помедленнее, чем к иному автору-всезнайке?

#### «Кончилась легкая молодость»

Растут в таежной глуши города-новостройки, через тундру прокладываются автострады, сходятся в жарких дебатах трудники многочисленных НИИ Кипит деловая реальность, поставляя искусству сюжет за сюжетом.

Как за них повернее взяться? С какого края подойти? Тут сколько художников, столько и сноровок. Но есть и общие приемы, или подходы.

Существует четкая логика производственного конфликта. Почему бы ей не стать сюжетной? И становится. У очень многих авторов.

Но растет, как мы видели, нетерпение сердец открыться широкому миру в заветных своих движениях. И при столь высокой активности сокровенного человека та же прокладка автотрассы или командировка на базовый завод могут быть трактованы по-другому — как эпизод из внутренней биографии персонажа, овеванный дымкой его мечтаний, надежд отыскать «нечто возвышенное» (вновь ссылаюсь на роман Г. Балуева) и т. п.

Значит, речь наша сейчас о двух вариан-

тах. Первый: движением сюжета правит внешний факт, которому о ч у в с т в а х ничего не известно. Второй: перипетии сюжета подчинены прихотливой логике чувства, сквозь призму (дымку, струение — как угодно) которого видится факт или событие.

В нынешней духовной ситуации перед вторым — широкий простор. Зато первый привычней, к нему мы подходим во всеоружии нашей практической логики, согласно которой в искусстве, как и везде, сначала дело, потом уже психология, а не наоборот.

Между двумя вариантами, поглядывая то в ту, то в эту сторону, нащупывают свой путь образные системы, подобные балуевской («Срок давности»), отмеченные печатью эстетического промежутка.

Беглые впечатления дня, удержанные памятью... На трамвайной площадке группа рослых очкариков, похохатывая, перебирается репликами:

— Как я живу? Нормально. Кресла утпающие, сблизжающая тахта. Брюки с капшоном. Чем плохо?

— Жизнь удалась. Хата богата. Супруга упруга.

— Жизнь сложна, зато ночь нежна...

— А отдохнули вы как?

— Все хоккей было! (Фокус тут в созвучии: «хоккей» — «о'кей». На чей-то вкус — юмор!)

К трамвайному впечатлению приплюсовалось коммунальное... За стенкой голоса соседей — интеллигентного вида молодых. Он: «Вставай и убирайся!» Она: «Из дома?» Он: «Нет. В доме». (Невинный, оказывается, разговор — всего лишь об уборке комнаты.)

Услышав подобное, может, и не осудишь г. лету да с маху очкариков с молодоженами в придачу. Но осадок, наверно, останется. И догадка не исключена: в моду он, что ли, вошел, словесный блуд этот, иижонство интеллектуальное?..

А теперь покажем: не слышал я приведенных здесь разговоров ни в трамвае, ни за стеной, а выписал из повести ленинградца Валерия Попова «Жизнь удалась». Из разных ее мест.

А примеры из книжки — совсем иное дело. Тут каждое лыко в строку. И догадки приходят на ум не только о молодых гражданах, по-всякому выворачивающих слова, но и об авторе, который вставил этих граждан в книжку: не лобует ли он своими острословами? Не искушает ли нашу скромность дурными примерами? (Мало ли мы

возмущались, притом не без основания, засилием молодежного сленга в исповедальной городской прозе начала 60-х годов?)

А надо сразу сказать, троица молодых специалистов, однокашников по строительному институту, к которой сходятся все линии повести, близка авторскому сердцу. Близка, несмотря на словесное лихачество, фирменные шуточки, принятые дружеским синклитом в качестве шифра, что ли, и способные покоробить неподготовленного человека, как многих коробыла в свое время желтая кофта юного поэта. ибо не вдруг и не каждому придет в голову, что желтой кофтой «душа от осмотров укутана»..

Но читатель В. Попова как раз подготовлен к верному пониманию частностей. Подготовлен логикой целого, где ни одна частность не остается без призора и не поощряет к «трамвайному» восприятию...

Внешняя фабула здесь резко ослаблена и плохо выстраивается в цепь. Есть звенья: маленькие праздники дружиб, ее охлажденья и новые вспышки, отпускные робинзонады на две семьи, женитьбы, командировки, скорбные недели в до- и послеоперационной палатах... Течение жизни! Типовые ее звенья. Какая между ними связь (на фабульном опять же уровне)? О том итоговые слова героя-повествователя: «Жизнь удалась!»

По Ю. Тынянову, сюжет — «это общая динамика вещи, которая складывается из взаимодействия между движением фабулы и движением — нарастанием и спадами стиливых масс». И дальше: «Фабула может быть просто загадана, а не дана». Перед читателем В. Попова именно такой случай: «загадана, а не дана». И другая часть тыняновской формулы — о «нарастании и спадах стиливых масс» — находит близкую опору в этой повести. В художественном ее строе.

Тут сам тон компанейства, легкого розыгрыша и самоиронии, взятый повествователем, иносказателен, служит прикрытием трудной внутренней работы, резонирует на ее ритмику, читается как — «отвлечемся, ребята, подарим себе минуточку беспечности или сделаем вид, будто беспечны!». Условленная эта беспечность — натянутый поверху покров и резонатор. Под нею колебания, подъемы и спады «стилевых масс», заряженных энергией духовного беспокойства, порывов и прорывов повествователя к самому главному в себе — сквозь собственную раздерганность.

...Веселая сценка: изрядно повзрослевшие приятели решили свести в один круг своих ребятяшек. И вот закипел детский празд



ник. Грянула танцевальная музыка. Девочки, мальчики пустились в пляс. Но тут... Впрочем, слово повествователю: «Вдруг я увидел, что Даша, робко улыбаясь, пляшет в сторонке одна. Я почувствовал, как что-то горячо и остро ударило в голову и в сердце.

— Прекрати, слышишь... Прекрати,— уже тише повторил я.

Да, пожалуй, этот момент. Кончилась легкая беззаботная молодость»...

Постойте... Что за притча? Девочку, дочку свою, пожалел: пары ей не досталось в танцах. И сразу — в голову удар, в сердце озарение, поворот. По обычным меркам тут какой-то пропуск, перескок от мимолетной дочкиной печали к последним расчетам с «беззаботной молодостью». А в промежутке что?

Промежуток заполнен однообразной, остужающей душу бытовней, азартом деловых споров, архитектурных конкурсов, чехардой сближений и отдалений цветами, так сказать, невинного юмора, а если смеяться поглубже — заполнен тревожной самооглядкой, попытками как-то организовать свою норовистую самобытность.

И шутовские бубенцы хохмачества, если вслушаться, звучат не всегда беспечно.

Лев Аннинский, подбирая ключи к стилистике В. Попова, на мой взгляд, верно нащупал ее закон. «Серьезность Зоценко и смех обернутов? — спрашивает он. — Пародия, балансирующая на грани патетики?» («В гости к Фанычу» — «Литературная газета» 1982, № 44) Да примерно так. Но требуется уточнить: патетика у В. Попова укротна, любит тень, зато если уж выходит вперед, то резко явочно когда ее не ждут, да еще на «неудобных» участках текста, где ни про судьбу не сказано, ни про больницу палату ни про космос, а упомянут, к примеру детский праздник («Даша... пляшет в сторонке... Кончилась... молодость»).

Такова, собственно, организация повести: фабула загадана а главные пути сюжета — в глубине «стилевых масс».

И вот какая складывается картина: герою В. Попова не в пример интеллигентам-учредителям из романов Р. Киреева и А. Афанасьева ясен эгоизм уединенных поисков и метаний по просторам собственной «бесконечности». Его задача — не только себе ответить на многочисленные «зачем» и «почему», но и приучиться за других отвечать. И если мы не поленимся проникнуть в глубь «стилевых масс» то легко убедимся, что ерник этот и хохмач как раз любовью жив и привязанностью — к друзьям («А

ведь я один на всем свете и знаю, какие это прелестные люди»), жене («...самому любимому и самому ненавистному существу на свете»), не говоря уж о дочке.

Отсюда и удар в голову, в сердце при виде одиноко танцующей Даши. По обычной логике повод пустячный. Но тут алогизм любви: родной душе, кровиночке плохо, горько и панциря защитного у нее нет (вроде твоей иронии). Так отвлекись же поскорей от себя, будь для родной души опорой! И прочувствуй, каково ей сейчас. А как только отвлекся — «кончилась легкая молодость»...

Согласно наблюдениям сегодняшней литературы хотя минуты текут вроде бы «легкие», но сердцам покоя нет — ни молодым, ни старым. Причем к старым у прозаиков особый интерес.

В текущей прозе нередко случается так, что вполне невинная информация о литературном персонаже — «ушел на заслуженный отдых» — звучит подобием команды «на старт!». Ни самим пожилым гражданам, ни их окружению покоя нет. Один, в прошлом крутой перегибщик, разоритель местных храмов, поднимается с именным оружием в руках на защиту памятников старины — тех, что пощадил в молодые годы; другой силится распутать узлы и петли давней интриги против героя гражданской войны; третий затевает раскопки в подполе родной избы, надеясь на лавры археолога; четвертый принимается исцелять недуги с помощью «наложения рук», а попутно проповедовать безгрешную жизнь среди природы — принимается, правда, после того, как был ушиблен бревном и по игре случая вроде бы «прозрел»...

Если воспользоваться аналогией с шахматами, у этих персонажей вот-вот флажок упадет на часах и надо сделать один нестандартный ход, чтобы вся партия чего-то стоила. Такая задача не каждому по плечу. Тогда остается уповать на случай. Свалилось, допустим, где-то рядом бревно, сдвинулись фигуры. И сам собой возник эффектный эндшпиль. Тут же, глядишь, из-за соседних досок повскакали другие энтузиасты шахмат — полюбоваться редкой позицией (у самих игра шла тускловатой), а потом разносить по округе славу престарелого маэстро. Или — «предтечи», как в одноименной повести В. Маканина, где изложено история знахаря-проповедника, конту женного бревном на пороге не совсем обычного поприща. Изложена в полугротесковской манере.

Впрочем, сколько бы ни были различны по манере, стилю эти истории о пенсионе-

рах, в каждой схвачен момент озадаченности людей артельного корня, привыкших жить хлопотливо и на миру: «Так в чем же моя особенность? Ознаменую ли себя каким-нибудь неповторным делом и душевным отличием?» Прежде, в допенсионную пору, не было у них тревоги, похожей на эту. И подходящих для нее условий тоже не было. Теперь то и другое есть.

«Кончилась легкая старость!» — могли бы воскликнуть персонажи недавних книг Д. Гранина, Ю. Трифонова, В. Крупина, В. Маканина, охваченные нетерпением распознать и выразить на склоне лет собственную неповторимость. Да, тут, пожалуй, не до «легкости», когда стар и млад начали вдруг проникаться надбудничным чувством, суть которого выражена в словах поэта: «Прошедшее, грядущее — во мне» или «вселенная во мне» (Блок). И это после плотного ряда десятилетий, очень мало поощрявших к философическим диалогам со вселенной. Теперь для таких диалогов — простор. И для раздумий о «клеточной сути» тоже.

Но вот Валерий Попов признал все же «легкими» духовные занятия индивидуума, когда тот упорно самоопределяется в стороне от всех.

Расставание с «легкой молодостью», которая собою полна и лишь к своим болячкам внимательна, преодоление ее центростремительных сил — таков у В. Попова главный пункт схождения и расхождения

«стилевых масс». Такова и сюжетная основа повести. Именно здесь, на этом уровне, ощутимей всего авторское присутствие.

Современный советский прозаик — больше исследователь, чем репетитор, повторяющий с нами вчерашние уроки. В нашу, читательскую сторону он подчас поглядывает рассеянно, ибо его ждут дела в глубине материала. Здесь рассеянность — другая сторона сосредоточенности.

И мы все же реже бываем правы, взваливая на автора грехи его персонажей в том случае, если он медлит с приговором. Сегодняшние авторы медлят поспешая. То есть вручить приз или навесить ярлык не торопятся, а уследить за изменчивым процессом, за сцеплением причин и следствий как раз спешат — пока те в поле обзора и не утратили свою характерность.

Без опорных ориентиров мы тут вряд ли останемся, но искать их надо не в стороне от исследования — внутри его.

Когда проза настроена на постижение и анализ, она не согласна льстить нашему всеведению и в очередной раз открывать знакомое. Что ж, обойдемся без лестии. И, не ожидая от литературных сюжетов просветительской однозначности, примем их аналитическую логику. Заинтересуемся, как обнаруживает себя в повести ли, в романе «дух анализа и исследования» (Белинский). Каков он в работе. А раз заинтересуемся, то, по крайней мере, не спугнем его невниманием.



---

---

## СТОЛЕТИЕ ГАШЕКА



*В апреле этого года исполняется сто лет со дня рождения Ярослава Гашека, автора всемирно известного романа «Похождения бравого солдата Швейка». Гашек был большим другом нашей страны, советского народа. Решением ЮНЕСКО знаменательная дата широко отмечается во всем мире.*

*Чешский журнал «Литерарни месичник», с которым «Новый мир» связывает давнее содружество, провел международную анкету, предложив ряду видных деятелей современной литературы из разных стран рассказать о своем отношении к художественному наследию Гашека, поделиться мыслями о месте писателя в развитии литературы наших дней, о судьбе сатирического и юмористического жанров в искусстве XX столетия. Ряд ответов на анкету, любезно предоставленных нам журналом «Литерарни месичник», мы публикуем с небольшими сокращениями.*

### **РОБЕР АНДРЕ (Франция)**

«**П**охождения бравого солдата Швейка» я читал дважды: один раз в юношеские годы, второй — намного позже. И это мне позволило в полной мере оценить значимость произведения: если книга одинаково захватывает человека молодого и совершенно взрослого, следовательно, ее сила универсальная. Я думаю о Рабле и Свифте, оба автора обнаруживают тяготение к комическому. Но у Рабле преобладает юмор грубоватый, фантастические символы; у Свифта же — то, что позднее получит название мрачного юмора.

Юмор Гашека, на мой взгляд, спокойнее, что ли, его комизм мягче. От Свифта Гашека отличает в первую очередь то, что даже в глубинах своего отчаяния он не пессимист. И с этой точки зрения следует оценивать «Похождения бравого солдата Швейка».

Но давайте еще определим, что же такое юмор, сопоставляя его с иронией и комизмом. Думаю, он тесно связан и с тем и с другим, но несет в себе обязательное страдание к человеку. Ирония, как и комизм, может быть и часто бывает жестокой — такова ирония вольтерианская. Ее цель — осмеять жертву. Эпиграмма, как известно, часто бывает формой мести. Юмор, выполняющий роль зеркала, этой

черты не имеет. Мне кажется, все, кто слушает юмор, беспощадны к себе. Раскрываемые слабые стороны и недостатки характера трактуются как удел каждого человека.

В юморе есть черты гуманизма. Хорошим примером может быть писатель давних времен — Диккенс. Он умеет с улыбкой передать самые тонкие и глубокие духовные движения героя.

Пожоую мягкость мы находим и у Гашека, чьи творческие усилия в «Бравом солдате» сосредоточены на том, чтобы вызвать симпатию читателей к герою. В книге откровенно клеймится позором система, в которую заключены люди и которая подавляет их человеческие качества, не говоря уж об исторических обстоятельствах, характерных для Чехии времен Австро-Венгрии.

Юмористический тон Гашека во многих случаях удовлетворяет современную общественную критику. Однако мы живем еще в мире насилия. И это вынуждает меня усомниться в том, что Гашек может быть широко понят и принят везде. Там, где попираются главные моральные ценности, юмор вообще может оказаться явлением недоступным. Существование Швейка предполагает хотя бы минимум терпимости.

Во французской литературе немало сатирических и иронизирующих авторов. Чувство юмора присуще, наверное, всем великим писателям, а его отсутствие в прозе должно быть для нас предупредительным сигналом. Юмор у французов в характере. Известно даже, что это слово англосаксонского происхождения.

Что касается меня, то сколько бы раз я ни принимался за автобиографические работы, я сразу же чувствовал, что без юмора никак не мог бы осуществить свою за-

### **ГРИГОРИЙ БАКЛАНОВ**

Почему я читаю Гашека? Да потому, что люблю его. Читаю, и смеюсь, и плачу, и радуюсь. И завидую, что сам никогда так написать не смогу.

Мое мнение о сатире и юморе в связи со всем, что происходит в мире, таково: когда уже невозможно говорить серьезно, остается возможность рассмеяться. Жаль только,

### **ЛАСЛО ДОБОШИ (Венгрия)**

Я считаю Ярослава Гашека замечательным писателем, которому удалось неповторимым образом выразить специфическую атмосферу, национальные отношения в период австро-венгерской монархии. Гашек становится ее самым метким сатирическим критиком.

Как историк литературы, я хочу это проиллюстрировать кратким анализом рассказов Гашека, путевых очерков и сатирических произведений с венгерской тематикой, которые делятся на две группы. К одной относятся рассказы с серьезным, даже патетическим настроением, где господствуют мотивы и темы венгерского революционного движения, освободительной борьбы венгерского народа. Ко второй группе относится в основном сатира, остро бичующая современную Гашеку венгерскую политику, прежде всего в отношении Словакии, боровшейся за национальное самоопределение. Гашека привлекала судьба людей, мечтающих о свободе.

Гашек, опиравшийся на революционные традиции, всегда находил способ выступить в защиту всех угнетенных, эксплуатируемых, униженных. Выразителем их настроений и помыслов Гашек был уже в большинстве своих ранних произведений. Во многих рассказах Гашека действует типичный отщепенец венгерской равнины, пастух-беглец, который ждет подходящего случая, чтобы сквитаться с узурпаторами своей свободы.

дачу. Юмористический тон наиболее естественно и органично звучит там, где речь идет о детстве или семейных отношениях. Если б юмор смог устранить все табу, он бы смягчил жестокость, которая обычно проявляется в иронии.

По правде говоря, мы уже далеко отошли от времен «Бравого солдата». И, наверное, именно эти размышления помогли мне понять, почему я полюбил творчество Гашека.

что люди нередко отделяются шуткой там, где от них требуется поступок.

Что касается других вопросов анкеты... Всякий раз, когда ко мне обращаются так строго: «Что Вы лично, как автор делаете для развития...» — я робею и у меня пропадает охота отвечать.

Всем желаю и впредь читать и почитать Гашека.

Когда же он спасается от преследования врагов, его укрывает каждый дом, каждая заимка, потому что, как пишет Гашек об одном крестьянине, «он и мадяром бы не был, если бы прогнал того, кто ищет у него убежища».

Гашеку было восемнадцать лет, когда он с одним своим соучеником-словаком впервые исходил пешком Словакию (тогда Северную Венгрию). Впечатления той поры легли в основу очерков, с которыми он, собственно, и вошел в литературу. Очерки эти сатирически заострены против проводившейся тогда политики насильственной венгеризации словаков. Очерки содержат немало гротескных элементов, которые нашли место и в более поздней политической сатире Гашека.

В произведениях Гашека с венгерской тематикой помимо сатирических, гротесковых найдем и много юмористических, так сказать, нейтральных картинок из венгерской жизни. Здесь широко используются венгерские языковые элементы. Изучив богатый языковой материал в рассказах Гашека с венгерской тематикой, я пришел к выводу, что вольное использование элементов иностранного языка (в данном случае венгерского) является одним из приемов создания писателем гротескного образа. То есть уже в рассказах начального периода легко отыскать ростки знаменитых парабол «Бравого солдата Швейка»...

## АЛЕКСАНДР КАБРАЛ (Португалия)

Знаменитый роман Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка» является не только удивительным юмористическим повествованием, приятным чтением; он одновременно точное и емкое свидетельство эпохи. С помощью иронии, то забавной, то атакующей (впрочем, она атакует даже тогда, когда забавна), здесь вскрыты острейшие социальные противоречия.

Ярослав Гашек создал образ бравого солдата Швейка, доброго и миролюбивого человека с бесхитростными голубыми глазами. И этот человек не однажды оказывается в горниле военных действий!

Кажется, что человеческий опыт Швейка превосходит его личное знание жизни: в нем, простом человеке из народа, сосредоточилось общественное мировоззрение, коллективный опыт. В этом плане, думаю, здесь достигнуто слияние слова героя и автора. В более широком смысле, если иметь в виду главный образ, это по-своему и сознание универсальное, ибо в образе героя и его драматической судьбе (драме-комедии) есть предсказание и предупреждение на будущее.

«Во всей Европе люди, как скот, шли на бойню, куда их рядом с мясниками-императорами, королями, президентами и другими владыками и полководцами гнали священнослужители всех вероисповеданий, благословляя их и принуждая к ложной присяге...» Так были определены векторы острой критики, направленной в романе против императора (символа власти), против церкви и генералов (столпов власти, пользующихся ею).

Что касается императора, то о нем точно сказано в связи с полковником Фридрихом Краусом фон Циллергутом: «Если мы рассмотрим его умственные способности, то придем к заключению, что они были ничуть не выше тех, которыми мордастый Франц Иосиф Габсбург прославился в качестве общепризнанного идиота...»

Критика церкви всего сильнее в сценах с фельдкуратором Отто Кацем, помещью пьяницы и ханжи («Приготовление к отправке людей на тот свет производились всегда именем бога или другого высшего существа, созданного человеческой фантазией»).

«Похождения бравого солдата Швейка» представляют собой резкую критику милитаризма. Вспомним военного следователя Берниса, человека чувствительного, поклонника дам и поэзии. Свою утонченность он

проявлял тем, что на стенах канцелярии демонстрировал фотографии различных эзекуций, проводившихся армией в Галиции и Сербии. Эти «художественные фотографии» запечатлели сожженные избы и деревья, служившие виселицами.

«Высокочтимый балбес» полковник Фридрих Краус, узнав, что австрийцы опять привезли пленных, простодушно восклицает: «К чему возить сюда пленных? Перестрелять всех! Никакой пощады! Плясать среди трупов! А в Сербии все гражданское население сжечь, всех до последнего человека. Детей прикончить штыками».

Есть еще инспектор Браун, действующий «в духе римских наместников времен милейшего императора Нерона». Есть триумвират, командовавший пражским гарнизоном, — смотритель Славик, капитан Лингардт, фельдфебель Ржепа по прозвищу «палач». О бесконечной «добrote» этих верных слуг режима по отношению к арестантам может свидетельствовать небольшая отрывок: «Рядом с «шестнадцатой» была «одиночка», мрачная дыра — карцер, откуда в эту ночь доносился вой какого-то арестованного солдата, которому фельдфебель Ржепа за какое-то дисциплинарное нарушение по приказу смотрителя Славика ломал ребра...»

Знакомясь с романом, читатель вынужден прервать чтение и спросить: «Что это за мир? Что это за человечество?» И если это читатель мыслящий, то придет он к заключению: автор написал не просто фарс, в котором высмеивает и анатомирует гротескные стороны безответственного милитаризма, нет, он, словно шутя, еще и излагает очень важные и серьезные вещи, касающиеся людей, которые оказались в огне войны. Проблематика, скрывающаяся за веселыми и невеселыми приключениями бравого солдата Швейка, спроецирована в будущее, в чем-то объясняя и трагедию второй мировой войны с кровопролитием на полях сражений, с уничтожением гражданского населения, со злодейским разграблением богатств, накопленных трудом народов, гнущую историю концентрационных лагерей — все аспекты, в которых проявилось бешенство кровавой фашистской братии. Напоминает это и о зверских убийствах невинных людей, хладнокровно совершенных солдафонами Пиночета, о массовых убийствах палестинских патриотов в Бейруте варварскими ордами бегинских молодчиков и ливанских фашистов, о неопикуемых страданиях народов Латинской Америки

(Гватемалы, Никарагуа, Сальвадора), о постоянной угрозе насилий и зверств там, где предоставляется свобода действий по-

томкам всех этих бернисов, кацев, ржеп, славиков, лингардтов, браунов, краусов во главе с этим политиканствующим ковбоем.

### **ЕФРЕМ КАРАНФИЛОВ (Болгария)**

Некоторые литературные критики в свое время не поняли и не оценили ни Гашека, ни солдата Швейка. Они были уверены, что Гашек только фельетонист, публицист и писатель-дилетант, а Швейк — вымышленная преувеличенная карикатура.

То же самое произошло и с нашим крупным писателем Алеко Константиновым и его героем Баем Ганю. Литературные критики были убеждены, что Константинов — фельетонист, публицист и писатель-дилетант, а Бай Ганю — вымышленная им, преувеличенная карикатура. Народ, однако, навсегда полюбил писателя и его героя. Бай Ганю — значительный образ всей болгарской литературы.

Это свидетельствует о том, как иногда излишняя серьезность историков литературы затрудняет им доступ в мир веселья и юмора, улыбки и непринужденного смеха. И еще о том, что народ обладает безошибочным чутьем и открывает в ином «фельетонном» герое постоянные, непреходящие ценности.

Необходимо подчеркнуть, что образ Швейка отнюдь не является случайной находкой — Гашек его долго вынашивал. Швейк сопровождал его в нелегкой жизни до самой смерти. Гашек прожил и выстрадал судьбу своего героя. В основе Швейк — трагический образ.

Источником самого веселого смеха бывают иногда самые глубокие страдания. Вспомните «Мертвые души» Гоголя.

Когда милитаристы мечтают сделать из современного человека машину, облаченную в военную форму, смех остается одной из незыблемых твердынь, стерегущих неповторимую красоту личности человека, охраняющих и национальную самобытность. Не случайно всякая угроза гуманизму сопровождалась появлением ярких юмористических произведений.

### **ФРАНЦ ПЕТЕР КЮНЦЕЛЬ (Федеративная Республика Германии)**

«Швейка» я бы взял на необитаемый остров в числе пресловутых десяти книг.

Ярослав Гашек — одно из первейших, величайших и ярчайших имен того единого и целого литературного жанра, который зовется юмором и сатирой. Значение этого жанра для меня стало бесспорным после

Болгарский народ всегда любил юмор. Он был для него щитом и мечом в самые его тяжелые годы. Наши народные песни полны животворного смеха, источник которого — вера в будущее. Наш народ создал образ умного Петра, озорного и находчивого героя, который ведет веселую перепалку с господами и их догмами.

Юмористы и сатирики всегда были у нас любимыми писателями. Во главе их Захарий Стоянов, Алеко Константинов.

В городе Габрово есть музей юмора, а габровские анекдоты популярны далеко за рубежами страны. Книги Гашека, и особенно «Похождения бравого солдата Швейка», у нас известны и любимы в самых широких кругах читателей.

Как автор и литературный критик я писал о книгах наших юмористов и сатириков, например о Радое Ралине. Но как главный редактор еженедельника «Литературен фронт» я сделал для юмора и сатиры очень мало. И если уж говорить о себе лично, то должен заметить, что я не люблю юмор скучающих от безделья снобов, людей злых и высокомерных, точно так же как и насмешки над Дон Кихотом, юмор пройдох-карьеристов, которые разыгрывают клоунов, чтобы позабавить шефов, юмор всех злобных, мстительных и завистливых, которые свои замаскированные юмором стрелы направляют на все талантливое, радостное и веселое, стараются уничтожить чей-то авторитет и свести на нет чью-то популярность.

Самый прекрасный юмор — это юмор чистых и ясных людей, которые шутят с детской находчивостью и веселой непосредственностью, которые распространяют вокруг себя хорошее настроение и возвращают человеку его собственное детство.

Можно и остро критиковать, но только не злобно и желчно, а смело и с любовью к человеку.

того, как я понял, какое мировое общественное и литературное значение имеет творчество Гашека. Это было после 1945 года (к сожалению, для этого мне нужно было пережить времена Гитлера и войну). Будучи переводчиком чешской литературы, я читал «Швейка» по-чешски и по-немецки.

И однажды я обнаружил, что, читая на чешском языке, я просто радуюсь встрече с настоящей литературой, а читая на немецком — больше проникаюсь авторским пафосом и улавливаю иронические предостережения Гашека. Возможно, это связано с особенностями языка. Чешский язык ближе сердцу, а немецкий ближе духу. Если я читаю «Швейка» по-чешски, его игривость и непосредственность напоминают мне определение юмора, которое дал Людвиг Бёрне: «Юмор — это дар не духа, а сердца». Если я читаю «Швейка» по-немецки, то его острота и пронизательность заставляют вспомнить слова Отто Юлиуса Бирбаума: «Юмор — это когда мы смеемся вопреки всему».

Гуманизация и сегодняшних людей в сегодняшнем мире — самая неотложная задача, от которой зависит мир во всем мире. Ярослав Гашек еще перед первой мировой войной раскрывал абсурдность того, что называется обезчеловечиванием человеческих отношений. Юмор и сатира, литературный жанр, который служит людям зеркалом, я считаю способным усиливать гуманизацию людей, потому что юмор, ирония, сатира и гротеск быстрее находят путь к сердцу человека, чем холодные, вычур-

ные и высокопарные слова. Гашеку, народному великану чешской и мировой литературы, этот жанр дал возможность прославить простых, часто растаптываемых историей людей. Тут ему служат все оттенки юмора, включая и мрачный юмор. Гашек видел недостатки общества, которые неизбежно приводят к напряжению и войнам, и восставал против них как писатель и как политически прогрессивный гражданин.

Немцы, способность которых к национальной самокритике со времен последней войны особенно возросла, очень рассчитывают на помощь Ярослава Гашека. Его «Швейк» вот уже многие годы прочно занимает место в немецких домашних библиотечках. Жаль, что перевод, сделанный пятьдесят лет назад, несовершенен: герой говорит языком неграмотного парня. А на Западе, где Швейк и «швейковость» воспринимаются по-своему, чехи и все чешское зачастую отождествляется со Швейком...

Как переводчик я бы с радостью сделал все, что в моих силах, чтобы познакомить с чешским юмором немецких читателей и тем самым внести свой вклад в обогащение немецкой литературы.

### **КАЙЕТАН КОВИЧ (Югославия)**

Гашек смеется. Гашек смеется даже тогда, когда кажется, что смеяться невозможно. Гашек — классик смеха. Вообще классик. Я его ставлю в один ряд с величайшими писателями мировой литературы.

Сатира — хирургический нож, юмор — лечебное растение. Человечество с его недугами нуждается и в том и в другом.

Юмор и сатира занимают в нашей современной литературе, пожалуй, столь же прочное место, как и у старых мастеров. Некоторые, возможно, думают, что мы, словенцы, больше любим плакать, чем смеяться. Будь это так, нас бы давно снесло в море с нашего беспокойного места между Альпами и Ядром. Но мы живем, дышим и творим. И не потому, что в трудное время мы уподобляемся цыгану из сказки Жупанчича, который, укрывшись зимой рыбацкой сетью и, высовывая наружу палец, восклицал: «Ух, на улице мороз!» Мы оптимисты по-гашековски! Могу подтвердить, что среди

словенцев Швейк ничуть не менее известен, чем Гамлет. Слово «Швейк» (с прописной буквы) даже вошло в словенский язык и означает человека, который может наплевать на общественные условности, пренебречь приличиями.

Я не думаю, что Гашек имел прямое влияние на словенских юмористов. Но его «Швейк» у нас популярен, издавался бесчисленное количество раз, а сейчас к столетию писателя готовится новый перевод романа.

Кроме лирики, главного предмета моей деятельности, я написал несколько сатирических и юмористических поэм. Я пишу также для детей, и мне кажется, что именно в этой области роль юмора особенно велика: кто умеет смеяться от всего сердца с детства, тот будет мудрее в зрелом возрасте. Смех рождает доброту и понимание. А можем ли мы утверждать, что то и другое у нас в избытке?

### **ИРЖИ МАРЕК (Чехословакия)**

Попробуйте не читать Гашека! И вы лишите себя величайшего удовольствия, которое дает литература, а главное, не увиди-

те скрытую сущность человека — сегодняшнего дня, будущего и вообще человека. Я уверен, что юмор — это тот зонд, кото-

рый позволяет проникнуть в истинную суть вещей и явлений мира.

Когда задумываешься над смыслом юмора, обнаруживаешь, что юмор — нечто неразрывно связанное с жизнью простого человека, жизнью такой трудной, что в ней не обойтись без юмора. Правильно говорит К. Чапек (в «Марсии»), что три каменщика наворотят и насочиняют больше шуток, чем четырнадцать министров. Трудная жизнь и юмор органически связаны друг с другом; это прекрасный пример для теории диалектики, и удивительно, что он до сих пор не вошел в учебники.

Если писатель хочет отразить мир в его целостности, ему не обойтись без юмора. В ином случае он, образно говоря, прихра-

мывал бы на одну ногу. К сожалению, большинство из нас пишет слишком серьезно, что, несомненно, вредит нам. Кроме того, признаюсь, что не особенно люблю так называемую юмористическую литературу как жанр. Юмор должен быть чем-то, что не планируется заранее, но что всегда присуще мастерски созданному образу, персонажу. Юмор всегда внутренне свойствен человеку. Однако «чистый» юмор, или, как говорят, смех без слез, просто — нелепость. Слова Яна Неруды о том, что юморист уходит в угол и плачет, до сих пор остаются в силе. Короче говоря, юмор — страшно трудное и невероятно серьезное дело. Но это тот единственный глазок, через который дано заглянуть в сердце человека. И в собственное сердце, друзья!

### **ГОНСАЛО МАРТРЕ (Мексика)**

Я читаю Гашека потому, что это один из величайших сатирических писателей всех времен, которого можно сравнить с Аристофаном, Апулеем, Петронием, Кеведо, Вольтером (его предшественниками), с Шоу (его современником). Небосвод юмора и сатиры усыпан множеством звезд, но те, которые я перечислил, сияют особенно ярко. В своем скромном литературном творчестве я постоянно обращаюсь к Гашеку, у которого, помимо прочего, четко выражена антивоенная позиция, что мы, живущие в конце XX века, умеем особенно ценить.

Юмор врачует внутренние раны человека, нанесенные чей-то завистливостью, злобой, эгоизмом. Смех — незаменимое средство от меланхолии и ностальгии. Человек выше животного уже потому, что обладает способностью смеяться над собой и над самой жизнью. Как может человек пройти по жизни без улыбки, подобно герою Бастера Китона? Я это говорю без малейшего желания обидеть прославленного актера...

Сатира же не только бичует общественные пороки, но служит отличной профилактикой против вируса гордыни, самодовольства, нетерпимости к другим. Мексиканский народ больше любит сатиру, чем «легкий» смех. И наших писателей подчас подстерегают соблазны пафосного облич-

тельства. Отсутствие тут богатой юмористической традиции осложняет задачу художественного самоконтроля. У нашего популярного прозаика дона Фернандеса де Лисарди иногда проскальзывает юмор, но все же господствует тон морального поучения. Можно говорить о проблесках юмора у Хосе Рубена Ромеро, Артемио дель Валье Ариспе...

Правда, немало пишется эпиграмм. Этот жанр культивируется со времен раздоров между либералами и консерваторами в независимой Мексике. Но эпиграмма, увы, это цветок-однодневка.

Среди мастеров юмора я мог бы назвать современных драматургов Уго Аргуельеса и Эмилио Карбальдо, которые стремятся создать национальную комедию. Их работа заслуживает всяческого одобрения: ведь именно в театре юмор приобретает особую силу.

Влияние Гашека заметно у Авилеса, Монсиваиса, Ибаргуэнгойти. Полагаю, что ощутимо оно и в моих вещах. Элементы политической сатиры, направленной против президентского абсолютизма, есть и в других моих произведениях. Задуманы и новые вещи — тоже сатирического плана. Но пока я ломаю голову над художественным воплощением этих планов.

### **ЭДУАРДАС МЕЖЕЛАЙТИС**

Трижды в жизни перечитывал я шедевр мировой литературы — книгу Ярослава Гашека о бравом солдате Швейке. Впервые я читал ее в 30-е годы нашего тревожного столетия, будучи еще гимназистом и моло-

дым начинающим писателем. Тогда, помню, смешным показался мне сам персонаж книги, Швейк. В последний раз я читал Гашека недавно, когда появился новый хороший перевод его на литовский язык. Теперь уже



Смешным и мелким показалось мне то окружение, в котором приходится существовать бедняге Швейку. А сам он вырос в моих глазах чуть ли не по плечо гidalго Дону Кихоту. Швейк для меня — веселый мудрец, веселая народная мудрость во плоти. Какой бы сложной ни была историческая или просто жизненная ситуация, народ никогда не теряет ни головы, ни здорового чувства юмора. В этом его сила. Я всем сердцем полюбил веселого, милого, остроумного и хитрого чешского мудреца — воплощение ярких черт национального характера. И теперь уже не расстанусь со своим любимым героем. Швейк стал пословицей, которая не сходит у меня с языка. На моем столе стоит купленная в Праге фигурка бравого солдата, а рядом лежит книга о его забавных приключениях. Когда мне бывает грустно, я смотрю на улыбающегося Швейку, листаю книгу, читаю страницу наугад — и его хитрая, мудрая, оптимистическая улыбка разгоняет мою печаль. Это хорошее лекарство, болезнь как рукой снимает.

Я часто спрашиваю себя: удастся ли Дону Кихоту когда-нибудь победить ветряные мельницы? Должно быть — никогда. Но давайте представим себе: что стало бы с миром, не будь в нем Дону Кихота? Когда на горизонте появляется Дону Кихот, ветряным мельницам приходится-таки поджечь свои загребущие крылья. Кажется, Гоголю принадлежит гениальная мысль о том, что люди, которые ничего на свете не боятся, все-таки боятся смеха. Смех — страшная сила. Увы, не всегда ветряные мельницы понимают это и сами не прочь со вкусом поиздеваться над фантазером Дону Кихотом. Но на самом деле они смеются над собой. И копье рыцаря, направленное против их могучих крыльев, очень нужно миру. Обязательно нужно. Конечно, мельницы успели намолоть себе всякого добра. Но представим, сколько бы они еще намолотили и какие вышли пироги, если б не сокрушающее копье сатиры! Время от времени оно напоминает, что есть предел и всепоглощающе-

му мельничному эгоизму, что пора им ограничить свои аппетиты.

Веселый солдат шагает по дороге, протоптанной рыцарем печального образа, и я люблю их обоих.

Сам я пишу стихи, однако читаю в основном прозу. Тоже, скажете, юмористический парадокс? Возможно. Хорошая проза восполняет мне то, чего не хватает поэзии. В наш век поэзия претерпевает значительные метаморфозы. Пропадает поэма — ее функции переходят теперь к роману, повести, новелле. Изменяются и характеристики поэзии. Мало осталось сегодня так называемой чистой поэзии — такой, как когда-то понимали ее наши классики. В современной поэзии чистая лирика накрепко сплелась с автоиронией. По-моему, автоироническая арлекинада выполняет в поэзии функции сатиры, сарказма, юморески. И горе читателю, которому эта автоироническая позиция автора покажется смешной. Ведь смеется он не над поэтом, а над собой. Поэт распял себя за чужие грехи. И в моих стихах нередко звучит издевка над самим собой. Не знаю, что чувствует при чтении таких стихов закоренелый бюрократ или страдающий отсутствием аппетита потребитель. Ведь у мещанина, эгоиста кожа толстая и жесткая, как панцирь черепахи. Но, как говорит пословица, капля за каплей и камень точит. Не вечен и каменный панцирь черепахи. Может, и сквозь него можно достучаться?

Только нужно, чтоб в аптеках нашего литературного мира было все больше целебных сатирических капель. Сатира в наше время — дефицит. И радостно бывает, когда этот дефицит пополняется вдруг такими книгами, как «Осень патриарха» Габриэля Гарсиа Маркеса. Недаром эта великолепная сатира молнией облетела весь мир. Надо больше копий направить в ту обросшую каменным панцирем эгоизма инерцию, которая ползет черепашьим шагом, задерживая нормальное движение жизни. Лучший воин в этой битве — бра- вый солдат Швейк.

### **ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ (Англия)**

О похождениях бравого солдата Швейка во время первой мировой войны я читал юношей — перед следующей мировой войной. Книга была для меня открытием, до этого я никогда не встречался с такой наглядной картиной исторических событий. Блестящий юморист о падении Габсбургов и чешском характере сказал мне больше, чем любой исторический материал. Потом

был мюнхенский кризис, но я уже знал о чешской способности сопротивляться завоевателям и огромной моральной силе, которая победит все.

Я понял, почему Швейк смог преодолеть всю ограниченность классово-напыщенности и военную бездарность. Борьба Швейка с глупостью системы является квинтэссенцией никогда не прекращающегося жесто-

кого боя, которым заполнена вся история человечества и который идет во всех частях света. Здесь Гашек добился необыкновенного эффекта: он рассмешил нас, хотя временами нам следовало бы скорее плакать. А это говорит о том, насколько серьезно Гашек ко всему относился. Точно так же Бернард Шоу показал нам общество, которое необходимо было высмеять, чтобы стали явными его недостатки и опасные стороны.

В том, что юмор сегодня все больше черный, суровый, а иногда даже жестокий, видимо, виновато угрожающее состояние современного мира.

Что же касается величины, в которую Гашек возвел свой юмор, то родилась она в условиях подлинного движения сопротивления и отражала то, что мы можем обозначить как чешский образ мышления, чешский характер. Именно это подтвердила необыкновенная популярность Швейка, хотя некоторые критики и старались придать книге легкое звучание.

Теккерей назвал юмор смесью любви и остроумия, и Гашек в этом смысле является совершенным примером: своего героя он любил, хотя и старался убедить нас в том, что он смешон. Сюда следовало бы и современному юмору направлять свои усилия. Учить нас — иногда с помощью насмешки, но чаще с помощью всех в добром смысле слова удивительных способностей челове-

ческого духа — значит проникать под оболочку тех предметов и явлений, которые хотя и выглядят порой очень представительными, но на самом деле достойны лишь осуждения.

Свой Швейки есть в культуре и многих других народов. У арабов это герой деревенский, крестьянский. У нас в Англии есть шекспировский Пэж. Нашим особым видом юмора, весьма близким чешскому, является юмор кокни. Он являет недовольство, направлен против пережитков. Хотя юмор может быть использован и таким образом — чтобы убедить людей быть послушными, чтобы они покорно мирились с отведенным им в обществе местом. Такое иногда, как с юмором кокни (как и с воинским юмором), случается, но, слава богу, иногда!

Сейчас юмор переживает кризис в том смысле, что сама жизнь полна кризисных ситуаций, и мы точно не знаем, над чем вообще нам смеяться и как далеко мы можем зайти.

Гашек знал, над чем нужно смеяться, кого полюбить, кого высмеять и кого держать на расстоянии. А такое в юморе очень важно. Когда человек должен одновременно смеяться и плакать, это большое испытание его человечности. В книгах Гашека часто слышишь плач, хотя автор и склонен к смеху, который исходит словно бы из сердца. А там его Гашек всегда и искал.

## ВАЛЕНТИН ОСКОЦКИЙ

Сколько лет Швейку? Каждый раз ровно столько, сколько читателю, читающему о его похождениях.

Как и его предшественники Гаргантюа и Пантагрюэль, Дон Кихот и Санчо Панса, Гулливер, Тиль Уленшпигель, Кола Брюньон, Швейк — современник всех времен, ровесник всех поколений. И потому он, как говаривалось в старину об удачливых молодцах из русских народных сказок, ни в огне не горит, ни в воде не тонет. Фашизм был вынужден убедиться в этом, когда, едва дорвавшись до власти, распалил костры, в которых предстояло исчезнуть и «Похождениям бравого солдата Швейка». Ничего не вышло из кощунственной затеи новоявленных инквизиторов. Уцелев в первую мировую войну, бравый солдат победил во второй. И, восстав из пепла, продолжил свою бессмертную жизнь далеко за пределами книги Ярослава Гашека. В пьесе Брехта. В кинокомедиях К. Ламача, Сергея Юткевича. Престарелому императору Францу Иосифу I такое долголетие было не по зу-

бам. На нынешний день Швейк уже пережил его на семь десятков лет. И наверняка еще переживет вдвойне и втройне на столько же. Неудивительно: император — что муха на собственном портрете в трактире Паливца «У чаши». Его век — день. День Швейка — век. Вот почему писатель был вправе отнести его к тем непризнанным, скромным героям, которые не завоевали себе славы Наполеона, но на деле затмили славу Александра Македонского. И если, как замечает Гашек, «история ничего не говорит о них», тем хуже для истории. Придет час, и она поймет: не глупец Герострат олицетворяет ее силу, а «тихий, скромный человек в поношенной одежде», что «скромно идет своей дорогой» по пражским улицам, «ни к кому не пристает, но и к нему не пристают журналисты с просьбой об интервью».

В такой обыкновенности, заурядности рядового героя, демонстративно заявленной писателем, сокрыт едва ли не первый секрет его поразительной долговечности. Не

в пример многим предшественникам Швейка в мировой литературе, с ним легко разговаривать по-свойски, приятельствовать на равных. И даже пропустить на брудершафт по кружке-другой пива. Что до меня, то я не упускаю такой соблазнительной возможности всякий раз, когда — реже, чем хотелось бы, — бываю в Праге. Захожу в пивной бар «У Ралиха» и говорю с порога:

— Привет тебе, Йозеф! Как дела, старина?..

«Эта книга представляет собой историческую картину определенной эпохи», — писал Ярослав Гашек о «Похождениях храброго солдата Швейка» в послесловии к первой части книги. Однако след Швейка прошел через весь наш XX век, чтобы протянуться и дальше — в XXI. Не каждому литературному герою по силам такое. Только тому, кто задумывался героем, а стал типом. Заметим: это счастливое превращение чаще всего выпадает героям сатирических произведений. Почему так?

Людам свойственно смеяться над тем, что смешно, и смехом своим, даже если он сквозь слезы, возвышать себя над уродствами окружающего мира. Мы смеемся, расставаясь с прошлым, когда оно изживает себя. Смеемся над настоящим, едва замечаем, что оно оказалось не таким, каким мы мечтали его увидеть. И в будущее метит наш смех, если оно грозит не оправдать надежд на лучшее.

Сатира Ярослава Гашека — тот осиновый кол, что накрепко вбит в имперские времена Австро-Венгрии. Но не поросли с ними быльем ни милитаристский угар, шовинистический чад — зловещие призраки империалистической войны, ни чиновная тупость и чванливое солдафонство — бюрократическое порождение антинародной власти Третьей рейх немало преуспел в том, чтобы возвести их в кубическую степень. Да и неспокойная современность по-прежнему не устает заботиться, чтобы смех Гашека сохранял неослабную силу оружия, разящего реваншистское безумие, а невозмутимое спокойствие и неистребимое достоинство Швейка служили нам духовной опорой, заряжали нас оптимизмом и вольнолюбием, укрепляли в осознании прочности, основательности народной жизни, питали веру в разумные начала земного бытия. Это ли не свидетельство универсальной способности сатиры размыкать пространство и время, преодолевать их сиюминутное притяжение? Речь идет, разумеется, об искусстве сатиры, одухотворенном гуманистическим пафосом защиты человека и человечности. Такая сатира (вообразим мысленно самый

идеальный для мировой истории вариант) будет нужна людям и в том далеком будущем, когда не останется на свете ничего абсурдного — ни одного безрассудного политика, замшелого солдафона и заплесневелого бюрократа. Даже тогда будет полезно вспомнить о том, что оставило человечество позади себя, от чего избавилось на своем пути. Ведь память не кладовая рухляди, а лаборатория опыта. Она не безмолвно хранит минувшее, а предостерегает и упреждает от его раковых прорастаний. Искусство сатиры для нее — самый добротный цемент.

В движении литературных традиций от бытовой сатиры к сатире социальной Ярослав Гашек — связующее звено. Ему предшествовали Рабле, Сервантес, Свифт, Салтыков-Щедрин, Марк Твен. За ним, если говорить об одной только русской советской литературе, последовали Михаил Булгаков, Михаил Зощенко, Илья Ильф, Евгений Петров, Евгений Шварц. Да и Александр Твардовский с «Теркинъм на том свете». Нет надобности выискивать в их творчестве явные следы прямого воздействия Ярослава Гашека. Куда важнее, что каждый считался с существованием его книги в мировой классике. И как знать, довелось ли бы бухгалтеру Берлаге гережидать в сумасшедшем доме кадровую чистку, если б до него не побывал там Йозеф Швейк. «По правде сказать, я не знаю, почему эти сумасшедшие сердятся, что их там держат. Там разрешается ползать нагишом по полу, выть шакалом, беситься и кусаться. Если бы кто-нибудь проделал то же самое на улице, так прохожие диву бы дали. Но там это самая обычная вещь. Там такая свобода, которая и социалистам не снилась. Там можно выдавать себя и за бога, и за божью мать, и за папу римского, и за английского короля, и за государя императора, и за святого Вацлава», — с такой «необычайной похвалой» отзывался о сумасшедшем доме герой Гашека. Почти в лад ему расписывает в «Золотом теленке» преимущества умалишенного бывший присяжный поверенный Старохамский, «по высоким идейным соображениям» объявивший себя Каем Юлием Цезарем.

Роман И. Ильфа и Е. Петрова вышел в 1931 году. Первые русские издания «Похождений храброго солдата Швейка» появились в 1926—1928 годах (перевод с немецкого Г. А. Зуккау) и в 1929 году (перевод с чешского П. Богатырева). Как ни переозвучена, ни переосмыслена сцена в сумасшедшем доме, почему бы не допустить не пря-

мой, опосредованной, но преемственной связи?..

Убежден: ни юмор, ни сатира литературной критике не заказаны. Лично для меня первым приобщением к ним стала рецензия «Аркадий Райкин в сказочном представлении», написанная — подумать только! — в 1959 году для чешского журнала «Кветы».

В те дни литературного младенчества я обожал также писать рецензии-фельетоны, в которых вышучивал плохие книги — конъюнктурные, школярские, просто бездарные. Прошло время — годы и годы. У писателей, чьи книги давали повод для фельетонного рецензирования, повзростали дети. Иные из них тоже стали писателями. Почему-то и они норовят обойти меня стороной. С чего бы вдруг? Неужто оттого лишь, что их папам недостаало когда-то спасительного чувства юмора?

### **ИВАН СКАЛА (Чехословакия)**

Когда спрашивают, почему ты читаешь Гашека, думаешь: с таким же правом можно спросить, почему дышишь воздухом. Да просто потому, что он необходим для жизни! В ходе развития человека и общества, в общем круговороте жизни мы ежедневно сталкиваемся со многими пережитками, отрицательными чертами человеческого характера и негативными общественными явлениями. Преодолевая их, мы движемся вперед. Но чтобы преодолеть, их нужно изобличить. Именно это и является основным в творчестве Гашека. Я мог бы просто сказать: у нас с Ярославом Гашеком одинаковые друзья и одинаковые враги. Друзья — в лице простых, нормальных людей, которые любят жизнь и сами хотят содействовать ее лучшим и более счастливым формам, а враги те, кто способен лишать человечности каждое человеческое начинание, создать карикатуру на все положительное. Это люди глупые, злые и злонамеренные, это равнодушные и мещанство, корыстолюбие, претендующее на мировое господство, это те, кто ради своих интересов играет судьбами планеты и человечества.

Гашек видит здоровое ядро всего позитивного и всего развивающегося в народе. И его знаменитый Швейк — образ, по-своему перекликающийся с другими литературными персонажами чехов и словаков от Гоцзы до Яношика, которые, несмотря на разность типов и поведения, наделены общими чертами, черты эти — глубокий демократизм, народная мудрость, сопротивление господам и эксплуататорам, всякому беззаконию и унижению человека, жестокому

Рецензий-фельетонов давно уже не пишу. Но сладкие воспоминания об их веселой поре все-таки не дают покоя. Нет-нет да прорвутся в наисерьезнейшей статье какой-нибудь легкомысленной эскападой — то пародийной, то иронической. Ничего не поделаешь: не о любой книге друга-писателя или статье коллеги-критика пристало рассуждать, сдерживая ухмылку. «Что это вы так разтерничались?» — ласково пожурил меня недавно доброжелательный наставник. «Позвольте, — заартачился я, — мне оппонент задал тон полемики!» «А зачем становиться на одну ногу с оппонентом? Будьте выше его», — упорствовал собеседник.

Не думаю, что он прав. Если и впрямь смешно, то почему бы не посмеяться? Юмор и сатира для критики — не только объект изучения. Они нужны ей и как собственные жанр и стиль...

насилию и бесчувственности, всем формам человеческого и общественного зла.

Эта народная, демократическая основа и привела к тому, что Гашек стал очень близок широкому кругу читателей из народа. И что на него нападали люди, которые в нашей жизни представляли реакционные, антидемократические силы (как, например, Ярослав Дурих). Знаменательно, что Иван Ольбрахт, видный представитель нашей прогрессивной, социалистической литературы, очень энергично выступил в защиту Гашека.

Велико человеческое и общественное начало в творчестве Гашека. Но книги его, радуясь, приносят читателю и огромное наслаждение, которое испытываешь над каждой страницей, с каждой комической ситуацией или остроумным оборотом. Расслабляющий смех, освежающая стихия юмора — вот то, что приносит читателю много радостных моментов, они внутренне наполняют человека, одновременно и очищают его.

Современный мир очень сложен, и у современного человека немало врагов. Против них можно бороться различными способами. Оружие юмора и сатиры в этой борьбе является оружием очень действенным, но, к сожалению, еще не достаточно используется.

Конечно, и в нынешней довольно тощей продукции юмора и сатиры есть юмор разного вида и качества. Есть такой, что довольствуется лишь словесной эквилибристикой, от которой человек засмеется, но ничего более. Есть же юмор и сатира, ко-

торые несут огромную очищающую мысль, приносят не только радость, но имеют мудрое назначение, наносят смелые удары общественному злу. Гашек, например, высмеивал австро-венгерский милитаризм, нищих духом бюрократов, которые представляли и защищали старый, уходящий мир. И сегодня представители старого, уходящего мира выступают глупо, достаточно прочитав некоторые изречения отдельных западных политиков. Эта глупость тем страшна, что она может столкнуть в пропасть уничтожения миллионы людей. Старый мир в наше время пустил корни в виде мещанства, эгоизма, бюрократизма, карьеризма, тормозящих жизнь. И именно здесь цель юмора и сатиры!

Увы, мы встречаемся с огромным множеством юмористических и сатирических произведений, имеющих низкий уровень, с этакой «коммунальной сатирой». А общественная сатира которая обладала бы гашековским острием. у нас пока редкость, хотя недостатков, по которым нужно было бы бить, немало.

Хотелось бы здесь привести размышления Леоша Яначека о музыкальном переложении безжалостной сатиры Сватоплука Чеха: «Я хотел, чтобы нам стал омерзителен такой человек (мещанин Броучек.— И. С.), чтобы мы его уничтожали, душили — но в первую очередь в себе. Острие сатиры словно по живому мясу полоснуло — не однажды откладывалось перо. Не слишком ли мягок тон. может недостаточно острый? Не делаю ли скорее комплимент, нежели осуждаю?.. Достаточно ли

музыка груба, чтоб правду нам сурово швырнуть в лицо? Обнажится ли эта правда так, чтоб сгореть от стыда за самого себя? Соответствует ли той острой сатире, которой мы бичуем себя и весь народ? Не убаюкивает ли нашу совесть вместо того, чтобы пробудить ее?..»

Я считаю, что юмор и сатира являются важным индикатором общественных недостатков и что они таким образом служат обществу в раскрытии и изобличении всего, что тормозит или тащит назад. То, что можно раскрыть, например, путем подробного научного анализа, часто молниеносно изобличается с помощью иронически бичующей сатиры. Не случайно В. И. Ленин так часто ссылается на Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Чехова, чтобы на примере созданных ими образов продемонстрировать и осудить какое-либо актуальное зло.

Нет, юмористическая литература не какая-то несовершеннолетняя или неполноценная сестра так называемой серьезной литературы. Она равноценная и равноправная составная часть большой литературы!

Что касается моих собственных произведений, то многое из того, что я написал, относится к области лирической поэзии, которая, разумеется, действует иными средствами, нежели юмор и сатира. Конечно, я не говорю, что определенные элементы юмора невозможны и в лирической поэзии или что они не содержатся и в моей поэзии; ее сущность в ином. Но это ничего не меняет в моем отношении к юмору и сатире, которые я считаю солью всякой национальной литературы.

**Перевелъ А. ГЕРАСИМОВА, С. ДАВЫДЮК, И. САФАР-АЛИЕВА, Н. ШАХУРИНА.**

# ЖИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Борис Рахманин.** Солдат Жуков.— **Леонид Новиченко.** Лирическая проза Яки Брыля.— **Янов Маркович.** Мысль и форма.— **Н. Павлова.** Бесценный дар жизни.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**Ю. Шарапов.** Летопись великой жизни.— **Ю. А. Трифонов.** В русле памяти.— **Валентина Елисеева.** Разговор с интересным собеседником.— **А. Милейковский.** Канадская мозаика.

## Литература и искусство

### СОЛДАТ ЖУКОВ

**Владимир Еременко.** Солдат Никифор Жуков. Повесть. «Знамя», 1982, № 10.

**Д**а, не маршал, а солдат. И говорится об этом вполне реальном Жукове в отличие от его великого однофамильца впервые. О всех Жуковых не скажешь. Но вот о Никифоре Жукове сказано, и сам этот факт — подтверждение реального существования, конкретной жизни, беспримерного ратного подвига человека, чье существование, чья жизнь, чей подвиг могли кануть в забвение.

Вчитываясь в недлинную повесть Владимира Еременко, я вновь и вновь пытаюсь понять истоки жуковского характера. И в то же время тянуло заглянуть в конец, чтобы узнать, как там все сложилось у Никифора Андреевича, поверят ли ему, сумеет ли он доказать, что...

Владимир Еременко, избегая каких-либо ухищрений формы и стиля, возводит в ранг искусства документально точный рассказ о конкретной человеческой судьбе. Со страниц книги звучит глуховатый голос героя. Скупые, раздумчивые, полные житейской мудрости фразы, роняемые Никифором Андреевичем в беседах с автором, приобретают магическую силу. «По статистике» солдат способен участвовать в рукопашном бою «самое большее до трех раз». Жуков перешагнул этот рубеж уже в 1941 году. Почему? Вот устное свидетельство Жукова о штыковой атаке, о рукопашной. Он понял, что врага даже необязательно «проколоть», достаточно дотронуться до него первым, «и он ломается и

падает». Солдату Жукову там, на войне, опыт подсказал: «Человек умирает от страха» И он понял, что нужно преодолеть в себе этот страх.

...Гибнет друг Никифора Жукова Алеша Иванов из деревни с красивым названием Незнамо-Поле. Гибнет и новый его друг Иван Коваленко. Гибнут, гибнут, гибнут... А Жуков жив, воюет. Бои в Сухарной балке, под Севастополем. Морем уходят те, кто чудом остался жив. Среди них и Жуков... Рассказ о прошлом захватывает своей подлинностью. Вслушиваясь в него и не сразу освобождаешься от властной силы страшного и величественного видения: бой, кровь, разрывы мин и снарядов, пулеметные очереди, секущие воду, из которой всплывает «кверху белым брюхом огромная рыба».

«Нас, фронтовиков, скоро по пальцам считать будут... — говорит теперешний Жуков. — Только за последние годы умерло три миллиона участников войны». Никифор Жуков был «рассчитан» на сто пятьдесят лет жизни, не меньше. Титанического здоровья, титанической физической мощи, сколько бы совершил он, если б не война, отнявшая здоровье, уполовинившая срок жизни! Сколько бы смогли совершить те ушедшие в последние годы три миллиона! А миллионы других, которые еще живут, опираясь на костыли, держась за сердце...

Строка документа: «...взял из руки уби-

того краснофлотца Красное знамя комсомольской организации Севастополя и ходил с ним в атаки». Прикрывшее алым своим полотнищем лицо мертвого бойца, оно как бы ждало нового знаменосца. Им по велению собственной души стал Никифор Жуков. То был невероятно трудный, смертельно опасный, но звездный час Никифора Жукова.

Но на его долю выпали и безмерные муки. Плен... Колонну пленных, израненных, едва живых, немецкие конвоиры гнали по невыносимой жаре в Бахчисарай. Стоило упасть кому-то, как раздавалась автоматная очередь. Все вокруг было в цвету — щедрая крымская природа резче подчеркивала трагизм происходящего. Жуков ранен, у него сильный жар. Не упасть, не упасть — единственная мысль солдата.

...Концлагерь в Джанкое. Солдат обесилел, он не может подняться. Кто-то приносит ему котелок с баландой. «Я узнал тебя... Ты с Красным знаменем на Херсонесе был. Я узнал... Ешь. Тебе нельзя умирать...».

Побег из концлагеря... Немногие поверили бы в его возможность. «Подтверждение. Мы, нижеподписавшиеся... Жуков был спрятан пленными под двойной пол и замурован досками и раствором...». Вместо рубахи он натянул на себя «бумажный цементный мешок, в дне которого прорезал дырки для головы и рук». В этом наряде, а началась уже зима, он бежал. И чего только не было, чего не пережил он на крестном пути возвращения из неволи к свободе, идя навстречу новым боям.

Ранее я говорил о стремлении автора избежать любого рода красотостей стиля. Теперь следует сказать, что автором найден свой стиль — четкий, ясный и суховатый. Отчего же, спрашиваю себя, с такой едва ли не кинематографической объемностью видятся мне, читателю, мельчайшие, цветные подробности происходившего? Я вижу лица, слышу выстрелы, дыхание затанного человека, слышу, чувствую, как «мягко постукивают лапами по полу» собаки, ищущие замурованного Жукова, слышу, как этот стук «то удаляется, то приближается». То есть невольно отождествляю себя в этот момент с Никифором Жуковым. Тут таинство сопереживания, обостряющего читательский слух, читательское зрение и свидетельствующего о художественности произведения.

И такое испытание пришлось в свой черед: «С тобой еще разбираться надо». Разбирались. И немало при этом напутали, с холодком, с недоверием всматриваясь в его

угрюмое лицо. Наконец он опять в бою — рядовым бойцом... Новые, сохранившиеся в памяти очевидцев подвиги: схватил на лету немецкую гранату, вернул ее хозяевам. Поединок с «тигром»...

Снова госпиталь. Придя в себя, Жуков знаками попросил карандаш, бумагу. «Что?» — с трудом вывела рука. «Полная глухота и отсутствие речи», — написал в ответ врач. Четыре года длилась мучительная борьба, как еще одна война... «Ведь ты солдат, Никифор Жуков!» — подбадривал он себя перед каждой операцией.

Между тем то были еще не самые трудные испытания — они пришли позже. На груди солдата светилась лишь одна медаль: «За победу...». Нередко замечал он, с каким недоумением, даже недоверием вслушивались в его рассказы бывалые люди. Но особенно больно было, когда не верили дети, школьники. Что-то здесь не так... — читалось в их ускользающих взглядах. Но страна не забывала подвигов своих сыновей. В одном из газетных очерков было рассказано о мужестве Никифора Жукова. «Значит, помнят!»

И Никифор Жуков, здоровье и силы которого подорвала война, решил еще раз доказать всем, детям собственным, самому себе свое неотъемлемое право оставаться знаменосцем. Переписка с однополчанами, запросы, напоминания — не одно десятилетие... «Возможно, нет такого адреса, связанного с войной, куда бы я не отправлял свои запросы...» Сейчас в его голосе слышится улыбка. Он на деле познал высокую суть понятий «фронтное братство», «фронтная дружба», которые нередко произносятся все и оттого кажутся кое-кому потускневшими... Нет, суть их все та же! Приняли участие в судьбе Никифора Жукова и адмирал Октябрьский, и писатель Константин Симонов. Они поверили Жукову, помогли ему предстать перед современниками таким, каков он был в то героическое время.

В числе многих других, поверивших в его солдатское геройство, — и писатель Владимир Еременко, не понаслышке знающий, что такое война. Подтверждая рассказ документами, Владимир Еременко объемно и ярко показал своего героя. Воссоздав правдивую историю жизни Никифора Жукова, писатель как бы снова вложил в его руки то перебитое, стянутое окровавленным бинтом древко. И Красное знамя с прежней окрыленностью заплескалось над седой головой старого солдата.

**Борис РАХМАНИН.**



## ЛИРИЧЕСКАЯ ПРОЗА ЯНКИ БРЫЛЯ

Янка Брыль. Стежки, дороги, простор. («Библиотека «Дружбы народов») М. «Известия». 1981. 571 стр.

Янка Брыль. Миниатюры. «Неман», 1982, № 2.

Размышлениями о литературе как прекрасной гуманизирующей силе, радостью от общения с художественным словом густо насыщено многое из написанного Янкой Брылем. Густо и органично это живет в тексте, потому что книги любимых писателей с юности становились для него — без преувеличений — тем же, чем были самые близкие люди. «...мне радостно было рассказать о начале моей влюбленности — с первого взгляда и навсегда» — так кончаются заметки Брыля «Мой Чехов». Эта его влюбленность не ограничивалась лишь эстетической сферой: восхищение магией слова здесь соединилось — как, впрочем, и в других случаях, когда речь шла о большой литературе, — с поисками духовных ориентиров, со стремлением найти опоры для выработки собственного мировоззрения. В своей очарованности «музыкой» классики Брыль не устает признаваться (и вместе с тем осознанно анализировать ее) на многих страницах книг. И в романе «Птицы и гнезда», где хорошие книги участвуют в «воспитании чувств» деревенского белорусского парня Алеся Руневича и его сверстников («гоголевский запой», показанный во всей его возрастной непосредственности: хохочут над «Мертвыми душами», «аж пузо трещит»; увлечение Толстым; «высокая волна» классической русской прозы — Достоевский, Чехов, Горький, Короленко, Куприн; а вместе с ними знакомые с детства — Брыль учился в польской школе — Мицкевич, Прус, Сенкевич, Конопницкая, Ожешко...). И в ряде этюдов, эскизов, малых новелл, где «жизненное» непосредственно встречается с «литературным» («Быть человеком», «Ты жива», «Волны и сосны» и др.).

Добротная литературная школа явственно сказывается в стиле, в характере творческого мышления белорусского прозаика. Ну как не вспомнить, например, скромное изящество чеховской фразы, читая у Брыля, скажем, такое: «Летом — когда почти у дороги, по которой я иду или еду, ручьем журчит извилистая речушка, а в ней мужественно борется с течением местный пескарь... когда я, не впервые глядя на эти запустелые, выжженные солнцем холмы,

такие неожиданные в наших, в общем-то, хлебных местах, снова и снова вспоминая почему-то палестинские пейзажи Поленова. Не Христа, не людей — только печаль той дикой знойной природы».

Но важно уловить большее — счастливо унаследованную от классики глубину понимания человека, точность и взыскательность этических оценок, приверженность к жизненной правде (сочувственно цитирует писатель Толстого: «...любить мозоли и все простое, правдивое, реальное в жизни...»).

В своей прозе он лирик, лирик естественного, глубокого дыхания. «Все мое — по существу дневник», — признается Брыль в одной из «лирических записей» 1978 года. При некоторой преувеличенности этого определения в нем есть доля правды: во всем, что изображает автор, постоянно чувствуется он сам, его эмоциональная впечатлительность, чуткость, дар «сопереживания», не говоря уж о столь частом у Брыля повествовании от первого лица, где мы прямо или опосредованно (через рассказчика) слышим его раздумчиво-взволнованный голос. Проза Брыля, особенно рассказы, «лирические миниатюры», богата внутренними эмоциональными токами, привлекательна чувственной достоверностью изображаемого. Однако его лиризм чужды всякое форсирование чувства, грех сентиментальности и красоты. Уравновешенность мысли и эмоции (некоторые критики склонны относить это к коренным приметам белорусской художественной традиции) и воспитанный в доброй школе «старого» реализма вкус к жизненным реалиям, предметности и пластичности изображения, к точной, емкой детали — все это мы не раз будем отмечать, читая прозу писателя.

Брыль написал несколько хороших повестей и один (пока) роман. Но, пожалуй, в рассказах его индивидуальность проявляется ярче и выразительнее, чем в других жанрах. И пишет он рассказы много и охотно — всю свою писательскую жизнь, и форму для них разработал с явной собственной метой — гибкую, раскованную, свободную. Порой его рассказы приближаются к небольшой повести, порой к очер-



ку, этюду, мемуарному или дневниковому фрагменту. Сюжетом автор не пренебрегает — что за проза без сюжета, хотя бы внутреннего? — но обращается к нему не принужденно, именно как лирический рассказчик; в любом случае сюжет (даже едва намеченный) подчинен у него задаче схватывания человеческого характера или передаче определенной психологической коллизии, даже если это просто настроенные рассказчика-автора — отражение той или иной грани его мировосприятия.

Ранние рассказы Янки Брыля (из них в книгу избранного вошли «Марыля», «Праведники и злодеи», «Как маленький», «Мой земляк») были написаны в родной деревне еще в предвоенное время, но частично и в годы войны. Прямо и четко выражены в них социально-нравственные коллизии. Характерен в этом смысле рассказ «Праведники и злодеи», в котором не без известной юношеской прямолинейности противопоставлены друг другу Петрусь Гриб, безжалостный накопитель с выморочной душой, и прямодушный «веселый, как скворец», калека-портной Лапинка. «Жизнь духа» уже в ранних произведениях была для писателя критерием ценности человека, органично сочетаемым с критериями социальными. Душевные богатства писатель обнаруживал прежде всего в человеке труда, человеке из народа, противопоставляя ему угрюмую и жестокую бездуховность всяческих старателей по части собственности, власти и «видного положения».

Первостепенная роль в рассказах принадлежит самому автору. Его образ, полный интеллектуального и нравственного обаяния, чрезвычайно важен в повествовании. Вот рассказ «В глухую полночь». В снежную метельную ночь несколько партизан едут проверять не совсем надежно связанного. Короткий разговор с испуганной молодичкой для которой «превыше всего их с мужем покой и благополучие. И опять ночь, стужа, буран в пустынном поле. Наконец одинокий хутор, стук в окно, долгое молчание «Может здесь тоже отлеживается какой-нибудь тепленький непуганый муж или нейтральный, чистенький свекор...» Наконец дверь открывают. На пороге девочка лет десяти в одной рубашонке. Дома она и маленький Толик, мать ушла к соседям.

«— Почему не открывала?.. Батка где?»

Девочка отняла ото лба левую руку, открыла лицо, а правой со странной для этого возраста — не то чтоб от бабули перенятой, а какой-то старушечьей, от себя,—

величайшей, может быть, последней в жизни серьезностью размахисто перекрестилась.

— Воймяца, и сына, и святого духа, аминь. Дядечки, ей-богу же, не слышала. А таты у нас давно нету. Еще с польской войны.

Это было так страшно... Нет, так необычно и неожиданно, и это так перевернуло всего меня, что я... чуть не вскрикнул.

— Ты запирайся. Ну! Беги на печь. К Толику.

Фонарик погас. Дверь затворилась. Снова брякнул железом засов. Мы молча сели и поехали».

Разные нравственные критерии персонажей, разная людская правда проходят перед «человеком с ружьем», явившимся из ночи. Но надо ли что-нибудь объяснять после этих кратких, как кинокадры, эпизодов? После такой реакции рассказчика?

Человеком душевно открытым, добрым, умеющим уловить тонкие оттенки чувств собеседника, личностью с четкой и определенной нравственной реакцией на окружающее — таким предстает перед нами повествователь в рассказах «Глядите на траву», «Общинное», «Дождливый, солнечный август».

Янка Брыль любит детей, чутко схватывает психологические особенности возраста и своеобразие детской речи. Читатель не может этого не почувствовать, не пережить вместе с писателем ощущение, будто здесь ты и в самом деле испытал «глоток высокой радости жизни» («Общинное»). Рассказы о детях он пишет, можно думать, больше для взрослых: любите, помните, уважайте маленького человека, цените прекрасное и доброе, что каждому дано как бы задатком на всю жизнь и что не всегда сбывается в нас, больших и серьезных...

В последние годы Брыль ощутил особое тяготение к жанру, имеющему богатую традицию в отечественной и мировой литературе, — дневниковым записям и лирическим миниатюрам. Для него этот жанр, включающий в себя и отдельные крохотные сюжеты, и лирические зарисовки, в том числе путевые, и краткие раздумья, и отточенные афоризмы, оказался одним из основных, как и новеллистика, и повести, и очерки. И в этом жанре писатель достигает подлинно высокого художественного уровня.

Миниатюры обнаруживают, что у лирики Брыля имеются в запасе и острые сатирические стрелы, что свойственный писателю мягкий юмор может превратиться в

язвительную иронию там, где задеваются этические и гражданские чувства. Прочитайте хотя бы записи из цикла, названного «Только бы на здоровье», или многочисленные заметки, навеянные некоторыми явлениями литературного быта... Как, скажем, эта: «Редактируйте его, сделайте сносно грамотным, спешите, пока он еще теплый, пока не застыл еще в бронзе классика. Живого». Или такое горестное признание: «Как легко мы судим своих предшественников за их нерешительность, несмелость, непринципиальность и как позорно тихо ведем себя, когда видим, слышим сегодня то, что не так, как надо, далеко не так. Только шепчемся с самыми близкими...». Но и в этом жанре преобладает все-таки хорошо нам знакомый лирик Янка Брыль. Многие десятки записей и сценок — люди, природа, мир этических чувств и переживаний, раздумья о своем литературном деле... Миниатюры, да и многие более крупные вещи Брыля дают в своей совокупности некий замечательный образ Читателя, человека вдумчивого, стремящегося добираться до глубинных человеческих основ, навечно влюбленного в литературу. Важно, что, осмысляя пеструю россыпь подробностей сегодняшнего мира, писатель обнаруживает не только острый глаз и отзывчивую душу, но и передовые современные взгляды, широкий культурный кругозор.

Свои повести Янка Брыль начал писать рано, почти одновременно с первыми рассказами. В книгу «Стежки, дороги, простор» вошли повести, написанные в последние годы, — «Нижние Байдуны» и «Рассвет, увиденный издалека». В них сразу замечается открытый интерес автора к живописно-подробному изображению характеров и обстоятельств. Лирическое начало в этих крупных вещах проявляется более сдержанно, оно словно бы уходит вглубь. Лирический рассказчик оказывается в гуще разноликого деревенского люда — и взрослого и подрастающего. Проза Брыля никогда еще не была столь многолюдной (исключение, пожалуй, роман «Птицы и гнезда»), а, главное, столь «ухватистой» к подробностям быта, психологии, речевой манере персонажей — характеров, внутренне достаточно пестрых, сложных неоднородных при всей внешней простоте.

Живые и разнообразные психологические типы старой деревни предстают перед нами в уже упоминавшихся повестях «Байдуны» и «Рассвет, увиденный издалека». Перед читателями проходит целая портретная галерея Байдунов — то смешных в сво-

их человеческих слабостях хвастунов и вралей, то ироничных, острых на язык, не робеющих перед начальством весельчаков, то лукаво-мудрых и вместе с тем печальных созерцателей — нравственных судей окружающей «человеческой комедии».

Неиссякаемое, неистребимое народное жизнелюбие — один из звучных лирических мотивов повестей. А вместе с этим восхищение народным умом, талантом, сметкой, фантазией. Пусть они подчас и проявляются в странных или комически-нелепых формах, Брыль пишет об этом с истинной любовью и наслаждением. И незаметно, кстати, расширяет стилистический регистр своей прозы, в разумных пределах заземляя ее поэтический реализм. В повестях немало персонажей, вызывающих печальные и скорбные чувства: девчонка Маня Ворона, искалеченная на всю жизнь взрывом снаряда; деревенский «дурак» Соловей — был прапорщиком, сошел с ума в штыковом бою первой мировой войны; жестоко обижаемые мальчишки — байстрюки Володя Козак и Толя Немец; дядька Грамузда, личность колоритная и трагическая в своем жизненном финале, пришедшем уже на наше время... В красочной пестряди этого повествования светлое почти постоянно перекатано темным и горьким. Чувство глубокой кровной связи рассказчика с описываемым им миром нигде не переходит в его идеализацию, не оборачивается сентиментальным любованием, к которому нередко бывают склонны авторы, обращаясь к поре своего деревенского детства. Немало было печального и жестокого в старом крестьянском быту, и оно не проходит ни мимо глаза, ни мимо сердца писателя, трезво понимающего и то, что старое и скверное в привычках, в психологии людей может изворотливо прилепиться к новому, прорасти и в наше время. Не потому ли далеко не бравурной нотой заканчивается его повесть о детстве? Не было оно обойдено ни солнцем, ни радостью, ни лаской ближних, а все же, «если бы не тот плач (беззащитный и беспросветный плач жестоко обижаемых детей. — Л. Н.), я и не вспомнил бы столько всего через полвека» Извечный — и благородный — приоритет, который настоящая литература отдает именно таким гуманистическим импульсам...

Нарушая рецензионные каноны, я не буду говорить о тех или иных слабостях, которые можно заметить в отдельных произведениях автора и на которые указывала ему в свое время критика (да и не по-

пали они, эти произведения послабее, в книгу избранного, вышедшего в «Библиотеке «Дружбы народов»). Важно общее впечатление, которое, постепенно усиливаясь, не оставляет читателя до последней страницы: перед нами работа мастера, тон-

кого и взыскательного, мастера, который достойно представляет родную белорусскую словесность на «стежках, дорогах, просторах» многонациональной советской литературы.

Леонид НОВИЧЕНКО.



## МЫСЛЬ И ФОРМА

Леонид Тимофеев. Слово в стихе. М. «Советский писатель». 1982. 342 стр.

«Слово в стихе» Л. Тимофеева — научный труд, отмеченный боевым полемическим пафосом. В частности, пафос этот направлен против крайностей количественных методов анализа художественного произведения.

Кто не разделит тревогу ученого по поводу книги А. Журавлева «Звук и смысл», изданную массовым тиражом и адресованную издательством «Просвещение» школьникам! Содержание ее сводится к составленному с помощью ЭВМ набору таблиц, которые устанавливают значение слова соответственно содержащимся в нем звукам. Звуки же оценены по пятибалльной системе. Я не оговорился. А. Журавлев проэкзаменовал звуки и выставил им традиционные школьные оценки от кола до «петуха». Остальное решила электронная машина. Очевидно, ее самочувствие несколько не изменится, выставки, например, звуку «х» хорошую оценку или совсем наоборот. Машине вообще все едино — мах и хам, храп и прах, халва и валах, хрен (употребляемый с прилагательным «старый») и хрен (потребляемый в пищу), ибо в те и другие слова входят одни и те же звуки. Проявляя чрезмерную бережность к новейшей ЭВМ, опасаясь короткого замыкания, А. Журавлев ввел в ее программу всего 225 тщательно подобранных слов из полуторамиллионного фонда русского языка. Да и такое количество, близкое словарному запасу Элочки-людоедки, он счел избыточным при анализе художественных произведений в школе. По его мнению, для этой цели может хватить и одного слова. Приложил таблицу к стихотворению Маяковского «Нате» — получается «темное», к стихотворению Есенина «Я помню» — «нежное». Так будто бы подсказала ЭВМ...

Опасность подобных способов анализа, опирающихся на основополагающие положения структурализма, таится в их наукообразности. Структурализм такого рода не приемлет единства формы и содержания, считая это узловое понятие классической

эстетики устаревшим, не поддающимся проверке методами самой точной науки — математики. Гранитный монолит формы и содержания в этом случае помещают в механическую дробилку, крошат его до щебня (что на языке структурализма называется уровнями), облюбовывают какую-нибудь песчинку (звуковой уровень, уровень стихотворного метра или даже уровни знаков препинания), совершают ряд вычислительных манипуляций с «уровнем», после чего приписывают ему значение целого. То есть подменяют методы общественных наук методами наук точных. Чтобы установить состав воды, находящейся в данной бочке, достаточно провести анализ одной капли. Можно, конечно, допустить аналогию литературного произведения с бочкой, наполненной звуками, словами, запятыми... Но никакая химия, взяв отдельно звук, слово, запятую, не может дать цельного анализа произведения по той простой причине, что писатели наполняют свои бочки не водой (я имею в виду настоящих писателей), а художественным содержанием, элементы которого организуются в неразрывное единство по законам эстетики, а не по законам химического соединения молекул.

Л. Тимофеев подвергает убедительной критике фоносимволизм, анаграммирование и другие новомодные способы исследования. Ирония его полемических доводов подчас приближается к границам мрачного свифтовского сарказма, но нигде не переходит границ такта. Единственная цель предпринятой им полемики — защита подлинно научного, диалектического метода в литературоведении.

Автор отмечает, что «дистанция между изучением стиха и изучением произведения еще очень велика, и это приносит одинаковый вред и пониманию стиха в отрыве от произведения и произведения в отрыве от стиха». И он стремится сократить эту дистанцию, которая бесспорно, увеличивает объективно существующую сложность эстетической оценки, чему свидетельством нередко встречающиеся ошиб-

ки литературоведов и критиков, далеких от структурализма и наделенных неподдельным чувством прекрасного («Слово в стихе» полемично, в частности, и по отношению к некоторым прежним работам его автора).

Поэтическое слово, оторгнутое от текста, всегда обедняется, теряет свои связи с художественной системой, в которую входит. В книге «Слово в стихе» подчеркнуто, что, какой бы элемент стихотворной речи ни рассматривался, он не может быть правильно понят вне своей системной обусловленности другими ее элементами. Л. Тимофеев выдвигает и научно обосновывает идею системной природы стиха во всех его компонентах: стих и язык, стих и звук, стих и ритм, стих и слово, стих и лирический герой, стих и произведение, стих и стиль, стих и метод. Так, собственно, названы главы книги. Но в ней четко намечена также проблема системности стиха и интонации, стиха и метафоричности. Суть здесь в том, что все грани поэтического создания вступают в сложное взаимодействие, направленное на достижение эстетического результата. Роль фактора, формирующего художественное произведение как систему, берет на себя слово: «К каким бы сторонам стихотворной речи мы ни обратились — ритмике, звуковой организации, рифме, — в конечном счете они проявляют себя через слово».

Рассматривая слово как главный строительный материал поэзии, Л. Тимофеев своими наблюдениями и теоретическими выводами подтверждает полнейшую обоснованность крылатой мысли Пушкина, что слово составляет стих. При этом его общие формулировки опираются на твердую фактическую основу, обретенную в типологическом изучении мотивов, движущих черновые варианты строк к окончательному поэтическому тексту. Тут не остается места для субъективности исследователя. Смена вариантов, предпочтение одного другому диктуется творческой волей художника, заключая в себе объективную картину его отношения к различным сторонам слова (смысл, звук, ритм, метафоричность, эмоциональная окраска и прочее).

Прежде других было подвергнуто проверке бытующее мнение о преобладающей роли звука в поэтических произведениях. Роль эта подчас представляется не просто главной, но и чуть ли не всеобъемлющей, потому что звук способен творить чудеса. Замкните слух — и не станет стиха. Однако изучение Л. Тимофеевым всех извест-

ных черновых вариантов строк «Бориса Годунова» Пушкина, лирики Блока, поэм и стихотворений Маяковского (вариантов этих несколько тысяч) обнаружило, что представление о доминирующей роли звука преувеличено. И Пушкин, и Блок, и Маяковский не однажды поступались звуками ради смысла. Но вот обратных примеров у них не встречается. Не поступались смыслом ради звука и другие поэты, привлеченные своей работой над стихом внимание Л. Тимофеева (Лермонтов, Некрасов, Цветаева, Пастернак...). Не смысл идет за звуком, а звук идет за смыслом. «Что не выскажешь словами — звуком на душу навей», — промолвил Фет. «Звуком на душу» в прямом смысле пытались навевать чувство только сторонники так называемой шумной поэзии, пользуясь для этой цели языком собственного изобретения («Лельга, оньга, эхамчи! Ричи чичи чичичи! Лени нули эли али! Бочикако никак»). Подавляющее большинство русских поэтов старались брать из реально существующего языка те слова, которые, точно отвечая смыслу, по возможности подходили бы друг к другу и звуковым строем.

Л. Тимофеев не отрицает значения количественных методов в филологии. Он шаг за шагом прослеживает системные связи элементов художественной речи, убедительно демонстрируя неправомерность количественного подхода при решении задач, связанных с эстетической оценкой. Но в пылу полемики он не заметил, как сам однажды оказался на чужой территории. Я подробнее остановлюсь на этом моменте не с целью посмаковать промашку выдающегося ученого, но чтобы на наглядном примере проиллюстрировать мудрость древнего правила «каждому — свое».

В последней главе книги автор начертил эскиз движения русского стиха от силлабики к силлаботонике и тонике. Причины этого движения он усматривает в epochальных исторических событиях. Петровскими реформами вызван, по Л. Тимофееву, переход от силлабики к силлаботонике, в связи с Октябрьской революцией «наряду с силлаботоническим стихом выдвинулся и стих нового типа — тонический, примером которого явился стих Маяковского». Историко-литературная позиция здесь очень уязвима. Создается лишь видимость правдоподобия. Зримые изменения в системе русского стихосложения действительно приходятся на периоды торжества петровских реформ и Октябрьской революции. Тем не менее система стихосложения впрямую не обуславливается революционными собы-

тиями в жизни общества. Ни Великая Французская революция, ни Парижская коммуна не привели к смене французского стихосложения. Оно было и остается силлабическим, как того требует французский язык с его жестко фиксированным ударением. Силлабика противоречила коренным свойствам русского языка и была сметена первой же генерацией русских поэтов, пришедших на смену Симеону Полоцкому и Антиоху Кантемиру. Точно так же и тонический стих, появившийся задолго до Маяковского, проявляет себя в любых исторических условиях. Силлаботоника и тоника — две возможные системы русского стихосложения. Вопрос в том, какая из них предпочтительнее для природы русского

языка. Решение этого вопроса никак не связано с эстетической оценкой. А потому тут слово всецело за количественным методом и ЭВМ.

В книге встречаются и другие высказывания, наталкивающие на полемику. Но они не относятся непосредственно к ее специальному предмету — стиховедению. Подкупает «Слово в стихе» и своей теоретической частью, и конкретными анализами текста, исполненными изящества, тонкости, глубины. Подкупает своей страстностью, научной убедительностью. В этой книге найдут много полезного и поучительного для себя поэты и все те читатели, кому безразлично поэтическое слово.

Яков МАРКОВИЧ.



## БЕСЦЕННЫЙ ДАР ЖИЗНИ

Макс Фриш. Монток. Человек появляется в эпоху голоцена. Повести. Перевод с немецкого Е. Кацевой. Предисловие Д. Затонского. М. «Прогресс». 1982. 279 стр.

Эти повести, вышедшие недавно в удачном переводе Е. Кацевой, открывают нам творчество швейцарского писателя Макса Фриша с новой стороны. Если прежде (в известных у нас романах «Штиллер», «Ното Фабер», «Назову себя Гантенбайн» в пьесах «Дон Жуан, или Любовь к геометрии», «Граф Эдерланд», «Биография») писателя занимала мысль о несовпадении человека и той жизненной роли, которую он вынужден исполнять под давлением обстоятельств, инерции личной судьбы и социального положения, если Фриш снова и снова предлагал читателю задуматься над неисчерпанностью возможностей человека, то теперь жизнь героев Фриша в повестях, вошедших в книгу, не тяготеет к переменам, к ревизии устоявшегося. В «Монтоке» Фриш хочет рассказать о себе. Ему кажется, что за выдуманными историями, в которые он так или иначе вкладывал собственный опыт, он тем не менее перестал видеть самого себя. В другой повести предмет тоже вполне определенный — здесь рассказывается о старом человеке коротающем свои дни в горной швейцарской деревушке. Если читатель и ощутит идеи более широкие чем непосредственный предмет повестей, то не потому что автор сопоставляет разные варианты судеб, а потому что в любой «одновариантной» жизни есть своя трепетность, зависимость от широкого мира — социального, исторического, естественно-природного, его процессов и законов. Итак, в повести «Человек появляется в эпоху голоцена» перед нами старый человек с угасаю-

щей памятью и тускнеющим сознанием; в прошлом глава промышленной фирмы, семидесятирехлетний господин Гайзер одиноко доживает свой век. Дела фирмы, управляемой теперь зятем, больше не интересуют его. А за окном который уж день подряд идет дождь. Дороги размыты. Автобус не ходит. И все в хозяйстве господина Гайзера тоже начинает стремительно разрушаться. Треснула кирпичная стена в саду. В погребе вода. Электричества нет, оттаял холодильник, и телевизор тоже, конечно, не работает. Господин Гайзер заперт в своем доме, как в крепости или в тюрьме. Он составляет список имеющихся в запасе продуктов.

Казалось бы, какой простор для сатирических склонностей писателя, осмеявшего когда-то в известной у нас пьесе «Бидерман и поджигатели» сосредоточенного на своих интересах трусливого обывателя. Но в повести Фриша тональность иная. Он даже не иронизирует над своим господином Гайзером, а пишет о нем с грустью и мягким юмором. Автора повести занимает сознание старого человека. Вернее, процесс угасания этого сознания и сопротивления угасанию. Не будем высокомерно утверждать, что Фриш изобразил нам нечто патологическое. Нет, он может быть, лишь более наглядно представил то, что невидимо происходит с каждым, кто вступил в старость с ее естественными процессами. Как свидетельства этих процессов на стенах комнат трепещут записки и вырезки из книг с совершенно необходимыми гос-

подину Гайзеру сведениями. Но вот беда: трудно разобрать, где листок о мозге неандертальца. Вместо него в глаза лезет бесполезное определение золотого сечения...

Какова же цель этой истории о старости, старости, чем дальше, тем все более беспомощной? Рассказ перебивается пространными цитатами, составляющими текст тех самых записок, которые развешивает господин Гайзер. Сухо и без патетики звучат отрывки из Библии — например, о всемирном потопе. Читателю вместе с героем напоминают о смене геологических эпох или о составе и отмирании мозговых клеток (они, удивляется господин Гайзер, в основном состоят из воды). Ситуация господина Гайзера — дождь и что-то разрушилось в доме, разрушилось в памяти и в организме — ставится в какой-то широкий контекст, в какие-то, хоть и весьма невязчивые связи с историей этой высокогорной области, с историей человечества, с историей земли. Человек, читает господин Гайзер, занимает совершенно исключительное место во вселенной: он единственный осознает свое положение в мире и во времени. Но на другой странице о себе и от себя: «Нет памяти — нет и знаний». Или: «Библия сочинена людьми». «Господин Гайзер знает, как он выглядит. (Амфибия даже этого не знает.)». Но и это превосходство снижает: герою чудится, что пятнистая саламандра занимает его ванну, а потом располагается в комнате на ковре.

В какой-то общий контекст ставятся и разрушения, которым подверглась за дождливые дни деревня. Разрушения эти описаны вполне точно: потоки воды снесли два моста и наполовину разрушили лесопилку. Замерли работы. И все-таки контуры происшедшего размыты: легко представить себе, будто это мир после иной катастрофы. Все вымерло, пусто. Людей нет. И только, занесенный высоко в горы, гниет матрац. Разрушения очень заметны. «Между тем, — замечает автор, — всего-навсего идет дождь...».

Человек, появившийся в эпоху голоцена, напоминает нам Фриш, хрупок. Разрушаем, непрочен, неустойчив и окружающий его мир. Повесть о старости написана из любви к человеку и жизни...

Эта жизнь переливается и сверкает в открывающей книгу повести «Монток», хотя и тут герой далеко не молод и о старости тоже помнит. Монток, разъясняет писатель, — «северный выступ Лонг-Айленда, в ста десяти милях от Манхэттена». Точно обозначено и время действия — 11 мая 1974 года. На первых же страницах автор заяв-

ляет, что попытается просто описать уик-энд, проведенный им здесь с молодой малоизвестной американкой по имени Линн. Все как будто бы наоборот по сравнению с повестью «Человек появляется в эпоху голоцена». Вместо вымысла — строгая автобиографичность, вместо скудеющей жизни — ее богатство, вместо беспамятности — напряженная мысль о прошлом. Поездка на океан, прогулка по лесу, прибой и кружение чашек над бесцветным песком, возвращение в город, расставание представлены как сумма впечатлений. порой пронзительно острых — иногда именно потому, что за ними встают воспоминания о днях прошедшей жизни.

И все-таки обе повести не так уж несхожи. Начать хотя бы с того, что одна не абсолютно вымыслена, а другая не полностью биографична. Вымысел у Фриша обычно имеет биографическую основу, что еще раз, кстати сказать, поразительным образом доказывают воспоминания, приведенные в «Монтоке»: на личных переживаниях основана, как оказывается, и история Фабера с Ганной (роман «Ното Фабера»), и даже тот эпизод с голым человеком на улице, который, безусловно, казался читателям «Гантенбайна» фантастической выдумкой (в новой повести Фриш вспоминает, как он шел однажды в пижаме, босой по ночному городу). И кто знает — не испытал ли когда-нибудь и сам писатель некоторые ощущения, в которые погрузился ничем, кроме возраста (недавно писателю минуло семьдесят лет), на него не похожий господин Гайзер?

С другой стороны, авторские признания в «Монтоке», где, как подчеркивает Фриш, он писал о себе и только о себе — предмете «малоинтересном» и не имеющем общественного значения», тоже не безгранично свободны. Рассказ течет, подчиняясь какому-то строгим, хотя и не сразу уловимым законам.

Первый крупно поданный план — Монток, ветер, холодный песок под босыми ногами, две сброшенные туфли, будто живущие отдельной жизнью на просторе близ океана. Повесть Фриша — попытка остро пережить и полно ощутить мгновение. Она отчасти напоминает импрессионизм его ранней драматургии («Санта Крус») и поразительную остроту восприятия в заключительных греческих сценах «Ното Фабера». Все в «Монтоке» будто в последний раз. Поэтому можно с такой интенсивностью ощутить шершавую, мокрую от ночного

дожда поверхность стены на балконе или бережно и открыто отнестись к знакомству, посланному случаем. Важным кажется существовать, жить, жить просто, как живут чайки, но и внутренне не спасовать, оказаться на высоте хотя бы перед своим судом. Или, как выражается Фриш, выстоять перед ярким светом. Но откуда тогда в сосредоточенной на текущем прозе неожиданно возникают отчужденные «она», «он»? Почему Фриш порой в одной фразе ставит «он» вместо «я» и продолжает рассказ от третьего лица, будто наблюдая происходящее со стороны? Что это — знакомая по его прежним произведениям игра в роли или, быть может, такое понимание его творчества не так уж верно и автору и раньше необходимо было прежде всего целомудренно скрыться, чтобы образно, но зато и без утаек воплотить свой жизненный опыт?

Как бы то ни было, местоимение «он» мелькает лишь на ближнем монтокском плане. В повести есть и иное время и иной пласт, вернее пласты, реальности. Живя настоящим, автор в не меньшей мере живет прошлым. Там действует только «я», отстранение достигнуто уже тем, что годы, события, люди канули в Лету. Побережье Атлантики вызывает в памяти «иные волны». Старая боль наплывает из глубины. И, продолжая вникать в рассказ об американке Линн, читатель начинает сомневаться в том, в чем, наверное, не сомневался автор: да о любви ли вся эта история? Чего больше в затрудненном диалоге на чужом для автора английском языке — прелести новизны, когда каждая мысль кажется высказанной будто впервые, или мучительной невозможности выразить внутренний мир в слове? Недолгое время, состоящее из мгновений, ничем не омраченная любовная история исполнены сиюминутной достоверности. Однако в этой как будто бы торжествующей полноте своя грусть и своя ущербность. Время без будущего, любовь, которой суждено оборваться вместе с отъездом, знакомство, которое не может углубиться знанием прошлого. Все

подернуто дымкой; мимолетные призраки — «она», «он»...

Но вот прорвалась какая-то пелена, и читатель видит Рим, Берлин, Афины давних лет такими, какими их когда-то видел автор. Встречается много имен, блестяще известных в современной литературе (Ингеборг Бахман, Генрих Белль, Ганс Магнус Энгенсбергер, Уве Йонсон, Криста Вольф), — они включены в рассказ о жизни Фриша. Встречаются и имена неизвестные (к лучшим страницам повести относятся воспоминания о школьном товарище В.). О внутренней и внешней жизни человека по имени Макс Фриш здесь мы узнаем больше, чем из всех его прежних книг. Мы узнаем о трудных годах, проведенных в бедности, о его отношении к материальному достатку, обретенному на вершине писательской славы (быть внутренне независимым от денег и диктуемого ими образа жизни, вкусов, круга знакомых тоже требует определенной твердости). В мир личных воспоминаний и впечатлений врываются политические события. Фриша волнует утеррейтское дело и отношение швейцарских властей к беглецам из Чили, отставка Брандта и смерть Пабло Неруды. Книга, начатая из побуждений сугубо частных (писатель о себе и только о себе!), оказывается естественно открытой для проблем общественных, как им открыт человек и писатель Макс Фриш.

Но странно было бы не видеть общего, общественного смысла и там, где Фриш не касается политики. Прочитав обе вошедшие в книгу повести, невольно связав их, несмотря на все их несходство, еще раз чувствуешь, как значительно в «Монтоке» само ощущение жизни — сильное, горькое, сладостное. И тут оно, может быть, связано с приближением старости («...мне уже 61, 62, 63. Будто смотришь на часы и видишь: как поздно!»). Но как бы то ни было, это то самое отношение к жизни как к дару, из которого выросла и другая повесть. К дару, который надо ценить.

Н. ПАВЛОВА.



### Политика и наука

## ЛЕТОПИСЬ ВЕЛИКОЙ ЖИЗНИ

Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. 1870—1924.  
Том 12. Декабрь 1921—январь 1924. М. Политиздат. 1982. 733 стр.

**К**онец венчает дело. Более десяти лет Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС выпускал уникальное издание «Вла-

димир Ильич Ленин. Биографическая хроника». И вот перед нами двенадцатый, заключительный том. Отныне наряду с Пол-

ньм собранием сочинений Ленина, тридцатью девятью «Ленинскими сборниками», «Хронологическим указателем произведений В. И. Ленина», многотомной библиографической Ленинианой мы располагаем с появлением нового издания целым рядом дополнительных источников и материалов о жизни и деятельности основателя нашей партии и государства.

В Биохронике (так сокращенно именуют рецензируемое издание) главное — факты. Каждый, кто брал в руки книжки ленинского Полного собрания сочинений в синем переплете со стремительной росписью Владимира Ильича на обложке, знает, что в конце тома, в справочном аппарате, есть «Даты жизни и деятельности В. И. Ленина». В 55 томах ПСС приведено восемь с половиной тысяч фактов. А в Биохронике их около 39 тысяч. Чтобы собрать их, потребовался многолетний упорный труд исследователей, работа в архивах, дополнительные разыскания, уточнения, перепроверки. Этим был занят большой коллектив научных сотрудников сектора произведений В. И. Ленина и Центрального партийного архива Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

Двенадцатый том Биохроники охватывает жизнь и деятельность Владимира Ильича с декабря 1921 по январь 1924 года. Это было время, когда партия и народ боролись за восстановление народного хозяйства после победоносного завершения гражданской войны. Закладывался прочный фундамент для перехода к следующему этапу строительства социализма. Триумфом ленинских идей интернационализма стало образование СССР.

Мужественно преодолевая тяжелую болезнь, Ленин до конца 1922 года (с небольшим перерывом) находился на посту Председателя Совнаркома. Владимир Ильич, как и прежде, был в эпицентре важнейших политических и государственных событий Страны Советов: таких, например, как IV конгресс Коминтерна, XI съезд РКП(б), XI Всероссийский съезд Советов и другие.

Прибавьте к этому огромную работу Ленина над статьями, докладами, речами плюс прием посетителей. Так, только с 2 октября по 16 декабря 1922 года согласно секретарским записям Владимир Ильич принял 171 человека, написал 224 деловых письма и записки. И, разумеется, постоянно читал многочисленные деловые материалы — протоколы, доклады, предложения, не говоря уж о газетах, журналах и книгах. Со второй половины декабря 1922 года Владими-

ра Ильича сразила болезнь. Вот как говорится об этом времени в Биохронике:

«1 января 1923—21 января 1924.

Ленин в связи с тяжелой болезнью не может непосредственно участвовать в повседневной деятельности Советского правительства, но продолжает оказывать огромное влияние на руководство партией и страной, помогает находить наиболее правильные решения самых сложных вопросов теории и практики социалистического строительства».

Прежде всего это нашло выражение в последних письмах и статьях, которые Владимир Ильич продиктовал в декабре 1922 — марте 1923 года и которые часто называют политическим завещанием Ленина. Разные по тематике, они органически связаны между собой и, по сути дела, составляют единый комплекс работ о плане социалистического строительства в СССР.

В этих статьях Ленин наголову разгромил доводы меньшевиков, троцкистов и зарубежных оппортунистов, малOVERов всех мастей о том, будто бы в России не было предпосылок для революции и строительства социализма. Опыт Великого Октября, показал Ленин, отражает объективную закономерность эпохи революционного перехода от капитализма к социализму. Владимир Ильич на новом этапе исторического процесса развил марксистское учение о переходном периоде. В конечном счете, считал Ленин, дело решат миллионные массы трудящихся, поднятые из низов к созданию новой жизни, вовлеченные в самостоятельное историческое творчество. Он подчеркнул, что в России есть «все необходимое и достаточное» для построения социалистического общества. Особое место в процессе становления социализма Ленин отводил культурной революции, понимая ее как революционное духовное преобразование общества. Приобщение самых широких масс к политике, знаниям, высотам науки и культуры, распространение в народе коммунистической идеологии Владимир Ильич считал непременным условием дальнейшего движения советского общества вперед.

О пристальном внимании Ленина к вопросам идеологии свидетельствует, к примеру, известный факт, датированный в двенадцатом томе Биохроники 1922 годом:

«Сентябрь, 27.

Ленин обращает внимание на опубликованную в «Правде» статью председателя ЦК Пролеткульта В. Ф. Плетнева «На идеологическом фронте», на полях газеты делает многочисленные заметки и отчеркивания, отмечая путаные и ошибочные взгля-



ды автора по вопросам пролетарской культуры; над заголовком статьи пишет: „Сохранить“!

Далее говорится, что Владимир Ильич пишет в «Правду» записку, в которой решительно осуждает публикацию порочной статьи Плетнева.

О пометках Ленина на статье Плетнева существует специальная литература. Известный исследователь истории советской культуры И. Смирнов посвятил им историко-археографический обзор, названный «О публикации ленинских „заметок“ на статью В. Плетнева „На идеологическом фронте“». Автор справедливо отметил, что эти «заметки» Ленина давно используются исследователями, но ранее публиковались не всегда точно. Между тем еще в одном из сборников вышедшем в 1925 году отмечалось, что «статья тов. Я. Яковлева «О „пролетарской культуре“ и Пролеткульте» была написана согласно ленинским пометкам, переданным тогда Владимиром Ильичем тов. Я. Яковлеву просмотрена и отредактирована Лениным. Выделенные автором цитаты из статьи Плетнева соответствуют таким образом частям плетневской статьи, отчеркнутым Владимиром Ильичем».

Каковы же были замечания Ленина?

Буквально с первых абзацев статьи мы встречаемся с уничтожающим ленинским «ха-ха!», относящимся к утверждениям Плетнева о том что «творчество новой пролетарской классовой культуры — основная цель Пролеткульта» Рядом со словами Плетнева: «Задача строительства пролетарской культуры может быть разрешена только силами самого пролетариата учеными художниками, инженерами и т. п. вышедшими из его среды» — Владимир Ильич пишет: «Архифальшь» Против плетневского положения: «И эта борьба должна будет пойти под флагом именно творчества пролетарской классовой культуры и никак иначе. В этом историческое оправдание идеи Пролеткульта и его существования» — Ленин провел три черты на полях и написал: «Ух!» Отметил Владимир Ильич и ряд других мест в статье Плетнева. Смысл этих пометок предельно ясен.

Очень ценное качество Биохроники — публикация в ней новых ленинских документов. Особенно таких, которые трудно

публиковать самостоятельно, скажем, в тех же «Ленинских сборниках». Составители и редакторы Биохроники в каждом ее томе печатали большое количество записок, пометок, писем, резолюций Ленина, его распоряжений и т. п. Количество этих публикаций превышает 4 тысячи. В двенадцатом томе их около 500. Вот один только пример. Известно, как строг и аккуратен был Ленин в деловом общении, требуя того же от любого сотрудника Совнаркома. 21 февраля 1922 года, ознакомившись с запиской (на немецком языке) К. Цеткин о том, что она в течение двух дней не могла связаться с ним по телефону, Владимир Ильич пишет Л. А. Фотиевой, что объявляет ей выговор и предлагает «уметь делать так чтобы Вас все могли легко найти и всегда по делу ко мне».

Таких примеров в двенадцатом томе Биохроники, да и в других томах множество. Они дают исследователям новые материалы для характеристики ленинского стиля партийной и государственной работы, ленинской манеры общения с людьми, предупредительности, точности, высокой культуры.

Особенностью заключительного тома Биохроники стало то, что он отражает последние годы, месяцы, дни жизни Ленина. Они были заполнены неутомимой деятельностью. Вот выписка из Биохроники:

«Начало августа 1923—20 января 1924.

Ленин ежедневно работает в библиотечной комнате, просматривает литературу особенно новые поступления отбирает за интересовавшие его книги, главным образом по экономическим вопросам, научной организации труда, финансам и др.».

«Об Ильиче всем хочется знать как можно больше», — писала Н. К. Крупская. Понятен все возрастающий интерес к ленинской жизни Многотомное издание «Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника» вносит существенный вклад в советскую Лениниану. Историки, писатели, самые широкие читательские круги получили возможность познакомиться с новыми данными о жизни и деятельности Ленина, новыми ленинскими документами. «Ленин бессмертен и величав» — десятками тысяч фактов подтверждает Биохроника вывод поэта.

Ю. ШАРАПОВ,  
доктор исторических наук.



## В РУСЛЕ ПАМЯТИ

А н д р е й Н и к и т и н. Над квадратом раскопа. М. «Детская литература». 1982. 272 стр.

А н д р е й Н и к и т и н. Дороги веков. Повести. М. «Советский писатель». 1980. 527 стр.

**В** день 15 августа 1663 года неожиданно великий огонь с двумя лучами завис над озером у приходской церкви Белозерского уезда и стал двигаться вдоль него. Через некоторое время он удалился. Однако спустя час вновь возник над озером. Так повторялось в тот день три раза, что навело «страх божий» на прихожан, один из которых, Ивашка Ржевский, отпсал от свершившемуся властям Кирилло-Белозерского монастыря... Если учесть, что в то время летательных аппаратов не существовало, то небесный огонь XVII века современная наука отнесет. вполне возможно, всего лишь к поэтическому описанию метеоров...

Школьник знает: Земля — магнит. Но, думаю, далеко не всем известно, что магнитные полюса не только «путешествуют» вокруг географических полюсов, но время от времени меняются местами. Интервалы магнитных инверсий исчисляются миллионами лет. Как будто внутри Земли происходит какой-то срыв, вызывающий поворот магнитной стрелки на 180 градусов...

Множество любопытных фактов рассыпано в рецензируемых книгах. Пользуясь широким кругом источников, приводя сведения из научных работ, автор популярно рассказывает о настоящем и прошлом Черноземья, Севера, о русской деревне и природе, о тайнах природы вообще. Он пишет о содружестве археологии, палеогеографии, геологии, биологии и других наук, на основе которых изучаются не только история человеческой деятельности и человеческих обществ, но и история биосферы в целом.

По жанру книги писателя и исследователя А. Никитина можно отнести к научно-художественной публицистике. (Кстати сказать, как публицист А. Никитин хорошо известен читателям своими экологическими работами: выступлениями в защиту Плещеева озера, статьями о северных колхозах в «Литературной газете» и других печатных органах.)

Для чего археологи ведут многочисленные раскопки? Только ли для того, чтобы пролить свет на тот или иной «темный» период в истории человека, чтобы восстановить недостающее звено в цепи его развития? Интерес к археологическим культурам, к некогда существовавшим человеческим обществам обернулся интересом ко всему прошлому. «Из безобидной причуды оригиналов, из вещеведческой дисципли-

ны, — пишет А. Никитин, — археология превратилась в сложный и ответственный метод познания, требующий от исследователя высокого совершенства и столь же высокой ответственности, как, скажем, нейрохирургия. Действительно, объекты археологического исследования можно назвать архивом биосферы, вернее всего, ее памятью». Автор внимательно исследует эту память. Например, он подробно объясняет читателю теорию ритмичности природных явлений А. В. Шнитникова, согласно которой в природе существует биоритм: через примерно равные промежутки времени с интервалом в 1800—2000 лет увлажнение Земли сменяется иссушением. Причем любая частная флуктуация всегда становится элементом единого процесса.

Андрей Никитин знакомит нас с ходом своих поисков первых поселений на территории терского побережья Кольского полуострова, на переславской земле в районе Плещеева озера. Многие версты приходится преодолеть археологу, перекидать кубометры земли, прежде чем он обнаружит предметы древней культуры. К тому же найти — еще полдела, нужно понять эпоху, определить, какой именно археологической культуре принадлежит данная находка, выявить черты различия и сходства этой культуры с другими.

Решая частные вопросы, не выходящие за пределы одного района, археолог, по мысли А. Никитина, подчеркивает различие между сходными культурами, чтобы дифференцировать их по времени. Для решения же «проблем этногенеза — происхождения народов...» — считает автор, — важнее оказываются подмечаемые черты сходства».

Ценности материальной и духовной культуры, накопленные многими и многими поколениями людей, дают ученым достаточно оснований говорить об исторических судьбах того или иного этноса. Судьбы эти различны.

Подобно человеку, считает, положим, советский ученый Л. Гумилев, этнос (то есть динамическая система, естественно возникшая в биосфере Земли и развивающаяся по фазам этногенеза) имеет свой возраст (молодость, зрелость, старость), свой уровень напряженности, определяемый активным или пассивным участием человека в процессе возникновения и угасания этнических общностей. В несколько ином смысле

ключе касается в своих книгах истории народов и А. Никитин. Если Гумилев идет от человека к этносу, то Никитин, напротив, стремится показать именно человека, живущего в системе природы. Автор пишет о судьбе саамов, охотников-оленьеводов, об их загадочных наскальных рисунках на восточном берегу Онежского озера, о каменных в Лету фатьяновцах, о древних обитателях свайных поселений на Плесеевом озере... Да, река времен, как некогда сказал Державин, «топит в пропасти забвенья народы, царства и царей», но все же что-то остается, продолжает жить, что-то возвращается к жизни благодаря усилиям археологов. История не существует как нечто мертвое, застывшее, она оживает нашей мыслью, издревле пытающейся осознать и выявить гармонию жизни, основу ее основ — единение отцов, сыновей, внуков, то есть непрерывное единство прошлого, настоящего, будущего.

Здесь необходим сплав знания и чувства, искусства и опыта, эстетики и этики. К этому стремится автор, в этом видит одну из основных задач осмысленной деятельности человека. От каменного топора фатьяновской культуры, с которой А. Никитин впервые соприкоснулся во время раскопок на озере Неро под Ростовом Великим, до постижения человеком Вселенной — таков диапазон книги «Над квадратом раскопа».

В последней главе ее автор пишет о том, что структура прошлого, угадываемая нами в земных катаклизмах, ритмических пульсациях и потрясениях, причины которых лежат за пределами нашей планеты, оказывается отражением чрезвычайно сложной структуры космоса. Частица его и наша Земля. Само же существование на ней человека, по мнению А. Никитина, «есть факт непрерывно длящегося «акта творения». Согласно представлениям современной науки он начался взрывом нейтронной среды «сверхновой», привел к созданию биосферы, а ее эволюция в свою очередь привела к возникновению человека — феномена, в отличие от остальной материи несущего в себе настойчивую потребность самосознания и самопостижения. Это и есть грань, отделяющая человека от природы». (В последней фразе, представляется, автор несколько противоречит себе, отделяя человека от природы гранью самопознания. Противоречие снимается, если говорить о природе, развившейся в лице человека до самопостижения.)

В целом «Над квадратом раскопа» — одна из первых работ об исторической экологии человека. Книга эта основана на

идеях Вернадского и Чижевского и адресована массовому читателю, прежде всего молодому поколению, историко-экологическое воспитание которого особенно актуально. Здесь одинаково важна популяризация как космических, так и земных концепций. С этой точки зрения, на мой взгляд, книга «Дороги веков» более «заземлена» в хорошем смысле этого слова. В ней меньше хотя и очень интересных, но достаточно экзотических теорий и больше будничных, но весьма важных человеческих забот.

Писатель, к примеру, пытается разобраться в причинах миграции сельского населения в город. Почему умирает старая деревня? Почему ломается весь строй деревенской жизни? По мнению А. Никитина, сущность этих процессов заключена в изменении отношения человека к земле. Если прежде землю с уважением называли кормилицей, то теперь к ней относятся как к сфере применения сил для получения плановых норм урожая. Из патриархального сельскохозяйственного труда превращается в индустриальный, промышленный. Работник села обращается ныне с землей, как токарь со станком. Именно в этом чрезмерно техницизированном отношении к сельскому труду видит А. Никитин основную причину многих наших осложнений в сельском хозяйстве и, безусловно, затрагивает серьезную социальную проблему. Думаю, однако, что позиция автора содержит и известное преувеличение.

Размышляя о судьбах северного русского крестьянства, автор отмечает, что его история не исчерпывается общими вековыми преобразованиями, действием тех или иных экономических, географических, демографических и социальных законов. История народа складывается из отдельных судеб миллионов людей, не обобщенных до безликости, а воспринятых в своем индивидуальном воплощении. Связь с минувшим может существовать лишь до тех пор, пока существует русло памяти поколений, числящих своих предков по именам, знающих их жизнь, их судьбы, их место в тех или иных исторических событиях.

Заглядывая в прошлое русского человека, писатель как бы приглашает нас посетить крестьянскую избу, деревянную церковь, знакомит с жителями деревень, стариками — хранителями драгоценных фактов и преданий. Его внимание сосредоточивается не только на постижении материальных и экологических связей и закономерностей, которые археологи пытаются

восстановить по кремневым орудиям, глиняным черепкам, культурному слою древних поселений, но и на духовной жизни человека прошлого, на культовом отражении мира в его сознании.

А. Никитин подробно повествует о культурных традициях русского народа, о крестьянском искусстве, о поэзии язычества. Поэзии, вечно творимой людьми, живущими в природе — среди неба, звезд, воды, солнца, огня, животных.

В процессе раскопок, поисков решений, казалось бы, сугубо профессиональных археологических вопросов заключен гораздо более глубокий смысл, общечеловеческий интерес, обращенный, я бы сказал, даже не к прошлому, а к будущему человека, кровно связанного с Землей. Об этой связи, о единстве всего живого я писал в одной из деревушек нашего Нечерноземья:

Права Земля! Все видимое нянчит,  
Невидимое—явью сознает.  
Не жалуется—некому!—не кланчит,  
Сама, как может, жизни создает.  
И видимость свободы придает  
Своим живым, растущим и летящим,  
Цветущим, говорящим, уходящим,  
Всему и всем—таков ее удел,  
Быть матерью, казаться не у дел...

В ожившей благодаря труду археологов старине для нас открывается долгий и

трудный век разума, и с этим открытием невольно пронзает мысль о необратимом течении времени. А время это одинаково метит морщинами дерево, камень, лицо человека, волнует своей неповторимостью, невозвратностью. А. Никитин рассказывает, как по северным деревням проходила экспедиция загорского музея. Так вот в те села, куда из-за бездорожья не смог пройти автобус, жители предлагали на руках перенести экспонаты! И помнили они об этой необычной выставке много лет спустя, жалея, что такое бывает нечасто. А, собственно, что особенного показывали сотрудники музея? Пряжки, берестяные короба и туески, светильники, сарафаны и полотенца, глиняные игрушки, резные наличники, кокошники...

В произведениях Андрея Никитина — факты науки и поэзии, современность и далекое прошлое, биосфера и космос, проблемы экологии, в общем, все то, чем жив мыслящий человек. И это вполне понятно, ибо настоящий ученый и писатель прежде всего видит перед собой человека, проследживает его судьбу, пытается понять его назначение, передать высокий гуманизм его постоянного стремления к добру и совершенству.

Ю. А. ТРИФОНОВ.



## РАЗГОВОР С ИНТЕРЕСНЫМ СОБЕСЕДНИКОМ

Александр Штейн. Наедине со зрителем. М. Всероссийское театральное общество. 1982. 304 стр.

**И**менно такое ощущение испытываешь, закрывая книгу А. Штейна «Наедине со зрителем», — будто не страницы листал, а слушал неторопливый рассказ интересного собеседника, много повидавшего, о многом глубоко и искренне размышляющего. Автор то уводит читателя на десятилетия назад, то вторгается в день нынешний; портреты друзей соседствуют с воспоминаниями о давних спектаклях, встречах... Казалось бы, и россыпь случайно выплывших из недр памяти эпизодов, и приметные для времени явления — но все это нанизывается на невидимый стержень, создавая цельную картину... нет, не жизни театра и драматургии, а жизни, накрепко связанной и с театром и с драматургией, соучастия в ней зрителя и его сопричастности к искусству, жизни поколения, вступившего в революцию юным.

В самом деле, может ли кто-либо из сверстников автора — будь то инженер,

врач, рабочий, — оглядываясь назад, не увидеть всего, что не только сопровождало его в его личной жизни, но и мощно влияло на нее, на его внутренний мир, поведение, поступки? Можно ли говорить о формировании мировоззрения этого поколения вне театра, кино, литературы тех далеких, забываемых 20-х, 30-х!

Мы выходили из театра, где только что отбушевал «Шторм» Биль-Белоцерковского, другими, нежели до встречи с его героями; никакие личные потрясения не могли вызвать такого накала страстей, ярости, восторга, буйных схваток, какие вызывали мейерхольдовские спектакли. Да только ли они! Погодин, Олеша, Лавренев... Новая драматургия, новые, революцией рожденные герои, проблемы. Дискуссии вспыхивали в трамваях, на улицах, на работе, а то и в школе, если иные реакционно настроенные учителя пытались оградить ее от «тлетворного влияния» литературно-театральной жизни тех дней.

Я помянула сверстников Штейна, для которых чтение его книги — погружение в молодость, осмысление минувшего со всеми его взлетами, падениями, ошибками и неуклонным восхождением. Однако «Наедине со зрителем» обращена не столько к ним, сколько к современнику.

Живы, не исчезли под слоем архивной пыли проблемы, конфликты, волновавшие писателей и зрителей в пору младенчества советской драматургии; вовсе не бесполезно обратиться и к старым газетным рецензиям той поры, достоверно свидетельствующим, какие же крутые пороги приходилось перемахивать порой драматургам в борьбе с лакировщиками, вульгарным социологизированием. Ведь было же, было время, когда утверждение «нет драмы без конфликта» обрушивало на смельчака шквал беспощадной критики.

И, право же, надо обладать мужеством, чтоб, восстанавливая саму атмосферу, сопутствующую развитию советской драматургии, ее нелегкий путь в борьбе с такого рода «бдительными» критиками, не обойти и собственные грехи. Штейн делает это без утаек, включая в книгу те из своих давних рецензий, за которые, как он пишет, ему ныне и горько и стыдно.

Не потому, что он лукавил. Нет. Заблуждения он принимал за истину. Вспоминая свою первую рецензию в «Ленинградской правде» на пьесу Лавренева «Враги» в Большом драматическом театре, Штейн пишет, что разгромил ее на «радость всем недругам Лавренева, которые были и моими недругами». «Враги» — не лучшая пьеса Лавренева, точнее слабая, и тем не менее «почему же всякий раз, когда вспоминается эта далекая история, неизменно примешивается чувство горечи?», признается автор. Написал рецензию, полагая, что совершает акт принципиальности, а по существу заболел тем же недугом, что и догматик-редактор.

Но вот она, эта рецензия, в чем-то типичная для своего времени, может быть, даже более сдержанная по сравнению с другими. Однако если уж извлекать одну из них из небытия для поучений, не честнее ли проделать подобное над собственным опусом. Штейн так и поступает, не щадя себя: «...перечитываю это «сочинение» — боже, какая удручающая вульгарно-социологическая безапелляционность! Угнетающий набор стандартных ярлыков! Ошеломляющая безграмотность выражений — вроде «технической обработки спектакля!» И полное отсутствие оценки художественной стороны дела! И глухое непонимание пусть

ошибочного, но искреннего замысла художника!»

Стоп! Да стоит ли ради несколько поздалого покаяния столь сурово бичевать себя? Может быть, подобный вопрос и не возникнет — так актуально звучит эта гневная отповедь, тем более что заключается она прямым обращением в сегодня: глухота и слепота ныне присущи «лишь малому числу критиков, к которым я отношусь с жалостью и легким презрением...».

В самом деле — Штейн прав, — все это мало-помалу исчезает с газетных полос, как и прямолинейное вульгаризаторство. Но автор идет дальше, рассматривая проблемы критики более глубоко. Его беспощадный анализ рецензии на «Список благодеяний» Ю. Олеси и Мейерхольда — весьма актуальный и нужный разговор о праве художника на творческий эксперимент, если он выражает дух времени, продиктован артистической потребностью, внутренней духовной необходимостью. Взволнованно и очень искренне звучит признание автора — перечитывая сейчас свой категорический приговор спектаклю, он со всей очевидностью понимает то, чего начисто не понимал раньше: «Список благодеяний» был для Мейерхольда не очередной режиссерской постановкой — дыханием самого художника, частью его жизни. Разбором же старых работ, пишет Штейн, он занимается не самокритики ради, а из «педагогических, так сказать, соображений».

Весьма полезно было бы из тех же педагогических соображений подвергнуть не менее суровому разбору рецензии, получившие ныне особо широкое распространение, — равнодушно-апологетические. И хотя формально они вроде бы антиподы рецензиям невежественно-критиканским, так часто мелькавшим в те давние годы на газетных страницах, по существу это близнецы. Воздействие же их не столь уж безобидно, если учесть, что похвалы удаются нередко спектакли серые, скучные, вызывающие у зрителей лишь досаду на зря потраченное время, а у актеров — чувство глубокой неудовлетворенности. Поощрение творческой нетребовательности бесследно не проходит.

Газета и ее место в биографии автора, его преданная любовь газете — один из главных мотивов книги. Опираясь на статьи, рецензии, интервью разных лет, размышляет автор о прожитом, о друзьях, о путях советской драматургии и театра. При этом вольно или невольно автор начисто разбивает утвердившееся мнение, что га-

зета живет один день. Тут любопытен некий феномен: устаревают газета вчерашняя, даже опоздавшая на пять-шесть часов. Но как удивительно оживают ее пожелтевшие страницы, когда запечатленные на них сиюминутные факты, события художник творчески осмысливает в свете дня нынешнего. Подобно дневниковым записям эти страницы позволяют точно восстановить миновавшее, бескомпромиссно проверяя его временем.

Особое место в книге Штейна занимает тема человеческого общения. Собственно, это основа книги, самое дорогое для автора, без чего, казалось бы, не состоялась ни сама жизнь, ни профессия.

Удача на друзей, с которыми свела жизнь на десятилетия... Но речь не об одной удачливости и не только о том, что святое и трудное дело товарищества требует особого таланта, которым, кстати, щедро награжден Штейн. Здесь важен и сам настрой души, то состояние духовной жизни, когда без друзей, без постоянного человеческого общения жизнь попросту невозможна. Именно этот настрой позволил Штейну создать удивительные по искренности и художественной объемности образы друзей, близких, знакомых. Подлинно портретная живопись высокого класса, далекая от юбилейной гладкописи, требующей тщательного сокрытия всех человеческих слабостей — только достоинства! Описанные с любовью, глубокой симпатией и знанием характеров, герои книги предстают перед читателем во всем обаянии их творческого таланта, духовного богатства, порой с черточками смешных человеческих слабостей, с ошибками и успехами. Это Вишневский, Лавренев, Чумандрин, Симонов, Охлопков, Герман, Вишневецкая (я присоединяю сюда и тех, о ком Штейн пишет в вышедшей ранее «Повести о том, как возникают сюжеты») и многие другие.

Трудно удержаться от желания процитировать некоторые из характеристик, но невозможно приводить их в сокращениях, не нарушив их целостности завершенности. Все же приведу один маленький отрывок:

«Он был большим артистом, но не только. Он был большим художником, но не только. Он был Направлением. Вокруг его работ всегда бушевали грозы, сверкали молнии, так и должно было быть, потому что он искал, пробовал, всегда искал, всегда пробовал, всегда, даже в самые трудные для искусства времена, никогда не был спутником, он был светилом. И даже поражения его двигали искусство».

А далее эта квинтэссенция характеристики как бы обретает живую плоть в эпизодах, рисующих Охлопкова режиссером, актером — во всех ипостасях его богатейшей природы...

В книге спрессован огромный отрезок времени, насыщенный многими событиями. Трудно охватить все грани книги, представляющей сплав разнообразных жанров, — у автора сказано так: «...написал не мемуары, не дневники, не новеллы, но и то, и другое, и третье...» Это о книге «Второй антракт», но, по сути, и о всей прозе Александра Штейна.

А по сути это, повторю, рассказ о поколении, о художниках, с которых началась и крепла советская драматургия, о тех, кто составляет ее гордость. К этой плеяде справедливо отнести и автора книги, лишь скромно упомянувшего в ней о своем писательском пути. Между тем созданные им пьесы прочно вошли в фонд советской драматургии, а книги «Повесть о том, как возникают сюжеты», «Второй антракт», «Наедине со зрителем» свидетельствуют о его серьезном даре прозаика и как точно замечает в предисловии к рецензируемой книге известный театровед А. Н. Анастасьев: «...за обилием героев, фактов и мыслей открываются личность и талант повествователя, его жизнь и поиски в искусстве». Собственно, к поколению, о котором повествует Штейн, применимы слова, отнесенные им к Охлопкову: даже в самое трудное для искусства время оно не было спутником. О мужестве, стойкости, идейной убежденности — книга «Наедине со зрителем».

Валентина ЕЛИСЕЕВА.



## КАНАДСКАЯ МОЗАИКА

В. А. Тишков, Л. В. Кошелев. История Канады. М. «Мысль». 1982. 268 стр.

«Канада» — слово индейское, так называли гуроны необъятное королевство Сагней или великий водный путь по реке Святого Лаврентия, которым «ни один человек еще не доходил до его конца». К тому моменту, когда в 1534 году в устье

реки вошли корабли француза Жака Картье (до этого у берегов Канады побывал гренуэзец Джон Кабот, а еще раньше норманны), коренные обитатели Америки — индейцы и эскимосы — уже широко заселили земли, составляющие ныне территорию канадско-

го государства. Таким образом, историю Канады правомерно начинать не с европейской колонизации, а, как это сделано в рецензируемой работе, с заселения американского континента его первожителями.

Сквозная тема канадского прошлого — история канадских индейцев. Она складывается из тысячелетий их автономной, так сказать, эволюции и четырех столетий трагического сосуществования с европейцами и современным североамериканским капиталистическим образом жизни.

Основанная длительное время на пушной торговле, канадская колониальная экономика рассматривала коренного жителя — искусного охотника, знатока лесов и прерий — как необходимый элемент освоения новых территорий и жизненно важного торгового обмена. Если колонизация территории Соединенных Штатов базировалась на земледельческой экономике, требовавшей стона коренных жителей с занимаемых ими земель, то в Канаде торговый характер поселений европейцев предопределил сравнительно большую их терпимость к аборигенам. Вот почему история Канады фактически не знала жестоких и истребительных войн белого населения с индейцами. Что, впрочем, совсем не исключало грабительского и безжалостного отношения переселенцев к коренным жителям Канады, особенно когда в XIX веке началось интенсивное хозяйственное освоение ее территории на капиталистической основе.

Общий исторический итог для канадских индейцев был таким же, как и в США: неравноправными договорами, а подчас и силой оружия, как это было в 1869 и 1885 годах во время восстаний индейцев, они были лишены своих исконных земель и загнаны в резервации, обречены на нужду, вымирание и ассимиляцию. В свете прошлого знаменателен современный этап развития индейских общин в Канаде: в последние два десятилетия в стране набирает силу все более зрелое и организованное движение коренных жителей за свои права, за сохранение культурной самобытности, за улучшение материальных условий жизни прежде всего за счет возврата отнятых земель и широких прав пользования природными богатствами. Судьба индейцев стала одной из важных общественно-политических проблем в стране, поскольку справедливые земельные иски аборигенов мешают монополиям США и Канады окончательно прибрать к рукам богатые ресурсами районы страны, являющиеся родиной канадских индейцев.

Еще одна традиционная тема канадской

истории, отчетливо прослеживаемая в рецензируемой книге, — это национальная, прежде всего франко-канадская, проблема. Корни ее восходят к тому дню 13 сентября 1759 года, когда на равнине Авраама, у стен крепости Квебек английские войска нанесли поражение французским и колония Новая Франция приобрела нового хозяина — Англию. В сражении погибли командующие как английской, так и французской армий — Уолф и Монкальм. Позднее в Квебеке был поставлен памятник с надписью: «Доблесть принесла им общую смерть, история — общую славу, а потомки — общий памятник». Но это всего лишь красивая фраза, ибо английское завоевание Канады породило национальный вопрос, связанный с судьбой завоеванного населения французского происхождения, не решенный и поныне.

В доминирующей англоязычной, протестантской среде франкоканадцы упорной борьбой за существование сохранили за собой основную территорию проживания — провинцию Квебек, — свой язык, религию (католицизм) и культурное своеобразие. Сегодня франкоязычное население страны насчитывает 6,5 из 24,3 миллионов человек. Это, по мнению авторов книги, сложившаяся этническая общность, обладающая отчетливо выраженным самосознанием.

За годы английского господства и в последующее время франкоканадцы в массе своей оказались оттесненными на нижние ступени социальной лестницы, довольствуясь второстепенным положением в бизнесе и политике. Даже в их собственной провинции англоканадский и американский капитал к середине XX века обеспечил себе положение безраздельного хозяина. Естественно, что франкоканадцы не хотели мириться с этим. Национальное движение в Квебеке имеет давнюю историю и приобретало на разных исторических этапах различные формы. Наивысший его подъем пришелся на 60—70-е годы нашего столетия, когда франкоканадская, квебекская проблема стала причиной кризиса канадской федерации и даже поставила под угрозу саму возможность ее дальнейшего существования. Выдвигаются различные варианты решения проблемы: рентабельный федерализм, специальный статус или культурная автономия, предлагаемые либералами в Оттаве и Квебеке, выход из федерации — как лозунг квебекских сепаратистов. Но, видимо, выход из положения в целом возможен только на путях демократизации существующего в стране общественного порядка и предоставления франкоканадцам права на

самоопределение. Именно с такой программой выступают сегодня канадские коммунисты.

Национальные проблемы страны не ограничиваются вопросом о взаимоотношениях двух основных этнических общностей. Современная Канада — это многонациональное государство. В XIX и XX веках сюда прибыли несколько миллионов иммигрантов из разных стран мира, придав Канаде своеобразный и неповторимый колорит, «выложив» так называемую канадскую мозаику. В отличие от жесткой концепции «плавильного тигля», действовавшей в отношении иммигрантского населения в США, концепция мозаики не была столь бескомпромиссно ориентирована на безусловную, насильственную ассимиляцию прибывающего населения. Однако и в Канаде в условиях господства капиталистических порядков иммигранты постоянно сталкивались с дискриминацией и жестокой эксплуатацией, прежде всего со стороны англоканадской буржуазии. Особые лишения переживала (и переживает до сих пор) трудовая иммиграция в лице выходцев из стран Азии и Латинской Америки, а в конце прошлого — начале нынешнего столетия — переселенцы из Восточной Европы. Среди последних русские и украинские крестьяне, вынужденные покинуть пределы царской России в поисках лучшей жизненной доли (в частности, сохранившие и по сей день свою культурную самобытность старообрядческие общины русских духоборов, переселению которых способствовал А. Толстой).

Представляется, что советские исследователи еще недостаточно изучили интереснейшие судьбы этих людей, страницы общей русско-канадской истории. Привычные к упорному труду руки украинских и русских крестьян помогли поднять целину канадских прерий, освоение которых принесло стране мировую славу «пшеничного доминиона». Сегодня в Канаде проживает свыше миллиона человек славянского происхождения.

Читая «Историю Канады», обращаешь внимание и на такую важную тему, как история неравного и тревожного партнерства с южным соседом — Соединенными Штатами. В ней также немало поучительного и наводящего на размышления. Более двухсот лет назад американцы совершили свою революцию и провозгласили буржуазную республику. Для канадских колонистов, продолжавших жить при монархических порядках, это был вдохновляющий пример огромной силы. На протяжении нескольких десятилетий освободительное

движение в Канаде развивалось под лозунгами американской Декларации независимости, заимствовало формы борьбы американских патриотов. Но послереволюционные Соединенные Штаты довольно скоро выступили союзниками английских колониальных властей в подавлении освободительной борьбы канадских поселенцев, предпочтя идеалам свободы сговор с Великобританией, выгоды торговли и политические расчеты. Более того, с первых дней существования американской республики растущая американская буржуазия демонстрировала экспансионистские устремления в отношении канадских земель, даже не скрывая своего явного желания завладеть ими. В этих условиях угроза быть поглощенными Соединенными Штатами стала важным фактором консолидации общеканадского сознания, способствующей образованию централизованного государства на месте разобщенных колониальных провинций.

Во второй половине XIX века усилилось проникновение американского капитала в Канаду. Этот процесс шел по нарастающей, и его результатом стало поистине невиданное явление: развитая капиталистическая страна с богатыми ресурсами превратилась, по существу, в экономический придаток своего более могущественного и агрессивного южного соседа. Ныне капиталовложения США в Канаде достигают огромных размеров — свыше 70 миллиардов долларов! В книге В. Тишкова и Л. Кошелева справедливо утверждается, что проблема зависимости Канады от США не только экономическая. Канада, став членом НАТО и чаще всего послушно следуя в фарватере американского внешнеполитического курса, была втянута в орбиту агрессивных империалистических планов. Поиск самостоятельных приоритетов в вопросах мировой политики, которым отмечено пребывание у власти с 1968 года правительства во главе с Пьером Трюдо, оказался на деле довольно трудным и пока малорезультативным.

И наконец, о главной теме рецензируемой книги и канадской истории — о роли народных масс как подлинных творцов исторического процесса. В большом количестве работ по истории Канады, опубликованных за рубежом, этой теме уделялось незаслуженно мало места. Авторы писали преимущественно о правящей элите и верхушечных политических перипетиях. Даже такое ключевое событие в истории страны, каким было образование в 1867 году канадского государства, преподносилось



как итог политического компромисса или дар, ниспосланный метрополией. А отсюда и обоснование теорий о якобы отсутствии в Канаде революционных традиций, извечной склонности канадцев к лоялизму.

Выполненное ранее В. Тишковым специальное исследование («Освободительное движение в колониальной Канаде». М. 1978.) и рецензируемая книга убеждают в другом — в том, что вся история Канады наполнена острыми социальными конфликтами, непрекращающейся борьбой народных масс за улучшение условий своей жизни. На основе новейшего материала показано, что образование канадского доминиона явилось результатом народной борьбы с оружием в руках против колониального режима и господства местных олигархических кланов.

Основной движущей силой поступательного развития канадского общества на всех основных этапах истории борьбы за национальную независимость и демократизацию внутренней жизни были трудящиеся: рабочие, крестьяне, ремесленники. В эпоху монополистического капитализма противоречия между промышленными рабочими, трудовым фермерством и господствующи-

ми классами достигли предельной остроты. Уже в 20-х годах XIX века в стране появляются первые профсоюзы. Под влиянием Великого Октября растет рабочее движение, постепенно приобретающее четко выраженные организационные формы. В 1922 году была создана Коммунистическая партия Канады. Канадские коммунисты всегда выступают в авангарде борьбы за права трудящихся своей страны, за мир и добрососедские отношения с Советским Союзом.

История канадо-советских международных связей имеет много славных страниц: в годы гражданской войны и иностранной интервенции это движение «Руки прочь от советской России!», в годы второй мировой войны, когда оба государства сражались против общего врага — германского фашизма, это широкая кампания по сбору средств и оказанию помощи СССР. В свою очередь Советский Союз неизменно придерживается курса на взаимовыгодное сотрудничество и дружбу между нашей страной и Канадой, и публикация «Истории Канады» — еще один шаг в этом направлении.

**А. МИЛЕЙКОВСКИЙ,**

*академик.*



---

---

## КОРОТКО О КНИГАХ



**НИКОЛАЙ СИДОРЯК. Железная трава. Иосиф Прекрасный. Романы. М. «Советский писатель». 1982. 456 стр.**

Несколько лет назад на русском языке вышел роман украинского писателя Николая Сидоряка «Труханов остров». Он привлек внимание критики, был отмечен как интересное произведение на рабочую тему, ведущее углубленный разговор о человеке, о человеческом. Теперь появились на русском языке еще два романа Николая Сидоряка — «Железная трава» и «Иосиф Прекрасный», изданные одной книгой. В обоих действует одна героиня — Надя, Надежда (хотя главный герой второй книги — журналист Иосиф Гайналь, Иосиф Прекрасный, как называет его Надя). Оба произведения — тоже разговор о человеческом, в них отчетливо тяготение писателя к таким ситуациям и жизненным коллизиям, в которых могла бы наиболее полно раскрыться сущность человека, в которых формируются и закаляются настоящие характеры.

Роман «Железная трава» повествует о трагическом времени фашистской оккупации на Украине (события происходят в Харькове). Неожиданно для «батальной» этой темы психологически тонким получился образ молодой девушки Нади. Автор, провоевавший на фронтах Великой Отечественной войны, как говорится, от звонка до звонка, не пошел по проторенной дорожке хроникального, фактографического изображения крутых событий военного лихолетья, а поставил перед собой задачу осмыслить сложный процесс духовного мужания и морального совершенствования советского человека в грозную пору. Объектом своего художественного исследования он избрал простых, сказать бы, «маленьких» людей, которые в мирные дни сами даже не догадывались, на какие подвиги способны. Далекое не все они стали героями, но не в этом дело; главное, что души их остались непокоренными, они не смирились с фашистским рабством, посвоему, как умели, искали активные пути к борьбе с врагом.

Надежда, героиня романа, видится нам натурой щедро одаренной, непримиримой ко злу, к любой подлости, готовой к подвигу и самопожертвованию. Возможность раскрыть характер Нади, ее моральные и этические черты дает Н. Сидоряку сложная монологическая форма, которую он избрал для своего повествования.

В романе «Иосиф Прекрасный», как и в «Железной траве», внимание автора сосредоточено на мыслях и переживаниях главного героя. Иосиф Гайналь — сын известного коммуниста, революционного деятеля буржуазной Чехословакии. Как и все его поколение, Иосиф за свои двадцать пять лет успел много увидеть и пережить. Он рос и учился в Харькове, куда отец вынужден был эмигрировать после приговора буржуазного суда, прошел тяжелые дороги войны. И вот осенью сорок шестого года возвратился в родное Закарпатье, теперь уже волей народа воссоединенное с советской родиной. Еще дает себя знать наследие войны, еще не покончено с терроризмом бандеровцев, злобствующие империалисты вынашивают планы отторжения Закарпатской области. Все это приметы конкретного времени и места действия; их ощущаешь едва ли не на каждой странице романа. Нелегка работа журналиста в такую пору и в таких условиях требует особого мужества, особой ответственности и принципиальности. Впрочем, утверждает автор, не только в ту пору и не только в тех условиях. И тут, как мне представляется, источник злободневного звучания романа о событиях почти сорокалетней давности. Жизненно звучит сегодня полемика героя с коллегой и другом Юрием, который старается идти наиболее легкими и удобными путями. Близко нам и то внимание к нравственной проблематике, которое ощущается прежде всего в образе главного героя. Иосифу все дается трудно в жизни — такой это характер, такой тип человека. Есть натуры, в обиходном смысле непрактичные, в повседневных поступках не всегда последовательные, но на решительных поворотах все же целостные, стойкие, глядящие в корень.

В этом романе Николай Сидоряк проявил умение показывать характеры в саморазвитии, это у него за малыми издержками выходит естественно.

**И. Винокуров.**



**АРЕВШАТ АВАКЯН. Дыхание гор. М. «Советский писатель». 1981. 143 стр.**

**АРЕВШАТ АВАКЯН. Пять стихотворений. «Литературная Армения», 1982, № 12.**

Нередко бывает, что известные в республиках поэты только после издания второй или третьей книги доходят до всео-

юзного читателя; нет своего переводчика. И все же А. Авакяну, очевидно, повезло: первая книга в Москве не только прекрасно оформлена (кстати, оформление самого автора), но только хорошо составлена и дает довольно точное представление о всех семи вышедших до нее сборниках А. Авакяна на армянском языке, но и, самое главное, хорошо переведена на русский язык опытными переводчиками Ю. Мориц, Ю. Левитанским, П. Вегиным и В. Куприяновым. Удачна и подборка новых стихотворений А. Авакяна в журнале «Литературная Армения», целиком переведенная П. Вегиным.

А. Авакян не только поэт, но и живописец. В Ереване, Москве, Киеве открываются его выставки. Четыре последних сборника Авакяна художественно оформлены самим автором. Михаил Дудин адресовал поэту такие слова: «Я смотрю на картину и читаю книгу. Картина помогает мне понять таинство слов, заключенных в книге, она делает эти слова объемными и цветными».

Возьмем стихотворение «Натюрморт»:

Эта рыба на блюде всегда свежа,  
и всегда к ней прикован  
кошачий глаз,

Стихотворение, пожалуй, не имеет аналогов среди других публикаций поэта, ибо неподвижность образов, на которой держится «Натюрморт», несвойственна художественному видению А. Авакяна. Это доказывает даже беглое знакомство со сборником «Дыхание гор». Например, такие строки:

Я с дождем проникну  
в толщу земли до корней,  
чтобы молча зажечь на деревьях  
синие звезды.

Или:

Хочу увидеть мгновенье,  
когда плод возникает в воздухе.

И, освещенная молниями,  
в клетке дождя  
поет птица-ветер  
с мокрыми крыльями.

Армянским читателям А. Авакяна известны такие свойства его поэзии, как богатая образность при суровой аскетичности словесной фактуры, экономное употребление эпитетов. Совсем не найти в его поэзии экзотических национальных орнаментов. Кажется, что нетрудно проследить за рождением слова, образа и стихотворения в творческой мастерской А. Авакяна. Обманчивое впечатление. А. Авакян фиксирует не сам предмет, а его состояние, не качество, а его становление или приобретение, видит любое явление в развитии. «Тайна Аревшата Авакяна,— пишет Арсений Тарковский,— в доверии к могуществу слова, преображенного и обогащенного волей поэта».

Есть прекрасный образ в одном из стихотворений сборника «Дыхание гор»:

Дерево... ищет корнями  
звездное небо...

ствол живет мечтой о полете...

Поэт, стремясь мыслями в небо, не отрывается от осязаемых реалий. Жак Превер называл птицу земным животным, заземляя тем самым один из постоянных по-

этических символов. «Листва, дрожащая в воздухе, это устремленные к небу земные мечты»,— пишет А. Авакян, из чувств и впечатлений создавая летучую плоть. Характерно в этом отношении стихотворение «Воробей». Поэт увидел в далеком лесу «воробья — подбитое крыло», «взглядом своим поднял его», «омыл добротой его раны», «свил ему гнездо из неживых слов» и, поместив «среди листвы придуманного дерева», «придумал ему небо... облака... солнце...» и «намолотил зерен из лучших слов». Стихотворение заканчивается неожиданно:

Теперь, подумал я,  
все будет хорошо,  
он будет свободен и беззаботен.  
Но, помилуйте, откуда  
появился разбойник с рогаткой  
под деревом, которое я придумал?

Публикации на русском языке Аревшата Авакяна, вне сомнения, служат благородному делу взаимного обогащения братских русской и армянской литературы.

Александр Топчян.

Ереван.



**ЯКОВ БЕЛИНСКИЙ.** Избранные произведения в двух томах. М. Том первый. Стихотворения. 1935—1967. 319 стр. Том второй. Стихотворения. 1968—1980. Избранные переводы. 399 стр. М. «Художественная литература».

**ЯКОВ БЕЛИНСКИЙ.** Движение души. «Литературная Россия», 1982, № 40.

Впервые Я. Белинский заявил о себе в 1932 году, выступив на страницах «Смений» с поэмой. А это не такой уж частый случай в литературе. За годы, минувшие с тех пор, вышло 14 книг поэта.

Первая из них запомнилась уже своим названием — «Взятые города»: поэт входил в литературу Отечественной войны, рассказывая о победоносном наступлении нашей армии, осуществлении ею освободительной миссии. Так примерно входил в литературу своими «Знаменосцами» Олесь Гончар.

У каждого поэта есть хотя бы одно стихотворение, навсегда связанное в читательской памяти с его именем. У Якова Белинского таким стихотворением стало «Сербский язык», датированное 1944 годом:

Твердил я сербского склады,  
учил я сербский стих.  
Как сербские слова тверды,  
как мало гласных в нхх.

Но как в бою они звучат,  
тогда лишь ты поймешь,  
когда в штыки идет отряд,  
по-сербскому — «на нож».

Я понял трудный их язык,  
народа дух открыв,  
язык, разящий, точно штык:  
Срб. Смрт. Крв.

Как много говорит короткое стихотворение, идущее по кратчайшей прямой! Одно из характерных свойств Я. Белинского — чуткий слух к языку, умение через звучание слова выразить дух времени. Точная звукопись («сербские склады», «как сербские слова тверды» и особенно выразительно — «Срб. Смрт. Крв.»). Способность возводить частный факт в степень художест-

венного обобщения. И над всем этим — конкретно выраженная идея родства народов, воплощенная в самом языке.

Много произведений Я. Белинского посвящено искусству. Вместе со стихами о любви (слово это входит в название нескольких книг поэта) стихи об искусстве, рождаемом любовью, служат утверждению жизни. Вопреки практике и «теориям» всех крестоносцев, меченосцев, смертоносцев.

Долгие годы формировалась, совершенствовалась поэтическая мысль Я. Белинского. Постепенно в ней укоренялся, выходил на передний план образ философский, образ-символ. С его помощью поэт старается удерживать мгновенье. О снеге в одном из стихотворений сказано, что «завтра будет он вчерашним и — прошлогодним станет снег». Именно потому и «его непрочное сиянье вбирает жадная душа». Есть у поэта и такой образ — «песчинка повседневности», которая как бы овеена дыханием вечности.

«Я пишу — значит, я живу, значит, слышу и, значит, вижу» — вот поэтическое credo Я. Белинского. Сказано достойно. В согласии с тем высоким достоинством, которое неизменно отличает слово поэта.

В октябре 1982 года Яков Белинский выступил в «Литературной России» в новом для него жанре. Перед нами проза поэта. Вот, например, прозаическая миниатюра «Далекie связи»:

«Отогретое зерно из векового кургана, выплеснувшее росток. Боковая — в стороне от главной — заброшенная дорога, подключенная к сегодняшней магистрали, ставшая проезжей, необходимой. Древний славянин, кричащий сквозь Хлебникова.

Неумирающее прошлое. Рядом с будущим».

Стоит обратить внимание на концентрированный заряд образности в слове. Прочерчена связь: вековой курган — отогретое зерно. Близкое — и отдаленное. Переключка, взаимодействие того и другого. И еще: заброшенная дорога, подключенная к сегодняшней магистрали. Это знак Времени. Так и в поэзии, которая без опоры на традицию уходит в песок. Опять взаимодействие. Прошлое оживает в сегодняшнем. Но и традиция, не обогащенная новаторством, тоже гибнет на корню. Ну а уж «древний славянин, кричащий сквозь Хлебникова», — это образ поразительный по емкости.

Такова проза поэта: сгусток духовной энергии.

Разрабатывая тему Отечественной войны, Я. Белинский идет и к новым темам и к новым для себя жанрам.

«Поэт — всегда ученик», — гласит старинное изречение. Ученик жизни.

Счастлив проживший долгую жизнь поэт, который все еще может себя считать учеником жизни.

Григорий Левин.



**НГУГИ ВА ТХИОНГО. Кровавые лепестки. Роман. Перевод с английского. М. «Прогресс». 1981. 431 стр.**

В начале 60-х годов, когда резко усилилось национально-освободительное движе-

ние народов Африки, нигерийский романист Чинуа Ачебе сравнивал родной континент с поверженным человеком, нашедшим в себе силы подняться на ноги.

Минуло два десятилетия. Как чувствует себя человек, расправивший плечи? Каков его путь? Современная африканская литература по-разному отвечает на эти вопросы.

В романе «Кровавые лепестки» кенийский прозаик Нгуги Ва Тхионго рассказал историю превращения захолустной деревни Илморог в современный город, полыхающий огнями реклам, рвущийся ввысь небоскребами банков, неподалеку от которых — кварталы трущоб. Город — враг или друг рядового африканца? Прожорливый спрут или средоточие надежды? Тема города проходит через многие произведения африканской литературы. Это естественно, ведь процесс урбанизации оказывает сильное и неоднозначное воздействие на судьбы африканцев.

Бедствующие илморогцы решают идти в Найроби, надеясь получить там помощь. Их помыслы выражены в причитаниях старухи. Ньякиньи: «Мы должны осадить город и потребовать, чтобы нам вернули нашу долю. Мы хотим петь свои песни и танцевать под свою музыку».

Осадить город, потребовать свою долю... Это так же наивно, как полагать, что во всех бедах виноват осел калеки Абдуллы. Но люди не могут жить без надежды, хотя бы призрачной. Осла, поедавшего много травы, изгнали. Однако жизнь бедняков не налаживалась. В столицу пошли — ничего путного не достигли. Лицемерие и ложь — вот с чем встретились в Найроби беженцы. Их предают те, кто, казалось бы, обязан им помочь; и депутат парламента Ндери Ва Рьера, и черный священник Камау, и бюрократ Чуи, и беспринципный делец Мзиго.

Кенийский писатель показывает, что после завоевания политической независимости местная буржуазия нередко пляшет под дудку иностранного капитала. Об этом прямо говорит один из персонажей романа, адвокат, которого глубоко трогают беды илморогцев. Ему ясно, что пороки капитализма, в том числе коррупция, беззастенчивое расхищение кучкой рвачей национального богатства, имеют не расовые, а социальные корни. Страна завоевала политическую свободу, но земли у крестьян по-прежнему нет. Богатые угнетают бедных. В стране черных растут разногласия...

Реалистическая направленность творчества Нгуги Ва Тхионго наиболее ярко проявляется там, где прозаик изображает силы, способные радикально изменить положение. Прогрессивные писатели закономерно связывают перспективы борьбы за социальную справедливость с выступлениями рабочего класса. Численность пролетариата в Африке невелика, однако его влияние на ситуацию в развивающихся странах неуклонно растет.

Нгуги Ва Тхионго создает образ рабочего вожака Кареги. Забитым, гонимым отовсюду бродягой появляется этот человек в Илмороге. Постепенно он становится убежденным борцом за права рабочих. Его бросают за решетку как опасного

смутьяна. Но выпустить придется. Рабочие фабрики, принадлежащей компании «Тенгета лимитед», готовы заступиться за своего лидера. Они открыто не повинуются властям. Такого в Илморге еще не наблюдалось...

Сколь злободневен оказался роман «Кровавые лепестки», свидетельствует тот факт, что после выхода книги в свет Нгуги Ва Тхионго был брошен в тюрьму. Писателя пытались обвинить в «коммунистической пропаганде». Протесты международной общественности оказали свое действие. После года заключения автор романа был выпущен на свободу.

Нгуги Ва Тхионго откликается на злободневные для нынешней Африки вопросы. Его роман «Кровавые лепестки» — реальный вклад писателя в дело борьбы за социальный прогресс.

М. Вольпе.



**ЕВГЕНИЙ ВОРОБЬЕВ, ДМИТРИЙ КОЧЕТКОВ. Я не боюсь не быть. Документальная повесть о Герое Советского Союза Поле Армане. М. Политиздат. 1982. 319 стр.**

Я не боюсь не быть,  
Умру я, но для жизни  
Останусь жить и жить...

Герой повести часто повторял эти строки своего любимого поэта Яна Райниса. И они оказались пророческими: память о Поле Армане не угасла.

Возвращать потомкам забытые имена достойных, заново открывать героев прошлого — задача благородная. Эту задачу выполняют авторы книги — писатель Е. Воробьев и полковник Д. Кочетков, лично знавший Поля Армана. До сих пор читатели могли быть знакомы с этим именем по упоминаниям о нем в мемуарной литературе — маршала Малиновского, генералов Батова, Мерецкова, Родимцева, Кривошеина и других советских военачальников, по «Испанскому дневнику» Михаила Кольцова и публицистике Ильи Эренбурга, по воспоминаниям Романа Кармена. За рубежом писали о нем и Людвиг Ренн, Дорлес Ибаррури, Луиджи Лонго — его товарищи по боям с франкистами в Испании. Теперь впервые все круплицы сведений и воспоминаний собраны воедино.

Необычна судьба этого легендарного человека. Пауль Тылтынь — имя, данное ему родителями, бедными крестьянами с хутора, где он и провел свое детство. В буржуазной Латвии его, студента-философа Рижского университета, зарабатывавшего на хлеб трудом портового грузчика, товарищи по революционному подполью называли Спиттникеком — Упрямецем; во Франции, куда его переправили, спасая от ареста, он стал Полем Арманом; на полях сражений в Испании он прославился как мужественный капитан Грейзе...

Авторы не следуют принципу последовательно-биографического изложения. Сколькие сходи рижского порта, например, герой вспоминает ассоциативно. Или феодосийский порт, откуда 5 октября 1936 года на теплоходе «Комсомол» он со своей танковой бригадой отплавал в Испа-

нию, чтобы вместе с защитниками республики бороться с фашистами Франко.

Книга строго документальна, построена на фактах, отзывах очевидцев, записях, сделанных по горячим следам событий. Это тот случай, когда не сила художественного вымысла писателя, а именно достоверность происходящего рождает у читателя высокое чувство сопереживания. Мы гордимся «танкисто русо» во время первого в истории боя танков под Мадридом, плачем его слезами у гроба погибшего в этом бою друга — Семена Осадчего. Мы следим за героем, когда он на своем танке везет на боевые позиции вдохновенную Пасионарию, разделяем чувства, испытанные им в осажденном Мадриде, где в кинотеатре «Капитоль» в годовщину Октября демонстрировался фильм «Чапаев» и три тысячи испанцев дружно кричали: «Вива русиа! Вива!»

Незадолго до Великой Отечественной войны предполагалось снять фильм о боях за Мадрид. Фильм так и не состоялся. Но сохранились стенограммы бесед Армана с кинорежиссером и сценаристом. Живые рассказы Армана дополняют романтический образ, встающий со страниц книги.

Это был удивительно разносторонний человек. Серьезный военный специалист, знаток военной техники, он на фронте в свободные часы читал в подлиннике книгу Стендаля о Наполеоне, изучал исторические битвы Ганнибала, хорошо знал все, написанное Суворовым. Книжник — он обладал незаурядным личным мужеством. Интересны приведенные в стенограмме мысли Армана о поведении человека во время опасности, о храбрости. Он был уверен, например, что подлинная храбрость должна служить высшей цели: приносить пользу родине, спасать товарища, друга. Эти размышления неоднократно подтверждены собственным примером Поля Армана. И погиб полковник Арман геройски; во время Великой Отечественной войны на Волховском фронте снайперская пуля сразила его в тот момент, когда он поднимал бойцов в атаку.

Знаменательно, что Поль Арман стал первым советским танкистом — Героем Советского Союза. До него это звание было присвоено только одиннадцати летчикам.

Документы, письма жене, другу семьи артисту Михозасу, воспоминания свидетельствуют о незаурядности героя, о его умении в любых условиях не терять жизнерадостности, о силе его любви и дружбы, о том наслаждении, которое давали ему и литература, и искусство, и простое общение с людьми. Страницы книги, раскрывающие внутренний мир героя, будят мысли о ценности человеческой жизни, о судьбах людей недавнего прошлого.

Ксения Бродер.



**ЛЕОНИД ЛАПЦУЙ. На оленьих тропах. Стихи и поэмы. Перевод с ненецкого. Свердловск. Средне-Уральское книжное издательство. 1982. 190 стр.**

Перед нами книга известного ненецкого поэта Леонида Лапцуй, изданная уже по-

смертно. Собранные здесь стихи и поэмы образуют некий сюжет, основа которого — главные вехи творческого развития Л. Лапцужа. За судьбой ненецкого мальчика, спасенного от смерти русскими людьми, учившегося в школе, получившего специальность врача, затем геолога, вырисовывается картина возрождения народа, волею революции вступившего на широкий путь социального и культурного развития.

Динамикой крутых перемен в жизни народа во многом определяется мироощущение лирического героя книги. Его радуют многоэтажные города в заполярной тайге и тундре, прокладка в зоне вечной мерзлоты газо- и нефтепроводов, другие факты промышленного освоения Севера. Вместе с тем этому герою дороги в сегодняшнем дне приметы традиционного уклада родного народа (охота, рыболовство, выпас оленей), дороги традиционные верования ненцев, считающих себя неразрывно связанными с природой, с каждой травинкой, зверушкой, звездой, горизонтом... К примеру, читая поэму «Женщина Ямала», видишь, что лирический герой воспринимает природу тундры как живое существо, персонафицированное в образе легендарной Женщины Ямала...

О, если бы мне навью увидеть эту  
женщину...

Но люди советуют: «Врось неразумные  
помыслы!

Увидеть тебе не дано эту дивную  
женщину,  
Но всюду она за тобою идет невидимкою,  
Нигде не минуешь ты взгляда ее  
ястребиного.

О, Женщина-тундра, гусыня моя  
сизокрылая!  
Журчанье волны — это голос твой,  
чистый и ласковый,  
Седая пороша — дыханье твое леденистое,  
А солнечный круг — это сердце твое  
незлюбивое.

В последующих частях поэмы фольклорный образ переходит в образ ненки-труженицы, матери, жены, хранительницы домашнего очага.

Суть социальных перемен в жизни ненцев, с разных сторон показанных в многочисленных стихотворениях, раскрыта с наибольшей полнотой и последовательностью в поэмах «Мальчик из стойбища», «Тундра шепчет», «Под звездами Севера».

Большую часть произведений, включенных в сборник, перевела Н. Грудина, сумевшая тонко передать неспешную, чуть замедленную ритмику оригинала, интонационную сдержанность, подчеркнутую скромность лирического героя перед лицом вселенской беспредельности.

Стихи и поэмы Л. Лапцужа позволяют широкому читателю не только увидеть многообразный мир Севера глазами коренного обитателя тундры, но и постичь глубинную суть исторических перемен, привнесенных Октябрем в социальный уклад и сознание ненцев.

Т. Комиссарова.

г. Жуковский.



А. ШАРОВ. Повесть о десяти ошибках. Повести и рассказы. М. «Советский писатель». 1982. 384 стр.

Книга А. Шарова отмечена подлинным знанием жизни — она побуждает читателя видеть, чувствовать, думать, вспоминать. Неподдельно искренняя по интонации, его автобиографическая проза полна образных ассоциаций и тем сродни поэзии. Они, как путеводные нити, ведут авторскую мысль, преодолевая разнородность материала. Мне представляется ключевым для понимания книги эпизод, когда юный герой А. Шарова увидел синий квадрат неба через щель в крыше. Небо, отмеренное столь скупой, выступает в книге как символ простора, счастья, привольной нестесненности; в нем не свобода, а воля, как говорил герой Толстого. Под этим небом легко, как в сказках, как в детском воображении (стоит лишь захотеть...), сближаются времена, сокращаются расстояния — и вот оживают быт и нравы украинского местечка и московской школы-коммуны 20-х годов. Но, помимо глухой мглы забвения, у писателя есть другой противник — все то злобное, мертвое, унылое и приниженное, что таится в душах людей и как бы воплотилось в безголовом карле, привидевшемся когда-то ночью герою А. Шарова. Зло вырастает из страха — карла был на самом деле костюмом брата, висевшим на стуле. Конечно, не все карлы так безобидны. А Шаров ни на минуту не забывает о трагедиях века. Но писатель, видевший освобождение Освенцима, напоминает: даже колючая проволока горит в струях чистого кислорода. Страхи исчезают при свете дня, в чистом кислороде добра и правды.

Зло — это противоестественное (и потому, в сущности, бессильное) разъединение людей, явлений; добро сближает, оно свободно и естественно. Вот откуда у А. Шарова свобода ассоциаций, вот почему судьба мальчишки-снайпера из повести «Жизнь Василия Курки» соседствует в книге с судьбами картин из Эрмитажа. Зло угнетительно и скучно и потому враждебно искусству, которое само по себе — если это настоящее искусство — есть проявление человечности, расвобожденности духа.

Человечность, совесть — это, можно сказать, сама плоть книги А. Шарова. Писателя привлекают рыцарь добра комкор Павлов, бабушка, заслонившая собою внука от погромщиков, ищущий тепла в бурном мире подросток — все, кем создается общность, соединенность людей.

«Во поле хлеба — чуточку неба... Небом единым жив человек», — сказал Андрей Вознесенский в одном из лучших своих стихотворений. Небо едино над всей планетой людей, и самая малость его уже делает жизнь осмысленной. Проза А. Шарова — чтение нелегкое, горькое, но возделывающее и просветляющее душу. Есть в книге некий внутренний свет, словно тот кусочек неба, увиденный в детстве.

П. Спивак.



**ДУМИТРУ БАЛАН, АНЕТА ДОБРЕ.** Русская советская поэзия. Лырика (Автология). 2-е издание, пересмотренное и дополненное. Бухарест. 1981. 496 стр.

Составители антологии, стремясь вернуть по возможности полную картину русской поэзии на протяжении всей советской эпохи, включили в книгу произведения 63 русских советских поэтов. Наряду со всемирно известными в антологию вошло и много имен различных по своему значению и дарованию поэтов. Десятки стихотворений воспроизводятся в Румынии впервые. Собрание стихов подобного масштаба и уровня, хронологическая широта издания, тщательность подготовки, репрезентативность поэтических произведений делают эту антологию не только очень полезным учебным пособием для студентов и преподавателей, но и настольной книгой любителей русской поэзии, ценителей литературы вообще. Очень интересный, на наш взгляд, аспект заключается и в том, что впервые в хрестоматийный сборник такого типа включен раздел «Стихи о Румынии».

Художественные тексты предваряются в антологии литературными портретами-медальонами о каждом представленном поэте, содержащими краткие биографические сведения, общую характеристику творчества, а иногда и небольшой анализ отдельных произведений. Литературные портреты завершаются богатой библиографией как поэтических оригиналов, так и переводов на другие языки (в том числе и на румынский).

Антология настолько солидно оснащена библиографическими и другими справочными материалами, что вспомогательный научно-критический аппарат приближается по своему характеру к солидному очерку советской поэзии.

Нет сомнения, что составители этой антологии дополнят и обогатят ее в последующих выпусках новыми поэтическими текстами и ценными историко-литературными сведениями. Было бы, видимо, целесообразным включить в книгу подробную статью об эволюции советской поэзии, о ведущих тенденциях на разных этапах ее развития, о преемственной идейно-эстетической связи между поэтами различных поколений. Нам кажется, что такой очерк явился бы идейно-теоретическим и эстетическим обоснованием тематико-стилевой структуры, которой придерживались авторы, группируя материал в единое целое.

Эта книга, потребовавшая немало исследовательского труда и осуществленная на высоком научно-филологическом уровне, несомненно способствует ознакомлению широкого круга румынских читателей с богатым миром советской поэзии, где преломилась героическая история страны, и, значит, рецензируемый труд служит делу укрепления дружбы между румынским и советским народами.

**Георге Барбэ.**

Бухарест.



**Е. Н. ГОРОДЕЦКИЙ.** Историографические и источниковедческие проблемы Великого Октября. 1930—1960-е гг. Очерки. М. «Наука». 1982. 384 стр.

Год назад в новомирской рецензии на историографические очерки Е. Городецкого, посвященные истории Октября в период ее становления как науки в первые послереволюционные десятилетия, была выражена надежда на то, что автор продолжит свое исследование, доведя его до времен, уже более к нам близких. Пожелание это совпало с творческими планами самого Е. Городецкого: его нынешние очерки — прямое и логическое продолжение работы, опубликованной в 1981 году.

Роднит обе книги единство методологического подхода и принципов анализа огромного материала, с которым автору пришлось иметь дело. И вместе с тем в новом труде очерчен и исследован круг проблем, с какими прежде историческая наука совсем или почти совсем не сталкивалась. Это книга о работах историков Октября, принявших эстафету его изучения от старшего поколения. Наряду с именами ученых-первопроходцев на страницах очерков мы найдем новые имена, анализ новых трудов. Их здесь более 500. Но книга отнюдь не библиографический справочник. Скорее она похожа на повесть о жизни исторических идей и концепций, об основных направлениях их развития.

Рассказывая о процессе формирования и роста кадров советских историков, занимающихся темой Октября, автор применил интересный и плодотворный метод обобщенной статистики. В книге Е. Городецкого, к примеру, приведены данные о кандидатских и докторских диссертациях, посвященных истории рабочего класса России 1917 года, Советам в Октябре, культурному строительству советской республики, революционному движению в армии и на флоте и т. д. Библиографическая же статистика, которой автор широко пользуется, учитывает многие работы разного масштаба и значения, начиная от фундаментальных монографий и кончая небольшими публикациями. Взятые вместе, они дают возможность увидеть и осмыслить весь гигантский объем исследований, проведенных советскими историками за изучаемый период.

Среди множества ответвлений науки об Октябре, рассматриваемых Е. Городецким, хотелось бы выделить две темы: Лениниана и Октябрь и культура. О Ленине и его деятельности писали еще первые историки Октября. Но особенно интенсивная разработка Ленинианы характерна именно для современного этапа развития науки. Достаточно сказать, что библиография зарегистрировала более 150 работ о Ленине только как об историке Октябрьской революции и гражданской войны. Другие же направления Ленинианы насчитывают в своем активе сотни книг и статей. Но дело не только в количестве работ. Изучение классического ленинского наследия по теории и истории нашей революции оказало большое влияние на все разделы исторических знаний об Октябре.

Тема «Революция и культура» возникла

в историографии тоже достаточно давно. В последние десятилетия она особенно отчетливо просматривается в пограничных, так сказать, областях гуманитарных наук. Темой этой занимаются историки и экономисты, философы и правоведы, литературоведы и искусствоведы. Обращаются к ней, продолжая традиции Тимирязева, Вернадского, Ферсмана, и естественники. В очерках содержится обстоятельный анализ многих интересных трудов по проблемам революции и культуры.

Наконец, несколько слов об источниковедческой части книги. За десятилетие с 1957 года в науке произошел настоящий «археографический взрыв» — публикация 250 документальных сборников различного объема и научного достоинства. Дав их общий очерк, автор подверг специальному источниковедческому разбору лишь одно издание — «Переписку Секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями». Не вдаваясь в детали, отмечу только, что главы, посвященные этой теме, привлекают внимание тщательностью обработки источника и тонкостью наблюдений.

А. Грунт,

доктор исторических наук.

★

ЮЛ. МЕДВЕДЕВ. Бросая вызов. М. «Советская Россия». 1982. 333 стр.

В книге Юл. Медведева собраны четыре очерка, объединенных не то чтобы общей темой, но скорее одним искусственным вопросом: что определяет судьбу идей? Идеи, о которых идет речь, новаторские, неортодоксальные, необщепринятые. Автор считает, что они бросают вызов...

Это климатологические теории, где климат попеременно выступает то в роли закулисного злодея, вмешивающегося в ход истории (очерк «Судеб посланник»), то как жертва активной хозяйственной деятельности человека (очерк «Предвидимые „непредвиденности“»). Это теория полового диморфизма, которая, как полагает ее создатель В. А. Геодакан, объясняет причины возникновения половых различий в мире живого и роль двух полов в эволюции биосферы (очерк «Она и Он»). Это идеи, реализованные в блестящем изобретении — ракете-буре способной проникать в глубь земли (очерк «Бросая вызов», давший название книге).

О каких бы новых теориях или машинах ни рассказывал автор, главное для него — не специальные, в частности технические, подробности, в центре авторского повествования сами создатели нового. При этом, размышляя над их взглядами, Юл. Медведев не просто излагает, реферировует их, он предлагает нам, читателям, свои концепции процесса творчества и познания.

Так, остроумие технического решения (например, ракеты-бура), соответствие решения возможности его реализации, социальному заказу — все это, оказывается, еще не предопределяет судьбы изобретения. Читая книгу, мы видим, что изобретательство идет одновременно как бы в нескольких средах: техническое переплетается с социальным, наука с искусством, машинное с че-

ловеческим. Но даже зная детали того или иного механизма и процесса его создания, мы порой едва ли в большей степени способны предсказать результат новой работы, чем предвидеть, гербом или решкой упадет подброшенная монета.

Не так давно математики пришли к выводу, имеющему явно выраженный философский аспект: между сложно детерминированным и случайным событием нет принципиальной разницы. То есть чем сложнее причинная цепь, приводящая к данным следствиям, тем с большим правом к этим следствиям можно применять законы теории вероятностей.

Однако в нашем сознании закономерное и случайное — два полюса, разделенные почти той же пропастью, что рациональное и иррациональное. Причем эти полюсы не симметричны: высшая ценность приписывается простоте, сложные зависимости — как бы следствие недостатка нашего знания, которое не смогло их упростить. Поэтому мы готовы рассматривать вызов, брошенный сложности, как доблестное дело.

Любая научная теория и популярный очерк о ней, как правило, начинаются одинаково — с создания простой модели или наглядного образа какого-либо явления. В «Судеб посланнике» это, например, климат в виде пыхтящей паровой машины с топкой — Солнцем, котлом на земном экваторе, конденсаторами на Северном и Южном полюсах и цилиндрами-каналами, по которым, как поршнями, передвигаются воздушные массы. Постепенно образ в очерке усложняется, обрастает деталями, но остается при этом понятным и легким для восприятия.

Но по мере того как автор живо и убедительно рассказывает о тех драматических событиях в истории человечества, к которым приводили капризы климата, «домашнее» его сравнение с паровой машиной перестает быть точным. Это естественно, так как любое сравнение в той или иной мере условно. Небольшое изменение начальных условий — и реальный климатологический процесс может пойти по совершенно другому руслу, требуя уже другой физической модели, много художественного образа. Теория климата, учитывающая «эн» факторов, не уточняет предсказаний теории, учитывающей на один фактор меньше, а часто меняет их на противоположные. Факт удивительный.

Что же, популяризируемые автором теории климата слабы? Или, быть может, слишком упущена, «популярна» сама авторская трактовка? Нет оснований так думать. По-видимому, есть глубокие причины, заложенные в законах самой природы, заставляющие нас искать простые ответы на сложные вопросы естественных наук, будь то объяснение резких климатических изменений или крутого выража эволюции, разделившего женское и мужское начала.

Такова лишь одна из многих мыслей, на которые наводит чтение книги Юл. Медведева с ее вниманием к процессу познания, диалектике сложного и простого и мягкой иронией по отношению к тому, что так соблазнительно выдать за окончательный ответ.

М. Арапов.



# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



## ПОЛИТИЗДАТ

**В. И. Ленин.** Избранные произведения в 3-х тт. Т. 3. 856 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Аргументы: 1982.** 144 стр. Цена 30 к.

**Л. Левин.** Советуюсь с Марксом... 272 стр. Цена 90 к.

**О вере и неверии.** Мысли о религии и атеизме. 239 стр. Цена 1 р. 20 к.

**В. Петровский.** Разоружение: концепция, проблемы, механизмы 335 стр. Цена 50 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**И. Знедониц.** Курземите. Перевод с латвийского. 383 стр. Цена 1 р. 30 к.

**С. Лесневский.** «Я к вам приду...». Поэты. Поэзия. Время. 367 стр. Цена 1 р. 40 к.

**И. Нонешвили.** Радость моя. Стихи. Перевод с грузинского. 128 стр. Цена 50 к.

**О Сельвинском.** Воспоминания. Составители Ц. А. Воскресенская, И. П. Сиротинская. 399 стр. Цена 1 р. 90 к.

## ВОЕНИЗДАТ

**А. Жигулев, Н. Кузнецов.** Крылатые слова, образные выражения. 128 стр. Цена 45 к.

**А. Малышкин.** Севастополь. Повесть. 342 стр. Цена 1 р. 80 к.

**Ю. Менчик, Р. И. Шулиг.** Расплата за ошибку. Романы. 368 стр. Цена 2 р. 20 к.

**С. Шуртанов.** Вершина Столетова. Рассказы, повести. 431 стр. Цена 1 р. 90 к.

## «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**В. Астафьев.** Стародуб. Повесть. 63 стр. Цена 15 к.

**А. Барто.** Дождь в лесу. Стихи. 32 стр. Цена 30 к.

**В тридцатом царстве, в тридесатом государстве.** Сказки народов СССР. 352 стр. Цена 1 р. 30 к.

**В. Железников.** Соленый снег. Повесть. 64 стр. Цена 15 к.

**А. Лосев, А. Тахо-Годи.** Аристотель. Жизнь и смысл. 286 стр. Цена 60 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Антология кубинской поэзии XIX—XX веков.** Перевод с испанского. 367 стр. Цена 3 р.

**П. Балашов.** Художественный мир Бернарда Шоу. 327 стр. Цена 1 р. 50 к.

**В. Ванчура.** Избранное. В 2-х тт. Перевод с чешского. Т. 1. 527 стр. Цена 2 р. 70 к.

**В. Жуковский.** Избранные сочинения. 431 стр. Цена 2 р. 90 к.

**К. Рацин.** Белые зори. Фейерверк. Стихи. Перевод с македонского и сербскохорватского. 143 стр. Цена 50 к.

**Хоан Нгуен Конг.** Избранные рассказы. Перевод с вьетнамского. 399 стр. Цена 2 р. 90 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**О. Айтымбетов.** Сошлись дороги. Повести, рассказы. Перевод с киргизского. 208 стр. Цена 55 к.

**Зарубежный детектив.** Сборник. 495 стр. Цена 3 р.

**Магомед-Расул.** За день до любви. Повести. 270 стр. Цена 80 к.

**В. Назаров.** Дороги надежд. Повести. 304 стр. Цена 1 р.

## «РАДУГА»

**А. Алвес Редол.** Романы. Рассказы. Перевод с португальского. 607 стр. Цена 4 р. 20 к.

**Я. Радичков.** Избранное. Перевод с болгарского. 512 стр. Цена 3 р. 20 к.

**А. Салих.** Повесть и романы. Перевод с арабского. 336 стр. Цена 2 р.

**Б. Сахни.** Девушка с дельиной окраины. Роман. Перевод с хинди. 179 стр. Цена 1 р. 10 к.

**Ф. Фюман.** Половина жизни. Избранная проза. Перевод с немецкого. 672 стр. Цена 3 р. 90 к.

## МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

**З. М. Бабур.** Избранная лирика. Перевод с узбекского. («Избранная лирика Востока») Ташкент. Издательство ЦК КП Узбекистана. 127 стр. Цена 65 к.

**Д. Кедрин.** Стихотворения. Поэмы. Составление и подготовка текста С. Кедринной. «Московский рабочий». 320 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Поэты Сибири.** Поэтические страницы журнала «Сибирские огни». Составитель А. Плитченко. Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 192 стр. Цена 80 к.

**Современный уральский рассказ.** Сборник. Составитель В. Турунтаев. Свердловск. Средне-Уральское книжное издательство. 463 стр. Цена 1 р. 80 к.

**Г. Табидзе.** Луна Мтацминды. Стихи. Перевод с грузинского. Тбилиси. Издательство Тбилисского университета. 207 стр. Цена 1 р. 10 к.

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку** (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахни, Д. В. Тевекелян**

Адрес редакции: 103806 ГСП. Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 290-08-29

Сдано в набор 25.01.83 г. Подписано к печати 23.03.83 г. А 04054.  
Формат бумаги 70×108<sup>1/16</sup>. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл.-печ. л.)  
27,15 уч.-изд. л. Тираж 363.000 экз (1-й завод 1—183.000 экз.) Цена 1 р. 20 к. Зак. 354.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»  
Москва К-6, Пушкинская пл., 5

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 1 р. 20 к.

70636

Новый мир, 1983, № 4, 1—272.